

КОНТИНЕНТ12

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNTENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

«Со времен Достоевского в России стало традицией всякое общественное движение называть бесовщиной...

Салонные критики даже не пытаются рассмотреть существенные свойства... но-

вого общественного явления, многозначного и многообразного, с неисследованным генезисом и неизвестной структурой».



Лариса Богораз

«В определенном смысле все мы — беглецы из враждебного мира. И все художники — пионеры, строители той новой Духовной страны, из которой эмигрировать никому не придется».

«Настоящие историки не имели права голоса в новейшей истории — высказывался только пропагандный аппарат партии и правительства».

Анеля Стейнсбергова

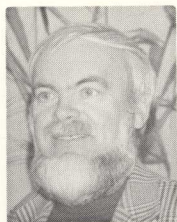


«За этот мир, в котором я живу, я несу свою долю ответственности, и если я буду молчать, то в этом я буду виновен, как все люди, которые молчали во времена показательных процессов».



Адам Михник

«Значительно ли пережитое нами в этом походе? То, о чем рассказываю? Кажется, что — значительно, потому что ведь за каждым человеческим обликом, каждым поступком и каждым случаем стоит некий неисповедимый рок».



Виктор Спарре



Леонид Ржевский

Главный редактор: Владимир Максимов
Заместитель главного редактора: Виктор Некрасов
Ответственный секретарь: Наталья Горбаневская
Заведующая редакцией: Виолетта Иверни

Редакционная коллегия:

Раймон Арон · Ценко Барев · Джордж Бейли
Сол Беллоу · Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Александр Галич · Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Милован Джилас · Эжен Ионеско · Артур Кестлер
Роберт Конквест · Наум Коржавин
Михайло Михайлов · Эрнст Неизвестный
Андрей Сахаров · Игнацио Силоне · Виктор Спарре
Странник · Александра Толстая · Ота Филип
Юзеф Чапский · Александр Шмеман
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Англия	Владимир Тельников Wladimir Telnikov, 28 St Luke's Rd London W 11
Израиль	Михаил Агурский Michael Agoursky, Ramot 6/30 Jerusalem, Israel
Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Юрий Ольховский George Olkhovsky, 3801 Windom Place N. W Washington D. C. 20016, USA
Япония	Госуке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan



КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

12

Издательство «Континент»
1977

Клим и Панночка

Повесть

1

ПО ПОВЕСТКЕ

Наперед отказываясь от того вида авторской интриги против читателя, которая называется «захватывающим сюжетом», скажу прямо, что Панночка, полугероиня моей полудокументальной повести, — лошадь.

Это кокетливо-литературное имя придумал ей не я, а другие; я же, если бы и хотел, не мог бы его изменить, потому что для меня оно живописно и зримо, как кинокадр, надменно вскидывает маленькую голову со смоляной шелковистой челкой, падающей на глаза, и переступает узенькими, как струнки, ногами в защитных чулочках из солдатских обмоток, и мне кажется, что оно, это имя, должно гарцевать и в представлении читателя.

Итак, Панночка была лошадь, англичанка по крови, полька по национальности, и теперь — хотите читайте дальше, хотите — нет: я вполне понимаю, что у людей может не быть интереса к такого рода заниженной романтике.

Мы освободили ее (то есть Панночку, а не романтику) вместе с братьями-белорусами от гнета польских помещиков и капиталистов осенью 1939-го года. Торжественное открытие этого победоносного похода произошло, как известно, гениально просто: сколько-то тысяч освободителей, ничего доселе не подозревавших о предстоящей им благородной миссии, провели мимо голубоглазых пограничных озер на какую-то, помню, волнисто-песчаную, прошитую мелким соснячком поляну и посадили на митинг. Некий дивизионный или корпусной комиссар завидного роста жестом достойным, хотя и замимствованным («Отсель грозить мы будем шведу»...), указал нам на запад, на невидимые отсюда пограничные столбы и сказал:

— Товарищи! Польские трудящиеся, рабочие и крестьяне, восстали против своих угнетателей. Мы должны протянуть им руку помощи. Партия и правительство... и так далее... Ура!

Мы крикнули «ура!» и пошли по песку.

Мы пришли... — Нет, не могу продолжать! Не говоря уже о стилистической беспомощности этого «пошли», «пришли», которую тотчас же обнаружат чуткие критики, я должен познакомить читателя

сперва с предысторией своего рассказа, заодно — с некоторыми действующими лицами, да, пожалуй, прежде всего — с самим собой, в смысле, как это случилось, что я, человек штатский и не воинственный, оказался вдруг в почетной роли вооруженного освободителя.

Случилось довольно просто: неожиданно, как град с ясного неба, влетела в мой облупленный почтовый ящик на входной двери военкоматская повестка. Неожиданно — потому что об эту пору никаких вызовов на военные сборы не посылалось, и я с недоумением и стесненным сердцем собрал, вместо конспектов и выписок к лекциям, в чемоданчик щетки, бритву, смену белья и направился в Лефортово, квартиру Московской пролетарской стрелковой дивизии, к месту приписки.

Это было здание бывшего кадетского корпуса, куда мне требовалось, — грязно-желтый ампирный квадрат с огромным плащом-двором посередке.

Уже чуть смеркалось. Из парка напротив несло горьковатой осенней пахью и тинной от зацветших прудов.

Запахи эти всколыхнули во мне двадцатилетней давности воспоминания, и мысль, зачем вызвали, перестала барабанить в мозгу, сменившись совсем другою: стоит ли по-прежнему там, куда шел, на этом самом плацу, тесовая беседка для трубачей и принятия кадетских парадов. В 19-й голый год, когда тройка нашей семьи — я, мать и сестра — уже совсем сникали от голода, я, отложив гимназические учебники, поступил в этот рыжий корпусной блок на строевой щедрый паек уборщика лошадей, с прикомандированием к канцелярии. Были там в это время командирские курсы, и у начальника их, латыша-комиссара, — юная секретарша, которую звали Розочка — вполне тематическое было для нее имя. Одним ранним июньским вечером, когда вышло мне ночное у телефонов дежурство, мы с ней слушали в этой беседке соловьев. Да, прошу мне верить — в ту пору в ивняке над парковыми прудами жили еще настоящие соловьи; не размолотая никакими моторами ночная тишина сыпала их колена далеко вокруг и в наши с Розою уши. У телефона оставил я сторожить одного косноязычного посыльного в надежде, что ночью звонить не станут; но позвонил сам комиссар... Тяжкие шаги командора протопали по двору к нам в беседку, и дежурный по курсам, вытянув из ножен шашку (ей-Богу, я на мгновение решил, что он отхватит мне голову), отвел меня под арест в бывший кадетский карцер, в котором за два года свободы неслыханно расплодился клопы...

Воспоминания мои вяли под наплывающим гулом — я подходил к облупленному пестрой толпой подъезду. «Пестрой» — потому что среди серых кепок и спин повесточников мелькали платки всех цветов, тоже и мелкие, беленькие, смоченные, вероятно, расставальной слезой. Что это? Мобилизация? маневры — на самый добрый конец?..

А внутри двора, где было велено ждать — нет, какая уж там беседка! — тысячеголовый рокошущий кавардак. Табачное марево над приземлившимися в одиночку и пачками, охрипшие команды местных военных чинов, толпошенье у разверзтых пастей цейхгаузов; орут каптёры, наворачивающие вороха шинелей, котелков, противогозов и обуви; пахнет кожей, варом, слежалостью и ружейным маслом.

Мне пофартило необыкновенно: «Командир?» — налетел на меня какой-то ошалелый интендант (почему — на меня?) и почти за рукав потащил к прилавку, где мне выдали обмундировку, чудом пришедшуюся в самый раз, даже и сапоги, и пилотка. Кто из не-кадровых побывал на военных сборах, знает, что от такой удачи можно почувствовать себя именинником. Я и почувствовал и, привинтив к петлицам свои лейтенантские кубики, мысленно поздравил себя с тем, что числился по строевой и, значит, к хозяйственной сутолоке, смолоту мне ненавистой, касательства не имел.

Но — «не кажи гоп, не перескочивши!» В писарской накуренной комнате, куда уже к вечеру только добрался, вскинул на меня жухлые от бессонницы щеки рыжий пригорбоватый майор с расхлестнутым воротом гимнастерки. — «Лейтенант?» — спросил хрипло, листая воинский мой билет. — Аспирантура это высшее считается образование или как?.. — Веки его с редкими желтыми ресницами устало тянуло вниз, но он натужно строил на лице прочное командное выражение.

— Назначаетесь командиром комендантского взвода нашего полка. Взвод скомплектовать к девяти ноль-ноль завтрашнего утра. Понятие о задаче имеете? Нет? Зря, выходит, тратилось государство на вашу военную подготовку. Вот вам мобведомость с разнарядкой и штатами. Для охраны штаба подберете боевое стрелковое отделение. И пулеметное — пулеметы крупнокалиберные. Ну и хозяйственная часть — чтобы были во взводе сапожники, ковали, повара поумелей. Кухни берите последнего образца, двойные. Повозки добротнее... Сколько там у вас лошадей? гм... двенадцать? Чтобы был комплект. Всё!

— Как же я...

— Никаких «какже»! Личная инициатива, воля, настойчивость, сознание долга. Выполняйте!

Больше всего на свете, я видел, хотелось ему сейчас завалиться спать, но он произносил всё это из последних сил, металлической скороговоркой, глядя мимо моего лица в угол.

— Где же?..

— Никаких «гдеже»! У меня не справочное бюро. Выполняйте приказ!

Сейчас вряд ли передать мне тогдашнее мое ошеломление. Есть в сборнике русских сказок Афанасьева одна, где злой царь, тшась погубить героя, приказывает ему: «Пойди туда, не знаю куда, при-

неси то, не знаю что», — так, кажется, сказка и называется. Хотел тоже и рыжий майор моей гибели? В сказке герою помогает прекрасная чародейка, да и сам он, помнится, был малый не промах, а кто наворожит мне? Двойные кухни, крупнокалиберные пулеметики, повара и конский табун! — штатную ведомость составляли, верно, еще в пору Крымской войны. Двойные кухни представлялись мне крематориями на колесах, в сизых облаках чада от пригоревшей каши, скрывающих их от голодных глаз. Дюжина конских глоток ржала в моих ушах, и сорок восемь копыт выстукивали «яблочко» на барабанных моих перепонках.

«Выполняйте приказ!»

Объявиться больным? Подать рапорт о своей непригодности по хозяйственной части? На этом варианте я задержался, мысленно подбирая подходящий канцелярит и ярясь на рыжего майора. Экая зверская тактика! И почему именно меня выбрал он своей жертвой?

Когда вспоминаешь это давнопрошедшее (шутка сказать: без малого сорок лет уткло с тех пор!), есть опасность переитожить всё это по современному, эмигрантскому, в смысле подавления личности, антигуманизма и прочего; но я стараюсь просто вспомнить, как было.

Было так: «зверская тактика», «жертва»... — на этом скрестились тогда потуги мои выбраться из тупика, — и вдруг неожиданно вспыхнул зеленый свет! Я ощутил на себе ладно пригнанную униформу, в петлицах два кубика и в груди — цинический дых: чтобы не пасть жертвой самому, нужно найти собственную свою жертву, тактику рыжего майора продлить вниз!..

Над плацом висели уже совсем сгустившиеся сумерки пополам с махорочным дымом; поголовье наполовину успело уже обмундироваться, катало скатки, накручивало на вскинутые ноги лебяжьего цвета портянки; кое-кто получил уже и оружие — щелкали затворы, торчали масляными штыками вверх винтовочные пирамидки.

Лицо своей жертвы представлял я себе отчетливо: обязательно молодое, обязательно с крутым подбородком (может быть, даже разделенным энергической поперечинкой) и выразительными бровями.

И вот сквозь толкучку, восьмерками по двору, собственным своим, когда надо, фонариком разгоняя потемки, я такое лицо нашел.

— Фамилия.

— Строганов.

— Знатная фамилия. В армии кем служили?

— Старшиной — последний год, товарищ лейтенант!

— Старшиной и назначается. Комендантского взвода. К утру надо сформировать. Вот, познакомьтесь с ведомостью — личный состав и что надо получить. Возьмите фонарик!

И немного спустя:

— Сейчас девять тридцать. В десять ноль-ноль явитесь сюда, на это самое место, с четырьмя отделенными: два строевика, из них один пулеметчик, затем — хозяйственник половчей, хорошо бы из снабженцев, и толковый обозник, чтобы знал лошадей. Выбирать лучших из лучших!

— Как же, товарищ лейтенант...

— Никаких «какже»! Личная инициатива. Настойчивость. Сознание долга. Выполняйте приказ!

— Есть выполнять!

Знаю, иной непременно усомнится поверить, но через полчаса точно пятеро бойких, отчасти и с шельмовскими бемолями в головах, взяли меня в кольцо, получая задания. К полуночи же — тридцать три, если не богатыря, то, ей-Богу же, весьма ладной стати запасника значилось в моем списке. А на внешнем плацу, за зданиями, бочкасто высвечивались в мелькании фонарей двойные кухни, пахла кожей и дегтем сваленная на фуры сбруя, и двенадцать разномастных коней фыркали и копытили землю.

Мы даже успели до рассвета поспать, а когда ободняло — пришел, тоже, видно, вздремнувший, рыжий майор, сказавшись начальником штаба; после моего рапорта и всё осмотрев, заморгал глазами (как выяснилось потом — всегда моргал, впадая в неофициальные эмоции), а перестав моргать — вынес мне от имени командования полка благодарность.

2

НА МАРШЕ

— Товарищ лейтенант, а где же восставшие трудящиеся?

Это мы идем по узким, стрельчатым, обсаженным, кажется, ясенем польским дорогам. Я и мои тридцать три. Служить в армии случалось мне и до и после этого похода, но такого славного подбора никогда не встречал — молодец старшина! Исключая полдюжины умельцев постарше — всё молодежь, комсомольцы, и сам он (после первого же привала) комсорг. По команде «Становись!» вскидываются все тридцать три как один. Но об этом — после.

Покуда ж — идем. И это на ходу задают мне неловкий вопрос о восставших трудящихся. Отделяюсь полушуткой: «Что они, куропатки — трудящиеся, мотаться по жнивьям?» Но по мере того как углубляемся и минуем селенья — отсылаю за ответами к комиссару.

Да, во взводе моем — батальонный, с двумя шпалами, комиссар. То ли мало было меня, беспартийного, охранять штабных, то ли просто девать этого комиссара было некуда. Звали его Каширин, был он из хозяйственников, корпусом чуть приплюснут и чуть обложен жирком. На посылки мои к нему сперва огрызался («Сам,

что ли, не смекнешь, что ответить?»), но я напоминал ему его ранг и близость к начальству, и он замолкал с достоинством.

О нем — тоже после. А сейчас, чтобы быть точным, — еще об одном прикомандированном к моему взводу случае, из тех совпадений, которые сопутствовали мне всю жизнь. «Случай» звался Фомой и известен был всем стихотворцам страны, потому что заведовал соответствующим сектором самого крупного в ней издательства. Когда-то мы сидели с ним на одной парте, потом разошлись лет на двадцать, и вот свело нас опять. Был он, как и я, лейтенантом запаса, страдал язвой желудка, и из-за этой, должно быть, немощи втиснули его в мой штабной, поуютнее, взвод. Итого, значит, личного нашего состава было тридцать шесть душ.

* *
 *

Шел наш взвод в голове полковой колонны; очень может быть, что и всего нашего направления. То есть, разумеется, были перед нами боевое охранение и дозоры, но больше, видимо, впереди не было ничего, — эта авангардность ощущалась очень, и вместе с утренним ползучим туманом шагала с нами по обочинам почти болезненная настороженность.

Подогревали ее без устали разные слова-пугала, вроде: «бдительность», «боевая готовность», «осадники», последнее — особенно со значением: так назывались польские хуторяне, осевшие там и здесь на этой белорусской земле и будто бы грозившие нам сию минуту засадами и отпором врасплох. На марше и на привалах так и сыпали политруки вокруг этим жупелом:

- О-сад-ни-ки...
- ...ад-ни-ки...
- ...ни-ки-и...

Поэтому, когда вдруг впереди, километров, может быть, за пять, если брать на слух, треснули выстрелы, — колонна застопорилась, не дожидаясь команды, и застыла. Стало слышно вдруг сзади фыркание пары, запряженной в повозку с пулеметами, где ехал также мучимый болями Фома, беглый топот чьих-то сапог по гудрону и приглушенные команды. «Батальонных связных к начальнику штаба!» — раздалось за спиной и покатилося эхом вниз по колонне. Я ждал приказа рассредоточиться, соображая, как тогда быть с повозкой. Каширин с посеревшим лицом шарил по мне глазами, будто спрашивая, что делать. Я попросил его распорядиться, чтобы с пулеметов сняли чехлы.

Выстрелы между тем, сперва словно бы залповые, потом одиночные, прекратились. Проехал вперед конный разведчик. Немного спустя сам начштаба, уже знакомый нам рыжий майор, вышел рядом со мной на обочину, разглядывая даль в бинокль.

Рассеченная стрункой дороги, даль эта была пуста и белёса. На живьё слева чернели грациные стаи, похожие на кишмиш; справа была низина, пригорок и из-за него, у горизонта уже, серый гребень какой-то крыши и острые маковки тополей.

— Лейтенант! — повернулся ко мне майор. — Возьмите связного и — осмотреть это здание за холмом, отсюда полвыстрела, видите?

— Вижу, товарищ майор.

— Захватите оружие, не на свиданье идти!

Насчет оружия: тоже и позже, в начале большой войны, командирам запаса, кроме винтовки, оружия не доставалось. Допотопная эта винтовка мешала справляться с картой, делать записи, кроки и просто двигаться, будь она проклята!

— Старшина!

Тут же влетела мне в руку берданка (это чуть легче), и связной пришагнул, плечо к плечу.

И мы тронулись.

До пригорка было шагов двести, и я запомнил их как первый в жизни моей искуc на отвагу.

Потому что вместо отваги ощущал только страх, что, вылезши на гребень, окажусь во весь рост в виду осадничьего, быть может, гнезда, на мушке какого-нибудь партизанского самопала. Был весь в натуге, как бы страх этот не выдать, как бы не споткнуться под тысячами глаз за спиной о проклятые кочки, по которым шли. Полдюжины родичей-воинов мне приходило на память, славных боевой ловкостью и бесстрашием, а потомок их чувствовал себя беспомощно и ущербно...

— Мы — как, товарищ лейтенант, прямиком через этот увал или обойдем? — спросил, ровняясь, связной.

Он был самый, пожалуй, небогатырский из моих тридцати трех, этот связной, мне почти по плечо и не очень молод, но вопрос задал так, словно шли мы с ним по грибы, и тем самым разом вытолкнул меня из ущербности — следующую сотню шагов я уже переключился с «я» на «мы»... В самом деле, можно было и обойти увал, сходящий с краю пологим скатом на нет, то есть не стать мишенью для засадных пуль, но это значило дать кругалю на глазах ожидающей сзади колонны.

— Прямиком! — сказал я. — Или боязно?

— А я, между прочим, сам с вами вызвался. Попал под ружьё — бей на отвагу. Как говорится: либо грудь в крестах, либо сам в кустах.

Он полуобернулся ко мне, говоря, и я сразу же вспомнил эти мёлкоголубые и пряткие, вразбежку, глаза, — давешней ночью он молил меня перевести его в строевики из обоза, и из-за этих смысленных глаз я разрешил.

— Как звать-то?

— Клим. И отец Клим был. И Климов — наше фамилие... Раз засёк — больше голову не ломай.

С гребня, когда поднялись, осадничий двор — как на ладони. Дом вытянут ящиком вдоль яблоневого, должно быть, сада, по крылам — пирамидальные тополя. Шесть тусклых окон таким глянули «дотом», что снова захолонуло, но тут же рука сама перехватила наперевес берданку, и пошли вниз. Боковой наш дозор должен был, конечно, здесь прочесать, но... В общем, несло нас бездумно навстречу этим окошкам, как, должно быть, несет, не видя еще врага, когда начинают атаку, и это, что ли, зовется храбростью?..

Подходя, разделились: Клим — за дом, оглядеть сад и службы, я — с фронта, в парадную дверь; с берданкой наизготовку пнул нижнюю фрамугу ногой.

Дом был пуст, со всеми следами поспешного бегства и сладким, тягучим запахом яблок, сваленных в кладовой или в подполе. Кухонная дверь стояла нараспашку. Тут же, едва набил я трубку, появился в ней Клим.

— Никого, товарищ лейтенант. Разрешите скрутить?

— Скручивай, а курить будем на ходу.

Присев на мешок с брикетом, он свернул козью ножку — очень в лад его мелкой, сложившейся сейчас перочинным ножиком фигуре, проворным пальцам под бегающими живчиками глаз. Почему-то я сказал ему «ты», хотя других выкал, а он был много их старше. Я хотел спросить, с какого он года, но где-то застрекотал самолет, и мы оба высунулись через порог. Шумный, как молотилка, пролетел в тыл У-2, а едва проводили его глазами, следом раздался топот — глухой по проселку, стремительно накатывающийся галоп. Докатился и замер где-то рядом, рукой подать: кто-то — было ясно — доскакал до двора и спешился.

Прижимаясь к стене, обогнули мы угол — пусто. Еще один угол, уже к фасаду, готовые к встрече — никого!

— Что за дьявольщина!

— Никак нет, товарищ лейтенант, вижу! Вон она, лошадь, глядите, под яблоней. Седланная... видите?

Действительно: лошадь. В самой садовой глуби, и потому не сразу заметил. Под седлом. Почему-то первой прочего бросилось мне в глаза, когда подходили, это седло, офицерское, желтой кожи, с перекинутым через него на чужую сторону вторым стремянем.

Гнедая кобылка, прильнув к яблоневому стволу, носила боками, мелко дрожа всей кожей и всхрапывая алыми исподу ноздрями. Агатый глаз дико косил на Клим, ухватившего мундштучные повода.

Он и сам дрожал, Клим. Помню, поразило меня его лицо — восторженное, с глазами, переставшими бегать, покрупневшими и будто подсвеченными изнутри, — когда обглядывал крутизну шеи, глянцевою холеную шерсть, чуть взмокшую под сливочного цвета

потником с вензелем в углу. «Товарищ лейтенант... — говорил он, теребя смоляную холку и почти задыхаясь от возбуждения, — ведь это чудо что! Ведь настоящая полукровка, либо даже стопроцентных кровей. Бабки какие, вы поглядите!»..

Отчасти я восторг его разделял. Где-то у Чехова есть одно описание, из которого запомнилась мне навечно одна строка: «Передо мною стояла красавица, и я понял это с первого взгляда, как понимают молнию».

Пленница наша была красавица. Притом — не одними только конскими своими статьями, но обобщенным, я бы сказал, выражением красоты, где бы ни встретилась, — в лепке, в красках, в игре светотени, в тайном излучении гармонии и женственности. Да, тоже и женственности. Инфантерия духа может ржать надо мною сколько угодно, но под двумя парами разглядывающих ее глаз кобылка эта несомненно ощущала свою природную бабью суть: еще не кончив дрожать, переставила несколько раз точеные ножки; прижав одно ухо, перевела маленькую голову в некий выжидательный четверть-оборот (так ждут иной раз на балу приглашения на танец), и в выпуклом ее черном глазу — я готов был поклясться — сквозь испуг просачивалось теперь любопытство.

Клим влюбленно поправил рукой шелковистую челку, нависавшую на этот блестящий глаз.

Всё это в таких подробностях припоминаю я, отчасти и домысливаю, лишь теперь, а тогда объяснял эту нашу неожиданную добычу в темпе и по-разведчески: хозяина ее, польского офицера, сшибло только что в перестрелке, и она ускакала прочь от выстрелов и, думаю, от нашего У-2.

— Значит, Клим, мы с трофеем. Бери в повод и пошли.

С рукой на луке он обернулся ко мне рывком, готовый, я понял, испытать трофей на ходу, но угадав, что отвечу, увял, подтянул на нет стремя и, посунув пальцем, пустил свободней подпругу.

— Ты, Клим, я вижу, лошадики! — сказал я ему, когда тронулись.

— Да я же в коневодстве имени ...ова работаю, с упряжными. А допреж работал на Терском конзаводе, Ставропольский край, там чистокровных верховых разводили, арабов и английская смесь. Сиглави — тоже, аккурат на эту нашу похожа, аллюр — чай налей в блюдечко, — не расплещет. Порода у нас много разводится — буденовская, кустанайская. Буденовские — поглубей, хотя по выносливости их лучше нету. Ахалкетинская порода, это у гор Капет-Даг, всех знаменитее. Англичане завиствовали, жеребцов у нас добывали. Но вам, может, товарищ лейтенант, про лошадей — без интереса?

— Я мальчиком в кавалерийском полку рос. Отцовском. Но, конечно, не такой по этой части профессор, как ты.

— Меня ж было веттехником аттестовали, — года не хватило, до семилетки не дотянул... А вас как увидел, да через этот трофей наш — сразу как осенило: свой!..

Диалог, который так гладко сейчас передаю, на самом деле был весь на шагу, в подскоках и пританцовываниях; Клим то отставал, то нагонял меня и шел избоченясь, с поводом над головой, выглядывая вымахи маленьких, похожих на раковинки копыт.

Я пропустил их вперед — посмотреть тоже. Ноги-струнки в желтых чулочках от путового сустава почти до колен ступали по квелой траве певуче, как смычок по струнам, откидывая в стороны брызги росы. Не добравшись до гребня, Клим вдруг свернул на поперечную тропу и затрусил, проверяя побегку. Чудо была и побегка.

— А? Товарищ лейтенант! — крикнул он мне, пятясь шагом назад и сияя во всё лицо. Поступ какой! Царевна! Панночка!

— Панночка? Пусть так и останется, как ты придумал. Нужно же ей имя.

— Панночка! чисто так...

Колонна открылась нам с гребня, уже рассыпающаяся по обочинам; приказ на привал был, видно, только что дан, и четырехугольники рот, мелькая штыками и вскидываемыми на ходу скатками, сыпались в сторону, как стручки, расщепляемые ногтем вдлинь. Было занятно смотреть.

Начштаба стоял с полковым комиссаром у края кювета. Я чуть замешкался, кому докладывать, но он, оказывается, давно зацепил глазами лошадку у Клима в поводу и пошел навстречу, не слушая рапорта. Долго охлопывал ее по крупу и шее, перебирая пальцами блестящую гриву и раздувая при этом ноздри, проросшие рыжим волосом. Потом повернулся ко мне:

— Так как, говорите, откуда лошадь?

— Военный его трофей при выполнении боевого задания, — сказал подходя комиссар. Он был кадровый, молод и очень располагал на вид. — Здорово, лейтенант! Поздравляю!

— Лейтенантам по штату лошадь не положена.

— Что не положено? Военная добыча? Оставь, майор. Зачисляйте ее, лейтенант, на довольствие.

— Есть — зачислить!

Я приказал Климу отвести Панночку в обоз, к нашим лошадям. «Потом подойду сам!» — сказал я ему.

«Подойти» удалось только через сутки — столько нагнетено было на марше ненужной нервозности и суеты. Само высокое начальство, думаю я теперь, вряд ли чего-нибудь опасалось, но бдительность, как я уже говорил, щедро спускалась на низы. Вот и сию минуту, на привале, тема «осадники» мололась на все лады.

Отправив Клим, я стал разыскивать глазами Каширина и старшину, но не было обоих. Спустив ноги в кювет, сидел на травяни-

том скате Фома. Судя по блокноту в руке, которым мне помахал, боли его пока что оставили.

— Видел, видел твою кавалерию, как же! — сказал он. — Хороша! Даже и —

Засёк ее в походных кантах,
Как на прицельной полосе
Шла балериной на пуантах
По жухлым кочкам и росе...

Меня здесь оставили за старшего — Каширин и старшина с первым отделением укатили на грузовике куда-то вперед. Задание. Какое — узнаем после.

Узнал только я, — секретность на все была у нас дикая, но Каширину, видно, велено было мне рассказать. Перестрелка впереди, оказывается, произошла между нашим охранением и какой-то случайно отставшей от своих польской заставой — поручик, капрал и пятеро солдат. Да и перестрелки собственно не было, просто наши увидели людей в чужой форме, открыли огонь и перебили всех. «А нам был приказ, понимаешь, — говорил мне Каширин, — обеспечить политически, так сказать, колорит. Убрать убитых солдат, а офицеры оставить на обозрение. Воспитательное, понимаешь, внушение».

Это мы уже снова шагаем, и он со своей группой присоединяется к нам на ходу, и мы проходим мимо «внушения» (двух светлозеленых мундиров с серебром), и я не в первый уже раз думаю о том, какие тонкие мастера и даже фанатики такого рода внушений нами сейчас управляют. Вспоминаю Серафимовича «Железный поток» — со стороны литературной гиль совершенную, но объявленную высоким эпосом опять-таки ради внушения: герой-вожак заставляет замученную и оголодавшую людскую лавину сделать тридцать верст крюку, чтобы показать ей пятерых удавленников, повешенных белыми...

— Пропал Климов, товарищ лейтенант! — говорит старшина, наставив на меня свой крутой, как у маршала Жукова на коринском портрете, подбородок. — Или услали вы его куда?

— Да, в обоз, смотреть за нашим трофеем. Временно...

3

В МЕСТЕЧКЕ М.

Это в учебниках называется «обнажением приема», но всё равно, пусть! «Ух, гора с плеч!» — говорю я, закончив две первые главки, то есть запустив в сюжетный вираж этой полудокументальной повести свою полугероиню и полувлюбленный в нее треугольник: я сам, Клим и рыжий майор.

Дальнейшее наше взаимодействие я когда-то заносил на бумагу по свежим следам. Записи остались в Москве и пропали, но припоминаются довольно легко из-за устойчивости, какую приобретает для пишущего легшее на бумагу слово, и еще, может быть, из-за самой обстановки, в которой велись. Об этой обстановке, руша временную последовательность повествования, я сейчас расскажу.

Это было уже в конце нашего освободительного похода. Голубоватые сентябрь и октябрь сменились ноябрем с небом брезентового цвета и залитыми пепельной пузырчатой жижей дорогами. Тоже и улицы надо было перепрыгивать по набросанным кое-как кирпичам. Мы стояли в мерзком местечке М.

По своей должности командира комендантского взвода был я на пространстве, занятом штабом и его присными, и охраной, и квартирмейстером, и обслуживанием за всё. Дом для себя самого занял пятиконный с розовыми наличниками и ставнями, словно бы перенесенный сюда с замоскворецких задворков. В подвале был ренсковый погреб, ключ от которого должен был я хранить цербером, пресекая любые со стороны вождения. Средних лет мещанин, испуганно заросший по всему лицу темным волосом (хозяйский сын, как потом оказалось), открыл мне дверь. Кое-что занятное насчет погреба отложу на потом; насчет дома — приведу сейчас.

Мы поселились там втроем (я, Фома и Каширин) в большой горнице, перегородив ее шкафами с посудой.

А на следующее уже утро, чуть свет, явилась ко мне делегация от местных граждан.

— До пана коменданта... — сказал глава делегации, в парадной тройке и котелке, вытаскивая из подмышки канцелярскую в тесемках папку и кланяясь. Он распеленал ее дрожащими пальцами, и оттуда выпросталось нечто похожее на бумажного змея, с бумажным же хвостом, свесившимся тотчас же до полу и покрытым множеством подписей-закорючек.

— Podanie! — сказал главный делегат, кланяясь снова. — Петиция, проше пана...

В петиции, писанной русской каллиграфической прописью с ятями и ловко расчеркнутыми «д» и «у», содержалась просьба вернуть Царя Николая на прежнее его местожительство и к прежней деятельности, полезность которой (следовали примеры) подтверждали семьдесят местных жителей, «подписующихся к сему собственноручно и верноподданно».

Припоминая теперь этот — не выдуманный — эпизод, я не без конфуза вышелушиваю из тогдашней своей ошарашенности ощущение страха; на полминуты всего, потому что тут же и проясняется, что Царь Николай — фамилия и имя нашего хозяина, которого «изъяла» опередившая нас главная волна освободителей, но — страха! Бессмысленного, из ничего, вспрыснутого всем нам под

кожу безумием наших дней; так что отнюдь не случайно я тут же окликнул себе в помощь еще спавшего Каширина.

Он высунулся было в дверь в одних подштанниках, но узнав, в чем дело, посерел лицом и, одевшись, стремительно повел чартистов к начальству.

*
*
*

Небритого хозяйского сына мы с того дня стали звать Царевичем. Был он диковат и как-то недовоплощен, общался с одной лишь приходящей стряпухой, готовившей для него eintopf-варено на несколько дней, и боровом, которого звал «Петрусек» и откармливал к рождеству. Жил Петрусек в снях, за решетчатой стенкой, огромный, прожорливый, и, когда слышал мимо шаги, начинал реветь, как медведь, колотя копытами по приткнутой двери и обдавая проходящих кислой вонью своего стойла. Я его не терпел.

С тоски и безделья вечерами мы резались в карты. Первое время — в железку, и к нам просительно-робко примкнул Царевич, в котором, оказывается, таился взрывчатой силы азарт. В одно из таких ночных бдений он проиграл мне всю валютную свою наличность — стопу ассигнаций, которые притаскивал по частям из каких-то горшечных сейфов. Мне везло, и это был настоящий у нас с ним поединок.

— Винница, проше пана! Три тысячи злотых! — сказал он задыхаясь, и возникло неловкое молчание, поскольку ключ от винного погреба был у меня в кармане, а некоторые актуальные принципы «освобождения» не были еще Царевичем осознаны. Выручил Каширин, воткнув в какую-то невнятицу слова «секвестр» и «пока».

— Тогда — Петрусек. Тысяча злотых!

Проиграл он и борова. А когда, уже к утру, поднявшись из-за стола, я вернул ему всё выигранное, — обрадовался, как пятигодовалый, которому отдали назад игрушку, и все митусился, как поквитаться.

— Панове, я Петруска наавтра же зашляхтую, — просунулся он в дверь, когда мы улеглись уже спать. — А то, може, вас на святках не будет, а я хочу угостить.

Наавтра, по его просьбе, я без ущемления совести пристрелил борова из берданки, и мы неделями после получали к казенному харчу приварок.

А играть продолжали уже втроем, в преферанс.

Я понимаю, что замедляю безбожно разбег своего повествования, но не было никакого разбега в нашем тогдашнем быту, и как раз об этом надо мне рассказать.

По утрам занимался я часа три со взводом. Официально — уставами, но сверх того — всякой книжной всячиной. Выше уже хвалил своих подопечных, но хочу еще и сейчас сказать, что такой жадной к знаниям молодежи в других краях не встречал...

Потом Клим, который напросился ко мне в связные, приносил из штаба приказы. Выполнял то, что касалось меня, шли мы к Панночке. Если не дождило, Клим седлал ее, и я выбирался на ней за околицу — огородами, чтобы не мозолить майору глаза (не давал мне проходу, выпрашивая ее для себя). За околицей была хорошая грунтовая дорога, еще не расквашенная машинами, и вела в буковый голый лесок, который я объезжал уже по тропам и просто по полю, через рытвины и межи. Проминка эта занимала час.

А если шел дождь либо крупя — дело ограничивалось сахарными подношениями и обсуждением призовых панночкиных статей. «Раздобыл, товарищ лейтенант, сантиметр, — 140 росточек в холке! арабская, точно!.. Ветеринар наш позавчера приходил, он хоть и со шпалой, но парень дремучий. «В холке, говорит, правильно, а в косо́й длине коротка». Как, говорю, коротка! аккурят 152, настоящая Сиглави. Тоже мне, габаритами вздумал подшибить, — нет, на понт меня не возьмешь! Еще: «Разношерстная она у вас», говорит, «хвост черен». Ах ты, думаю, ботало коровье! Это самая, тычу ему, арабская порода и есть, когда гнедина-гнединой, даже и с ржавчинкой, а грива и хвост — смоляные»...

Она снисходительно слушала наши восторги, Панночка, представляя копыта, которые Клим расчищал гуталином, и востря уши. Однажды, с головой между нами двумя, даже заржала чуть, польщенно и ласково. «Завсегда так встречает меня по утрам!» — похвастался Клим, и она мотнула на него головой совершенно так, как отмахнулась бы какая-нибудь Кармен веером от комплиментщика-ухажера; потом, учуя, может быть, мою ревность, тронула мой локоть вытянутой бархатистой губой.

Фома захватил из дому подборку стихов для грядущего сборника. В нудные вечера, если не лежал с горячей бутылкой на животе, корпел над листками, дописывал, перечеркивал, крупно морща лоб над желтой кляксой полукоптелки. Не знаю, испортилось ли местное динамо, но светились мы керосиновыми лампешками с плоским фителем — очень на руку Каширину, который на политзанятиях многократно и патетически восклицал: «А у нас! Где у нас нету еще лампочки Ильича? А? Что скажете?»... Был у него, кстати уж рассказать, и еще один козырь. Началось с того, что на утренней как-то поверке старшина отвел меня в сторону: «У вас, товарищ лейтенант, вша на переносице, разрешите снять»...

Царевичу было приказано вытопить баньку, и он, рассуетившись, отвел меня туда чуть не под руку, снабдив длиннейшим вышитым петухами полотенцем. Банька, однако, как выяснилось,

топилась по-черному, и я, стыдно сказать, оказался к ней совсем непригоден: едкий торфяной смрад висел почти над полом; вода в бочке, подогретая раскаленными булыжниками, была грязно-рыжей, и ее нельзя было зачерпнуть, не привстав, то есть не подставив дыму глаза. Согласовать все это я не мог, да и вызвали меня в штаб неожиданно на самой середине попыток. А утром на политзанятиях Каширин: «Слыхали? Лейтенант наш вчера помылся — одни успел сполоснуть! Курная баня! Вот вам и буржуазная цивилизация. А?!»

Но я отвлекся опять. Суть же в том, что, глядя на Фому и его листочки, потянуло меня самого писать. В отгороженном моем закуте — раскладушка и качкий стол, но писалось резво. Записывал я наш поход, кое-какие поярче других эпизоды, скупое, без обобщений, потому что спрятать тетрадку было некуда. Каширин! То ли от скуки, оставаясь без карточных партнеров один, то ли из бдительности, как он ее понимал, он смотрел на наши с Фомой писания с опаской, ворчал: «Черти писучие!» — и злобился. Был подозрителен и придирчив. В редкие наши беседы за ужином на злободневные темы обрывал Фому, вставлявшего к слову стишок, сам сыпал цитатами из передовиц, а на меня глядел выжидающе. «Помалкиваешь, Леонид?» — спросил раз с недобрый прищуром, впервые назвав по имени.

С Фомой были мы откровенны. «Зачем нам — в Польшу? Четвертый раздел?» — спрашивал я. — «Оборонная, может, необходимость. И разве места эти, где сидим, не Белая наша Русь?.. Кстати, хотел спросить: ты в своих записках не подпускаешь ли крамольного духа? Чтоб у кого-нибудь не защипало в носу?»

— Понимаю. Нет, у меня всё пресно.

К этому времени я уже знал, что Каширин тетрадку мою прочитывает. Может, само занесение на бумагу фактов казалось ему преступлением, вроде разглашения военной тайны. Что делать?.. Он не был законченным стукачом, Каширин, но сидело в нем что-то стервятное — тяга к оказиям, где можно было проявить себя бдительным... Немного подумав, я очередную свою запись закончил так:

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, — как хорошо, что у нас во взводе есть комиссар Каширин! С ним не ошибешься идейно, не свернешь с правильного пути».

Плагиата из Тургенева, я знал, Каширин не засечет, а с большой буквы Родина и все в целом должно было сработать.

Так и вышло: через день он смотрел на меня влюбленными глазами.

.....

Как я уже говорил, записки мои не сохранились. Отдельные очерки, однако, запомнились хорошо, даже и заголовки. Это: «Ли-

да» — первый город, в который тогда вошли, «Ночь в Дуниловичах» — трагический апофеоз страха, которым начинало нас начальство и политруки, и романтические, как увидит читатель далее, «Подлипки».

А сейчас — к началу, то есть снова — в наш на запад катящийся марш.

4

ЛИДА

Идем...

Идем уже около двух часов без привала. Стрельчатое шоссе пусто впереди. Редкие за обочинами крыши — без дымков. Никто хлебом-солью нас не встречает.

Ходить я не мастер, и уже дважды приотставал к пулеметной нашей повозке: пару слов с Фомой, руку на задник — и как будто легче ставится шаг.

Сзади:

— ... ирина ... чальнику штаба!

— ... сара ... ширина к начальнику штаба!

Начальник штаба где-то в середине колонны, верхом на рослом в линючих яблоках мерине; он на нем — как довесок на хлебной буханке.

— Комиссара Каширина — к начальнику штаба!

Каширин семенит в тыл с растерянным лицом. Их два лица у него: растерянное, как сейчас, и тогда приоткрыт рот, и ответственное — тогда выкатывают над скулами желваки и на переносице — складка.

Возвращается он со складкой: будет привал, обзор и политвоспитательный инструктаж — входим в большой город! «Мы первые, понимаешь? Подтянуться, глядеть веселей и главное — никаких отлучек из части. В экстренных только случаях отпускать. Чтобы не кидались по лавкам. Тут у них снесь всякая, товары... частная, понимаешь, торговлишка. Чтоб не марали честь...»

И на привале, Каширин же:

— Дисциплинка! Заправочка! И не паять глаза на разное там барахло. Купить что — с особого только разрешения.

— Как купить? Деньги у них другие!

— Если с разрешения, то так: злотый, валюта ихняя — рубль.

Понятно?

— А город-то какой? Как называется?

— Город? (после некоторого колебания: не военная ли тайна!)

Город Лида.

Тут под градом вопросов вступаю я:

— Город промышленный. Гродненской бывшей губернии. Есть

остатки замка Гедимины, литовского князя, это больше полтысячи лет назад.

Я рассказываю об этом князе, державшем когда-то в страхе-трепете наших киевских и новгородских князей. Мне вдруг не на шутку начинает хотеться увидеть развалины. Особенно — когда мы уже в городе, и обступает вокруг красная, вздернутая ввысь черепица, в издавнем моем представлении — всегда вещный признак другого духа, другой земли.

Но туризма не получается, вместо того — неожиданное и совершенно другое.

— Ага, лейтенант! — перехватывает меня уже на расквартировке полковой комиссар (узнал его фамилию: Гришин). — Поручается вам война с барахольщиками. Вот, глядите сюда (он водит пальцем по планшетке с картой города): эта вот площадь с ратушей и кварталы вокруг — наши, и чёрт догадал! весь тут как раз местный ГУМ и торговля. Патрулируйте прямо из лавки в лавку. Пресекайте барахольство на месте, удалять без никаких!

— Но если окажутся старшие командиры...

— Окажутся, главным образом, младшие. А старшим представляется, говорите: «комендатура» и — «просим, товарищ капитан, или кто он там будет, тут не задерживаться». Всё. Захватывайте связного и двигайте!

Одно из сквернейших моих воспоминаний, это «двигайте!», четыре часа нашей стоянки в Лиде — белкино колесо, битва моя с многоголовой гидрой, ошалевшей от роскоши прилавков и витрин. Не забуду особенно глаз этой гидры — восторженных, алчных, сменяющих этот восторг и алчность на недоумение и вражду, когда обращались ко мне. Собственный мой связной Рябов, бойкий парикмахер из Подмоскovie, смотрит на меня с укоризной: как запрещать другим то, что страстно хочется самому! как глядеть равнодушно на чужие руки, расхватывающие редчайшее на полках добро! Случай! улыбка судьбы! Неповторимость! А ты прячешь жадные кулаки за спиной...

Бой мой с гидрой — калейдоскоп, чёртова карусель: лица, рожи, оскалы, мольбы и застрявший где-то в гортани мат, покорство и отпор, умильность и презрение. «В порядке, лейтенант! — цедит сквозь зубы высокий майор в ответ на мое представление (он и еще какие-то шпалы в петлицах выбирают в ювелирном магазине серебряные портсигары). — Всё в порядке. Можете быть свободны!»

И я не решаюсь с ним связываться.

— Лейтенант, голуба моя, или вы не женаты? — Это капитан-замухрышка из нашей, кажется, саперной части. Он ворошит растопыренной пятерней нечто батистово-кружевное у стойки дамского конфекциона, и на его вывернутом ко мне лице просительная сладость и умиление. — Не женаты? А у меня их трое — жена и две

дочки. Шесть ножек, три заднички. Вот только бы не рехнулись от счастья, ежели получат. Каждой по две пары чулочек купил, каких у нас и не видавали. Продавец-старик чешет по-русски, как мы с тобой. И остряк! Гладить, спрашиваю его, чулки эти можно? «Можно, — говорит, — но не выше коленки»...

В «кожаных изделиях» (Wyroby skórzanе) внезапно — Каширин. Я подумал было, что с тем же, что и я, назначением, но — нет, карманы шинели топырятся, и в руке открыто болтается ладно увернутая коробка. Может быть, впрочем, задание есть и у него, только иное... Протолкавшись ко мне, говорит на ухо, отстранив Рябова локтем:

- Сочувствую! Не захватить ли чего-нибудь для тебя?
- Табаку трубочного, — говорю ему, — хорошо было бы.
- Чего еще?
- Еще видел я тут шоколад, две плитки за злотый.
- Будет сделано! — говорит он и идет к выходу.

К концу уже, под горниста «сбор» возвращаясь, язык на плечо, сталкиваемся на углу площади с Климом — пола шинели подвернула у него к ремню и в ней — звяк.

- Тебя кто отпустил, Клим?
- Старшина. Он за комвзвода остался.
- А что звенит в подоле?
- Да пустяки, товарищ лейтенант. Скребничка Панночке нашей новая, куриных банка концервов и эта вот лобуда... — Он оттопыривает полу, и мы с Рябовым видим ворох столовых приборов — вилки, ложки, ножи.
- Это куда ж тебе столько? Здесь больше дюжины.
- У меня в дому, когда скинемся, меньше за стол не садится.

— Неси обратно.

— Никак немислимо, товарищ лейтенант. Первое — почему? Плачено за всё точно, как комиссар указывал: злотый — рубль. Второе — уж и хозяин домой смотался, подчистую всё разобрали. Было навалом, но и охотников перебор, даже и позубатились. Один впятеро больше моего захватил — сотенной облигацией рассчитался, займом...

- Надул, выходит?
 - А нето их, торгашей, надуть грех?
-

Позже, к вечеру, снова вышагивая километры, я вспоминал про себя это «грех ли надуть?» — знную мутацию крылатой прудоновой глупости насчет собственности-воровства. Какими корнями прижилась она к душам Клима и легионов других? дикостью? завистью? бунтарством? И как наперекор она их же, легионов, жажде приобретательства, тяге к вещам, органической и, может

быть, даже и спасительной: вешное окружение человека в свою очередь создает и выражает его; выразительный — он сильней. Не против ли этого — ярлык «барахольства»?

.....

Ночной привал в огромной помещицкой риге с недомолоченными снопами на колосниках. На сброшенных вниз снопах и сидим: Фома, старшина, я и Клим с лампой-молнией в руках, от которой под крышей — похожие на огромных птиц тени. Курить нельзя, и это наводит угрюмость.

— По части барахольства многие командиры наши маху не дали! — мрачно говорит старшина.

Говорит и оглядывается: сзади, тоже у лампы-молнии, проводит политбеседу Каширин. Задача: нейтрализовать шок от встречи с местным богатством прилавков. Я не вижу, но догадываюсь, что в руках у него коробка спичек, которой он размахивает — птицы на колосниках начинают колыхать крыльями.

— Наши советские спички! — возглашает он. — Каждый знает, какую пустяковину платим мы за них дома. А заметили вы, сколько дерут за спички здесь? Во сколько раз они здесь дороже! А? Может, спрашиваю я вас, бедный единоличник-землероб не задуматься над каждой спичечкой, прежде чем ее вычеркнуть? А? Что скажете?..

— Лебедев-Кумач, песенник, — продолжает после паузы старшина, — приехал в Лиду с дивизионным оркестром. Так он, говорили мне, чуть не полуторатонку отрезами нагрузил — шевииот, драп, бостон, бобринк...

— Стойте! — оживляется вдруг Фома и, наморщив лоб, шевелит губами. — Минуту! Сейчас выдаю... Вот:

Бей, барабан. Труби, трубач!
Дуй, корнет-а-пистон!
Поэт наш Лебедев-Кумач
Стал Лебедев-Бостон!

5

НОЧЬ В ДУНИЛОВИЧАХ

Сохраняю здесь подлинное название этого местечка, не то деревни, не то села — не успел разглядеть, ни узнать после, но вошло оно в память мою таким нарезом, что заменить — значило бы словно обмануть.

Мы добрались туда, когда уже вечерело, измотанные гонкой, набухшими морсью шинелями, а пуше — нервозностью, которую снова в нас нагнетало начальство. «Что делает боец, находясь в

сторожевом охранении, если видит впереди приближающуюся фигуру?» — прорабатывали на привалах политуки. Отяжелевшее снаряжение тянуло к земле; сесть было слякотно; косил мелкий дождь; с боков напозлали сизые сумерки. «Чёрт возьми! — думал я. — По обе стороны от нас движутся другие наши же части, дозоры прочесывают места между нами и впереди. К чему это разжигание страха? Проводит с нами командование учебную маневренную игру? Или просто уступает всеоглупляющему напору политических нянек?..»

— По историческим идем дорогам! — шагая рядом, поднимает наше моральное состояние Каширин. — Иеремии Вишневецкого, польского магната, здесь ходили хоругви, а с Украины — Богдана Хмельницкого казаки. Семнадцатый век!.. Ну и наши, понятное дело, не раз двигались на запад полки.

«Верно, двигались, — думаю я, отмечая про себя эту почерпнутую из романов Сенкевича подкованность. — Но неужели с такой же опаской, так паскудно трусливо шла когда-нибудь по этим дорогам русская армия?..»

Остановились мы здесь, как уже говорилось, к вечеру и расквартировывались впопыхах, чтобы успеть до темна; штаб — в гмине, и рядом, в сарае, взвод; караул и пулеметы — у стены, лицом к движению. По сторонам темнели огороды, дальше — холмы. Ночь села разом и плотно, словно всё вокруг окунули в чернила. Погасив «молнию», я из ворот сарая следил, как все-таки, немного спустя, над холмами белесой проталинкой обозначился горизонт; под ним поелозили огоньки — роты устраивались на ночлег — и погасли.

Потом дождь кончился, расплзлись тучи, небо пошелковело, и в светлых полыньях зажглись редкие звезды. Мне очень хотелось подвесить над сложившимся вдруг покоем луну, но ее не было. Я даже вышел поискать ее по другую сторону гмины. Пулеметчики мои, укрутясь в плащпалатки, храпели дружно, и казалось, с ними заодно храпят и пулеметы в чехах.

Луны не было и на другой стороне; слабое приносилось с огородов ржанье — я разместил там наши четыре фуры и лошадей. Клим уже прибежал оттуда ко мне, весь загвазданный и чуть не плача: Панночка, оказывается, расковалась на переднюю правую, и ничего нельзя было сделать до большого привала. «Я ее три перехода по грунту вел, товарищ лейтенант, сам вышел без ног, дальше разве верхи поеду»...

Ночь. Далекое ржанье. Клим. Панночка... Пиши я что-нибудь менее документальное — непременно бы всё это обыграл. И присочинил бы сон.

Но сна не было, а была, когда вернулся в сарай, какая-то дремотная череда: квадратный мышинного колера раструб ворот

со звезднойверху полыньей — и провал в никуда; снова ворота перед глазами — и снова провал; ворота — провал...

И в последнем провале — это уж много за полночь, как установил я потом, — вдруг выстрел, эхом, как циркулем, вспоровший вокруг тишину. За ним, вперехлест, целая ватага выстрелов, дальних и рядом, глухих и трескучих — будто вытряхнул кто-то в ночь мешок шутих, и рвутся они теперь кругом нас как ни попадя. Вслед им — грохот по полу, стук дверей настезь, паническое: «Убирайте огонь!», «Куда ты, мать твою...», с молнией!» — топот ног по дороге и шлепанье тел в глубокие по обеим сторонам кюветы.

Как в чернильную ночь разобраться, откуда по тебе садят? помню, позже, в последнюю войну, помогали трассирующие пули; сейчас они повизгивали вслепую.

Содраны с пулеметов чехлы. Взвод — в обороне, фронтом на запад. Всё по логике и уставу, но и вполне нелепо: впереди, вдоль дороги, я знаю, — наша санчасть и музыкантский взвод. Впереди — мгла, всматриваться — начинают густеть и словно бы перемещаться живые тени. Но там — свои!

Выстрелы то смолкают, то трещат снова, перекатами, будто перебегая; почудиться может: нас окружают! Но на флангах — тоже свои.

«Фью»... «Фью»... — пропели две пули, и еще одна цокает в пулеметный щиток, срикошетив над моей головой. Цокает с нашей стороны, и меня озаряет: это паника! мы стреляем друг в друга!

— Может, дать очередь, товарищ лейтенант? — оборачивается пулеметчик.

— По ком? Видите вы противника?

Снова пуля, и один из фланговых моих, не выдержав напряжения, жмет на спуск. Выстрел.

— Не стрелять! — кричу я, свирепея. — Не стрелять!

— Кто приказывает не стрелять? — визгливо спрашивает голос с дороги. — Это деморализация!

— А кто вы такой? — спрашиваю я.

— Политрук первой роты.

— Так и идите к своей роте, не болтайте тут!

— Я доложу о вас завтра комполка.

— А я — о вас.

Завтра, после партийной летучки, этот политрук, совсем еще молоденький и неловкий, придет ко мне извиняться.

А сейчас подходит сзади Гришин, полковой комиссар. Я к нему расположен — какая-то в нем завидная цельность и почти дружеский такт.

— Ну, что у вас тут за обстановка? — говорит он и, предупреждая мой рапорт, садится на плащпалатку рядом со мной.

Я докладываю ему про пули с тыла и насчет паники, но вижу, что это известно ему и без меня.

— Ладим связь с батальонами, — говорит он, помолчав, — но по дороге хлещут больше всего; пока не развиднеется — никого не пошлешь.

«О-о-о»... — долетает из кювета, и немного спустя хрипло: «Лекпо-ома!»... Еще одно «О-ох!» и лязг упавшей винтовки. А сзади, за огородами, где наши конюшни, — взрыв и пронзительное ржание в несколько конских глоток. Оттуда кричат. Мы оба настораживаемся. «Санитара! Санитара!» — разбираю я. Не Клим ли?..

— Что-то стряслось в обозе. Может, послать разведать? Задамы не так опасно.

— Давайте!

Я окликаю Рябова, связанного. «Только ползком!» — приказываю ему, и он ныряет в потемки.

Стоны из кювета глохнут, человек, может быть, истекает кровью. А время — как застыло.

— Час до рассвета! — поднимается Гришин. — Если что необычное — докладывайте!

И уходит. Рябова нет и нет. Покуда я его жду, верчусь, отжимая с лопаток промозглость, думаю о том, что если не Фома, то Каширин мог бы быть здесь, а я сбежал бы в штаб погреться и покурить, — неожиданно начинает светать. На мгливой пелене перед моими глазами вытаскивает переплет голых веток; ниже — стволы придорожных вязов. Еще немного — и угадывается дорога, скатом и полудугой вниз. Над этой полудугой кто-то выписывает чуть разведенной тушью крышу, ворота с калиткой и мостик через кювет...

Стрельба незаметно кончилась. Вокруг еще непроснувшаяся серая стын, без птичьего предрасветного щебета и петухов.

Сзади шаги — опять же Гришин со своим связным и розовым глазом папиросы в руке.

— Можно курить! — объявляет он, и по цепи бежит радостное шевеление. Набиваю трубку я тоже.

— Пройдем с вами, лейтенант, до санчасти. Чтобы подобрали раненых. Говорит он это просто, но различим в голосе вызов: не мне — не трушу ли?, но всему только что сбросившему с себя панику окружению.

— Останетесь за меня, старшина!..

Мы едва успеваем шагнуть, как хлопает впереди, у дома на повороте, калитка — мелкая перебегают мостик фигурка и семенит по дороге вниз. Старик. Клок бороды белеет над развевающейся темной хламидой.

Выстрел. Старик падает и, перекутившись несколько раз, застывает на обочине.

— Не стрелять! — кричу я во всю мочь. — Не стрелять, говорят вам!..

Помнится, я приторачиваю к этому полумат — первый раз, может быть, в жизни, но потребность в таком довеске, делающем

весомей приказ, непреодолима и странным образом сообщает мне бодрость. Вероятно, и не мне одному.

— Ну-ну, лейтенант! — говорит Гришин. — Тронулись!

Мы идем на дорогу, мимо труп старика на обочине, похожего сейчас на лужу мазута, и — как выйти нам на прямую — случается с нами еще один неожиданный и удивительный случай.

По-обезьяньи стремительно выкарабкивается вдруг впереди из кювета солдат, без пилотки, в расхлестнутой шинели и, так и не выпрямившись, подкатываясь на четвереньках, бросается нам под ноги.

— Пане офицер... — лопочет он, захлебываясь, толоча, как в ступке, русско-украинские и польские слова. — Пане офицер, я не есть коммунист, я есть враг до советов, до Сталина, тѣго лютого пса. Не велите стрелить, пане вельможный, я не...

— Ты что, ополоумел? — говорю я.

— Помолчите, лейтенант, — обрывает Гришин и брезгливо вытягивает из цепких пальцев полу шинели. — Значит — враг?

— Так... так... — кивает солдат и вдруг застывает, вскинув на нас лицо. Этого мелового искаженного догадкой лица с черной дырой рта не могу и теперь вспомнить без содрогания.

— Где ваша винтовка, бывший боец Красной Армии?

— У канаве, пане... товарищ...

— Показывайте!

Винтовка действительно на дне кювета, полуутопленная в бурой жидали. — Возьмите! — кивает на нее связному Гришин. — А этого — в штаб. Охранять, покуда не ворочусь.

Мы идем некоторое время молча. Недалеко от санчасти навстречу — два санитары с носилками.

— Бегом! — приказывает им комиссар. — Придется мобилизовать там всех подчистую. А вы шлите на помощь им отделение. И лично всё прочешите кругом. Боюсь, подстреленных будет порядком!

.....

— Тринадцать! — доложил мне старшина с листком в руке, куда писал раненых, когда я, минут через сорок, вернулся в санчасть. — Везем в санбат! — Фордик-полуторатонка с откинутым, в кровяных потеках бортом стоит рядом. Я стараюсь миновать глазами то, что в кузове. — Есть и убитые... — добавляет вполголоса старшина.

Фордик тронулся уже, когда запыхавшийся и почти не в себе прибежал Клим. — Рябов! — кричал он еще издали. — Рябова ранило! Там, на огородах!..

Я взял с собой санитаров с носилками.

Рябов лежал на спине, влипнув всей длиною в межу, — огородные будылья рядом почти скрывали его от глаз. Я наклонился: рана в живот, пуля разворотила подсумок. Я осторожно тронул рва-

ный кожаный угол. Ниже пунцово набухло пятно, окровавив мне пальцы.

Он открыл на меня глаза:

— Выполнял ваше приказание, товарищ лейтенант... — почти беззвучно зашевелил он губами. — Теперь вот... конец...

— Ничуть не бывало. Ударило в подсумок, значит ранение неглубокое. В санбате починят!

Его уже унесли, а Клим все стоит цепенело, уронив руки. Потом вдруг шагает ко мне — нижняя челюсть у него вздрагивает.

— Товарищ лейтенант, это я — его...

— Что за вздор?

— Никак нет, не вздор. Я!.. Аккурат, как комиссар рванул гранату, я вижу...

— Постой: какой комиссар?

— Наш, Каширин. Он, как зачалось, — зараз к нам. Думал — от огня подальше. Прибег — и за сарай сразу: «Пойти поссать!» — говорит. Ребята потом рассказывали: руки трясутся, собственного, извиняюсь, члена ухватить из штанов не может. А как стали по нам садить — он и метни гранату, откуда только сыскал. Всех коней перебесил. А мне померещилось: атака! Вижу: один перебежкой на нас, пригнувшись. Я и снял... Он это был, Рябов...

— Оставь! Шальная влетела пуля, вовсе не твое попадание.

— Нет, товарищ лейтенант, мое!

— Выкинь из головы. И никому ни слова. Это приказ! В такую панику нет виноватых. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант.

.....

Через час мы идем дальше.

За околицей, при дороге, из-под накрывшей труп плащпалатки — солдатские кирзовые сапоги. Они настойчиво, как на какой-то верещагинской, кажется, батальной картине, обращены к нам широкими вымытыми росой подошвами. Они — как вопрос, эти сапоги, которые припозднились убрать. «А мы — как? — спрашивают они. — Почему — мы? А виноватых — нет?»..

6

ПОДЛИПКИ

На какие только мысли, совсем несозвучные месту и времени, ни поворачивало меня, когда разместились мы в этом имении! Думаю, что великие шаманы анкетных хозяйств, засекающие подозрительных дедушек-бабушек и — гуртом — их потомков, правы отчасти в своей настороженности: дух, древле сложившийся, возьмет вдруг да и оживет снова.

Во мне он ожил: очень уж было похоже вельможное это поместье на то, в котором я родился.

То, мое, вовсе не было «вражьи́м», принадлежало народовольцу, приючало иных подрывателей основ, бывал в нем даже брат Ильича Александр Ульянов. Но переполняла его такая всепроникающая романтика старины и уюта, липовых аллей и террас с баллюстрадами, блеклых предковых ликов и скрипучих мансард, что классовое самосознание оставалось где-то там на задворках.

Липовая аллея была и тут. Густая и темная, как туннель, — голые ветки сплетались над моей и Каширина головами, когда мы шли расквартировывать штаб, а в памяти у меня тотчас же и оделись, залопотали листьями, запахи медовым цветом. Только в памяти — здесь сейчас была тишь и мглистость, острый бил в спину нам сквознячок.

— Ветрено! — сказал Каширин и выругался.

Высквозило нас прямо к фронто́ну, к шестиколонному, почти подмосковной баженовской полуклассики портику, откуда, казалось мне, вот-вот зазвучит «Слыхали ль вы?» и запахнет трясомым в медном блестящем тазу земляничным вареньем.

— Гадючье гнездо! — сказал Каширин. — Вся семейка драпанула на Запад. В дому, говорили мне, одна старуха-экономка да девка-домработница.

И впрямь — гнездо, еще и с сохранившимся кое-где теплом спугнутой жизни — книжкой с закладкой на курительном столике, переполохом в шкафах, а в двухсветном зале, на палисандровых клавиесах — брошенной рядом с бюстом Шопена кашмировой шалью.

— Здесь будет красный наш уголок, — заявил Каширин, оглядывая вощенный пол, зеркала в углах и завитые спинки ...надцатого Людовика стульев по стенам. — Шляхетскую эту куклу уберем, кто такой?

— Шопен, композитор.

— Ладно, если Шопен...

Дом был просторнейший, в два ряда покоев, как когда-то строили: парадными и семейными. К семейным из вестибюля — двухмаршевая лестница.

— Мы трое — в мансарду, идет? И проверить чердак — не запрятали ли где, гады, оружия.

Он схлопотал строгач по партийной линии, Каширин, за свою гранату, как я узнал от Фомы, и теперь, по выражению Фомы же, вовсю выпендривался перед начальством. По части бытового благополучия и дополнительных к казенному харчу яств. Забегая вперед, скажу, что эти восемь дней жизни нашей в Подлипках были настоящим домом отдыха.

Меня в меркантильных хлопотах представлял, главным образом, Клим, теперь мой связной, — установил лады с паней Ядзей, дво-

режкой старушкой, с запасами ее подвалов и кладовых, привел ей на кухню из нашего взвода повара — стол у нас получался, как в «Метрополе».

Лавры, то есть одобрение начальства, доставались почему-то мне — к тайной обиде Каширина. Не знаю, потому ли, но был он очень ко мне неровен: то хлопал по плечу и даже посвящал в секреты («Знаешь: тебя за то, что не терял головы там, в Дуниловичах, представили к медали, и еще кое-кого, но начдив послал к матери — за панику, говорит, да награждать!»), то обсматривал искоса так, словно прятал я обрез за пазухой.

Кстати об оружии: он затащил-таки меня проверять чердак, но, не найдя бомб или пулеметов, завяз в завалах разной ветоши — это был поистине Клондайк потребительского, за несколько поколений, утиля. Я стоял в стороне, спасаясь от пыли и нафталина, когда он подошел, держа в руках две пары дамских чуть ссохшихся туфель и с чем-то зеленым в блестках через плечо.

— Нашел вот, поделим. Одна пара твоя.

— Да нет, мне не надо.

— Брезгуешь?

— Не то чтобы... Просто некому мне их дарить.

— Ладно, возьму себе. И классные, понимаешь, гардины. Здесь все равно моль сожрет. А? Как ты думаешь?

— Конечно, — говорю я.

Но — хватит о Каширине. Подлинный герой дальнейшего, о чем пойдет речь, — Клим.

Он не обошел, разумеется, Панночку, благами быта — устроил отдельно, в каретном сарае, и в торбе ее всегда был самый отборный овес.

За каретный сарай я его пробрал — слишком близко от штаба.

— Приходил майор к нашей Панночке. Тарашится, щупает... Чего ему?

— Потому и приходил, что рядом.

Не оставлял майор и меня — после ужина останавливал у стола и говорил, топорща усы, впрочем добродушно:

— Ну что вы будете делать с этой кобылкой? Вы ж у нас гость. А я б занялся с ней как следует. Отдавайте, а?... В крайности ездить пришло вам своего Шамиля, хотя по штату вам и не положено.

— Ни под каким видом! — ловил меня в коридоре Гришин, слышавший разговор. — Не уступать нипочем! Ваш трофей! Я вас поддержу. И что значит «гость»? Мы вот возьмем да и отправим вас в академию Фрунзе. И кто вообще знает, чего ждать впереди?

В каретном сарае состоялся у нас с Климом знаменательный разговор.

Панночка только что схрупала свой овес, и Клим повесил на гвоздик рядом вышитую по краям красным крестиком торбу, ко-

тую откуда-то «увел» для нее. Она теперь ждала, тепло дыша на руки мне замшевыми ноздрями, что дам ей сахару...

— Хотел спросить вас, товарищ лейтенант, — начал вдруг Клим, оглядываясь на ворота, — тут вот читали приказ нам: ни на шаг чтобы из своего расположения, с местными не беседовать, не скажи уж — в хату зайти. Почему это?

— У нас военный поход, Клим. Не дома.

— Так с местными мы ж не воюем. Обратно вот — в Вильню, через границу, семь всего километров. Командиры многие ездят, а старшина наш вчера просился — отказ. Тоже и здешние всегда, говорят, вольно в Литву ездили, без препятствий. А теперь патрули наши задерживают, ищут чего-то, а то и вовсе вертают назад. Очень обижаются люди. Чего это мы всё опасаемся? страх разводим в себе? Давеча вот в Дуниловичах...

— Кончим, Клим. Есть приказ сверху, и не нам обсуждать.

— От высших самых инстанций?

— Именно.

— Вот и говорят правильно, — сказал он помедлив и как бы про себя: — краденая власть всего боится!

— Отделенный Климов!

— Я вас слушаю, товарищ лейтенант!

— Обдумывайте свои поговорочки, перед тем как выговорить.

— Есть — обдумывать!

Он вытянулся, рапортуя, но в глазах его — видел я — прыгали живчики и смеялись. — Хотел еще вам кое-что доложить... — оставил он меня уже на пороге. — Про свою про одну наводку...

— Это еще что? Какую наводку?

— Ну — как вроде легава на бекаса там или лесную курочку стойку делает, когда открывает.

— Что ж ты-то открыл?

— Вы видели домработницу у пани Ядзи? моложавенькую? — спросил он приглушенным голосом, снова заговорщицки оглянувшись.

— Видел, ну?

— Так она не домработница вовсе, а здешнего хозяина дочка, чье имение. Панночка!

— Кто сказал тебе?

— Сама ж она и сказала. То есть допрежь — пани Ядзя. Старушки ко мне всегда с открытой душой. И ведь какая история! Аккурат как им от нас убегать, с ней сердечный припадок, сердца порок. Мать у ей померла; отец, он полковник ихний, приказал в карету, а врач: помрет, говорит, еще до границы, если тронете. Оставили ее, значит, на опеку старухе.

— Ну?

— Что «ну», товарищ лейтенант?

— Всё это занятно, но нам какое до этого дело?

— Есть и наше с вами дело, товарищ лейтенант. Помочь надо! Выговорил он это с придыханием, с уставленными на меня в прикол глазами и тут же заторопился, боясь, что я его перебыю:

— Ведь вы знаете, товарищ лейтенант, мы тут первые, неделю всего, а того гляди прикатят особысты и прочие... Думаете, оставят ее в покое? Сгинет ведь! И так уж Каширин, пани Ядзя рассказывала, приходил, вынюхивал, выспрашивал под карандаш — кто сам барин, какой воинской части, какие еще были члены семьи, да вы же знаете!..

— Знаю, но сделать ничего не могу.

— Вы только повидайтесь с ней, с панной, Марысей ее зовут, поговорите сам. Есть план один пособить. Вы только заходите к пани Ядзе перед отбоем, как всегда — насчет там меню завтрашнего или припасов. Этак в восемь ноль-ноль... Товарищ лейтенант, ей-Богу!..

Ныне, вспоминая этот эпизод, годящийся в детектив или повесть Бестужева-Марлинского, беру я его под лупу в теперешнем освещении, но право затрудняюсь сказать, как судил его лет тридцать с чем-то назад. Кажется, просто клял Клима на чем свет стоит и под ногами ощущал оползень... Пойти?... Не пойти?... Дважды в тот день видел эту Марысю — сутулую, в ватнике, с чем-то вроде повойника на голове, — гремя сапогами, она убирала со стола тарелки. В землистом лице ее с поджатыми на нет губами не было не только барства, но даже и молодости. Не померещилось ли всё это Климу? Не сбрендил ли?..

.....

Когда в восемь ноль-ноль я постучался к пани Ядзе (две комнаты в мансарде напротив нашей с Фомой и Кашириным комнаты), я уж по самой торжественности обращенных на меня глаз, ее и Клима, понял, что аудиенция состоится. Пани Ядзя тотчас же легонько стукнула в смежную дверь, и потом мы долго выжидаячи глядели на эту узкую, как чердачный лаз, дверь — так долго, что мне снова стало не по себе и досадно на Клима; правда, в это как раз время шло в красном уголке, в зале, какое-то партсовещание, так что вряд ли мог нас застучать Каширин, но все равно — эта навязанная конспирация раздражала меня.

Наконец дверь открылась и вошла Марыся.

То есть — то, что было Марысей в моем представлении в виде повойника, серых щек, стеганки и гроыхающих сапог, — осталось, видимо, за чердачной дверью; то же, что вошло, было совершенно неожиданно и прелестно — «я понял это с первого взгляда, как понимают молнию», — если снова припомнить чеховскую строку. Не берусь описывать, чтобы не завязнуть в шаблоне. Скажу только, что под моим оторопелым и вероятно восторженным взглядом быстрый румянец потек по отмытым от серой смази щекам и так

разгорелся на скулах, что я подумал: не температура ли это? не последки ль болезни?... Что-то загорячело и во мне самом жалостью и внезапной способностью на любой заговор.

— Pan nie mówi po polsku? — спросила она. — Może po francusku albo po niemiecku?..

Я выбрал немецкий.

— Вам говорила про меня пани Ядзя... — начала она, чуть запинаясь, сплетая и расплетая узкие кисти рук. — А мне — про вас, что могу вас... что могу вам довериться, что может быть научите, что делать...

Она рассказывает мне свою историю, которую уже знаю от Клим, и — как несчастна она теперь, оставшись одна, как страшит ее будущее и что, Бога ради, можно бы ей предпринять?

— Я очень боялась вашей армии, ваших солдат... Может быть, напрасно, я вижу, они вовсе не людоеды, но... как мне себя держать? Как соединиться со своими? Могу я обратиться к кому-нибудь из ваших начальников? И — как? Открыться или продолжать этот маскарад?

— Открыться нельзя. Думаю, нельзя тоже и здесь оставаться.

— Опасно?

— Сегодня-завтра — нет. Но потом появится другое начальство, другие люди. Будут интересоваться ближе... Словом: надо уехать!

— Но — как, ради Бога!.. Граница рядом закрыта для польского населения. Прямо на запад — там немцы, вы же знаете. Куда? Иисус, Мария...

Клим вмешивается в эту паузу отчаяния так, как будто понял каждое слово, и опять же с каким-то наставническим придыханием в голосе. Мне впервые вдруг открывается богатство природы этого лошадня, потенциального конокрада, сводни, спасателя утопающих и комбинатора.

— Я докладывал давеча нашему комиссару Каширину, — говорит он, — добавочный вышел весь у нас с паней Ядзей продукт: ни салами тебе, ни других каких колбасных изделий, ни ветчины, ни сыров, горчица — и та вся подчистую. Чем командование угощать? А они, помещик здешний, за сырами и ветчиной всегда в Вильню ездили. Знакомый там у них гастроним, книжка заборная и кредит. Значит, так полагаю, товарищ лейтенант, что только выписать наутро пани Ядзе пропуск от нашего штаба, — они с Марысей туда и скачают. Только пропуск, чтобы наши патрули не задержали, — и всё. А Марыся останется там.

План был прост гениально и дискуссий не вызвал. Помню, для них не было времени — внизу загрохотали сапогами: партсовещание кончилось. Еще помню — глаза, на миг пригвоздившие меня к полу, и шепот, по-польски: «Дай вам Бог счастья за вашу помощь!»..

Дальше тоже было всё просто. «Красота!» — обрадовался Каширин, когда я передал ему небрежно насчет деликатесов и пропуса в Вильнюс. «Сейчас, в два счета органирую и отнесу им. Пусть назавтра мотают. Чуть свет».

.....

Все-таки я вздохнул про себя с облегчением, когда назавтра же, после полудня, пришел нам приказ выступать.

* *

* *

Теперь двигались мы вспять, на юго-восток.

Когда я вычерчиваю на карте кривую нашего похода, она выглядит в виде копейца: от Лиды — на северо-запад, до почти Вильнюса; от почти Вильнюса — на Молодечно, до местечка М., о котором уже было выше.

А когда вспоминаю кривую душевных своих приливов-отливов, вижу мансардную комнатку пани Ядзи и в ней — преображенную Марысю, вторую панночку моей истории. Образ этот долго провожал меня на марше от Подлипок; однажды привиделся и в полусне, когда ночевали мы в какой-то отставной школе с мышами, шуршащими за обоями. Привиделся как продление чего-то необыкновенно притягательного и необратимого. Я будто ночью снова выхожу в коридор, полуосвещенный и скрипучий, с дверью, ведущую к пани Ядзе, и жду, жду... И будто дверь открывается, и возникает фигура, закутанная с головой в темный плащ, как средневековая дузня; но это не дузня — откидывается капюшон, и передо мной алебастровой бледности щеки и огромные полыхающие гневом глаза. «Чего вы ждете? — спрашивает она, задыхаясь. — Я пожелала вам счастья за вашу помощь, но вы — лютый враг! Вы и ваши волчьи полчища, вторгшиеся в мою землю, вонзившие моей стране в спину нож! Я ненавижу вас!»... Очень хороша она в своем гневе! Я хочу возразить что-то, но она тут же и растворяется в полупотемках, как облако. А я просыпаюсь, долго лежу с этим «очень хороша!» и — что часто бывает со мной из-за набитости разными литературными цитатами — вдруг вспоминаю из Мицкевича: «*Bo nad wszystkich ziem branki milsze Laszki kochanki, Wesolutkie jak młode koteczki*».. — и как перевел это Пушкин:

Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела, как котенок у печки...

Нет, эта не была весела.
И никогда, вероятно, не будет.
А кто — будет?..

Потом я думаю (а может быть, вовсе и не тогда, а теперь, записывая, думаю): не перезнаменовываю ли я события?

Где-то у Пастернака: «Жизнь символична, потому что она значительна».

Значительно ли пережитое нами в этом походе? То, о чем рассказываю?

Кажется, что — значительно, потому что ведь за каждым человеческим обликом, каждым поступком и каждым случаем стоит некий неисповедимый рок. Облик, поступок, случай — таинственно спроецированы на все три фазы времени. На настоящее? Конечно, и на настоящее, ибо — как его, настоящее, без этой тайной и символической проекции растолковать?

Но перекинемся теперь в местечко М. — закругляться с рассказом.

7

СНОВА В М. И РАЗВЯЗКА

— Лейтенант, голуба моя, не откажи! На троих нас, саперов. Неужто так ихнего польского меда и не попробовать! Посуди сам!..

— Не могу, капитан. Только что ключ у меня, но запрещено даже совать его в замочную скважину. Приказ!

— Не государственной важности, можно обойти. Одну всего черепушечку...

Это уже знакомый нам капитан-коротышка саперной роты, который когда-то в Лиде покупал жене и дочкам чулки. В качестве хранителя винного погреба Царя Николая я не раз должен был отбивать такие атаки. Мелких okazji полна была наша стоянка в М. Редкие покрупнее я заносил в свои записи. Кое-что сто́ит назвать и теперь.

Присягу, например. Под впечатлением, должно быть, измены солдата, принявшего комиссара Гришина и меня за поляков-победителей, велено было выяснить, кто из запасников военной присяги не принимал, и пробел восполнить. На огородах был поставлен покрытый красным налой и растянут на двух в землю воткнутых палках какой-то лозунг. Перед лицом этого лозунга и торжественного Каширина рядом, ведущего обряд, присягающие читали текст. Было солнечно, заледеневшая ноябрьским морозцем земля чуть оттаяла; пахло нужниками, и громко каркали почему-то не убравшиеся еще к теплу грачи...

Второй оказией был — суд над всё тем же изменником; по всем правилам — с полком, выстроенным буквою «П», прокурором и членами трибунала. Приговор: «расстрелять», после которого преступника, без пилотки и пояса, произнесшего в качестве последнего

слова какую-то совершенную дичь, посадили в кабину грузовика и увезли. «Расстреляют его на самом деле?» — спросил я Гришина. «Вряд ли, в лагерь пошлют»...

Но — ближе к развязке моего повествования.

Она явилась в один из последних дней этого мерзейшего в тех краях месяца, в виде связного от начальника штаба.

— Вызывают вас, товарищ лейтенант.

Только вчера я, к досаде своей, встретил майора, выехав на Панночке за околицу, и такое было впечатление, будто он меня подкарауливал, потому что иначе ему там совершенно нечего было делать. Он стоял у крайнего дома, подле стенда для объявлений, и сделал вид, что нас не заметил, но я долго ощущал спиной его взгляд — как сверло. Связан был вызов с этой вчерашней встречей?

Угадал я только отчасти.

— Приглашение неофициальное, разговор будет частного порядка, — объявил майор, сидя за столом, не предложив мне, однако, садиться. — Не должен был бы вам говорить, но надеюсь и ставлю условие: никому дальше! В штабе корпуса получен приказ о демобилизации командиров запаса из научных работников. Касается непосредственно вас. Что скажете? — вскинул он на меня рыжую щетинку усов.

— Приказ есть приказ! — сказал я несколько невпопад.

— Точно. С неделю, думаю, провозятся там со списками, пока спустят нам, а тогда вы — до дому. Ну-с... — помолчал он, — о вашей кобылке. Взять ее с собой вы не можете. Уедете — зачислят ее вместе с прочими в обоз, либо вернут совхозникам вместо списанных, и будет она возить мешки с капустой. А у меня — останется под верхом и в холе. Размышлять тут, по-моему, долго нечего: передавайте ее мне — и дело с концом.

Размышлять действительно было нечего, но уж очень застало врасплох.

— Хорошо, — сказал я. — На днях так и сделаем.

— Нет, не на днях, а без оттяжки, сегодня. Оформим до вашего отъезда. Учтите: уезжать будете, может быть, в спешке, три минуты на сборы, — проститься даже ни с кем не поспеете.

— Ладно, пускай сегодня.

Он несколько секунд ищет и не находит слов. Потом, заморгав:

— Я пришло вам своего Шамиля, чтобы не скучали напоследок без выездов. А там, в гражданке, когда может и встретимся. Заедете как-нибудь...

Мы потрясли друг другу руки, и я пошел к себе.

* *

А дальше ... Ох!

Он прибежал ко мне уже через полчаса, Клим, с землистым лицом и трясущимися губами. Хорошо, что я был дома один.

— Отдали Панночку? — спросил он вполукрик, и это «отдали» звучало у него как «продали», «предали», «погубили».

— Садись, Клим, и слушай, я тебе объясню.

Он сел настороженно и выжидающе, но по мере того как я передавал ему разговор свой с майором, — как-то опадал и худел на глазах, перестав слушать; под конец даже и перебил меня, вскинувшись:

— Господи! Почитай километров тридцать по пахоте ее вел и по жнивью, когда расковалась...

Отвернул в сторону лицо и всхлипнул.

— Если бы мы вместе демобилизовались, Клим, — сказал я после паузы, — я отдал бы Панночку только тебе.

— Отдали бы? — оживился он. — Я бы и заплатил... На всю жизнь в расплатку.

— Отдал бы без расплаты. А теперь сам видишь: нельзя.

— А что нам теперь «лзя», товарищ лейтенант?

Снова пауза. И вздох. И потом:

— Там майор мерина своего прислал нам в обменку. Сам он на нем, бывалоча, как фуй на заборе. Что с этим одром делать?

— Оставь пока. Я потом посмотрю...

*
*
*

Разлука пришла раньше, чем майор предсказал, — дня через три. Но как раз так, как предсказал, впопыхах: прибыл дивизионный собирающий нас грузовик. Попрощаться успел я только со штабными и Кашириным. Фому демобилизовали вместе со мной.

В кузове было тесно и чертовски трясло; досады моей, однако, что с двумя главными персонажами этой своей истории не простился, вытряхнуть не могло.

Досада эта щемила меня и в воинском эшелоне, неожиданно длинном и людном; впрочем в нашем — телячьем, как водится, — вагоне, на командирских нарах мы с Фомой оказались одни.

Фома был блажен, что ехал домой, что последнее время щадила его язва, блаженно же вслушивался в стукотню колес, иллюстрируя ритмы стихами. Прочел мне целую лекцию по стихосложению, уверяя, что в русском стихе важнее всего не ямбы-хореи, но пэоны. «Тонический, видишь ли, строй, вот как сейчас выстукивает, слышишь: та-та-та-та... та-та-та-та, пэон четвертый, как вроде у Блока: «И странной близостью закованный, Гляжу за темную вуаль И вижу берег очарованный И очарованную даль»...

Я слушал не очень; за моей собственной очарованной вуалью виделось мне всё недавно оставленное и отвернутая от меня в сторону щека Клим, по которой наверно скатилась-таки слеза.

Клим был почти не в себе после моего предательства три

последние дня и, как ревнивый любовник, выслеживал каждый шаг майора касательно Панночки. «Он на корде ее гоняет!» — прибежал как-то ко мне, высуня язык. «Офонарел совсем! Что она — неучка?»

А на другой день, солнечный и морозный, мы возвращались с ним после моей попытки проехаться на майоровом мерине — огромным, с выпирающими мослаками и неслыханно тряским машистым шагом («На ём поездить — самому потом надо учиться ходить, товарищ лейтенант»). И вдруг видим:

За штабом, на пустыре, только что расчищенном от будыльев и мусора и присыпанном кое-где песком, кружит майор на Панночке рысью. Вся стать ее в этом неспешном и словно бы на эстраде кружении ювелирна и солнечна: округлый перебор маленьких звонких копыт, крутой постав головы над ненужно подцепленным мартингалом, блестящие переливы атласной кожи.

— Глядите, глядите, как облегчается! Ведь холку набьет ей, душа поганая! — изнывает Клим.

*
*
*

Воинский поезд наш плелся едва, застревая часами на разъездах и в тупиках. Окрест плыли попережку то лесная сквозистость, то белесые пустышки полей; да и то не плыли, а застывали надолго, удручая однообразием и упрямством, с которым застопоривали наше приближение к дому. В первый день мы с Фомой еще засекали станции и километры, а во второй черепаший бег нас сломил — к вечеру отминали себе бока на нарах, ворочаясь и стараясь заснуть, — света в теплушке не было, не считаешь!

Поэтому когда поезд, помотавшись вперед-назад и лязгнув в последний раз буферами, остановился и чей-то голос снаружи крикнул: «Можайск!» — нас как подкинуло.

Можайск!

Это уже — почти дома, три часа до Москвы, если с остановками на каждой платформе; а если без и разогнаться — два!

— Можайск! — сказал кто-то уже из попутчиков. — В тупик загнали, видать, до утра простоим. Давайте, товарищи командиры, флаги, смотаем за кипятком!

— Спасибо, мы пойдем сами.

Можайск! Это не только звучало для меня Подмосковьем, но и привечало по-родственному: когда-то я жил здесь на даче — от станции пешком часа полтора, до слияния Москва-реки с какой-то малой, не помню, речушкой. Идти через бор, который не только литературно, но подлинно пах весь «смолой и земляникой», мимо дачи известного художника К., а за ней вскорости и моя у песчаного берега избушка.

Можайск — это пригородное уже расписание. Сейчас без малого

восемь. Один из дачных в Москву поездов, на котором бывало ездил, отходил как раз в восемь вечера. Идея!

Почти взапуски, спотыкаясь о стрелки, добегаем до станции. «Кипяток — тама вон, у крайней двери!» — кричит с перрона кто-то из наших попутчиков. Какой там кипяток! Нам — дачный поезд. Невероятно, но — стоит на первом пути. Дощечка: «Можайск — Москва»...

Еще несколько минут — и, полузадохшиеся, с чемоданами, мы в нем.

Освещенный, классный вагон. Лаковые, гнутые, как удобней сидеть, скамьи. Сетки над головами для чемоданов. И почти никого кроме — простор! Только тот, кто не освобождался после долгой солдатчины (не скажи уж — отсидки), — только тот не знает, какой это восторг и свобода. Фома сентиментальнее меня, и ей-Богу, глаза у него сейчас влажные.

И вдруг:

— Товарищи командиры, прошу оставить вагон!

Винтовка, фонарь в руке, красная выше локтя повязка. Кажется — старшина, дежурный, вероятно, из комендатуры. Козыряет свободной рукой, но морда и голос решительные.

— Что за чепуха? Почему бы оставить?

— Не разрешено никому из воинского эшелона. Приказ!

— Глупости!

— Должен буду задержать поезд. И, товарищи командиры, придется тогда пройти в комендатуру.

— Да ведь бессмыслица!

— Приказ!

— Пошли! — говорит Фома, и мы стягиваем из багажников чемоданы. С площадки сходим на противоположную сторону, где эшелон. Дежурный козыряет нам вслед и, когда проглатывает нас тьма, сшагивает на платформу. Остановившись, мы следим, как решит за колесами, удаляясь, свет его фонаря.

Потом, не сговариваясь, возвращаемся к поезду и садимся у стенки вагона на чемоданы. До отхода минуты четыре, но надо для верности выждать.

— Идиотский приказ! — говорит Фома. — И какая нелепица, рассказать — не поверят: два лейтенанта советской армии — один доцент, другой — поэт и издатель, — как зайцы прячутся под вагоном, потому что им запрещено сесть в поезд, в какой хотят. Опять эта настороженность, дурацкая бдительность, страх! Почему, спрашивается?

Мне вспоминается Клим с тем же направлением мыслей.

— «Крадёная власть всего боится», — такой встречал я фольклор.

Подслушать нас мог бы только кто-нибудь спрятавшийся за

колесами, но Фома все же оглядывается, «крадёная власть» много и для него.

— Трепня! — бурчит он. — Кто и когда в истории получал власть в дар, на блюдечке? Кромвель? Наполеон? Франциско Франко? У кого украли ее и для кого? — вот вопрос! Но — постой, мы кажется трогаемся...

Несколько пар глаз встречают наше возвращение в вагон с таким оживлением (кто-то даже хлопает в ладоши), что на нас тотчас же снова нисходит прежнее благодушие и восторг. Я набиваю трубку и закуриваю. Фома расстегивает крючки шинели и сидит разомлев, умиленно-сосредоточенный, словно зарифмованный, как сонет. Опустив веки, шевелит губами — может быть, бегут к нему сейчас самые счастливые рифмы.

Мы не разговариваем: темы о пережитом сданы «на пока» в архив; тем настоящего (главной из них — о новом, только что начавшемся, освобождении, теперь уж финляндском) мы покуда не знаем, все они вытеснены начисто одной-единственной: скоро Москва!

Оба мы в Москве родились и выросли, я и Фома. Поэтому за почти полчаса до причала сдунет нас со скамьи. Ничего не видно в окне, кроме ночи и оранжевых на полустанках огней, кувыркающихся в черноту. Вместе нам почти семьдесят, но мы, как школьники, тычемся носами в стекло, угадывая места, пролетающие мимо, и остановки. «Проехали Одинцово!» — говорю я.

Кто-то распахивает дверь в тамбур — в уши бьет пронзительно-нетерпеливый перестук колес. Я смотрю на Фому — не начнет ли снова подлаживать под этот перестук строчки? — нет, ему не до того, он тоже — весь в нетерпении, в разлете к дому. Ощущение приближающегося к тебе родного города сходно с ощущением земли под ногами висящего на стропах парашютиста: ближе, ближе, вот-вот... — и всё натягивается в тебе ожиданием, как струна!

— Кунцево! уже Кунцево! — кричит Фома...

РЖЕВСКИЙ Леонид Денисович — род. в 1905, кандидат филологических наук (Московский педагогический институт им. В. И. Ленина). В годы 1953-63 читал лекции в Лундском университете (Швеция). С 1964 года живет в Нью-Йорке, профессор-эмеритус славянских литератур Нью-Йоркского университета. В эмиграции вышел ряд его книг — художественной прозы и литературоведческих.

Станислав Баранчак

ПЯТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Перевод с польского
Василия Бетаки

ТРИ ВОЛХВА

Леху Дымарскому

Придут они в Новый Год,
как водится, рано утром,
И ты, в ошеломлении как новорожденный,
вытащенный клещами звонка из постели,
откроешь дверь. И сверкнет звезда
на красном удостоверении.

Трое. В одном из них машинально
узнаешь соседа по парте
 (как тесен мир)
да, с тех лет он совсем и не изменился,
только усы отпустил,
ну, разве — чуть посолиднел...
Войдут. И сверкнет золото их часов
 (как бесцветен мир)
дым от их папирос навевает покой —
ну чем не кадило?
И золото здесь... Только мирра еще не хватает
 для полноты картины...
И пяткой заталкивая под кровать книгу,
которую вовсе им не к чему видеть,
подумаешь: «А что же такое — мирро?
Надо когда-нибудь узнать поточней...»

— Пройдемте.
Пройдешь.

Какой снег белый.
Какой «фиат» черный.
Какой мир огромный...
 Был...

ПРИКУСИ ЯЗЫК

Не выплевывай сразу того,
что мысль на язык навалит,
и горечь слов придержи —
прежде, чем что-то сболтнуть,
задумайся трижды, задумайся над:
а) служебным положением (своим),
б) кому это службу сослужит,
в) для чего служат тюрьмы.
И в морду схлопотав кулаком массовой песни,
прикуси язык поскорей да покрепче
и глотку заткни.
Если язык распух, как бревно, —
по крайней мере будет уверенность,
что теперь-то уж ты ни словечка не бормотнешь.
И с легкостью необыкновенной
ухватишь момент полного освобожденья от правды.
Ну а если почувствуешь между зубами
что-то соленое —
не волнуйся:
эти красные чернила гнева
никуда изо рта не прольются.

С НАМИ НЕ ПРОПАДЕШЬ

С нами не пропадешь,
не обманывай себя, не надейся пропасть
в толпе среди нас,
заполнивших эту площадь под солнцем июня
невыносимой белизною рубашек.

С нами, с нами держись, только с нами —
и не пропадешь, и тебе не удастся
прикрыться краской стыда — а впрочем,
ты уж и так ее внутрь загнал...

Нет, среди нас ты пропасть не можешь —
скоро и ты руку приложишь
к нашему делу, к древку плаката:

ТРЕБУЕМ ПРИМЕРНОГО НАКАЗАНИЯ ДЛЯ

...и так далее,

так что не обманывайся, тебя не спасет
ни ироническая усмешка, запрятанная в кишки,
ни беззвучное повторение простейшего заклинанья
нашей простейшей веры:

ПРИКАЗЕСТЬПРИКАЗЕСТЬПРИКАЗЕСТЬ

ПРИКАЗ...

И не прячь стыдливо флажок за спиной.

Ты — с нами.

И раньше ли, позже

твою понурю голову настигнет удар
вечно горящего над этим открытым плацем
солнца совести.

МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ

Это меня не касается —

не меня касается холодное дуло,
приставленное к чьему-то затылку,
не к моему ведь, и рука с пистолетом

не моя, и не мне судить
кто прав, и на чьей стороне
лежит лопата,
которой кому-то копали яму,
не морочьте мне бритый череп,
думать об этом мне не с руки,
ни с той, что в рукаве мундира,
ни с той, что скручена проволокой,
это меня не касается...
(и знаю же, что пустяк,
а вот меня это не отпускает).

И еще повторяю себе: это меня не касается —
не меня касается палка,
не моя голова беззащитно прикрыта руками,
и ничего со мной общего не имеет
тот избитый человек, кроме совсем неизбитого факта,
что и я — человек, а это немногого стоит,
да и не бьют без причины — я-то без предрассудков,
но если кого-то и где-то бьют безрассудно,
знаю — он сам виноват, а меня не касается это...
(и знаю же — все это бред,
а вот — бередит).

И еще: меня не касается и вовсе не задевает
когда приходится исповедоваться через решетку анкеты,
крупными буквами с облегченьем пишу:

НЕ КАСАЕТСЯ

это — когда спрашивают меня
о прежних, о нынешних и о будущих взглядах,
сам себе я грехи отпускаю, даю себе слово,
что не дам себя ни во что втянуть, не скажу ни слова
кроме, разве, самого крайнего, но последнее слово
все равно — за сильнейшим — а меня не касается это
(и хоть это совсем
ничего для меня не значит,
но знаю ведь, знаю...).

МОЩНЫЕ МУЖЧИНЫ

Очень мощные эти мужчины.

Если немного снизу — взглядами телекамер
и сидящих на корточках репортеров —
вот-вот раздавит меня тяжелая подошва,
нет, это он спускается с самолета,
на меня подымает руку... нет,
просто отвечает на приветствия толпы,
рабски размахивающей флажками...
подписывает мой смертный приговор... нет,
просто какое-то торговое соглашение,
которое тут же берет чиновник,
услужливый, как промокашка.

С какой отвагой, подбородки задравши в небо,
стоят в открытых машинах эти мужчины.
Как суровы они, объезжая фронт
работ перед хлебоуборкой:
ставят в борозду ногу — как будто шагают в окоп.
Эти твердые руки созданы, чтобы стучать
по трибуне или похлопывать по плечу
согнутого человека, только что пришпиленного
орденом к черному костюму.

Ты всегда их боялся,
чувствовал себя просто ничтожным
перед ними, вышестоящими — то есть стоящими выше:
на трапах, в президиумах, на кафедрах, на трибунах...
А что —
если вдруг на минуту бояться забудешь?
Или будешь бояться хотя бы чуточку меньше?
И поймешь:
ведь это они переполнены страхом!

БАРАНЧАК Станислав — польский поэт, критик, эссеист, род. в 1946 г., научный сотрудник Вроцлавского университета, автор литературоведческих работ, сборника стихов «Утренний дневник» и сборника эссе «Недоверчивые и загордившиеся», вышедших в Польше, двух сборников стихов, выходящих в этом году на Западе; один из лучших переводчиков Мандельштама и, по общему мнению, крупнейший поэт молодого поколения. Член Комитета защиты рабочих.

Репетиция в пятницу

I

«В двенадцать часов по ночам
Встает император усопший.»

В. А. Жуковский «Ночной смотр»

В двенадцать часов по ночам Василий Иванович Подберезовик, старший лейтенант войск комитета госбезопасности, слушал «Голос Америки» — «Передачу для полуночников». На дежурство Василий Иванович заступал в 21.00 и, расписавшись в журнале, сразу же включал радиоприемник «Минск», настроенный на Первую всесоюзную программу. В это время Москва обычно передавала балетную музыку Хачатуряна и Караева, театральные дневники, концерт Катульской или Рейзена и прочую муть, от которой мухи дохнут. Радиостанция «Юность» с 23.05 позволяла себе кое-что повеселее — джазик там какой или песни из «Семнадцать мгновений весны». Потом шли «Последние известия», а после Гимна Советского Союза «Юность» заводила тягомотину про какого-нибудь шизика, жившего чёрт знает когда и написавшего нечто такое-этакое, очень древнее, которое Василий Иванович никогда не слышал и слушать не собирался. Хоть радио выключай! А выключишь — что делать? Ночь длинная...

Три месяца назад, в июле, Василий Иванович заикнулся полковнику Белоручкину, что, дескать, неплохо было бы телевизор поставить, но товарищ полковник прищурил глаза и вкрадчиво осведомился: «А бабу привести не пробовал?» Старший лейтенант тут же осознал, что не по делу выступил и что Бело-

ручкин это ему еще припомнит. Действительно, на следующих политзанятиях товарищ полковник вскользь прошелся по некоторым офицерам, которые забывают о лежащей на них ответственности и вместо службы мечтают смотреть футбол. Правда, товарищ полковник фамилий не называл — и на том спасибо.

Если до 23.00 в дежурку к Василию Ивановичу мог заглянуть майор Боровик (когда проверял наружную охрану) или даже сам товарищ полковник (чего практически никогда не бывало), то после отбоя старший лейтенант знал, что теперь, до шести утра, в дежурку ни одна собака не поскребется. Нынче вывелись дураки — шастать по ночам.

Однако армия научила Василия Ивановича быть всегда «на стреме». Поэтому на столе лежали подшивки «Правды», «Красной звезды», областного «Ленинского знамени» и раскрытая тетрадь, куда Василий Иванович изредка записывал цитаты из докладов Генерального секретаря, важные, основополагающие мысли, например, такие:

«В то же время, товарищи, мир получил еще одно наглядное доказательство того, какую опасную роль играет в международной жизни военный блок НАТО, насколько само существо этого блока, его основные политические цели несовместимы с интересами свободы, независимости и безопасности народов».

Вот так. Ежели какая холера нагрянет, то пусть воочию убедится, что старший лейтенант повышает свой идейно-политический уровень, работает над собой. Береженого Бог бережет.

Василию Иванычу стукнуло 32 года. Был женат, развелся. Просил Лизку: «Отдай мебель, ведь на мою зарплату куплена», а Лизка отрезала: «Отдам на том свете, угольками». Сейчас, конечно, развод не то что раньше, но анкета подпорчена. Ведь начальство так рассуждает: ежели с бабой не смог справиться, как же ему отдел доверить? Такие дела. Но нет худа без

добра. Будь Подберезовик женат, не попал бы на Объект. Ведь ни одна дура не согласится, чтоб ее мужик десять месяцев в году, исключая законного отпуска и воскресений, дома не ночевал. Такие дела. А тут Василия Ивановича вызвали и предложили. Подумал. Дальнейшее продвижение по службе накрылось — анкета подпорчена. А на Объекте надбавка — сотня в месяц — это, значит, за особую секретность. Деньги с неба. Решил: была, не была — перезимуем. И ничего, четвертый год пошел. Прижился. Служба не пыльная, а отпуск — два месяца и путевка в санаторий бесплатная. Подправишь в Минводах здоровье, а потом можно подымить у моря. В этом году в июне законно подымил, «бой в Крыму, всё в дыму — ничего не видно». Но Василий Иванович не сплоховал и отбил Верку у летчиков. Верка — девка классная. Юбка кожаная, ноги загорелые. Идешь с ней танцевать — у иностранцев челюсти отваливаются. Каждый вечер в «Ореанде» ужинали. У ресторана толпа — академики, майоры, доктора наук, но перед Василием Ивановичем швейцар дверь распахивал, а оркестр встречал любимой песней: «Пора настала, я пилотом стала»...

Однажды Верка поинтересовалась: «Вася, друг, а где ты работаешь, уж не в коммиссионке ли?» Но значительно сжал губы Василий Иванович, коротко глянул и осеклась Верка. Поняла: ее Вася-друг — большой человек, засекреченный, а может и еще больше — в космонавты готовится! Словом, вопросов больше не было. Верка — она догадливая.

Ах Верка, Верка, как она умела! Да что себя травить, вспоминать на ночь глядя, расстраиваться. Вон уже передают бой курантов... Василий Иванович зажег настольную лампу, погасил верхний свет, подошел к окну, прислонился лбом к черному стеклу. Во дворе ветер метался около фонаря, привинченного к столбу, и желтый круг дрожал на асфальтовом плацу, где

утром и вечером происходил развод караула. Окинув взглядом пустынный двор, старший лейтенант вздохнул, пересек наискосок дежурку и повернул ключ, торчавший в стене. Приоткрылась дверь, которую человек посторонний не сразу бы заметил: ведь дверь была тоже заклеена обоями. Старший лейтенант спустился по ступенькам в темноту и нажал на железный длинный рычаг. Двойная стальная дверь, как в бомбоубежищах, поддалась без скрипа. Василий Иванович нащупал рукой выключатель, шелкнул. Под потолком что-то полыхнуло и зажурчало, и через три секунды три люминесцентные лампы осветили синеватым мертвенным мерцанием нижний каземат. Комнату перегораживала ширма, обыкновенная деревянная ширма, стоявшая гармошкой. Налево у стены — ведро с водой и два металлических ящика с вертикальными решетками, направо — стул, под стулом — пылесос.

В каземате было значительно прохладнее, чем в дежурке. Инструкция предписывала, что температуру в помещении надо поддерживать в пределах от +5 до +9. В случае отклонения в ту или другую сторону старший лейтенант обязан был привести в действие отопительную или охлаждающую установку. Еще в обязанности старшего лейтенанта входило — убирать помещение при помощи пылесоса и менять раз в неделю воду в ведре.

Василий Иванович мельком глянул на градусник. +7, самая норма. Воду он менял в прошлое дежурство, а вот уборку надо было бы произвести сегодня. Обычно он успевал это сделать до двенадцати, но сейчас сверху уже неслись звуки гимна. «Вот чертова баба! — подумал Василий Иванович про Верку. — Из-за нее опоздал. Да ладно, пропылесосу утром, небось, старикан не обидится». Он шелкнул выключателем, притворил за собой железную дверь и затопал по лестнице.

Как назло, диапазон сорока одного метра трещал,

и пока Василий Иванович искал «Голос» на сорока девяти, он пропустил короткий обзор новостей. «Голос» завел легкую музыку (по-ихнему «поп-джаз»). «Хрен с ними, — подумал Василий Иванович. — Поп-джаз, так поп-джаз. А новости они повторяют, ребята сознательные». И все-таки старший лейтенант Подберезовик остался недоволен собой. Он привык придерживаться принципа: «Кончил дело — гуляй смело». Обычно после часу ночи он разогревал чаек, а потом кемарил на диванчике. Теперь же мысль о том, что утром ему предстоит возиться в холодном каземате, как-то не радовала.

Собственно говоря, последние известия мало интересовали Василия Ивановича. Он лишь сравнивал вражескую информацию с той, которая напечатана в «Правде», и, находя разночтения, ехидно улыбался. «Во дают, — размышлял Василий Иванович, — и наши врут и эти. Такова жизнь. А как же иначе? Разве можно нашему Ваньке правду открывать? Не, Ванька тогда таких делов натворит, только держись! К примеру, вдруг Ванька пронюхает, что старикана не сожгли и не захоронили у Кремлевской стены, а тело здесь содержат? На Западе, естественно, шухер подымется, а к нам делегации с заводов зачастят. Делегации — чёрт с ними, как-нибудь отобьемся от передовиков производства! Но если занесет в нашу область Грузинский ансамбль песни и пляски, тогда хоть пулеметы на вышке устанавливай и круговую оборону занимай! Нет, правда, она как палка, а у палки — два конца. Еще не знаешь, каким вдарит». Василий Иванович был убежден, что истинную правду должны знать лишь люди особые, избранные. За это им и надбавку за секретность платят. А кому не положено — не суйся.

«Голос» прервал легкий джаз — по-ихнему «поп-музыку», и Василий Иванович наострил уши. Вот оказывается, что в мире происходит. Ихние студенты

голыми по улицам бегают! Это надо же придумать: в город на парашютах прыгнули, чтоб, значит, их по телевизору показали. В город на парашютах — и все нагишом. И половина — девки! Жуткое дело, как империалисты загнивают! Да, там у них другой климат. У нас такого не дождешься.

Василий Иванович почувствовал шевеление собственной плоти. Живут же люди! Тут сидишь третий месяц без бабы, а там голые студенточки с неба падают. Эх, хоть бы раз глянуть на такое загнивание! Вот если бы Василия Ивановича командировали в тот город, он бы не растерялся, устроил бы паре девочек мягкую посадку...

«Голос» опять забарабанил джаз-музыку (по-ихнему «легкий поп»), а Василий Иванович сидел, пригорюнившись, и нервно мял сигарету. Вообще-то старший лейтенант Подберезовик не курил, здоровье экономил, но уж по такому случаю... Да, Вася-друг, признайся честно, тебе крупно не повезло: запоздал ты, малость, родиться. Ведь рассказывают люди, что еще двадцать пять лет назад для человека из Госбезопасности жизнь другим колером блистала, и такая панорама открывалась! В году сорок девятом перед погонами Василия Ивановича генералы вытягивались, а уж штатских крыс оторопь брала. Нынче — что погоны... Одно слово — старлей. А в сорок девятом именно они, старлеи, знали, кого казнить, кого миловать, и Госбезопасность правила страной, а над Госбезопасностью — один бог, Усатый Хозяин.

Только давно это было. Усатый Хозяин здесь, внизу, в каземате за ширмой лежит. Раз в неделю пылесосит его Василий Иванович, водит щеткой по маршальскому мундиру, по орденским колодкам — собирает пыль. Под воздушной струей шевелятся седые усы Хозяина — маленького безвредного старикана, — и не поймешь, чем он так напугал народ, что перед ним в три погибели сгибались.

В три погибели сгибались, памятник ему в каждом городе стоял, да дело прошлое... Теперь лежать ему в каземате в полной безвестности, и так пока не сгниет. А вместе с ним и Василий Иванович здесь, в дежурке, сгниет заживо. И никакой тебе перспективы, лишь бы до пенсии дотянуть. Одним словом, старлей.

Неделю назад провожали в Москву капитана Сурикова. Суриков на три года моложе Василия Ивановича, в одном отделе начинали. Но Сурикова Москва запросила, а там — дело известное — малость подна-таскают и пошлют в «заграницу», каким-нибудь вторым секретарем посольства, чтоб, значит, капитан мог наблюдать с близкого расстояния, как империализм загнивает, как голые бабы с неба валятся. Правда, Суриков — ничего не скажешь — умен, институт закончил, Евтушенку наизусть шпарит, два языка от корки до корки вызубрил — на ихней фене ботает. После проводов Василий Иванович на бровях домой дополз. С горя набрался, ибо услышал, как сука Суриков про него, про Василия Ивановича, майору Боровику выразился: «Наш бедный Вася так и умрет старлеем. У него интеллект на уровне мхов и лишайников». Ишь, слова какие выкопал! А товарищ майор, вместо того, чтобы поставить капитана на место, лишь под-дакнул (а куда Боровику деваться, ведь Суриков в Москву идет, на повышение!): «Жаль Васю. В его возрасте и всего лишь старший лейтенант — таких надо списывать из армии».

«Голос» залопотал: «Ближний Восток, Киссинджер, режим благоприятной торговли, евреи...» Плюнул Василий Иванович и выключил радио: надоело, все одно и то же.

В тишине чуть слышно позвякивало оконное стекло, и почувствовал Василий Иванович, как холодом потянуло. «Это ж я, когда наверх торопился, нижнюю дверь забыл запереть», — сообразил старший лейтенант и вдруг замер.

Снизу раздались шаги.

Кто-то подымался по ступенькам.

«Вот гады, — пронеслось в голове у Василия Ивановича, — из леса подкоп устроили! В каземат проникли. А наружная охрана прошляпила. Погорел майор Боровик».

Старший лейтенант бросился в угол, где был телефон «вертушка», связывающий дежурку с областным управлением. Правая рука лихорадочно нащупывала кобуру...

Стенная дверь чуть скрипнула, Василий Иванович обернулся и застыл в нелепой позе, и крик застрял в горле, и волосы поднялись дыбом.

Старикан в маршальском мундире стоял в дверном проеме и добродушно шурился из-под густых бровей.

«Подменили! — обожгла Василия Ивановича ужасная догадка. — В мундир артиста вырядили, а Его в подкоп уволокли. Поднять тревогу! Звонить! Задержать, пока не поздно. — Но тут в голову ударила еще более страшная мысль. — А ведь этот... небось слышал, какое у меня радио играло. Доложит по начальству — и пропал я, совсем пропал! Что же делать?»

Между тем человек в маршальском мундире уверенно прошаркал наискосок по комнате и включил верхний свет. Василий Иванович издал горлом неопределенный звук — ык! Без сомнений, то был сам Старикан — уж Василию Ивановичу не узнать ли это лицо, ставшее для него, можно сказать, близким и родным!

Старикан, с той же пугающей Василия Ивановича уверенностью, подошел к тумбочке с приемником, выдвинул нижний ящик и выудил оттуда пачку сигарет, которую Подберезовик держал на всякий случай в заначке.

Как ни был поражен всем происходящим Василий

Иваныч, но мозг его с этого момента заработал четко и профессионально... Ясно, что старикан не первый раз в комнате. Вот он достал из кармана брюк трубку (а я давно обращал внимание: что же там оттопыривалось), разломал сигарету, набил трубку табаком, взял мой коробок, чиркнул спичкой, затянулся. Будь я проклят, но это он! И что-то все же изменилось в его лице. Что именно?

— Табак — дрянь! — хрипло заговорил старикан с сильным грузинским акцентом. — Разбаловались вы тут бэз мэня. — Старикан откашлялся, и глаза его сверкнули. — А ты, Вася, хочешь всю жизнь в старлеях проходить? Тогда звони.

Тут только понял Василий Иваныч, почему так странно изменилось знакомое лицо. Глаза! Зажглись глаза — и сразу же исчез маленький безвредный старикашка, и восстал ОН, настоящий Хозяин, тот, которого Василий Иваныч, сам того не подозревая, так долго ждал.

И когда Хозяин глянул на него, глянул строго, но с лукавинкой, то старший лейтенант Подберезовик вытянулся во весь свой огромный рост и гаркнул с придыханием:

— Здравия желаю, товарищ Сталин!

II

«В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик...»

Марья Петровна проснулась в пять часов утра. Она включила настольную лампу, взглянула на будильник и сама удивилась: какой чёрт ее поднял так рано? Но сна не было ни в одном глазу. «Пойду поставлю чайник», — решила Марья Петровна. У двери своей комнаты она надела прямо на ночную рубашку

пальто, голые ноги сунула в галоши, отперла дверной замок, выглянула в коридор и, убедившись, что никого нет, выскользнула на кухню.

На кухне она постояла несколько мгновений, прислушалась, потом включила свет. Из двух лампочек под потолком вспыхнула только одна. Другая включалась прямо из комнаты Марьи Петровны — от соседей у Марьи Петровны был отдельный счетчик, и своими лампами она пользовалась, когда сама находилась у плиты или в уборной. Но в такую рань грех был не побаловаться чужой электроэнергией. Ничего, небось соседи не обеднеют. У них денег куры не клюют. И свет в коридоре жгут с утра до позднего вечера.

Марья Петровна взяла со своего столика чайник, подошла к раковине и отвернула кран.

Воды не было.

Марья Петровна недоуменно уставилась на кран. Случались, конечно, перебои с водой, когда чинили трубы или еще там что, но обычно домоуправление заранее предупреждало жильцов объявлениями в подъезде. Тут же — нет воды, и все.

Выключив свет на кухне, она и в уборной пользовалась не своей, а соседской лампочкой и, спустив воду, сохранившуюся с вечера, несколько раз для проверки дернула за рычаг. Бачок молчал.

Марья Петровна заспешила к себе в комнату и начала быстро одеваться.

Одетая, с авоськой в руке, она уже снаружи запирала дверь комнаты, когда в коридор выскочил сосед, Петр Никифорович. Петр Никифорович выскочил по нужде, в трусах и майке, впопыхах щелкнул выключателем, но увидев соседку, засмутился.

— Марья Петровна, куда же это вы спозаранку? — спросил Петр Никифорович, потирая сонные глаза.

— В булочную, за хлебом! — отрезала Марья Петровна, стараясь не смотреть на толстого мужчину, можно сказать, совсем голого.

Петр Никифорович разинул рот и потом, пробормотав: «С ума спятила, старая дура, ведь булочные еще закрыты, нет, прямо беда с этими пенсионерами...», — протопал в уборную.

Марья Петровна специально долго возилась с входным замком, пока не услышала негодующий громкий шепот из уборной: «Воды нет! Слесаря-пьяницы! Давно пора жалобу писать!» Скорчив довольную гримассу, Марья Петровна осторожно захлопнула дверь.

Булочная находилась через несколько домов, и Марья Петровна сначала шлепала по лужам довольно бодро, повторяя про себя: «Хлеба кила четыре, муки, а потом в продмаге соль не забыть, а потом в хозяйственном — мыла...» Но не доходя до улицы, на которой была булочная, Марья Петровна остановилась. «И что я, старая, может, и вправду сдурела? — подумала она. — Нешто с хлебом перебой? Да хлеба у нас — завались! И куды меня несет?» Но ее действительно несло, как будто что-то толкало в бок, в спину, и она, поглядывая на темные окна и радуясь, что кругом все спят и никто не высовывается и не смеется над ней, тихонько прошла за угол.

У булочной стояла очередь. Старики и старушки, все с авоськами, переминались с ноги на ногу. Очередь встретила Марью Петровну молча и настороженно. Марья Петровна, облегченно вздохнув, пристроилась с краю.

Капитану Сурикову давно следовало сдать дела и отбыть по новому назначению в Москву. Но начальник областного управления лично просил Сурикова задержаться еще на неделю. Это было вызвано тем, что область наградили орденом «Дружба народов», и как раз сегодня, в пятницу, на торжественном заседании, орден будет вручаться. Прибыли делегации из соседних областей, Зам. Пред. из Москвы и даже не-

сколько иностранных корреспондентов — словом, неделя для областного управления КГБ выдалась жаркой, и каждый человек был на учете.

Капитан Суриков пришел в управление в 9.00 и с первых же минут почуял что-то неладное. Вместо праздничной энергичной суеты и бестолковщины в управлении царил атмосфера какого-то глухого ожидания. Молчали телефоны, никто ни на кого не кричал, не вызывал с докладом, не носился с бумагами по коридорам. Наоборот, сотрудники сидели тихо на своих местах, стараясь не смотреть друг на друга, или, собравшись маленькими группами, о чем-то осторожно перешептывались.

Как и в каждом здоровом советском учреждении, в управлении имели место свои интриги. Сотрудников управления (конечно, весьма грубо и приблизительно) можно было разделить на две группы — на «старых» и «новых». «Старые» — кадровые чекисты, связавшие свою судьбу с ГБ еще с юных лет. «Новые» — люди, призванные в органы на укрепление из различных советских учреждений, главным образом, из комсомола. Начальник управления, бывший секретарь обкома комсомола, был, естественно, человеком «новым». Оба его зама — полковник Белоручкин и полковник Белоконов — служаки старой закалки. Старые кадры считали «новых» выскочками и мало пригодными к профессиональной работе. Новое пополнение, в свою очередь, скептически относилось к старым кадрам, обвиняя «стариков» в компрометации славного имени ЧК и в неспособности проявлять гибкость. Обе группы скрыто и подспудно конфликтовали друг с другом, но человеку, не разбиравшемуся в этих тонкостях, могло показаться, что в управлении — тишь да гладь, да Божья благодать. Однако капитан Суриков, несмотря на свою сравнительную молодость, не был новичком в Органах, и ему сразу бросилось в глаза, что «старик» о чем-то пронюхали и держат это в тайне.

Лейтенант Потапов, человек из «новых», успел шепнуть Сурикову, что полковник Белоручкин ночью вызвал «разгонку», заезжал в управление, вскрыл сейф в отделе кадров и с папкой личных дел отбыл на Объект. Кому и зачем могли потребоваться личные дела, да еще в середине ночи?

— Может, нашего снимают? — тихонько, одними губами спросил Суриков, подразумевая под «нашим» начальника управления.

Лейтенант Потапов покосился на соседний стол, за которым бритый наголо подполковник Титов сосредоточенно и вдумчиво изучал листок отрывного календаря, пожал плечами и громким безразличным голосом ответил:

— Начальство утром должно встречать первого секретаря обкома, а пока в управлении за главного — полковник Белоконов.

Тут позвали всех срочно в зал, и полковник Белоконов сделал экстренное сообщение. Полковник Белоконов объявил, что он сам, к сожалению, заболел, у него бюллетень, но поступило указание (полковник надолго закашлялся), чтобы управление немедленно выделило людей для поездки в колхоз «Заветы Ильича» — копать картошку. Полковник добавил, что это, так сказать, поездка добровольная, однако область в прорыве, план по заготовкам картофеля срывается, и если найдутся желающие, то автобусы ждут у подъезда.

Капитан Суриков не верил своим ушам. Ну, стало привычным делом, когда посылают копать картошку студентов, служащих, инженеров, ну там кандидатов наук, профессоров и прочих дармоедов, а тут на картошку бросали Комитет Госбезопасности! А это ни в какие ворота не лезло... И уж совсем удивился Суриков, когда больше половины сотрудников тут же, с нескрываемой радостью, вызвались ехать. Уезжали не

только «старые» кадры — к ним присоединилась и часть из «новых».

Добровольцев как ветром сдуло.

В отделе подполковник Титов лихорадочно напяливал пальто.

— Игорь Яковлевич? — изумился Суриков. — Вы же сегодня дежурный!

— Голубчик, — хихикнул подполковник Титов, — меня подменил лейтенант Потапов. Душа человек!

В окно Суриков наблюдал, как подполковник Титов вскочил в последний автобус. Автобусы скрылись за поворотом.

— Поехали месить грязь, за пятьдесят километров, даже не переодевшись! — растерянно пробормотал Суриков. — Не понимаю!..

— А чего тут понимать! — ответил лейтенант Потапов, нервно барабанив пальцами по стеклу. — Теперь до возвращения начальства ты, Анатолий Николаевич, у нас самый главный в управлении.

Капитан Суриков присвистнул и расстегнул на рубашке под галстуком верхнюю пуговицу. Потом поднял телефонную трубку.

В десять часов утра радио на аэровокзале объявило: «Внимание, граждане пассажиры, посадка на самолеты, вылетающие рейсом 722 и 568, задерживается на тридцать минут». Взмущенные пассажиры бросились к справочному бюро, но миловидная девушка, еще минуту до этого восседавшая за стойкой, вдруг куда-то исчезла. Толпа, сгрудившаяся у справочного бюро, гадала, что произошло: «Нелетная погода или самолеты поломались?» Девушка не появлялась, и ожидающим поневоле приходилось перечитывать рекламные плакаты с видами курортов Кавказа, Крыма и с призывами «экономить время — пользоваться услугами Аэрофлота».

А на летное поле одна за другой въезжали черные

«Волги», останавливаясь чуть поодаль «Чайки», шофер которой почитывал газетку и лениво поглядывал по сторонам. Из каждой машины выходило по одному человеку, и все направлялись к главному, парадному входу аэровокзала. Постепенно у входа собралась плотная группа людей, одетых весьма разноманерно: кто в светлых габардиновых плащах, кто — в темных нейлоновых, кто — в заграничных модных пальто из дорогого материала, — но у всех этих людей было что-то общее, а именно: значительное выражение лица. И по этому выражению любой, самый непосвященный человек мог точно определить: собрались не простые смертные, а ответственные работники.

Так оно и было. Областное начальство приехало встречать первого секретаря обкома.

Рабочий день каждого начальника был расписан по минутам. Случалось, что сотрудники ведомств неделями дожидались аудиенции у своего руководства, уж не говоря о простых гражданах, которые за месяц записывались на прием. Однако когда глава области улетал или прилетал (а это происходило примерно два раза в месяц), начальство срывалось с рабочих мест и мчалось за двадцать километров на аэродром, ибо, во-первых, так было принято повсюду, а во-вторых, этим подчеркивалась важность визита в соседнюю область или в Москву.

С взлетной полосы к аэровокзалу вырубивал ТУ-124, персональный самолет первого секретаря обкома. Самолет подплыл почти к самому парадному входу. Тут же подали трап. Группа встречающих чинно двинулась к трапу, причем как-то незаметно, но привычно и дисциплинированно перестраиваясь на ходу. Впереди шли трое — второй и третий секретарь обкома и председатель облисполкома. За ними сомкнутыми рядами — члены бюро обкома, далее члены исполкома, управляющие трестами и директора крупных заводов.

Показавшись на трапе, первый секретарь сверху поприветствовал всех встречавших и легко сбежал по ступенькам. Для Первого дружное бюро обкома делилось: а) на тех, с кем Первый целовался; б) на тех, с кем Первый прощался или здоровался за руку; в) на тех, кому он делал общий привет; г) на тех, кого он вообще не замечал; — но тем не менее все члены бюро, а также члены исполкома и руководители предприятий обязаны были при сем присутствовать и радостно улыбаться.

Корреспонденты из областных газет суетливо щелкали фотоаппаратами. Первый поцеловался с двумя секретарями обкома и председателем облисполкома, пожал руку начальнику милиции и начальнику областного КГБ, помахал шляпой знатному кукурузоводу, мило улыбнулся директору металлургического завода и, едва не задев плечом председателя областного комитета профсоюзов, прошел мимо него, даже не взглянув и не услышав восторженного бления «профсоюзника». Между тем председатель обкома профсоюзов являлся членом бюро, но всем было известно, что этот человек «погорел» и его переизберут на следующем же пленуме.

Первый сел в «Чайку», начальник областной милиции услужливо закрыл переднюю дверцу машины, и тут же в рядах руководства как-то сам собой образовался коридорчик, по которому к «Чайке» протиснулся молодой человек в итальянской «болонье», до сих пор державшийся сзади других. На лице молодого человека отсутствовало выражение значительности, он просто не замечал окружающих, но судя по тому, с каким почтением его пропустили к машине, с какой отчаянной завистью смотрел ему вслед председатель профсоюзов, можно было догадаться, что молодой человек хоть сам по себе и не начальство, однако имеет в области вес, и немалый. Это был Красавин, помощник первого секретаря обкома. Красавин при-

строился на откидном сиденье «Чайки» и склонился к спине своего шефа.

«Чайка» тронулась. За ней потянулись черные «Волги».

За окошком справочного бюро в аэровокзале неожиданно вынырнула симпатичная девушка, а радио вновь ожило и объявило: «Внимание, граждане пассажиры! Объявляется посадка на самолет, вылетающий рейсом 722».

III

«И ходит он взад и вперед
И бьет он проворно тревогу...»

Открытие торжественного заседания было назначено на одиннадцать часов, и поэтому автомобильный кортеж прибыл сразу к зданию областного театра музкомедии, в зале которого уже собрался советский и партийный актив, а также представители трудящихся и общественности. В фойе наблюдалась некоторая суэта: представители трудящихся и общественности торопливо докуривали папиросы и дожевывали бутерброды с черной икрой и сырокопченой колбасой. За кулисами члены президиума чинно прогуливались, разбившись на пары, и изо всех сил делали вид, что их совсем не интересует, о чем беседуют второй и третий секретари обкома с Зам. Предом из Москвы.

Первый уединился в кабинете директора театра — ему надо было срочно просмотреть текст своего доклада. Доклад давно подготовили и утвердили на бюро, но перед отъездом Первый просил своих помощников вставить несколько абзацев — «для оживления». Как раз сейчас Первый и изучал эти абзацы.

Времени было в обрез, но тем не менее Первый успел коротко переговорить с тремя должностны-

ми лицами — видимо, они появились не случайно. Сначала пришел председатель облисполкома.

— Как наш гость? — спросил Первый, не отрываясь от бумаг.

— Порядок, Пал Палыч, — отрапортовал председатель. — Встретили как положено. О н и знают, что вы были на приеме у Кулакова. Вчера в Лесном организовали охоту. О н и весьма довольны.

— Петрович, — как бы мимоходом осведомился Первый, — что за ерундистика с водой и почему именно сегодня утром?

— Пал Палыч, — взревел председатель, набухая от гнева, — я уже расследовал. Кузькин клянется, что автоматически отключились насосы станции. Но я этому Кузькину покажу его мать! Я ему голову оторву!

— Это хорошо, — миролюбиво сказал Первый, и председатель исчез.

В дверях выросла бравая фигура начальника областной милиции.

— С приездом, Пал Палыч! — радостно выпалил с порога начальник.

— Федя, — тихо спросил Первый, — почему очереди у булочной, и именно сегодня?

— Пал Палыч, — зашелестел начальник, — пенсионеры сдурели. Слух, что ли, кто распустил... Но как только булочные открылись, очереди мигом распались. Да что хлеб, в магазины сегодня даже мясо выбросили.

— И все же похоже на провокацию, — задумчиво пожевал губами Первый.

— Похоже, — согласился начальник. — Но мы этих гадов под землей найдем.

Последним появился начальник областного КГБ. Еще с порога он начал:

— Пал Палыч! Ведь я предупреждал, сигнализировал, просил — не пускать американских корреспондентов! Они же — известное дело — шпионы и про-

вокаторы. Очереди у булочных, диверсия с водой... Но американцы и этот хлыщ-англичанин у меня «под колпаком».

— Нынче, Митрохин, нельзя без иностранных корреспондентов, — вздохнул Первый. — Разрядка международной напряженности.

Митрохин вздрогнул: то, что его называли по фамилии, служило плохим признаком. А Первый вкрадчивым голосом продолжал:

— Скажи, Митрохин, почему в театре нет ни одного человека из Управления? Почему больше половины личного состава комитета уехало на картошку?

Лицо Митрохина поплыло красными пятнами.

— Быть не может!.. Самоуправство... Я не знаю...

— Мне почему-то кажется, — улыбаясь, сказал Первый, — что начальник управления КГБ, конечно, если он соответствует должности, обязан все знать.

Митрохин пулей вылетел из кабинета, ворвался в пустую комнату администратора и бросился к телефону. Первые три номера не отвечали. После того как Митрохин набрал четвертый, в трубке раздался голос: «Капитан Суриков у телефона!»

— Суриков, сволочь, — задыхаясь, заговорил Митрохин. — Красавину успел настучать, а мне ничего не известно?

Потом начальник управления молча слушал трубку и наконец разразился тирадой, текст которой мы не решаемся воспроизвести. Высказавшись, Митрохин опять послушал трубку и добавил более спокойно:

— Ладно, с ними разберемся. При желании можно было и меня предупредить. А пока — одна нога там, другая здесь!

Через минуту четыре белые «Волги», взревев, отпрыгнули от здания областного комитета КГБ и понеслись к театру.

Признаемся честно: у нас не хватает таланта ярко

и красочно передать всю торжественность заседания — ну просто не можем найти достойных и выразительных слов. Но вот в пятом ряду слева сидит ответственный секретарь областной партийной газеты, которому поручено написать отчет срочно в номер. Он строчит в блокноте, для быстроты пропуская фамилии и позволяя себе некоторые сокращения. Заглянем в его блокнот:

«Кумачом расцветены улицы и площади города. Перед фасадом областного театра музкомедии на флагштоке государственный флаг СССР. Здесь состоялось совместное торжественное заседание областного комитета партии, исполкома советов депутатов трудящихся, посвященное награждению области высоким орденом «Дружба народов».

В зале члены и кандидаты в члены бюро обкома, депутаты областного совета, руководители партийных и советских организаций, передовики промышленности и сельского хозяйства, деятели науки и культуры, воины Советской армии. Здесь же многочисленные гости из соседних областей, соревнующихся с нашей областью, делегации из Москвы, иностранные корреспонденты.

Аплодисментами встретили участники торжественного заседания Зам.Преда из Москвы, Первого, председателя и т. д. (проверить по списку). В президиуме также члены бюро обкома, руководители делегаций, прибывших на торжество, знатные производственники, представители общественности.

Торжественное заседание открыл тов. Первый. От имени коммунистов, всех трудящихся нашей области он выразил сыновнюю признательность партии, ее ленинскому Центральному Комитету, Политбюро и лично генеральному секретарю ЦК КПСС тов. Л.И.Б. за постоянную заботу о благе и счастье советских людей.

От имени областного комитета партии, исполко-

ма тов. Первый горячо поздравил всех участников торжественного заседания, всех трудящихся области со знаменательной наградой — орденом «Дружба народов».

С огромным воодушевлением участники торжественного заседания избирают почетный президиум, в составе Политбюро ленинского ЦК КПСС во главе с тов. Л. И. Б.

Далее тов. Первый рассказал об огромных успехах области. (Полный текст доклада, набранный в типографии, сверить по стенографическому отчету.) Бурные, продолжительные аплодисменты.

Тепло встреченный собравшимися, на заседании выступил Зам.Пред. из Москвы. (Готовые гранки сверить по стенограмме.)

Под звуки торжественного марша в зал вносят знамя орденоносной области. Тов. Зам.Пред. из Москвы прикрепляет к знамени орден. Бурные аплодисменты, все встают.

С высокой наградой Родины трудящихся нашей области поздравили руководители делегаций: (уточнить инициалы и проверить по списку). Ораторы говорили, что расцвет экономики и культуры нашей области, как и всех соседних областей, — это наглядный результат вдохновенного творческого труда рабочего класса, колхозного крестьянства, народной интеллигенции, яркое свидетельство торжества ленинской мудрой политики КПСС.

Участники торжественного заседания с большим подъемом приняли приветственное письмо ЦК КПСС, президиуму Верховного Совета, Совету Министров СССР.

С заключительным словом...»

С заключительным словом должен был выступить Первый секретарь обкома. Но тут в зале поднялся глухой ропот, шум усиливался, участники торжественного заседания вскакивали с мест, где-то свер-

ху, с галерки, раздалось нестройное «Ура». Удивленный ответственный секретарь редакции оторвался от блокнота, приподнялся, чтоб получше рассмотреть происходящее на сцене, и... перо выскользнуло у него из рук, а блокнот полетел под кресло...

В то время, когда участники торжественного заседания с большим подъемом принимали приветственное письмо, к театру музкомедии подъехала белая «Волга» и крытый военный грузовик. Лейтенант Потапов, дежуривший с товарищем из четвертого отдела, узнал управленческую «разгонку». Правда, его несколько насторожило, что из грузовика один за другим начали выпрыгивать солдаты с автоматами через плечо, но тут из машины вышел полковник Белоручкин, и лейтенант Потапов успокоился: начальству виднее. Далее из «Волги» вылез старший лейтенант Подберезовик, которого в управлении за глаза называли «Чапаевым» (зачем этого увальня принесли? — лениво подумал Потапов), Подберезовик помог выбраться из машины сухонькому седому старичку в военной шинели, без погон. (Еще один выступающий — догадался Потапов — какой-нибудь «старпер», большевик-пенсионер.) Полковник Белоручкин первым поднялся по ступенькам, рванул на себя дверь и при виде дежурных скривился в иронической улыбке:

— Всего двое у входа? Ах, товарищ Митрохин! Надо же в такой день посылать комитет на картошку!

Лейтенант Потапов хотел было заметить, что, насколько ему известно, приказ исходил не от начальника управления, а от полковника Белоконова, но Белоручкин не дал ему выговорить ни слова:

— Потапов, наверх! Вам поручается наблюдать за балконом, а наружную охрану будут нести солдаты и второй отдел. — Полковник тяжело выдохнул воздух и, как бы жалуясь, добавил: — Взвод с Объекта пришлось снять. Людей мало.

Теперь для Потапова все стало на место. Взвод с Объекта — это спецчасть. Свои. В дверях появился Подберезовик со старичком-большевичком, и Потапов отметил про себя, что наш «Чапай» очень возбужден, небось, опрокинул пару стаканчиков, а вот лицо пенсионера странно знакомо: знатные усы отрастил папаша...

До фойе они дошли все вместе, вчетвером, а там Потапов свернул на лестницу, ведущую на балкон.

В верхнем фойе Потапов задержался. Зашел в туалет, со смаком выкурил сигарету. Дежурство на балконе — дело длинное и тоскливое...

На балконе была какая-то нелепая суета. Люди то вскакивали, то садились обратно в кресла, раздавались какие-то крики, и вообще шум в зале стоял невообразимый. Навстречу Потапову к выходу пробирался старик в старомодном синем в полосочку костюме. Лицо у старика было неестественно бледное, а глаза навывкате. Увидев лейтенанта Потапова, старик схватился за сердце и тихо опустился на ступеньки. Еще ничего не понимая, Потапов попытался пробраться к первым рядам балкона — отодвинул плечом какую-то женщину, протиснулся к перилам.

Внезапно зал разом стих, и тогда Потапов увидел на трибуне усатого старичка-большевичка, который поднял руку и сказал:

— Поздравляя область с выдающимися трудовыми успехами, я хочу объяснить народу, почему я здесь, чтоб не было никакой буржуазной мистики...

Старичок-большевичок говорил с грузинским акцентом и, что больше всего изумляло, без бумажки. Потапов охнул. Только сейчас он заметил на плечах старичка маршальские погоны.

— Я был тяжело болен, — продолжал оратор, — и медицина пришла к заключению, что единственный способ меня вылечить — это усыпить и заморозить на долгий срок, то есть, по-научному, ввести в состояние

анабиоза... Теперь я проснулся и абсолютно здоров.

Шквал рукоплесканий и криков расколол зал. Сосед Потапова, пожилой снабженец, плакал навзрыд и причитал почти что в ухо лейтенанту:

— Отец родной, слава Те, Господи, жив!..

Потапов покачнулся и вцепился в бархатные перила балкона.

Первый секретарь обкома сидел неподвижно, как статуя, и смотрел на светлое пятно зала невидящими сухими глазами. Одна ненужная и противная мысль билась у него в голове: «Ведь я был главным инженером на заводе... Спокойная техническая должность... Маша предупреждала: не переходи на партийную работу... Высоко поднимешься — больно упадешь... И сидел бы я сейчас в министерстве, ведь звали... Ну почему, почему мне так не повезло?»

...В первый момент, увидев Сталина, он подумал, что это актер из какой-нибудь музыкальной комедии: сейчас актер споет поздравления и станцует — таков новый церемониал празднеств, и, конечно, московский товарищ в курсе, по его инициативе... В тот момент еще можно было что-то спасти. Но пока он искал глазами Зам.Преда из Москвы, пока наконец встретился с его недоумевающим испуганным взглядом, — время уже ушло.

Отныне он, хозяин области, не мог управлять собранием. Отныне зал подчинялся только Сталину. Скорее всего по инерции, без всякой надежды, он оглянулся на боковой выход и сразу засек в дверном проеме насупленное лицо полковника Белоручкина, а за ним фигуру солдата с автоматом на плече. Первый секретарь обкома даже позволил себе усмехнуться: все расписано и подготовлено. А как же ты думал? Старая школа!

Как будто издавека, до его ушей доносился размеренный голос Сталина:

— Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность советских границ... Мы опираемся на морально-политическое единство советского общества, на растущую хозяйственную, политическую и культурную мощь, на дружбу народов нашей страны.

«Что же будет? — отрешенно, словно со стороны, подумал Первый. — Кто же останется в Политбюро? Он им все припомнит. Он никому и ничего не прощал».

— Разрешите, товарищи, со всей большевистской прямоотой, — Сталин сделал многозначительную паузу, — а партия Ленина не может забывать этого слова, так вот, именно с большевистской прямоотой — (в разных концах зала вспыхнули аплодисменты) — высказать несколько замечаний по постановке идеологической работы среди масс. Ленин учил, что наша партия должна всячески развивать критику и самокритику, и если допущена ошибка, то ее надо исправлять, а не замалчивать. — (По залу прошел настороженный шепоток.) — Ни для кого не секрет, что в нынешних условиях вести идеологическую работу среди населения стало значительно труднее. Пропагандистские семинары посещаются с неохотой, агитаторов приходится назначать чуть ли не из-под палки, и вообще, явно снизился интерес к изучению классиков марксизма-ленинизма. — (Верно! — закричало несколько человек из зала.) — Причин, конечно, много. Но вот одна из них, на мой взгляд, существенная. Признаться, я с удивлением узнал, что сейчас почти официально разрешена эмиграция некоторым группам населения. Кажется, с одной стороны, в этом нет ничего страшного. Пускай недобитые остатки еврейской буржуазии катятся в свои палестины, как говорят в народе, баба с возу, кобыле легче, — (по залу прошелестел одобрителный смехок), — но с другой стороны, что же

получается, товарищи? Раньше, когда Советский Союз держал границы на замке, у старой интеллигенции, кулацких прихвостней и прочих чужеродных элементов не было иного выхода, как идти на службу к советской власти и жить, строго подчиняясь нашим законам. Теперь же, когда появилась лазейка для эмиграции, разные малочисленные группы населения начали строить иные планы и в связи с этим потихоньку вести антисоветскую агитацию. Естественно, в таких условиях нашему пропагандистскому аппарату трудно работать. — (Аплодисменты.) — Уверен, что большинство партии не согласно с таким ослаблением идеологической борьбы. — (Громкие аплодисменты.) — Надо, чтобы каждый гражданин Советского Союза, где бы он ни находился и где бы ни работал, твердо осознал, что коммунизм лично для него неизбежен и неотвратим. Только при этом условии мы можем построить новое общество.

Зал взорвался бурной овацией.

«Как просто и гениально! — усмехнулся первый секретарь обкома. — Мудрость вождя, вероятно, в том и состоит, чтобы выражать подспудные мысли партийных работников. Теперь они пойдут за Сталиным в огонь и воду. К тому же, подкупает его манера выступать: он обращается прямо в зал, а не читает речь, он как бы советуется с людьми, а не повторяет заученные абзацы. Ты бы смог без бумаги? — спросил он сам себя. — Нет, боишься, не дай Бог, оговоришься, не так поймут, не так передадут... Эх, права Маша — надо было оставаться на заводе».

— Мы помним троцкистско-бухаринскую кучку шпионов, убийц и вредителей, — продолжал Сталин, — пресмыкающуюся перед границей, проникнутую рабским чувством низкопоклонства перед каждым иностранным чинушей и готовую пойти к нему в шпионское услужение...

«А что если... — полыхнуло в глазах у Первого. —

Ведь Ему нужны свои преданные кадры... Нет, небось доложили, по чьей инициативе мне дали область. Интересно, меня тоже причислят к шпионам и убийцам?..»

— Нельзя забывать, — говорил Сталин, — о капиталистическом окружении, которое засылает в нашу страну шпионов, вредителей и убийц.

«Безнадежно, — устало сомкнул веки первый секретарь обкома. — Вот уже идейно обосновывается грядущая чистка. Мне пощады не будет».

Сталин на трибуне сделал паузу, отпил из стакана воды.

— Товарищи, у меня не было возможности тщательно проанализировать обстановку, но бросается в глаза следующая любопытная деталь: руководители нашего государства чего-то слишком часто ездят по заграницам, а секретари обкомов неделями добиваются у них приема! Если посмотреть с партийной точки зрения, то это безалаберщина, разбазаривание дорогого государственного времени. — (Зал одобрительно загудел.) — По-моему, товарищи, надо чаще посылать в такие поездки работников среднего звена, из обкомов. — Сталин окинул цепким взглядом первые ряды и указал рукой на розовощекого молодого человека. — Вот вы, например, разве не договорились бы с Жискар д'Эстеном? Думаю, что наш советский комсомолец политически грамотнее французского президента.

Розовощекий молодой человек, второй секретарь обкома комсомола, обмер и вдруг представил себя в роскошной машине на Елисейских полях, а кругом француженки, Бриджит Бардо, Анук Эме, и эта, как ее, с ногами..., камеры телевизоров, кино — и жар шибанул ему в голову.

— Создается впечатление, что в настоящее время у нас мало проявляется заботы о партийных кадрах. — (Зал затаил дыхание, боясь пропустить хоть слово вождя.) — Кадры партии — это командный состав

партии, а так как наша партия стоит у власти, они являются также командным составом руководящих и государственных органов. Что значит правильно подбирать кадры? Правильно подбирать кадры — это еще не значит набрать себе замов и помов, составить канцелярии и выпускать оттуда разные указания. — (Зал грохнул дружным смехом.) — Во-первых, надо ценить кадры как золотой фонд партии и государства, дорожить ими, иметь к ним уважение. Заботливо выращивать кадры, помогать каждому работнику подняться наверх...

«Сидоров сгорел, он человек Первого, — шумело в голове у розовощекого секретаря обкома комсомола, — и значит я... Сегодня же ночью раскопаю у тестя Краткий курс, вызубрю от корки до корки».

Розовощекий секретарь обкома комсомола преданно глянул на трибуну, а с трибуны неслось:

— Надо смело выдвигать новые молодые кадры, не давая им перестояться на старом месте, не давая им закиснуть. У молодых кадров имеется в избытке чувство нового, драгоценное качество каждого советского работника...

Розовощекий секретарь обкома комсомола смотрел на Сталина собачьими глазами, и до него уже не доходили дальнейшие слова, он просто знал, что отныне каждая клеточка его тела принадлежит мудрому Вождю и Учителю, и если в бой пошлет товарищ Сталин, Сталин — наша слава боевая, то теперь он до конца, до гроба, он любому горло перегрызет...

И когда Сталин кончил речь, после бури криков «ура» и рукоплесканий, зал встал и как один человек запел:

«От края до края по горным вершинам,
Где горный орел совершает полет,
О Сталине мудром, родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ...», —

— розовощекому секретарю обкома комсомола казалось, что его срывающийся голос будет услышан на трибуне.

IV

*«И маршалы едут за ним,
И едут за ним адъютанты...»*

Примерно в четыре часа дня по проспекту Маркса к площади Дзержинского подымался интеллигентного вида человек, с большой папкой подмышкой. Он шел и мучительно размышлял, куда же ему сначала зайти: в издательство «Детская литература» или в издательство «Колос»? В издательстве «Колос» ему выписали тридцать шесть рублей гонорару, в Детгизе причиталось значительно больше — сто двадцать три рубля. Но там он был должен редактору и главному художнику, и если раздать все долги, то едва останется рублей двадцать. А вдруг редактора или художника нет на месте? Тогда надо скорей спешить в «Детскую литературу». А если они, скорпионы, только его и ждут? Может, завернуть в «Колос»? Словом, интеллигент страдал типичной интеллигентской раздвоенностью.

Из подземного перехода, ведущего к «Детскому миру», на интеллигента наскочила толстая раскрасневшаяся тетка в зеленом платке, желтом пальто и черных резиновых сапогах. В одной руке тетка держала полную авоську апельсинов, другой придерживала красного игрушечного коня в целлофановом пакете. Тетка толкнула интеллигента и, не извинившись, заойкала:

— Ой, куда же это я попала, к ЦУМу или к ГУМу?

В ответ интеллигент чертыхнулся и вышел на

площадь. «Вот темнота, — думал он, — со всей страны приезжают в Москву, и только знают спрашивать — где ГУМ и ЦУМ, а ведь столица — культурный центр, музеи, театры, да фигу два их это интересует, мешочники!»

Но тут другое интригующее зрелище привлекло его внимание. Своим зорким, наметанным взглядом художника он заметил, как через всю площадь Дзержинского, игнорируя столпотворение машин и огни светофоров, легко, элегантно, поблескивая никелированными полосами и зелеными стеклами, проскользила длинная правительственная машина, похожая в профиль на шляпу с загнутыми полями, и встала у первого подъезда здания КГБ. «Красиво, — умилился интеллигент, — небось, личный «ЗИЛ» товарища Андропова».

У первого подъезда несколько якобы беспечно слоняющихся мужчин в штатском сбились в кучу, образовав нечто вроде коридора. Открылась дверь первого подъезда, но кто оттуда вышел — интеллигенту не удалось рассмотреть. Внезапно движение на площади стихло. Светофоры горели только красным огнем. «ЗИЛ» Андропова оторвался от тротуара и, набрав огромную скорость, визжа шинами, обогнул памятник Дзержинскому. Частный бордовый «Жигуленок» и два зеленых такси, отскочив от предыдущей толпы машин, мельтешили по площади. Не сбавляя хода, «ЗИЛ» рыкнул клаксоном, да так страшно, что в животе у интеллигента похолодело, а частный «Жигуленок» и два такси тут же оказались на тротуаре. Правительственный «ЗИЛ» унесся по направлению к Старой площади.

Провожаемый нескончаемыми рукоплесканиями, товарищ Сталин прошел в президиум (президиум стоя приветствовал его аплодисментами), улыбаясь, поздравовался за руку с Зам.Предом из Москвы, председате-

лем облисполкома и первым секретарем обкома (аппаратчики тут же отметили эту знаменательную последовательность) и сел на свободный стул в третьем ряду сцены (старые аппаратчики понимающе переглянулись: примерно такое же место в президиуме Сталин обычно занимал на заседаниях в Кремле). Высоченный, широкоплечий, курчавый мужчина, появившись на трибуне, объявил перерыв на обед, а членов бюро обкома попросил собраться на экстренное совещание, которое будет проводить лично товарищ Сталин. И еще незнакомый оратор сообщил, что после перерыва состоится праздничный концерт артистов музкомедии.

Депутаты областного совета, представители партийных и советских организаций, передовики промышленности и сельского хозяйства, деятели науки и культуры, а также многочисленные гости из соседних соревнующихся областей, взволнованные и радостно возбужденные, высыпали в фойе. Там их ждали дымящиеся лотки с горячими сосисками и котлетами. Двери театрального буфета были гостеприимно распахнуты, а за стойкой заманчиво поблескивали бутылки коньяка и портвейна. Однако большинство участников торжественного заседания, презрев эти соблазны, бросилось кто в нижний вестибюль к телефонам-автоматам, кто — прямо в гардероб и к выходу.

Но не тут-то было. У главного входа, а также у запасного и пожарного, дежурили солдаты с автоматами, а стоявшие рядом молодые люди в штатском, похожие на спортсменов, вежливо разъяснили интересующимся, что пока из помещения театра велено никого не выпускать, во избежание возможных кривотолков в городе. Длинные очереди, образовавшиеся в вестибюле у телефонов-автоматов, стали очень быстро распадаться, ибо какой смысл звонить, когда телефоны не работали. Молчали также телефоны в ком-

нате администратора, в кассе, а директорский кабинет был заперт изнутри.

Несколько секретарей обкомов — руководители делегаций из соседних соревнующихся областей, резкими, властными голосами немедленно потребовали начальника охраны. Начальник охраны не замедлил появиться. Им оказался тот самый широкоплечий, высоченный мужчина, который объявлял перерыв.

Секретари обкомов, сразу сбавив тон, обступили начальника караула и по-свойски, даже добродушно указали ему на явное недоразумение: секретарям положено обедать в обкомовской гостинице! Начальник караула извинился, однако подтвердил: пока не будет объявлено решение бюро обкома, из театра никто не уйдет.

— Василий Иванович, — обратился к начальнику охраны один из секретарей, видимо, достаточно информированный. — Я прекрасно понимаю ответственность момента, так что на мой счет будьте покойны, но у меня язва, я не могу есть сосиски. Сделайте хоть для меня исключение.

В ответ Василий Иванович сухо улыбнулся, но сделать исключение не пожелал.

Было замечено также, что на лестнице к Василию Ивановичу подлетел с деловым видом молодцеватый военный с погонами капитана войск КГБ и начал что-то сосредоточенно шептать ему на ухо. Василий Иванович постоял, склонив голову, послушал, потом выпрямился и, весело блеснув глазами, лениво, но достаточно внятно произнес:

— Суриков, а катись ты к...

Капитан застыл как вкопанный, потом смешался с толпой. Василий Иванович неторопливо продефилировал сквозь фойе, где передовики производства, деятели науки и культуры, а также представители воинов Советской армии почтительно уступали ему дорогу.

Вообще бросалось в глаза, что возбуждение и

ажиотаж, еще недавно царившие среди участников торжественного заседания, как-то спали. Наверно, люди просто устали — ведь сегодня пришлось столько волноваться, столько аплодировать, радостно приветствовать... Делегаты в одиночку или парами слонялись по коридорам, переговариваясь преимущественно о погоде, а гости из областей сбились в кучи по углам. Некоторые депутаты замерли у окон, тоскливо вглядываясь в многолюдную театральную площадь.

Где заседает бюро обкома, никому не было известно.

В шестом часу из маленького фойе, в котором на плюшевых диванах под портретами артистов театра расположилась делегация северной области, довольно явственно донесся солидный басок:

— Товарищи, в конце концов нас пригласили сюда в качестве гостей и мы ни за что персональной ответственности не несем.

И почти тотчас же небольшое происшествие взбудоражило умы. Из буфетной комнаты, покачиваясь, вышел первый секретарь южной области. Первый секретарь южного обкома был известен партактиву под ласковым именем «Железный Миша». Так прозвали его любящие подчиненные за крутой нрав и пуританский характер. Во всех соседних соревнующихся областях знали, что «Железный Миша» — абсолютный трезвенник, а тут... «Железный Миша» был не просто сильно выпивши, а пьян в дупелину, в стельку, в драбодан. Широко и бессмысленно улыбаясь, первый секретарь южного обкома громко бормотал:

— Это надо же, медицина шагнула! Через двадцать один год! Вылечили! Двадцать один — очко! Да здравствует наша советская медицина!.. Гр-р-рандиозные успехи! Теперь мы можем надеяться... Чудеса! Перегнали Америку!

«Железного Мишу» деликатно поддерживали с обе-

их сторон два члена его делегации, тоже изрядно на-веселе.

Не скроем — эта сцена неприятно удивила некоторых деятелей науки и культуры, которые посчитали, что ответственные лица должны своим поведением показывать положительный пример, должны сдерживать свои эмоции, тем более в такой необыкновенный день. Но ушлые аппаратчики быстро смекнули, что к чему.

— А ваш-то умен, — сказал кто-то члену делегации южной области.

В буфет повалил народ. У стойки мигом образовалась огромнейшая очередь, хвост которой терялся в фойе. Запарившаяся буфетчица еле успевала откупоривать бутылки с коньяком.

Кабинет директора областного театра музыкальной комедии состоял из двух комнат: самого директорского кабинета и маленькой приемной. В кабинете за двойными, обитыми дерматином дверьми, заседало бюро обкома, а в приемной, за столиком секретарши, сидел полковник Белоручкин и периодически вызванивал кому-то по телефону. Из кабинета не было слышно, с кем и о чем говорил полковник Белоручкин, но сам полковник, кончив очередной разговор, открывал створку дверей и таким образом был в курсе того, что происходит в кабинете.

— Безобразия, — втолковывал в трубку полковник Белоручкин, — почему телевидение уехало так рано? Монтируют передачу? Так вы не то снимали! Какое вручение? Ах да, орден... Эту пленку можно выбросить. Я вам говорю. Я передаю указания Самого. Кого? Понимать надо, молодой человек. У нас главный в области, — тут полковник не удержался и хихикнул, — Пал Палыч. Да, присылайте снова операторов. Что свет? Какой свет? Нужен свет — организуем, театр подожжем. Шучу, конечно. Да, к шести

часам. Запишите на пленку — и экстренно в эфир.

Полковник положил трубку, усмехнулся и приоткрыл створку двери.

— Мне стало известно, — донесся из кабинета спокойный, деловитый голос Сталина, — что вы, Петрович, как-то неудачно рассуждали о тридцать седьмом годе. Бесспорно, имели место некоторые перегибы и факты нарушения ленинской законности. Но как гласит народная пословица: лес рубят — щепки летят. И потом, вспомните, уважаемый товарищ, кем были вы до тридцать седьмого года? Девятнадцатилетним пареньком, секретарем цехового комитета комсомола. А в октябре тридцать седьмого года вас назначили сразу директором завода...

В приемной тренькнул телефон. Белоручкин послушал трубку и поморщился:

— Какого Григория Аполлоныча? Какие билеты? Да, это театр. Не могу. Григорий Аполлоныч репетирует с артистами праздничный концерт. Звоните завтра.

Бросив трубку, полковник опять наострил уши.

— Советский Союз всегда боролся за мир во всем мире, — говорил Сталин. — Подчеркиваю, боролся. А нынешняя так называемая политика «мирного сосуществования» является сдачей позиций международному империализму. В самом деле, вдумайтесь, товарищи: ради долгосрочных кредитов и импортного оборудования мы идем на уступки нашему врагу. Враг получает долгожданную передышку и укрепляет свою военную мощь. Что же получаем мы? Дорогостоящие станки и оборудование ржавеют на складах, валюта тратится на ширпотреб. Между тем с нами торгуют не из-за наших красивых глаз. Империализм весьма озабочен собственной выгодой. Советский Союз за бесценок продает нефть, газ, лес, руду. Вспомните, товарищи, ленинское учение об империализме! Для империализма характерна хищническая

эксплуатация сырьевых баз колоний, то есть Советский Союз в данном случае служит сырьевым придатком империалистической системы. Это позор! Чем же отличается политика нынешнего правительства от политики прогнившей дореволюционной России?

«Он их как котят, — удовлетворенно жмурясь, подумал Белоручкин. — Он им быстро мозги вправит».

Снова вякнул телефон.

— Да, — сказал полковник в трубку. — Телефонogramмами на предприятия! Даны указания? Отлично. Митинг в семь часов на театральной площади.

Полковник встал, сладко потянулся, поправил погоны, провел рукой по волосам и четким шагом вышел из приемной в фойе, не забыв запереть за собой дверь.

По театру стремительно разнесся слух: товарищ Сталин выступит по областному телевидению, которое будет транслировать свои передачи по первой программе и через «Орбиту» на всю страну. Стало также известно, что в семь часов вечера назначен грандиозный митинг трудящихся. Рабочие города соберутся на театральной площади слушать Вождя и Учителя.

Настроение участников торжественного заседания сразу поднялось. Возможно, некоторую роль сыграло то обстоятельство, что почти все делегаты и депутаты успели раз или два подойти к буфетной стойке. Как бы там ни было, в фойе опять зазвучали громкие, радостные голоса, а в зале молодые активисты под руководством розовощекого второго секретаря обкома комсомола организовали летучий семинар: «Сталин и молодежь».

Почти под самой крышей театра, там, где узкая лестница упиралась в дверь балкончика для осветите-

лей, совершенно случайно встретились два молодых человека. Злые и завистливые языки называли их самыми умными людьми в области. Тот, что был в военной форме с погонами капитана КГБ, настороженно прислушался, нет ли каких шагов по лестнице, потом тихо спросил:

— Как самочувствие, Красавин?

— Капитан Суриков, разрешите доложить, — в тон ему ответил Красавин, — настроение бодрое, идем ко дну...

— У меня к тебе вопрос, довольно серьезный: знал ли кто-нибудь из прежнего состава Политбюро о том, что Сталин не умер, а так сказать, перешел в состояние анабиоза?

— Темное дело. Однако смею полагать, что Хозяин был достаточно хитер. Иначе бы его прах давно развеяли по ветру. Кто из стариков оставил в наследство такую «бомбу замедленного действия», мне не ведомо. Вероятно, он здорово веселился, предвидя, что произойдет через какое-то время. Наверно, его самого уже нет в живых, а то бы примчался сюда, как ошпаренный. Убежден в одном: для нынешнего руководства это сюрприз, и весьма неприятный.

— Я так и думал.

Красавин смерил внимательным взглядом своего собеседника. Суриков выдержал этот взгляд:

— За меня, Славочка, будь спок. Я еще в пятнадцать тридцать, как только вся эта заварушка началась, связался с Москвой.

Глаза Красавина потеплели, он покачал головой.

— Рисковый ты парень, Толя.

— А трус, Славочка, в карты не играет, — дружелюбно разъяснил ему капитан Суриков.

Тень озабоченности промелькнула на лице Красавина.

— Как это удалось?

— У меня секретов нет, — улыбнулся Суриков. —

Слушайте, детишки: в грим-уборной Светки Барашковой — примы местного театра — городской телефон. — И предупреждая следующий вопрос Красавина, быстро добавил. — Только теперь все перекрыто, и из театра не выйти, я уже пробовал.

— Светка Барашкова? — наморщил лоб Красавин. — Та, что поет писклявым голосом?

— Но фигура какая! — бесстрастно заметил Суриков.

— Понял тебя, Толя. Ты даром времени не теряешь. Зачем же тогда в Москву переводиться?

— Служба. Однако сейчас меня могут перевести совсем в другие края. Да и тебя тоже.

— Куда партия направит, туда и поедем. — Глаза Красавина заблестели. — Толя, кажется, рождается неплохая идея. Ты газеты читаешь?

— Не понял намека.

— Ну хоть в программу телевизионных передач заглядываешь? Помнишь, что сегодня в 19.30?

— Сегодня? Да, — оживился Суриков. — Я еще думал, как бы смыться из театра.

— Так вот, надо бы уговорить наших старперов, чтоб выступление Вождя и Учителя по телевидению назначили на это время. Сейчас у ребятшек такая запарка, пожалуй, не сообразят, что к чему. А это, Толенька, в наших силах.

Суриков недоуменно потер пальцем переносицу, затем удивленно протянул:

— Ты гений, Слава. Как поется в песне — «и чтоб никто не догадался». В свою очередь, я попытаюсь...

(Окончание следует)

СТИХИ

А н н а Г о р б у н о в а

* * *

Булату Окуджаве

Кто плачет,
а кто празднует,
кто любит — кто бросает,
а кто доволен попросту
погодой и собой.
А он сидит на камушке
и песенку играет
на дудочке, на дудочке,
на веточке сухой.

В собраньи ли торжественном,
на поле ли сраженья,
но узнаём мы вовремя,
что на земле почем.
Сполна дано на каждого
побед и поражений,
и чуточку, и чуточку
чего-нибудь еще.

Копите свои радости,
не спите над богатством,
но подрастают около
усталость и беда.
А нужно ведь всего-то лишь
тепла и постоянства
хоть чуточку, хоть чуточку
сегодня и всегда.

То по небу,
 то по морю
судьбу твою мотает,
и носит, носит по миру,
как медный пяточок.
А он сидит на камушке,
на дудочке играет,
да смотрит себе в сторону,
как будто ни при чем.

* * *

Декабрь. Москва. Холодная погода.
И водка обжигает горько.
На Запад смотрит сонная природа.
К запретной книге тянется рука.
Ах, Родина, ты мачехою сыну,
и в Золушек ты рядишь дочерей.
Но как уйду, но как тебя покину?
Поёт земля под тяжестью моей.
Поверить бы лукавому искусству
смещать акценты будничных примет.
За что казнишь несовпадением пульса,
картонным глянец праздников
и бед?

Летит метель и деревья качает.
Плач колыбельный сладок и жесток.
И радио о будущем вещает.
И радости осталось на глоток.

ПСАЛОМ

Господи!

Мы захлебнулись ветром.

Господи!

Он гонит нас куда-то.

Мы отставших отыскать бы рады,

но давно мы никого не ищем.

Каждый день дома мы строим где-то,

каждый вечер место забываем.

Спать хотим — глаза не закрываем,

есть хотим — покрыта пылью пища.

Корни обнажились у деревьев.

Теплая земля покрылась коркой.

Силы нас оставили надолго —

ничего поделать мы не можем.

Угли вспыхнут — и в огне потонут,

захлебнутся пламенем — погибнут.

Наши руки, наши души стынут,

неужели Ты не видишь, Боже?

Господи!

Не знаем, кто виновен.

Но кому назначено последним

закричать, что в небе солнце тлеет?

Господи!

Всё дальше мы уходим.

* * *

Неужели это навсегда?

Темный лес,

холодная вода.

То ли птица за рекой кричит,

то ли мама в городе не спит

и шаги считает за стеной,

и не знает,

что сейчас со мной.

А в реке холодная вода.
В ней сегодня светлая звезда.
От тепла, от солнечного дня
только ты остался у меня.
То ли лист по речке проплывет,
то ли рыба под воду уйдет —
замутится черная вода,
пропадет последняя звезда.

КАНАТОХОДЕЦ

И он пойдет по проволоке блестящей,
и он пойдет по проволоке манящей,
шаги свои оставив в настоящем,
и прошлое забудет навсегда.

А будущее — пропасть под ногами,
и свет по телу — желтыми кругами.
Семь чистых нот в его убогой гамме,
но в каждом шаге фальши зритель ждет.

А по лицу сидящего в партере
проходит тень непонятой потери:
там, наверху, он пошатнется в вере,
а ссадину другой себе прижжет.

И он скользнет на теплую арену,
спиною ощущая перемену.
Оркестр сыграет марш несовременный,
захлопают в ладоши малыши.

Жить каждодневным ожиданьем срыва.
А дома на столе — остатки рыбы,
и черствый хлеб, буханка за две гривны,
и водка во спасение души.

* * *

Так долго петь
и путаться в созвучьях,
и задышаться голосом своим.
Но вот в огне потрескивают сучья
и тянется к траве тяжелый дым.
И перестук осенних электричек
дробится и теряется вдали.
И долго
осторожный голос птичий
боится оторваться от земли.

ГОРБУНОВА Анна — поэтесса, живет в Москве, стихи распространены в Самиздате.

ВЗГЛЯД И НЕЧТО

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Хобби — модное сейчас слово. И понятие. Интервьюируя какую-нибудь знаменитость, иностранный корреспондент обязательно осведомится — а ваше хобби? Черчилль любил возводить кирпичные стены, Аденауэр — читать полицейские романы, Толстой — тачать сапоги, а мой виз-а-ви через рю Лабрюйер весной и в начале лета может часами возиться со своими цветочными горшками на окнах. Тычет чего-то там палочками, поливает из лейки. А мое хобби — фотоальбомы...

Делаю я это с большим успехом и сноровкой, а сам процесс доставляет неизъяснимое наслаждение, не говоря уже о благотворном действии на нервную систему. Как вязание или раскладывание пасьянса у женщин.

Альбомов у меня очень много. Первый был сделан сразу после войны и составлен из сохранных мамой фотографий, последний же посвящен Парижу. Между ними множество Коктебелей, Малеевок, Ялт, Кавказов, всяческих заграничных поездок, когда меня еще пускали, сталинградский альбом, альбом, посвященный фильму «Солдаты», и другой, о Бабьем Яре и разрушенном еврейском кладбище, хранящийся сейчас в архивах КГБ. Но все они блекнут рядом со сделанным мною перед самым отъездом из Киева. Называется он «Авто-био-фото-изо эссе».

Его не опишешь, надо посмотреть. Разбогатею — выпущу в прекрасном издании в количестве 50 экземпляров. Для друзей. Здесь, на Западе, это практикуется.

Альбом этот полу-шуточный, полу-серьезный. А к концу даже немного грустный. Всё сопровождается текстом, комментариями. Есть и рисунки разных лет. Фотографии друзей. Живых и ушедших. Начинается всё, как и положено во всей современной литературе, с конца или почти с конца. С переломной точки в жизни автора. Сохранилась и вывезена мною за границу киноплёнка моего выступления (самого его начала, потом оператор понял, что тратит ее зря) на том самом идеологическом совещании, где прерывал меня Подгорный. Потом назад, в XIX век. Мои родители, Швейцария, Париж. Я в локонах, без локонов, в пилотке. Послевоенное «просперити». И опять — сессионный зал Верховного Совета. Вырезки из газет: «Некрасов не удовлетворил слушателей, отстаивая свои

порочные позиции...» Далее рядом с фотографией автора в кругу семьи текст: «С этого дня определились настоящие друзья. Их стало меньше, но эти уже никуда не уйдут. Как и прошлое... (кадры на Мамаевом кургане, смена караула, мемориал) и будущее, которого хотя и меньше, чем прошлого, но все же оно есть.» Последнее фото — на фоне вечного пламени. «И невольно задумываешься — какое?» Июль 1974.

Как же оно сложилось, это будущее?

Очень не хочется отвлекать читателя к моим писаниям тех лет, когда я колесил по заграницам представителем самой передовой литературы в мире. Хотя экскурс тот весьма любопытен...

Не буду приводить текстуально (немного стыжусь), но смысл рассуждений об эмиграции сводится в основном к следующему — нельзя отрываться от родной почвы, иссякаешь, чахнешь, злобствуешь...

Были ли основания писать именно так? И да и нет. Да — потому что те немногие эмигранты, с которыми столкнула меня судьба, произвели на меня грустное впечатление. Старый парижский таксист из экспедиционного корпуса, озлобленный белоэмигрант в Гро-дю-Руа, на юге Франции, совсем молоденький пацан Ника Дасенко, сын эмигрантов из так называемой второй эмиграции, влюбленный во всё русское и даже советское. Ну и еще два-три персонажа. Вот и всё. Грустно...

Да, грустно. Но не только грустно. Попад в впервые на Запад, я не смог разобраться, вникнуть по-настоящему (куда там разбираться — приемы, встречи, Лувры, Париж...) в то сложное явление, которое называется эмиграцией. Да и что знали мы о ней? «Бег» Булгакова, генералы за рулем такси, неистово злобствующие, доживавшие свой век Мережковский и Гиппиус, бедствующий, недобрый Бунин, тоскующий по родине Рахманинов, сошедший с ума Нижинский...

Отрезанные от внешнего мира, мы и понятия не имели, что эмиграция не только бедствовала и тосковала, но и сохранила культуру, великую русскую культуру. Русский балет! Не Моисеев, покоряющий, но уже не удивляющий нынешних парижан своей отточенной техникой и дисциплиной, а тот, дягилевский, ищущий и находивший, Павлова, Фокин, все тот же Нижинский — вершина русского, а значит и вообще балета... Бенуа, Сомов, Бакст, Билибин, Серебряков! «Мир искусства» — изящный, тонкий, благородный и такой русский — в Париже! И литература вовсе не «влачила», а жила, нелегкой, трудной, во многом противоречивой, но жизнью. Не буду перечислять, один Набоков чего стоит. А мы-то о нем знали только так, понаслышке, какая-то там «Лолита» есть, ужасно неприличная, а потому и бестселлер, на Западе только так и пробьешься. А «Современные записки»? Я впервые узнал о них, увидев на полке у Евтушенко лет через десять после того, когда они прекратили свое существование.

Я ограничился страничкой, а об этом писать и писать...

Стою над могилой Ремизова. В Париже. На кладбище Сен-Женевьев-дю-Буа — самом красивом кладбище в мире. Покой тишина, березки. Русское кладбище. Церквушка русская, православная, луковки. Ни бумажки, ни окурка...

А почему я не стою над могилой Мандельштама? Ну, не я, я далеко, кто-нибудь другой? А кто и куда приносит цветы Марине Цветаевой?

Книги ее я покупаю в магазине «Глоб», в Париже, на рю де Бюсси. И отправляю в Союз. Желательно оказией, чтоб не украли на таможене. Булгакова тоже. И хи-хи! Джека Лондона и Дюма тоже. Подписался в том же «Глобе» и посылаю.

А Ремизова, забавно-безумные рисунки его, я молча разглядывал и читал недавно в Париже. На выставке русских «нонконформистских» (словечко же ж!...) художников в Palais des Congrès.

Русское искусство в Париже...

В трех или четырех залах этого самого дворца у Porte Maillot — башня его видна со всех концов Парижа — москвичи и ленинградцы. Рабин, Зеленин, Зверев, Шемякин, те самые, которых давили бульдозерами в Москве (так и вошла она, та выставка, в историю русского искусства под названием «бульдозерная!»). Если повернуть не направо, к выставке, а налево, — касса, где продают билеты на Моисеева. Он тут же, в том же Палэ. Над входом две громадные вывески-плакаты — «Балет Моисеева» и «Выставка русских художников»... Советскому посольству, кстати, это не понравилось. Приходили двое к палэ-де-конгрессному начальству, жаловались, провокация, мол. Начальство и бровью не повело — «а по-нашему — свобода», сказала оно.

Русское искусство в Париже!

В зале «Плейель», лучшем концертном зале Парижа, две с лишним тысячи мест, концерт Ростроповича. Билетов не достать. А они по сто, двести франков, концерт благотворительный... Стены дрожат от оваций. Публика не расходится, стоят, кричат: «Бравó, бравó!» Исполнялись сонаты Иоганна-Себастиана Баха. Ростропович выходит, кланяется, бисует. Опять рёв. И кругом русская речь, русские физиономии. И не зал Чайковского, зал Плейель. Залу Чайковского не услышать этого. Приезжайте в Париж... И «Пиковую даму» здесь услышите. С Галиной Вишневской, дирижер Ростропович. И ее сольный концерт (аккомпанирует Ростропович) — Даргомыжский, Мусоргский, Шостакович. И билетов тоже не достать — на афишах наклейки — «complet!».

Русское искусство в Париже!*

* А в витринах книжных магазинов нет-нет да мелькнет зеленая обложка «Carnet d'un badot» («Записки зеваки»). Тоже приятно!

А почему бы вам не вернуться домой? Советский зритель, слушатель соскучился по вас...

Кто бы, вы думаете, задал этот вопрос? Товарищ Червоненко, советский посол! Пригласил к себе чету Ростроповичей. Водочка, коньячок, улыбочки. Соскучился по вас советский зритель. Серьезно? Мы-то и не знали. Да-да, соскучился... А два года тому назад? Советский зритель что же, афиши срывал, концерты отменял? «Летучей мышью» в оперетте даже дирижировать не разрешал? Советский зритель?

Еще в Москве, до своего отъезда, Ростропович говорил мне: «Готов ехать в любую дыру, в любую глубинку. И бесплатно. Ни копейки не возьму, только дорогу. С баянистом. И вы знаете, я ездил раз в Якутию, под баян изумительно играть. Не верите? А вот так — Баха и под баян. Поразительно! Нет не хотят! Не позволяют! Поехали мы в турне с Галиной по Волге. Вылезаем где-то там, в Куйбышеве, кажется. А на моей афише, поперек, только Ро...и...ич осталось. «Выставка кроликов»! А? Ничего? И так на каждой остановке. Не кролики, так что-нибудь другое... И вот, всё бросаю. Дом, дачу, всю обстановку, картины, мебель, бросаю к такой-то матери, беру виолончель, пса и туда, где человек человеку волк. С братьями не получилось, поеду к волкам...»

И вот он среди волков. И ничего. Не хотят расходиться, кричат «браво». А бывший брат, сиречь Червоненко, водочкой угощает и так, между прочим, говорит: «Паспорта-то у вас и у Галины Павловны советские, серпастые, молоткастые. И сами-то говорили, что вроде как в творческой командировке себя считаете. Ваше здоровье, и ваше, Галина Павловна. Но иной раз развернешь газету, прочтешь ваши интервью и как-то неловко становится. Уж больно вы там, ну как бы это сказать, не совсем лояльно... Концерт вот собираетесь в пользу каких-то русских давать. Стоит ли? Не вяжется как-то...»

— Что с чем не вяжется? Я и в пользу собак давал, друга человека. А в пользу своих же русских нельзя? Почему, спрашивается?

— Ну, собаки собаками, они существа безмолвные. А русские эти самые... Вот лишили Максимова паспорта. Как бы невзначай...

— Меня что ли лишить? Попробуйте! У меня тут друзья есть. И немало. Английская королева, испанский король молодой, Форд... Созовем трибунал. Пусть решает. Может ли Ростропович вернуться к себе домой, или нет? Как решат, так и будет. А я созову журналистов и скажу им: вот, мол, такого-то числа, в 16.30 буду границу пересекать. В пункте таком-то. Приходите смотреть, как Ростропович со своей виолончелью (нет, не Страдивариусом, как бы не отняли) будет мимо пограничных столбов шагать. Они с танками, а я с виолончелью. Приходите, приходите, запечатлейте на пленку...

— Ну и чем этот выпивон кончился? — это уже я спрашиваю.

Вишневская в ответ сверкает глазами, это она умеет, а в посольстве, думаю, и того пуше.

— Кончилось тем, что ушли. Живые и здоровые. Полиция-то французская вся на ногах была... Ну и на прощание спрашивает: «Шутки шутками, а на каких бы вы условиях вернулись бы?» А я ему прямо — статью в «Правду»! Так, мол, и так. И всех виновников назвать. Поименно. И наказать! Вот тогда вернемся...

А вот сейчас давайте спросим Ростроповича — поменял ли бы он все эти залы «Плейель», филладельфийские, вашингтонские, испанских королей и королев на ту самую якутскую дыру с баянистом! Да, поменял бы! Тут же, сразу! Не хватает ему той дыры! Вот так вот — не хватает...

И второй вопрос. Почему менять? Почему не сочетать? Сегодня дыра, завтра Филадельфия, послезавтра Большой зал Консерватории...

Ох и неразумная у нас Родина. До чего ж неразумная, чтоб не сказать крепче...

Но вернемся к вопросу о будущем. Какое же оно?

В свое время, еще не приняв никакого решения, я крикнул в эфир — Кому это нужно? Кому нужно изгонять писателей, художников, музыкантов? Войнович хорошо на это ответил, прочитайте его «Иванькиаду»...

Кто и как решает эти вопросы — кого выдворять, кому удовлетворить просьбу, кого помучить перед этим, кого нет — никто не знает. Да это и не столь важно. Важнее и интереснее, с какой целью это делается. А чтоб не маячили перед глазами, мать их за ногу. И второе — русский человек за границей не приживется, факт. Свободы ему, видите ли, захотелось. Что ж, пусть побарахтается в этом самом свободном мире. А что клеветать будет? Пусть клеветет. Дадим ему достойную отповедь в «Литературке» или «Неделе», какой-нибудь «Голос мертвеца» или «Писк из помойной ямы»... К тому же, и передерутся там между собой.

Ну что ж, пискнем...

Когда эти строки попадут тебе на глаза, читатель, мой эмигрантский стаж исчисляться будет уже тремя годами. Кое-какой итог можно подвести.

Как проводила Родина, более или менее известно. На таможенные были вежливы, грузчики не бесчинствовали, с ними распито было даже пол-литра. В прошлом спортсмены, даже чемпионы, больше жаловались на свою судьбу, мне ж не без некоторой зависти пожелали успехов, счастливого пути. В аэропорту тоже почти без эксцессов. Говорю почти, потому что два вежливых подполковника наотрез отказались пропустить полуистлевшие странички журнала, который мама «издавала» в пятнадцатилетнем возрасте лозаннской школьницей («L'ami de Moras», №№ I — II, 1894, трогательные, написанные мелким каллиграфическим маминым почерком рассказы «Из Симбирска в Казань», ребусы, шарады и специальный отдел

«Пропажи и находки»: пропала резинка, карандаш, нашедшему — вознаграждение) и пра-пра-дедушкин Franciscus Floriani, диплом Anno MDCCCXXV на пергаменте с восковой печатью Виленского университета.

Огорчил меня и еще один эпизод. Всё те же полковники не разрешили мне взять с собой медаль «За оборону Сталинграда». Нету, мол, соответствующего удостоверения — оно, как назло, куда-то запропастилось. Медаль эта все-таки мне дорога, и только, когда я разозлившись проявил находчивость и пришил ее к «Окопам Сталинграда», полковники развели руками.

Ну, а дальше, уткнувшись носом в стекло иллюминатора, попрощался с Бориспольским аэропортом — увижу ли еще когда-нибудь? Провожаящих различить уже нельзя было, но я знал, что они терпеливо ждут, пока «серебристая птица» вырулит, совершит свой пробег, оторвется, взлетит и растает маленькой точкой в синеве.

Через три часа Цюрих. В самолете отходил, но не отошел. Всё путалось в голове. Московские проводы, киевские... Два милиционера и обычная в те дни машина у входа в «Пассаж», пока грузились чемоданы в машины.

Глядя на клубившиеся облака, подсчитывал, кто же был на проводах, кого не было. С теми, кого не было, а я думал, что все-таки будут, связь прекратилась навсегда. Да и кое с кем из пришедших что-то тоже не получается... И именно это «не получается» — единственное, что по-настоящему омрачает мое нынешнее существование.

Не знаю, как для других, но для меня покупка и отправка подарков на родину, пожалуй, самое радостное в моей зарубежной жизни. Ведь этот пушистый, мягкий свитер, купленный в Каталонии, ощупают десятки рук, и долго он еще будет «бестселлером» вечернего Крещатика. А черная андалузская мантилья и кружевной веер, приобретенный в Таррагоне? Ну, конечно же, женщины будут оборачиваться на него на каком-нибудь концерте Рихтера. А крохотные автомобильчики, мотоциклы и набор индейских перьев и томагавк? Мой внук Вадик получил за него первый приз на новогоднем вечере в своей криворожской школе, а сейчас в тех же перьях отхватывает призы его кузен Сережа. А чуинггам, ребячья валюта? Из Союза не прекращаются вопли — жевачку, жевачку! А футбольный альманах за 1975 год? Он побывал в руках каждого киевского «динамовца», за него предлагали нешуточные деньги. А трубки «Dunchill», голландские табаки, виски «White Horse», золотые и рельефные марки всяких Бахрейнов и прочих керосиновых эмиратов? Не говорю уже о книгах, альбомах, швейцарских календарях с Монбланами и ледниками... Я даже, насмотревшись в парижском метро на две голые мужские ступни, назойливо лезущие с рекламы, послал в Киев средство от потливости ног, рискуя, что употреблено оно будет не по прямому назначению, а по методу,

рекомендуемому Ерофеевым в бессмертной книге «Москва — Петушки».

И вот, когда оказывается, что и каталонский свитер, и Булгаков, и шотландское виски, и ерофеевский напиток лежат невестрелованными на одной из киевских квартир, а парижские лифчики и колготки принимаются с кислой миной — «Зачем это Вика тратится, нам ничего не надо...», — мне становится очень и очень горько... А я знаю, что значит получать заграничные посылки, сам бегал за ними на почту. А потом дарил друзьям банки от «Нес-кафе» и металлические, такие аппетитные, коробки из-под английского чая (здесь теперь сердце кровью обливается, когда выбрасываешь их на помойку).

Внизу проносятся — первое впечатление от Швейцарии — ярко освещенные желтым светом автомагистралей. Потом аэропорт, стеклянные стены. За ними друзья. Машут руками. Галич с женой — нужно же такое, у него как раз концерт в Цюрихе, — Мая Синявская, Толя из Базеля, журналистка, приезжала когда-то в Киев, остальных не знаю. Потом уютный русский дом в окрестностях Цюриха, застолье, ночевка в тихом отельчике. Утром, в кафе, водопад информации, низвергнутый на меня Машей Синявской. Ничего не слышу, не понимаю, разглядываю швейцарцев в смешных тирольках и рекламы всех видов шоколада.

Так всё это началось...

С тех пор прошло без малого три года.

Ну и как? — вопрос в лоб. Иссяк, погас, злобствуешь?

Попытаемся разобраться.

Иссяк ли?

В период моих десятилетних перипетий (1963 — 1973), в одно из попавшихся окошек я попытался сунуть моего «Зеваку». Что может быть невиннее. Гуляю, смотрю по сторонам, о чем-то там думаю. Никакой политики, детство, фронтоны, карнизы, прогулки по Крещатику, московские особнячки. Чтоб разбавить где-то все же пробиравшиеся критические нотки (московские башни), написал целую главу о русской архитектуре, проштудировав Игоря Грабаря (в «Зеваку» не вошло, привесок). Одним словом, писал, чтоб прошло. Ну что ж, очень мило, скажет читатель и отложит книгу в сторону. Стоит ли? Но писал. Не прошло.

До этого «В жизни и в письмах», 1970 год. О людях, с которыми жизнь свела. Интересно? Вроде бы и интересно. И люди интересные, судьбы не простые. И все же... Не от хорошей это жизни, что там ни говори. Попытался в стол писать — для внуков, правнуков, не для Самиздата — пришли мальчики и забрали.

И стал читатель меня забывать. Из библиотек-то книги изыали. Только фильм «Солдаты» по непонятным причинам нет-нет да и появится где-нибудь в клубе «Правды», 23 февраля или 9 мая.

Ну как не иссякнуть! Не здесь, там, дома, на родной почве, не отрываясь от нее...

А здесь?

Хорошо или плохо пишу, другой вопрос, но пишу, о чем хочу, что считаю важным, нужным. И нелегкими путями доходит это до тебя, читатель. И ты, боясь или не боясь, читаешь, ругаешь мелкий шрифт (что поделаешь, чтоб в один номер влезло), но читаешь. И, надеюсь, иногда слушаешь, пробиваясь сквозь глушку. Клеветщи, клеветщи побольше — долетает до меня призыв с родины — не я, так другие поймут, расскажут. И я клеветшу. Нежно и правдиво клеветшу... Это еще что? А то, что любимая моя «Правда» (не могу все-таки без нее, каждый день покупаю) как-то, а точнее в номере от 13 января 1977 года в заметке «Продажные провокаторы», обвинила чешских диссидентов в том, что они «грубо и лживо клеветуют на нынешний чехословацкий режим». Лживая клевета! Какая прелесть! Значит, есть и правдивая? Грубая! Значит, есть и нежная, воркующая? Вот я со спокойным сердцем иной раз и занимаюсь этим — нежно и правдиво клеветшу.

Но шутки шутками, а если говорить серьезно, долг каждого честного человека, оказавшегося в условиях, в которых оказался я, пользоваться каждым подвернувшимся случаем, чтоб говорить и доносить ПРАВДУ до тех, кто лишен возможности знать ее. И каким лакеем или слугой империализма ни обзовет меня «Литературка» или «Неделя», стерплю. Улыбнусь только.

Кстати, не пора ли уже на шестидесятом году жизни освежить как-то эти клише? Давайте подумаем. Что хуже — слуга или лакей? Слуга все-таки народа, лакей же — империализма. А может, переменить? Леонид Ильич — верный лакей народа. Нет, не точно. Метрдотель народа. Или еще лучше — народный мажордом Советского Союза. По-моему, прекрасно. И главное — ново.

Повезло Солженицыну, ему придумали новое — «литературный власовец». Пригвоздили! Но дальше этого не пошли. В который раз (а пора, пора б уже привыкнуть, и вот не привыкаешь) поражаешься тому, что в стране, в которой 16 миллионов членов партии, не нашлось ни одного мало-мальски грамотно пишущего, который дал бы хоть как-то и чем-то обоснованную «достойную отповедь» этому в конце зарвавшемуся лже-пророку и якобы-обличителю (О! Это «якобы», смертельно разящее «яко-бы»!), рядящемуся в тогу борца и псевдо-проповедника (и псевдо, псевдо тоже!), возмнившего себя к тому же писателем. На Западе с ним, Солженицыным, спорят, не соглашаются, обвиняют в различных грехах, иногда даже убедительно, а в советских газетах, кроме «литературного власовца», ничего и придумать не могут. Ну, из «Литературной энциклопедии» выкинули. Нет такого, мол, и всё! Софронов, Собко, Серебрякова, Сулейман Стальский есть, а Солженицына нет. Если и бродит где-то по свету и гавкает по каким-то там «Голосам», это его личное дело,

к литературе же отношения не имеет. Точка. А то, что когда-то на Государственную премию «Ивана Денисовича» выдвинули, так это ж при Хрущеве было, волонтаристе... «ГУЛаг» же выпустили для внутреннего употребления, ну это просто так, бумага лишняя оказалась, девать было некуда...

Но продолжим нашу работу, как любил говорить мой следователь по особо важным делам полковник Старостин после перекура и воспоминаний, как он играл в шахматы с Твардовским.

Продолжим...

С творчеством более или менее ясно. Не иссяк, как утверждаешь. Ну, а так вообще, прижился?

Да, прижился. Точнее — нашел форму существования. Создал себе свой собственный, странный, может даже противоестественный, но «свой» мир.

Я не дома и в то же время вроде дома. На письменном столе то же, что было и в Киеве. (Я вещист — как кто-то назвал меня, придаю значение вещам.) Слева так же, как и в Киеве, портрет Ивана Платоновича Чужого в рамке из карельской березы — моего театрального учителя, кумира. На стенке портреты друзей, сталинградская передовая, громадная, с метр длиной, фотография Киева — с одного из холмов в сторону тылов Большой Житомирской. Над тахтой размером чуть ли не с гектар план Парижа, тот самый, что на том же месте висел в Киеве — каждый домик, каждая улочка, каждая лестница, памятник. В столовой те же старинные акварели одного из итальянских прадедушек, столетней, если не более, давности цветная (ну, пусть раскрашенная, но ей-Богу не хуже теперешних) фотография Шильонского замка, на ломберном столике между окнами (том самом, где, злые языки говорят, мои предки просаживали свои имения) фотографии моего брата и бабушки, а над ними дедушка в овальной раме. Чуть ниже гипсовое, почти слоновая кость, распятие, купленное маме, когда она была девочкой, на Нижегородской ярмарке, рядом два маминых портрета — изящной девушкой и на склоне лет, в пенсне, печально задумавшаяся, что не очень было ей свойственно, — в моей комнате есть другая, живая, смеющаяся, мама ее не любила: ну чего я, как дура, смеюсь в одиночестве...

А по вечерам, за чаем, все вместе (слава Богу, а полтора года были врозь!) обсуждаем если и не совсем те, но часто и те самые, что дома, проблемы. Ищется квартира для ребят. «...Нет, нет, на Трокадеро слишком темная, мрачная... А там, в Vanves, друг у друга на головах будем, хоть и три комнаты, и светлая...» Покупается для отправки в Союз курточка для Гелия, свадебный подарок. Ту, что он заказал, сверху вроде болоньи, а внутри вроде фланель, в Париже давно уже не носят, что же выбрать? И тут же с киевских еще времен тянутся всё те же бесконечные разговоры об обысках, голодовках, Славике Глузмани — его милая, с сигаретой в зубах фи-

зиомония улыбается со стенки над стареньким «Аккордом», проигрывателем (пора купить уже новый, старичок-то разболтался, тянуть стал...).

И часто, очень часто (куда чаще, чем в Киеве) сидят за этим столом москвичи, москвички. Забавно, но круг москвичей, с которыми я встречаюсь, сейчас здесь куда шире, чем в последнее время в Москве. Там был свой, довольно тесный, с десятков-полтора человек, не больше — с возрастом появляется какая-то избирательность. А здесь, я подсчитал, за два с лишним года, точнее за 27 месяцев, побывало друзей из Союза — 25 человек, в общем-то по человеку в месяц (не всегда-то я в Париже бываю).

Стоп! Не похоже ли это на донос? Скажут потом — мы, вот, вас выпускаем, по музеям разрешаем походить, ну, там купить кое-какое барахлишко, а вы вместо этого чаи распиваете с разными там... Нет, не скажут. Во-первых, знают и без моих доносов, во-вторых, что-то все-таки изменилось. Кто-то поумнее появился. В этих, по крайней мере, делах.

И гуляю я с москвичами и москвичками по Парижу (и с тобой, читатель, не приехавший еще ко мне в гости, через несколько страничек погуляем, давно пора), и сидим в кафешках, и роемся в книгах у букинистов на набережных, и в магазины заходим (нет, не в большие, там голова кругом пойдет, а в лавочки, разные там *antiquite*, или где куклы продают, игрушки разные, карнавальные маски, есть и Жискар, и Марше, всё ищу Брежнева, пока не нашел, детант...), иной раз и в кино забежим — можно и на серьезное, можно и на вампиров, каратэ или туда, куда до 18-ти лет не пускают, многое, о чем и не подозревал, увидишь, а заодно и кругозор расширишь. (Ох, думаю, даже наши «слуги народа», которым иной раз «крутят фильмы про блядей», не видали многих картин об однополой любви, онанизмах и всех видов мазохизма и садизма, которые могли бы подсказать многое.)

Итак, гуляю. С москвичами и москвичками. Приезжими. А вот с теми, что обосновались уже здесь, москво-парижанами (есть, правда, и ленинградцы, и киевляне), почти совсем не гуляем. Они работают, заняты делом, им не до прогулок. Но они-то, в общем, и являются той средой, тем миром, в котором я живу.

Разрешите же представить:

Синяевские. Мы прожили у них два месяца, первые парижские месяцы. У них трехэтажный дом в Фонтенэ-о-Роз (тридцать минут на автобусе от Порт д'Орлеан), за ним садик, впереди бассейн с золотыми рыбками. Внутри, в основном, все время что-то строится и перестраивается (дому лет 150, не меньше), но есть и библиотека, и зало, и много книг, картин, икон, в этом Андрей разбирается, подделок, как я, вешать не станет.

У Эткинда, Ефима Григорьевича, если не дом, то полдома в Сюрэн (15 минут на поезде от вокзала Сен-Лазар и минут семь пеш-

ком, правда в гору). И тоже садик. Я его очень полюбил. В нем я лежал на раскладушке под тенью то ли груш, то ли слив, после операции, там же учился ходить. И в доме тоже много книг, как украшают они жилище. А теперь мы приезжаем туда на семейные торжества (хозяйка — мастерица их обставить!) или «на Галича», послушать новые, а еще лучше старые, полюбившиеся песни. Эх, бард, бард! Скажу по секрету, в Киеве я понемножку уже стал тебя ненавидеть. Витька, сын, приезжая из своего Кривого Рога, сразу бросался переписывать твоих Парамоновых, и голос твой доносился из кухни, где это всё производилось, почти круглосуточно. А теперь, как видишь, специально приезжаю и чувствую себя у Эткиндов почти как в Москве, кругом свои.

Но до Синявских и Эткиндов всё же далеко, Миша же Геллер (тоже профессор в университете, как и первые два) с женой жили совсем рядом, на рю Пигаль! Да, да, и перед входом в их дом всегда разгуливают эти милые (ну, не милые, привлекательные) птички. Миша тоже дурного слова о них не говорил, тем не менее сбежал, купил квартиру возле пляс Клиши. К нему легко всегда было забежать, посудачить о том, о сем, а заодно и оладий, очень вкусных, перехватить. Теперь надо на автобусе ездить.

С Анжеллой, нашей бывшей киевлянкой, теперь она Крюба, вышла замуж за француза, тоже дело плохо. Решили они строить дом и снимают квартиру где-то под Фонтенбло, рядом с будущим домом. С трудом теперь вырвешь только на обеденный перерыв — за час-то и поговорить ни о чем не успеваешь.

О двух других, «высочивших» за французов, дамах, Жанне и Нелле, врачи и писательнице, я уже писал. С ними мы тихо и уютно (а помнишь? а помнишь?) блаженствовали в нашей оливкодавильне. В Париже мы видимся реже. Жанна живет под самым Парижем, в предместье Малакоф с крохотным асфальтовым, но очень уютным двориком. Нелля еще дальше, в Со (по-французски Sceaux, в два с половиной раза длиннее). У нее целый этаж в двухэтажном домике и сад не хуже эткиндского. Она всегда приглашает к себе, и всегда бывает хорошо, но опять же ездить, сначала метро, потом поездом. Вот и видишься редко.

У Максимова сада нет. Зато живет он в шикарном районе, рядом с Этуаль. Отличается Максимов от всех, кроме всего прочего, тем, что у него две очаровательные (даже я признаю, не большой любитель детей) девчонки, родившиеся уже в Париже, — Наташа и Оля. Олю мы недавно крестили. Было трогательно и торжественно. Не в церкви — там слишком холодно — а дома. Крестный, всегда веселый и подвижный Ростропович, смиреннько стоял со своей свечкой в руках, рядом кума, Володина сестра с младенцем, а свечку вместо нее держал наш Вадик, настолько обремененный важностью порученного, что даже не смеялся, хотя, вероятно, очень хотелось.

Потом, после положенного ритуала, отец Николай Оболенский (брат Вики Оболенской) окунул нашу Олечку в купель, увы, простую голубую ванночку, и тут Оля впервые чуть-чуть пискнула, и не знаю почему у меня навернулись слезы на глаза. Я впервые присутствовал на этом обряде (в Киеве, правда, видел, заглянув когда-то в церковь на Куренёвке, советское коллективное крещение — младенцев десять, не меньше), и, слушая как будто затверженное, непонятное мне бормотание священника и стройный хор, вторивший ему, я почувствовал вдруг, что есть в самом этом древнем обряде нечто значительное и необходимое, не знаю даже что. Что-то обязывающее к чему-то. К любви, что ли...

В том же доме, на четвертом этаже, редакция «Континента». Наконец-то обзавелись. До этого всё делалось внизу, за обеденным столом, отвернув скатерть, на уголке. И всегда люди, непрекращающиеся посетители. Максимов, выпатив живот (а о Галиче один американец сказал: «Выглядит хорошо, только желудок немного вырос» — увы, потеряли мы стройность), шагает из угла в угол и «даёт» по тоталитаризму и западным левакам. Непонятно, когда он успевает делать журнал, организатор и вдохновитель, душа и сердце, и все рукописи читает и даже на письма вроде отвечает. А они идут. Со всех концов мира идут.

Журнал, дети, заграничные поездки... Когда все успеть? А успевает, потому что рядом, через три дома люди, без которых всё это было бы невымыслимо (даже дети!). Люди эти — Наталья Михайловна и Александр Александрович Ниссен. Добрее ее (правда, и ворчливее) нет человека на свете. Русская, из первой эмиграции еще, она из кожи вон лезет, чтобы помочь людям. Мрачный, неприветливый на первый взгляд Максимов и тихая его, всё понимающая и почему-то всё успевающая, Таня сразу же стали предметом ее забот. Советчица, гувернантка, наставница, нянька, переводчица, она и квартиру нашла, и домработницу, и вообще не было бы ее, не было б и «Континента», ручаюсь. Ангел-хранитель! Я ее тоже люблю, хотя у нее ко мне никакого уважения (все-таки ж писатель!), шпыняет, как мальчишку (хотя я старше ее на целый месяц), во время крестин даже за дверь выставила, увидев в зубах папиросу. Но я всё переношу, даже язвительные, хотя, конечно, несправедливые, насмешки ее по моему адресу. За доброту прошаяю.

Первая эмиграция (или проще, белая эмиграция). Несколько слов о ней. Не скажу, чтоб в этом определении — первая, вторая, третья эмиграция — звучал какой-либо антагонизм, но нечто подобное отношению фронтовика к тыловику у этих, первых, к нам, третьим есть. В этом нет ничего дурного, но звучит это примерно так — вам хорошо, вас мало, вы на готовенькое приехали, а нас было двести тысяч (а кто говорит, и четыреста) и приняти нас не с распростертыми объятиями, как вас, а в штыки. Да, это правда. Нам действительно хорошо. За эти три эмигрантских года я лично ниче-

го, кроме заботы и внимания, не видел. Как со стороны русских, так и французов. Даже в префектуре, к которой (так уж воспитали дома) особого доверия питать не должен был бы. Все там делалось быстро, четко и доброжелательно.

Да, нам хорошо. Не буду обобщать — есть исключения, даже не одно и не два — но что касается меня, пожаловаться не могу. Наоборот, только поблагодарить. И позволю себе — хочешь ты этого, читатель, или нет, — сказать несколько слов о тех людях, которые так облегчили первые наши неуверенные шаги во Франции. (Чуть-чуть не сказал «на чужбине». Нет, не стоит.)

Итак, открываю доску почета и благодарности.

Витя Hessel (не пишу Эссель, так как по-русски эта фамилия никогда не писалась). Писательница. Родители привезли ее из России в начале революции. Во Франции выросла, вышла замуж. Муж Стефан Hessel, по профессии дипломат, по натуре же — человек мягчайший и обходительнейший. И, по-видимому, невероятной физической силы. В кабинете у него лежат два огромных слоновых бивня, подарок какого-то из африканских президентов. Оторвать их от земли нет никакой возможности. А вот он на собственном горбу втащил их на четвертый этаж, что подстать только Алексееву и Власову. Вите, правда, сложнее, она тащит на себе весь дом. Подвижная, маленькая, с полуслова все понимающая. В глазах всегда сочувствие и ирония. Убеждений левых, но тут уж ничего не поделаешь, росла в годы Народного фронта. Не видела меня никогда в глаза, позвонила по телефону и предложила на всю зиму, до лета, свой дом под Фонтенбло. Там, в Марлотт, среди королевских лесов, в тиши и комфорте мы отходили от всех тревожений последних лет, вырастали во французскую жизнь. Там же закончен был и «Зевака». Сам дом (художественный руководитель и вдохновитель Витя) — образец того, как человек должен обставлять свое жилище (два других примера — дом Волошина в Коктебеле и домик И. С. Соколова-Микитова в Карачарове). Всё в этом доме удобно, красиво и немыслимо уютно. На первом этаже (на втором спальня) одно большое помещение, состоящее из двух или трех зал, комнат, не знаю, как их называть. Тут же, ничуть не мешающая, даже придающая уют, кухонька. Конечно же, камин. Даже два. Длиннющий, тяжеленный деревенский (а может быть, и барский) стол. Две лавки. Удобные, мягкие кресла, кушетки, шкафчики и бесконечное количество ламп, на всех столах лампы с абажурами. По вечерам мы зажигали их в разных концах дома, устраивались у камина и под звуки Чайковского или хора Пятницкого предавались размышлениям о жизни и смерти, о превосхождении капиталистического образа жизни над социалистическим...

Кроме бытового — где что повесить, расставить, приклеить — у Вити прекрасный литературный вкус. Будь у нее больше времени

(кроме работы, муж, два сына, дочь и внук — всех их обслужи, обо всех подумай, жалобы всех выслушай), носил бы все свои писания на первый суд. Увы, нет здесь Аси Берзер, слово которой во всех литературных делах (и творческих и практических) всегда было законом.

Другая писательница — Натали Саррот (на этом круг моих писательских знакомств замыкается). С ней мы знакомы 15 лет, и в свое время в «Месяце во Франции» я позволил себе посвятить ей несколько строк, полюбив ее с первого взгляда. Тоже маленькая, тоже подвижная. В глазах меньше иронии, чем у Вити, но больше веселия. В свое время мы при встречах пропускали по маленькой, но после одного ничтожного случая, который она, как истая француженка (хотя и русская еврейка), не может мне простить, перешли на чай. Я обожаю сидеть за ее круглым столом возле высокого окна с видом на что-то прекрасное, парижское, пить чай (!) со свежим багетом и ругать чопорные французские обеды, которым нет конца, где подают обязательно ненавистное мне мокрое мясо и водку пьют не в начале, а в конце. Кроме того, мы говорим о литературе, писателях, московских родственниках, КГБ, подлецах и героях (в основном в литературе), о сходстве и различии славянских, иудейских и французских душ и о путешествиях, в которых 75-летняя Наташа (она любит, когда ее именно так называют) заткнула меня за пояс.

— Когда ж мы увидимся? — говорю я прощаясь.

— Когда? Сейчас скажу. Через неделю еду в Египет. Выступать. Не пугайся, в американском университете. Евреи, думаю, простят. Потом, в добавление к гонорару, Нил, пирамиды, сфинксы, всякие там Рамзесы и Тутанхамоны... Потом на несколько дней в Англию. Оксфорд, Кэмбридж. Потом? Потом домой. Недельку дома и Нью-Йорк. Опять лекции. А из Нью-Йорка... Пригласили, понимаешь, на месяц в Калифорнию. Там что-то вроде литературного кемпинга. Молодежь. Хотели, чтоб я им курс о себе прочитала. Ты представляешь? О себе. Сказала, что не могу. Ладно, говорят, курс прочитай кто-нибудь другой, а вы так, что хотите. Ну, я и согласилась. На таких условиях почему бы и не пожить в кемпинге. Люблю американскую молодежь. Куда лучше нашей.

Да... Нет мамы, очень бы они сдружились...

С Витей Гашкелем — парижским психиатром — мы ровесники. Только я в четыре или пять лет вернулся из Парижа в Киев, а он, немного, правда, постарше, из Ленинграда (тогдашнего Петрограда) увезен был на Запад. Жизни наши сложились совсем по-разному. Но вот, разъезжая с ним по Парижу (он любит возить меня по городу, он его и знает и любит) или сидя в кафе где-нибудь на Сен-Жермен, или в «Каскаде» в Булонском лесу, в бесконечных наших разговорах («А скажи мне, пожалуйста» — так он начинает каждую беседу, если начинает ее он, а не я) выясняется, что почти во всем (кроме психиатрии, пожалуй, кое-каких ее аспектов) у нас одни и те

же взгляды, и вкусы, и понятия. В душе он, вероятно, немножко подсмеивается над моим «советским варварством», ну а я, как варвар, над его, назовем для простоты, западным снобизмом, непониманием наших дел.

— Вы заживевшая, богатая, любящая удобства и комфорт нация. И больше всего боитесь этого лишиться. И никогда никакого штурма Елисейского дворца у вас не будет, — с плеча рубаю я. — Чего ж вы смотрите в нашу сторону и за коммунистов голосуете?

Витя улыбается.

— Да коммунисты боятся революции не меньше Жискара, поверь мне. Марше такой же буржуй, как и тот, только тот к тому же аристократ, и вилла у Марше, может быть, чуть похуже жискаровской. Вот и вся разница.

— Да, — говорю, — пожилы б вы у нас.

— К счастью, Бог миловал. Но что поделаешь, социализм и все левое сейчас опять модно, сам знаешь.

— С человеческим лицом... А там брови...

— А в Швеции без бровей. Там даже король налоги платит.

— И тоже недовольны. Тоже с жиру бесятся. Бергман вот сказал, что его ноги в Швеции не будут.

— А это из-за налогов...

— А вы в Китай поезжайте, там налогов нет. Ты много платишь?

— Не спрашивай.

— Не утаиваешь? Азнавура судят уже второй год.

— Судят, но не осуждают. Во Франции считается хорошим тоном не платить государству...

— А у нас обворовывать его.

Так мы без конца в чем-то убеждаем друг друга, прекрасно оба понимая, что Франция разжирела, разленилась, часто теряет достоинство, но страна она прекрасная и оба мы ее любим.

Лафитты... Софи и Пьер. Софи — Софья Григорьевна — великий знаток русской литературы, кумир студентов, и Пьер, ее муж, директор одного из наиболее почитаемых научных учреждений Франции «Ecole des Mines». Люди, которым многие и многие обязаны. Обязаны и мы — их вниманию, заботам, радушию, их руке, протянутой нам в самое нужное время.

Вернаны... Лида и Жан-Пьер, сокращенно Жи-Пе. Он крупный ученый, в прошлом коммунист, и из влиятельных, сейчас, как всякий порядочный человек, из партии вышел. Она преподает русскую литературу в Венсене. Он француз, она вывезена из России. Во всем как будто разбирается, но левизной, как и все французские интеллигенты этого возраста, грешит. Россию и всё русское любит, болеет за ее беды, но капитализм ненавидит не меньше коммунизма. А может и больше, в чем, увы, — мы-то уж знаем — и ошибается. Человек прекрасных душевных качеств — моя жена особенно ощу-

тила это во время моей болезни. В детстве, до 13-ти лет, дружила с другой, таких же качеств, москвичкой. Потом, почти сорок лет, никаких сношений. В 67-м году дружба возобновилась — виновник — я! — и сейчас они видятся каждый год и друг друга заваливают подарками. Как Лидины подарки принимаются в Москве, я знаю очень хорошо, записал даже как-то на магнитофонную пленку — очень мы потом смеялись.

Из русских евреев (о, Господи, почему так много евреев?) упомяну еще двух братьев Hoffman (или просто Гофманов) Бориса и Жору. Ребята молодые, обоим и тридцати нет. Получили в наследство от отца литературное агентство и что-то там делают, никак не пойму что — всегда заняты по горло, куда-то торопятся. Обоим я обязан очень и очень многим. Своей добротой и готовностью всегда появиться они здорово помогли на первых шагах и во время проклятой этой болезни особенно. Когда в моей палате появлялась славная, смеющаяся Борькина физиономия, сразу становилось веселее. Но веселие длилось недолго — он, конечно ж, куда-то как всегда торопился и опаздывал.

Ровесница Гофманов — Ира Зайончик. О ней скажу кратко — мировая баба! Этим всё сказано. Человек, на которого всегда и по любому поводу можно положиться. Не подведет! Кроме того, знает все монпарнассские кафе различных репутаций, качество, на мой взгляд, весьма существенное.

Жан-Мари Идатт. Врач. И чистейшей воды француз. Познакомились мы с ним еще в Москве, лет 17 тому назад, не меньше. Ему посвящено целых пять страниц в «Месяце во Франции». Заканчиваются эти страницы словами: «Я рад, что познакомился с Жан-Мари. И не только потому, что он умный, веселый, обаятельный парень, а потому, что всем своим обликом, темпераментом, строем мыслей, своей честностью и благородством он укрепил во мне веру во Францию, во французский народ... Настоящая Франция, ее будущее — а я верю в него — это Жан-Мари, это Коко (другой врач, с которым я познакомился тогда же в Москве), это люди широкого ума, горячего сердца и — без этого француз не будет французом — веселой, лукавой усмешки в глазах»... Сейчас в Париже мы встретились при довольно сложных обстоятельствах. Он явился ко мне в палату госпиталя Амбруаз Парэ, где я вроде отдавал концы, и с того дня в течение без малого двух месяцев приходил ко мне ежедневно. И узнал я его еще и как врача. Он настоял на вторичной и оказавшейся необходимой операции и следил за мной, как за собственным, если не сыном, то отцом. А теперь — увы — будь проклята эта всеобщая занятость! — мы видимся редко. И оба друг о друге говорим — забыл! Я перестал быть его пациентом, я ему не нужен — говорю я. Он выздоровел и не интересуется врачами — говорит он. И оба мы не правы. Мы

оба нужны друг другу и скучаем, и по-прежнему любим один другого, но время, время, где найти его?

Наконец, под занавес, Степан Татищев. Из тех самых. Читает в университете, до этого работал в Москве в посольстве. Знакомы мы с ним тоже давно, я думаю, лет десять, не меньше, и я ему тоже обязан многим, уточнять не будем. В Париже он лучший консультант по французским делам и первый помощник при покупке чего-нибудь из мебели. К тому же на Пасху у него роскошный прием, и сам он, высокий и стройный, тоже прекрасен в русской косоворотке с кавказским наборным ремешком. У него чудная, маленькая жена Анна, прекрасно говорящая по-русски, и трое детей, которые с каждым годом становятся все красивее и красивее.

Ну вот, как будто, и исчерпан весь список. Нет, не исчерпан. Он будет неполон, если я не упомяну об Окутерьях — Мишеле и Альфреде. Русского в них, кроме языка, ничего нет — он наполовину чех, наполовину француз, она чистая француженка. Он преподает в университете и, вероятно, лучший во Франции переводчик с русского языка. Ему я обязан прекрасным переводом «Зеваки». Характера мягкого и доброго, поэтому я злоупотребляю различными просьбами. Живут они под Парижем в доме какого-то там века, XV или XVI, с балконами и лестницами, обилием книг и таким же длинным, тяжелым (а когда мы приходим, то и не пустым) столом, как у нас в Марлотт... В отличие от других французов, Окутерье левизной не страдает. (Жан-Мари, забыл сказать, страдает.) Миша долго жил в Москве и многое понял. Возможно, именно поэтому и полюбил Россию.

(Написал бы я о Мише и больше, но он, негодяй, наотрез отказался переводить всё то, что я сейчас пишу. Нет и всё! Какую-то там докторскую диссертацию надо защищать, времени, мол, нет. Ну и чёрт с тобой... Скажу, правда, по секрету, ему не передавайте, жалею. «Зеваку» он перевел первоклассно, все французы ахают. Ну, да Бог с ним. Плохой человек...)

На этом подведу черту. Не потому, что мне некого больше благодарить, а просто потому, что на Доску Почета попали только те, кому я особенно благодарен и память о которых, хотя они все живы и дай Бог, проживут еще долго, никогда не изгладится в наших сердцах.

Но мы слегка отклонились, вернее нарушили некую стройность (но не стиль, спешу добавить) повествования.

Вернусь же к тому, с чего начал — «и не дома, и как будто бы дома». Дома, но с каким-то козффициентом, поправкой.

Утро. Тут и там. (Да, Киев это уже там...) Все еще спят, а я за газетой, молоком, свежим багетом (там — батоном). Из почтового ящика вытаскиваю «Русскую мысль» или нью-йоркское «Новое русское слово» (там — «Правду»). Здесь «Правду» покупаю у своего

газетчика и как принудительный ассортимент «Фигаро» (с респектабельной «Монд» отношения несколько испортились, порозовела она малость). Если есть время и никому некуда торопиться, пристаиваюсь в глубине, за столиком углового кафе, и Робер в своей неизменной красной курточке (Ça va? — Ça va! — обязательное французское, при встрече: Идет? — Идет! Очевидно жизнь, помаленьку...) подает мне кофе со свежайшим круассаном. Пью, разворачиваю газеты. Одна спешит меня уверить, что Корвалан обязан своей свободой давлению мировой прогрессивной общественности, КПСС и лично товарища Брежнева, другая же говорит что-то об инициативе Пиночета и каком-то событии на цюрихском аэродроме... Кому верить? В одной по-прежнему во весь рот улыбаются с первой страницы счастливые работяги в касках, а на третьей изможденный американский безработный валится с ног под тяжестью налогов, в другой бойкий на выдумку Жак Фезан всё так же подтрунивает над своим Жискаром или Шираком. С одной в миг расправился, прочел, другую руки устали держать — 32 страницы, будь оно неладно.

Начитавшись, иду домой. По дороге пару пачек «Голуаз» (дома на полке нетронутые скучают московские подарки «Беломор», а как боялся, что без него трудно...) Воскресенье. Все дома. Значит, в три голоса будут поучать Вадика и грозить, что, если он не исправится, мать пойдет к учительнице. Считается, что он нерадив, но если по телефону невзначай позвонит какой-нибудь француз, сразу же прибегают к услугам лодыря Вадика, во французском языке родители остались далеко позади.

Потом, за кофе, обычный утренний разговор. Цены... Ох, эти цены! Правда, сейчас январь, новогодние скидки, скидки. На всех витринах аршинными буквами — Soldes! Fantastiques! Irréels! Фантастические! Нереальные... И женщины не находят себе места, нервничают, боятся заходить в магазины. Но заходят. И покупают...

К слову, о покупках. Цены ценами, но... «Ну что ж это такое? — сказала Мила, жена моего сына, когда тот ей купил в подарок ко дню рождения туфли, — зашли в первый же магазин, примерили и купили. За двадцать минут! Никакого тебе удовольствия. То ли дело у нас — мечтать, потом искать, идти на толкучку, а то и в Одессу из Кривого Рога съездить, наконец «через людей» найти спекулянтку и, поторговавшись до седьмого пота, купить парижские (ну, пусть не совсем модные, но парижские) туфли... Вот это радость! А тут...» Теперь, правда, Мила за двадцать минут не покупает, это было в первые дни, теперь она не хуже иной парижанки знает где, что и когда, на мякине (а в Париже она есть) не проведешь.

Быт... Не хочется говорить о нем. Мир потребления, знаем с детства. Но и здесь, повторяю, цены растут (хотя и зарплата тоже),

и здесь народ ворчит. И мы ворчим. Они ворчат и объявляют забастовки. А мы ворчим и ругаем эти забастовки. Будучи людьми прогрессивными, мы понимаем, что забастовка — это оружие пролетарское, но когда от этого оружия страдаем мы — не работает метро, почта, бастуют железнодорожники, — мы злимся. Как только мы приехали сюда, забастовали почтовики. На полтора месяца прекратилась переписка (а мы ею на первых порах только и жили), международная телефонная связь. У каких-то там сортировщиков писем низкая оплата, почему же повышать ее надо за наш счет? Не сортируйте, не пересылайте правительственную почту, а мы-то тут при чем? Очень мы тогда негодовали... Вот этого-то у нас дома нет, говорили мы (а то, что у нас письма не доставляются по другим причинам, мы в тот момент забывали).

Когда бастует метро, трудно достать такси (совсем как в Москве) — когда недовольны повышением цен крестьяне, стоим в очереди за картошкой (да-да! в Париже, за картошкой!), бывает, что и без газет остаемся, одним словом, ожесточенные классовые бои...

К тому же проституция. И порнографические фильмы. И гомосексуальные журналы. И гоняющаяся за дешевой сенсацией (а за дорогой можно?) пресса, всякие там «Ici-Paris» с адюльтерными похождениями венценосцев, ну и вообще, мир контрастов, монополистический капитал, свобода умирать под мостом. Плохо!

А если говорить всерьез, повторю то, что внушал Вите Гашкелю и с чем он в общем-то соглашается, — сытая, богатая, привыкшая к комфорту и не хотящая никаких перемен нация. А так как надо иметь какие-то идеи и за что-то голосовать, будем же левыми, любить рабочих и не любить капиталистов, они бяки.

И, сидя где-нибудь в кафе на бульварах, я рассказываю обо всех этих ужасах своим москвичам, и они только иронически улыбаются. Иногда, больше для приличия, спрашивают: «Ну, а клошары?» Клошары! Самые счастливые в мире люди, как сказал мне как-то все тот же Витя Гашкель. Никаких у них забот, налогов не платят, о квартире не думают, свою бутылочку вина всегда имеют, муниципальными выборами и русскими диссидентами не интересуются, живут как птицы небесные. Раз в год полиция подбирает их в метро, моет в бане, дезинфицирует портки и опять на все четыре стороны, парижская достопримечательность!

Ну, а похищения, убийства, ограбления банков, музеев, бомбы наконец? Таки плохо... И похищают, и убивают, и грабят, и поезда сходят с рельс, и самолеты разбиваются, и засухи даже бывают, как этим летом. Но обо всем этом пишут и говорят во всеуслышание, и убийц судят, и приговаривают к каторге (а женщины кричат: «Мало! На гильотину!»), а после засухи продуктовые магазины так же ломаются от яств, как и до нее.

Москвичи больше не задают вопросов. Вдыхают...

Парижане ненавидят автомобили. И чужие, и свои тоже. Горю-

чее дорожает, пробки на улицах, часами ищешь, где бы припарковаться — «Ну ее! Загоню! Буду на метро ездить!» — но не загоняет, надо же на уик-энд вырваться из этого чёртова Парижа, воздухом подышать. И вот в пятницу вечером миллионный поток машин, сверкая фарами (зрелище фантастическое), устремляется за город, в свои виллы, поместья, домики, халабуды — у каждого парижанина где-нибудь что-нибудь да есть. А в августе (весь Париж, точно стоворившись, срывается именно в августе) рвутся на юг, и на дорогах десятками километров стоят, застрявшие в пробках, embouteillages, машины и опять же: «В последний раз! Поездом! Самолетом!», а на следующий год то же самое, и к концу недели бюллетень — столько-то убитых, столько-то раненых...

В каждом городишке, местечке, задрипанной дыре с какой-нибудь тысячей жителей, обязательно автомобильный салон (как и antiquités, антикварная лавочка), а то и два, и три. Нет, французы действительно ненавидят автомобили!

Мы с другом, бывшим киевлянином, шли как-то вечером вдоль моря в маленьком средиземноморском местечке Теуль. К концу прогулки он мне сказал: — «Нет, о революции не может быть и речи!» На якорях, в гавани, тихо покачивалась сотня, если не две, таких умопомрачительных яхт, с такими мачтами, с такими деками, такими кнехтами, такими (не знаю я морских названий) сияющими, блестящими, начищенными штурвалами и компасами, что появишься одна только из них где-нибудь у нас в Ялте, вокруг нее круглосуточно стояли бы толпы. Я согласился — революция исключена, или Франция состоит из одних миллионеров, или... Ей-Богу, стоит бастовать (профсоюзы-то простой оплачивают, совсем как у нас), чтоб купить себе потом вот эту вот яхту, поменьше.

И еще эпизод. Сидим в кафе на Сен-Жермен. В двух шагах от нас мальчишка лет семнадцати с шарманкой и обезьянкой. Как трогательно и как грустно. Ему бы учиться, а вот приходится таким вот образом на жизнь зарабатывать. Пьем апельсиновый джус и грустим. А шарманка всё играет, обезьянка прыгает, мальчик улыбаётся, чего-то там острит. Становится жарко, припекает. Мальчик стягивает с себя поношенный свой свитерок и бросает его, нет, не на складной стульчик, на который он иногда присаживается, не на землю, а в машину... И в какую! Впрочем, говорят, подержанную машину можно и за несколько тысяч купить...

О, превратности судьбы... О! Безумный, безумный, безумный мир потребления!

А ты говоришь и дома, и не дома. Яхты, автомобильные салоны, гомосексуальные журналы... Хорош дом! И всё же говорю. Говорю, потому, что, кроме иллюзии «дома», которую я создаю у себя дома, кроме московских газет — (Трудовые коллективы конкретными действиями отвечают на призыв партии...) и ликующе-

бодрых голосов дикторов — это уже другие иллюзии, — кроме милых и грустных бесед за столиками кафе с московскими друзьями, когда их, друзей, нет, я продолжаю думать о них, продолжаю думать о доме, в котором так всё неблагополучно. О том, почему так много людей лишены того, что имею сейчас я? Хрен с ними, с товарами, с магазинами — не хлебом единым, как говорится — но почему до сих пор кладут эту идиотскую подушку на телефон, хотя давно известно, что это ничему не помогает, почему о том, что выходит за рамки работы или магазинных будней, говорят на лестнице или еще лучше на улице, озираясь по сторонам? Почему во всех учреждениях на субботу и воскресенье запечатывают семью печатями все пишущие машинки, а копировальные аппараты, которые здесь в каждом универмаге, в каждом почтовом отделении — 1 франк лист — у нас считаются подпольной типографией — тюрьма и всё? Почему, когда я пересекаю здесь границы, я просто не замечаю этого, а там иной раз и в задний проход заглядывают? Почему с таким остервенением врут? Обманывают с утра до вечера? А тех немногих, кто тщетно вызывает к несуществующей совести вершителей, обзывают провокаторами и врагами? И всё это под барабанный бой, звон литавров. «Барабаны эпохи быют!» — из бессмертного «Платона Кречета» незабвенного моего Корнейчука.

Брежнева, маршала, с головы до ног увешивают орденами (кажется, только у Иди Амина больше), вручают золотое оружие, которое он обещает никогда не пускать в ход (где? когда? Буденный что ли?), ставят ему памятник в Днепродзержинске («Есть дни, которые никогда не забываются. Так и этот день...» — сказал на митинге какой-то из работяг-депутатов, избранных народом, лучший из лучших), и на вокзалах и аэродромах старые, больные люди, в пургу и пекло, должны его скопом провожать, и встречать, и улыбаться (...и думать про себя, когда же чёрт возьмет тебя!).

Недавно я слушал по радио яркое и содержательное, глубоко принципиальное выступление Леонида Ильича (по утрам читаю «Правду», по вечерам слушаю Москву). Вручали орден городоу-герою Туле. Через тридцать шесть лет! Почему? Ну, Киеву (не меньше миллиона попало в окружение!) под пьяную лавочку дал сам Хрущев. Он любил этот город, как говорится, освобождал его — ну почему не дать? И дал. Без всякой там даты, летом, с бухты-баракхты. Как дал Героя Насеру, бедняжке Бен-Белле, томящемуся где-то в горах Атласа... Ну, Новороссийск, тоже понятно, там Брежнев проявлял чудеса храбрости, собственным примером воодушевлял... А Тула? Оружейная мастерская? Почему столько лет никто о ней не вспомнил, об этой мастерской? А сейчас даже какого-то Жаворонкова, тогдашнего секретаря обкома, вытащили на сцену, вспомнили, Героя вручили. И на этот раз какая-то уже «оружейница» в «Последних известиях» говорила об этом дне,

который запомнится на всю жизнь, дне вручения нашему славному городу-герою...

Кстати, а не настало ли, наконец, время вспомнить и о реках, морях и горах? Ордена Ленина Эльбрус! Разве плохо? А Волге уж сам Бог велел — ордена Ленина и Октябрьской Революции матушка-героиня Волга! Ну, а Советский Союз, само собой разумеется, уж он-то действительно заслужил. Тут уж на полстраницы хватит. Ордена Ленина и прочая, и прочая, и прочая, Герой Советского Союза Союз Советских Социалистических Республик. Мне бы за такое предложение премию бы дать, ей-Богу.

Итак, утром «Правда», вечером «Последние известия», где-то посередине «Литературка». Та самая, которую бывший ее сотрудник, а ныне редактор журнала в Тель-Авиве Виктор Перельман неплохо окрестил «Гайд-Парк при социализме» — мели, что хочешь (ну, не всё), выполнять же не обязательно. Что ни говори, но газета все-таки отличается от других. Потолще. Ну, не тридцать две, как в ежедневной «Фигаро», страниц, но все же шестнадцать. И на шестнадцатой есть даже над чем посмеяться. (Говорят, правда, что за «Их нравы: — Карл у Клары украл кораллы» кто-то там пострадал. Но не каждую же неделю это случается.) Попадают и интересные статьи. Об отдельных, например, случаях злоупотребления алкоголем и как с этим бороться. И об архитектуре, городах будущего, и на темы морали, внимательном отношении друг к другу, о человеческом достоинстве.

Достоинство... Сегодня как раз на глаза попалась статья Виталия Коротича, так и называющаяся «Достоинство». Напечатана она в номере от 5 января 1977 года.

Есть в ней, в этой статье, такие прекрасные абзацы: «Начав говорить о школе гражданственности, я невольно обратился к высокому, политическому словарю. Но что делать, коль такое простое понятие, как ПОРЯДОЧНОСТЬ, числится в абстрактных и ими не принято выражать личность поэта. А надо бы! Помните, как толкуется это слово в «Словаре русского языка» С. Ожегова? «Порядочность — честность, неспособность к низким, аморальным, антиобщественным поступкам». Об этом пишут редко и застенчиво, но давайте условимся, что порядочность — качество жизненно важное...» Здесь я прерву на минуту писателя. О ком, вы думаете, в статье говорится? О Роберте Рождественском. Так и сказано! «Мне кажется, Роберт Рождественский вполне им (этим качеством то есть) наделен». В другом месте сказано: «Репутация его утвердилась, и, хорошо зная поэта, я всегда радуюсь постоянству его критериев, четкой гражданственности позиций, занимаемых им. Написав много лет назад «Это будет честная жизнь», Роберт Рождественский следует провозглашенному лозунгу... И в конце: «...мне в нем близко и дорого то, что он всегда верен избранному пути, всегда определен, последователен».

Вот что нравится, оказывается, Виталию Коротичу в Роберте Рождественском. Верность избранному пути. Не говорится только, какому. Да, тому, что он избрал, приведшему в секретари Союза писателей, он верен. Здесь он определен и последователен. Но оказалось ли это честной жизнью?

Я задержал тебя на этом примере, читатель, не потому, что я не люблю Роберта Рождественского, — лично я его почти не знаю и стихами его никогда не увлекался, попадаются иногда в «Правде» — я привел этот пример, чтоб показать тебе с горечью, как такие прекрасные слова, как **ДОСТОИНСТВО**, **ПОРЯДОЧНОСТЬ**, **ЧЕСТНОСТЬ**, приобретают свое противоположное значение. Жонглируя этими, существующими в этой системе только в словаре С. Ожегова понятиями, люди типа автора статьи «Достоинство» теряют и достоинство, и порядочность, иными словами совершают антиморальные, антиобщественные (так и быть, не буду уж говорить низкие) поступки.

Да, эти встречи с «домом» не радуют, совсем не радуют. Я вижу, как гибнут люди, в свое время даже и не плохие, как всё дороже приходится оплачивать заграничные поездки и прочие блага. Но за это когда-нибудь придется ответить. И руководителям, и руководимым.

Но есть, слава Богу, и другие люди. Не обязательно Сахаровы и Буковские. Люди, которыми мы по праву можем гордиться, люди, без которых Россия не была бы Россией...

*
*
*

Ночь. Я один в большущей комнате. Камин. Над ним узорчатое, в дубовой раме зеркало. В подсвечниках красные свечи.

За окном прямая как стрела улица. Она ведет к замку. Замок немислимых размеров. Дворы, флигеля, арки, проходы, лестницы. И крутые крыши с высоченными трубами. На башнях флюгера.

Вокруг замка парк. Конца и края нет этому парку — столетние вязы и буки, обросшие плющом, вытянулись вдоль аллей. Им спиливают ветки, их берегут, а они тянутся все вверх, вверх. На них нет листьев, зима, и только кружево их крон отражается в прудах, тонко рисуется на фоне вечернего, чистого неба.

По вечерам я брожу по этому парку, мимо беседок и мраморных нимф, петляю по дорожкам, выхожу к озеру, ветви свисают к самой воде, пересекаю двор. Звенят шаги по гранитным плитам... Бьют часы на башне. Останавливаюсь у лестницы, двумя пологими полукружьями спускающейся вниз. По этой лестнице некогда спустился император. И гвардия плакала. Он прощался с ней...

Сегодня я тоже петлял по этим дворикам, сидел на лавочке, глядел на плавающих в пруду лебедей, до того белых, что даже не верится — может же быть такая чистота, — прошел через тот

самый двор, Cour des Adieux, пошел домой. Купил по дороге что надо к ужину, открыл ключом массивные деревянные ворота, поднялся по витой лестнице к себе. Сел за стол. Зажег лампу. Взял книгу, и...

...История эта началась в исправительно-трудовой колонии северного города Н., в местах прекрасных и строгих.

Был вечер после трудового дня. Люди собрались в клубе.

На сцену вышел широкоплечий мужчина с обветренным лицом и объявил:

— А сейчас хор бывших рецидивистов споет нам задумчивую песню «Вечерний звон»!..

Так начинается печальная история про Егора Прокудина, героя повести «Калина красная» Василия Шукшина.

И просидел я всю ночь и читал Василия Шукшина. Васю Шукшина...

В первом томе «Избранных произведений в двух томах», купленном мною на рю де Бюси, в магазине «Глоб» за сколько-то там франков (а в Москве двухтомник стоит сейчас на черном рынке сорок рублей), с первой страницы глядит на меня немолодой уже человек с невеселыми под крутыми дугами бровей глазами, тремя морщинами на лбу, жилками на висках, резкими складками у рта, плотно сжатыми губами. Усталый человек... Когда снято, не знаю. Очевидно в последние годы. Тогда я его уже не знал, или почти не знал.

Знал я его молодым, когда ему не было и тридцати. Всё было впереди...

Марлен Хуциев закончил свой второй фильм «Два Федора» и привез его сдавать в Киев (снят он был на Одесской студии) в Министерство или, может, это тогда называлось Комитет по делам кинематографии. Нужна была помощь, и я был приглашен (тогда я еще что-то значил) эту помощь оказать.

А через несколько дней Марлен праздновал свой день рождения. В гостинице «Украина», где жили он сам, оператор и директор картины, актеры же размещались в «Театральной», возле оперного театра.

Выпито было прилично, картину приняли с минимальными потерями (мрачность, иными словами, достоверность атмосферы удалось отстоять, и на вопрос «а почему дети без пионерских галстуков?» тоже что-то ответили), все были веселы, поздравляли именинника, потешались над кинематографическим начальством, наливали еще по одной, а так как в номере нечем уже было дышать, выходили на лестницу покурить. Там-то, на лестнице, я и столкнулся с Васей, молодым, статным парнем в гимнастерке и сапогах. Был он, скажем так, чуть более, чем навеселе. А потому разговорчив.

Не помню уже, о чем мы говорили (я тоже кое-что принял), помню только, что стояли мы долго, потом опять выпили, опять

вышли на лестницу. Поразила меня тогда в нем какая-то напористость, бьющая через край, и в то же время какая-то застенчивая искренность. Он и по фильму мне понравился (смотрел я дважды), замкнутый, грубоватый и трогательный, неразговорчивый, а тут вдруг разговорился. Что-то его мучило и в то же время радовало, и чего-то ему не хватало, и чего-то не находил. Курил сигарету за сигаретой, сплевывал поминутно табак и глаза вдруг начинали сиять, ходили желваки... Потом опять пили...

Кончилось всё тем, что мне пришлось на такси отвезти его в «Театральную» и на собственном горбу вволакивать его на четвертый этаж. Было это мне не легко. «Тяжелый товарищ», — острил я потом, наутро, когда Марлен спросил, ну как мне понравился в жизни его Вася. Сам Вася был угрюм, смущен, не смотрел в глаза и вообще оказался человеком на редкость неразговорчивым.

Эту встречу помню хорошо — врезались в память — лестница, вернее две лестницы, в «Украине» и «Театральной», возбужденный вечером и похмельно-сумрачный Вася на следующее утро. Второй встречи не помню, очевидно, у Марлена дома, в Москве. Вася влюбился в Марлена, как влюбляются ученики в наставников, и дневал и ночевал у него, приглянулся жене, теще, помогал по хозяйству, ремонтировал табуретки, стулья.

Там, в Москве, мы и сдружились.

Много и часто пили, мы тогда этим делом увлекались; Вася был дико застенчив, краснел как девушка. Я не встречал больше в жизни человека, который так заливался бы краской, моментально, до ушей. Был ли он красив? Мне кажется, что да. Той простой деревенской красотой — открытое лицо, серьезный, внимательный взгляд — глаза сидели глубоко, всегда ясные, даже во хмелю — крепкая шея и вообще весь какой-то ладный, в туго подпоясанной гимнастерке, галифе, сапогах. Похожий на своих будущих героев — лихих шоферюг с алтайского тракта.

Пытлив был невероятно. Всем интересовался и всё искал правду. И очень стеснялся своей не шибкой, как он говорил, культуры. Почему-то запомнился он мне, резко и четко, как на фотографии — в один из вечеров, когда после обычного в те дни возлияния, он погрузился в кресло и стал листать Библию. Это было у моих друзей, которые его тоже полюбили, но, будучи немного культуртрегерами, подсовывали ему нужные книги — пусть читает, надо ему книги читать. Вряд ли кто-нибудь из нас тогда думал, глядя на него, с головой окунувшегося в книгу книг, что лет через десяток его собственные книги будут нарасхват, а я всю ночь буду читать и пересчитывать его рассказы в такой далекой от его Алтая Франции.

Его невозможно было оторвать от Библии, даже приглашением к столу.

— Да... Вот это книга, будь оно неладно... Книжище...

И потом, сидя все же за столом, повторял и повторял:

— Ну и книга... Железо! — и смотрел куда-то поверх нас.

Потом мы поссорились. Это было через год или полтора. Глупая, ненужная была ссора. Не хочется и вспоминать о ней. Долго не виделись. Встретились в Киеве. Он приехал туда, очевидно, на какую-то кинопробу и решил все же позвонить мне. И встретились мы в той самой «Украине», где и познакомились.

Он малость повзрослел, как-то окреп внутренне, но в то же время был какой-то встревоженный, чего-то всё не договаривал.

После второй или третьей рюмки вина («Давай вино, Платоныч, пить... Ну ее, водку») вдруг прорвало его. Мялся, мялся и бухнул.

— Повесть я написал, Платоныч... Ругать не будешь?

Вот это да! Где-то, когда-то, в каком-то полупьяном разговоре признавался он мне, что «к этому самому, к писанию тянет...». Ну, давай, тянись, — сказал я что-то в этом роде и тут же забыл. Актер он был хороший, во втором фильме уже снялся, и все мы его видели актером. И вот, пожалуйста, повесть.

— О чем же она, твоя повесть?

— О жизни, о чем?

— Какой же?

— Деревенской, какой же...

— Где же она, повесть-то?

— Здесь, в портфеле, — он повернулся к портфелю и вытащил оттуда нечто толстое и растрепанное. Я взял в руки.

— Не многовато ли для начала?

— А Бог его знает. Такая уж написалась.

— Ну, а дальше что?

Он, как обычно, залился краской.

— «Октябрь» вот берет. Товарищ Кочетов...

— Что!??

— Он мне уже и прописку в Москве устроил. Под эту повесть.

— Ты спятил...

Он еще пуще покраснел.

Я вскочил.

— Забрать! Немедленно забрать!

Без лишней скромности скажу — это был знаменательный день для русской литературы. И самая большая моя заслуга в ее истории. Клянусь!

Повесть я Васе не вернул. Отправил в «Новый мир» Асе Берзер, от нее всё зависело в этом журнале. Повесть она прочла, увидела, что парень кое-что может, но для печати не взяла (кажется, это были «Любавины»), попросила, если есть, принести рассказы. Вася принес. Ася прочла и тут же дала в номер. Так родился писатель Шукшин.

А Кочетов, говорят, лютовал, велел отменить прописку, но было уже поздно — в паспорте стоял штамп.

И стал Вася писателем. И режиссером. Окончил ВГИК. Дипломная работа его «Жил такой парень», была одной из лучших советских картин тех лет. Привольная, веселая, трогательная и по настоящему добрая — другого слова не нахожу. В картине этой родился и Куравлёв. Родился он, правда, в «Мичмане Панине», но в этой картине прогремел.

Не помню уже, что было раньше, защита диплома или наше сидение в «Украине», думаю, что защита была позже. Волновался он на ней невероятно. Даже похудел как-то, осунулся. И вообще не похож был на себя. В темном костюме, в белой рубашке, с ненавистным ему галстуком. Нет, не шел ему городской костюм. Гимнастерка, сапоги — это его...

Потом, на чьей-то квартире, вспрыскивали его «отлично». Когда я пришел, он уже лыка не вязал.

И долго мы опять не виделись.

О нем стали писать, стали спорить. Многие считали его «почвенником», русофилом, антиинтеллигентом. Подозревали и в самом страшном грехе — антисемитизме. Нет, ничего этого в нем не было. Была любовь к деревне, к ее укладу, патриархальности. Себя самого считал вроде предателем, изменником, променял, мол, деревню на город. И казнился. И... постепенно становился горожанином.

Последний раз по настоящему мы виделись не помню уже в каком году. Сидели в «Марсе» на улице Горького, и я пил коньяк, а он кофе. Он был в зените своей славы. Но оставался таким же, для меня во всяком случае.

Встретились мы почти случайно. Я что-то делал в издательстве «Советский писатель» в Большом Гнезниковском и оттуда позвонил Асе Берзер в «Новый мир».

— А у меня тут Вася, — сказала она мне по телефону.

— Ох! Задержите. Я мигом.

Застенчивый Вася не стал ждать меня в редакции — придут тут всякие, начнутся разговоры — прохаживался у подъезда, чуть в сторонке. Выглядел плохо.

Потом за столиком в «Марсе» говорил.

— Ты поймешь меня, Платоныч, не можешь не понять. Пить не пью, а веселее не стал... Ну почему русские пьют, почему?

— Потому что вкусная она, — попытался я сострить.

Он даже не улыбнулся.

— Вот бросил, Платоныч, пить и что-то отрезал я в себе. Точно руку или ногу. Лишился чего-то. Даже не чего-то, а точно знаю, чего. Людей лишился, своих людей. Общества, если хочешь. Ну, есть у меня жена, хорошая, люблю ее. И детей люблю. По настоящему люблю. А вот поговорить... Не в ЦДЛ же, не в ВТО...

Бывало, зайдешь в кабак, нет, не в этот, а в простую забегаловку, рыгаловку обычную, гадюшник, подсядешь к столику... И такое тебе расскажут, такое разрисуют... Да ты пей, Платоныч, не стесняйся, я при деньгах, а я свой кофеек, по-интеллигентному, отпил уже свое...

Он прихлебывал кофе и курил сигарету за сигаретой.

— И лишен я теперь этого. Лишен теперь того самого общества, не профессор там всяких и лауреатов — ты не обижайся, ты не лауреат — а тех самых, с кем у меня общий язык, Ванек и Петек, калымщиков, не подсядешь же к ним трезвый, за стукача примут. А с ними мне просто и ясно... А Сергей Аполлинариевич — грех мне на него роптать, многим я ему обязан — да разве мне интересно с ним выпить? Да ну их всех на фиг, всех этих киношников знатных, обрыдли. С одним Генкой Шпаликовым только и можно, а ему тоже нельзя, видал, как распух?

Он не жаловался на сложности в работе, а они были, не выходило что-то с «Разиным», его заветной мечтой, снимался в каких-то ненужных картинах, играл хорошо, но картины были ненужные. Об этом не говорил. Его съедала человеческая тоска. И ложь окружавшая.

— Поверь, Платоныч, я не лучше других. Самый что ни на есть обыкновенный человек. Со всеми там минусами. Пьяница, невоздержанный, иной раз срываюсь. Грешен, что и говорить. Но одного не переносу — вранья. А все врут. Все! Только Ася наша Берзер, Анна Самойловна дорогая не врет. Да, может, ты... А остальные все врут, делают вид, пытаются. Коммунизм, мол, строим, светлое будущее... Где оно, это будущее? И прошлое и настоящее вчистую пропили, а они про будущее... Тошнит, Платоныч, ух как тошнит... На рвоту тянет.

Грустный это был разговор, последний наш разговор по душам.

Потом он снимался у Герасимова, того самого Сергея Аполлинариевича, получил за это даже премию, потом в «Освобождении», в лысом парике изображал Конева... Зачем? И тут же делал замечательные фильмы: «Печки-лавочки», «Странные люди», «Калину красную». Свою лебединую песнь...

Виделись мы с ним потом, мимоходом, один только раз. Он читал свои рассказы в Доме Литератора. Замечательно читал, просто, ясно, не по-актерски, а по-человечески. И сидел за столиком, на эстраде, нет, не в гимнастерке, он давно перестал ее носить, а в каком-то затрапезном пиджачишке, в рубашке без галстука, но не расстегнутой, а на пуговке. Ему много и долго аплодировали. Он раскланивался, слегка кивая головой, мол, понимаю, знаю, спасибо, стоит ли...

Потом где-то в проходе, около раздевалки, столкнулись нос к носу. Он вроде бы обрадовался. Стиснул в объятиях, так что хрустнуло во мне что-то...

— Эх, Платоныч, Платоныч... — и опять стиснул.

Рядом была его жена в каком-то очень мохнатом пальто. По-знакомил с ней. Условились встретиться, обменялись телефонами и на этом расстались.

Больше я его не видел.

О смерти его узнал уже в Париже, от Марлена Хуциева...

До сих пор не могу отделаться от мысли — а не наложил ли он на себя руки? Принял лошадиную дозу снотворного и всё, с концами.

А если не снотворное, то всё окружающее. Не выдержало сердце.

В общем-то я его не знал в последние годы. Человек он был кристальной (прошу простить меня за штамп, но это так, другого слова не нахожу) кристальной честности. И правдивости. В его рассказах, фильмах, ролях ни признака вранья, желания схитрить, надуть, обмануть. Всё правда. И талант заставлял эту правду глотать. Даже тех, кому она претила. Глотали ж, глотали...

Но зачем же были ему все эти Коневы, Герасимовы, Бондарчуки, Шолоховы? Говорят, единственное, что можно смотреть в «Они сражались за родину», — это Шукшин. Я не видел, но верю. Он не умел плохо играть. Но зачем это ему было надо?

Я любил его. И он меня, по-моему, тоже. Но что-то нам мешало в последние годы. Мне кажется, он стеснялся своей премии, своих Коневых. Не мог не стесняться. Я ему несколько раз звонил, когда был в Москве, не заставал. Как-то, когда меня не было в Киеве, откуда-то из Ялты звонил директор картины «Печки-лавочки», просил передать, что Василий Макарович очень хотел бы, чтоб я сыграл какой-то эпизод в фильме. Как выяснилось потом — врача в санатории. И что-то помешало, не получилось. Как я теперь жалею. Сняться в фильме Шукшина, подумать только...

Я эти странички написал в одну ночь.

Взял перед сном «Литературку» (случается и такое), увидел фотографию артиста Юрского, а рядом статью Ф. Комиссаржевского, как выяснилось, об этом самом прекрасном актере, об его исполнении шукшинского рассказа «Сапожки». Статья хорошая, и, видно, Юрский действительно прекрасно читает этот рассказик. А я его не читал. Потянулся за красным томиком на полке (точно предчувствовал, захватил его сюда из Парижа), «Сапожек» не нашел, но в конце увидел — «Калина красная». Тоже не читал, только видел. И не раз, а два или три. Один раз уже тут, во Франции.

...У Егора из-под прикрытых век по темени сползла слезинка, подождала, повиснув около уха, и сорвалась, и упала в траву. Егор умер.

И лежал он, русский крестьянин, в родной степи, вблизи от

дома... Лежал, прикинув щекой к земле, как будто слушал что-то такое, одному ему слышное. Так он в детстве прижимался к телеграфным столбам...

Ушел из жизни Егор Прокудин, убили его злые люди. Ушел из жизни и Василий Макарыч, а для друзей Вася Шукшин. Кто его убил неизвестно, но убили.

А я сижу в каком-то далеком от всех городе с длинным названием Фонтенбло, держу в руках книжку в красном переплете, смотрю на усталое, усталое лицо Васи Шукшина, друга моего Васи Шукшина, и что-то во мне дрожит, и слезы текут по щекам...

(Окончание следует)

СТИХИ

Иосиф Бейн

ПОСТОРОННИЙ

А у меня одни сюрпризы —
То визы не дают, то ризы...
У ресторанной Моны Лизы
Лица не видно за прыщом,

И бесконечны коридоры,
Где стынут двери, на которых
Слова скупы, как приговоры:
«Вход посторонним запрещен!»

Кто в этом мире — посторонний?
В тюрьме сидящий? Иль на троне?
Среди погромщиц и поклонниц,
Среди оков и дураков —

Кто в этом мире посторонний —
Среди огня — среди агоний —
Среди гурманов и гармоник —
Среди левкоев и плевков?

И как постичь, века измерив,
Кто и когда придумал двери —
Кто был Колумбом лицемерья
И землю запер на замок?

Лаврентий Берия? Тиберий?
Иуда, Кассий, Брут, Сальери?
Кто в страхе прятался за дверью,
Когда убитый Бог замолк?

Кто, в страхе скрывшись от погони,
В ненастный час, когда хоронят,
Чтоб кровь чужую смыть с ладоней,
Придумал ставни и ключи?

Есть ключ скрипичный и басовый...
А по ночам скрипят засовы
И дремлет лес, где снова совы
От солнца спрятались в ночи.

Скажи мне, что со мною случилось?
Усталость это или старость?
Мне после обысков осталась
Неконфискованная дверь.

Я жил без тайны, жил без двери,
Я раньше всем на свете верил
И был богат по крайней мере
Среди потехи и потерь.

Но остается на перроне
Весь гордый город посторонних,
И в час, когда не спят в притоне
И ждет распятие Христа,

На бойне, среди войн и вонь,
Как свиньи, умирают кони,
И поп не помнит об иконе,
И грешник свят, и грязь чиста.

И каждый день навзрыд смеется
Жена, бездарная, как Моцарт, —
Над безобразием эмоций
Закрытой наглухо души.

Застыв у бездны беззаконий —
Сенекой будь — но при Нероне

Ты обязательно уронишь
Свое достоинство в глуши.

Глаза мои сухи, как порох,
И горло пересохло в спорах;
У опозоренных позеров
Лица не видно за прыщом,

И зреет яблоком раздора
Скупое слово приговора,
И бесконечны коридоры,
Где выход тоже запрещен.

СОЛНЦЕ НА ПЯТНАХ

«Мне нравится беременный мужчина».
Давид Бурлюк

«Мне в постоянстве чудится измена».
Франсуа Вийон

Забыты кумиры. Разрушены храмы.
Земля вся тоскует о новом Иуде.
По-моему, все воспитатели — хамы,
По-моему, все осужденные — судьи...

Контрасты извечны. Бетховены — глухи,
Столбы, окопавшись, стоят при дороге.
По-моему, все добродетели — шлюхи,
Все трусы — герои, все грешники — боги.

Меня научил всему этому стронций,
Меня облучил, заразил этим — атом;
Границы условны: не пятна на солнце,
А солнце на пятнах — сейчас и когда-то!

Как в строчках Вийона, вся верность — в измене,
Какой-нибудь Ротшильд беднее, чем нищий.
Я знаю, что солнце построили тени,
Как нас тени умерших сделали чище.

И ночь — это только незримое утро,
И стих мой скрывается в уличном шуме,
И все, что на свете действительно мудро,
Так это, по-моему, только безумье.

Безумье в любом твоём взгляде и шаге,
Безумье в мечтах и безумье в быту...
Свихнувшихся глаз голубые овраги
Влюбленному видны за версту.

И грешную песню поют облака мне,
И я тороплюсь, спотыкаясь о звезды,
А в небе — деревья и спелые камни:
Весь мир опрокинут, весь мир неопознан.

И пахнут предчувствием праздника тучи,
И каркает ворон, и слышится глас:
«Чем хуже, тем лучше, чем хуже, тем лучше!»
Ах, ворон, ты ворону выключешь глаз!

Ложится позором любая награда...
В подполье слезы моей прячется смех.
Все получается так, как не надо,
И черный, как лилия, падает снег.

БЕЙН Иосиф — ленинградский поэт поколения Бродского. Всю жизнь писал стихи и всю жизнь подвергался преследованиям за «тунеядство». Теперь живет в Израиле.

ДИВНАЯ МАЛИНА

V. «Сто лет, сто лет!»

Перед исполкомом стояли люди и глазели, как развешивают портреты по фасаду. Работой управлял мужчина в красной ковбойке и в джинсах. Над мальчишеским лицом пушились седые волосы. Это был художник — магистр Эдвард Лелюхович. Он приехал к нам три года назад. Устроился, получил квартиру, а жена — место библиотечарши в районном доме культуры. Детей у них не было.

С его приездом в городе словно прибавилось красок. Лелюхович украшал улицы перед государственными праздниками, а также, что было известно только ксендзу и органисту, делал эскиз украшения улиц в праздник Тела Господня и в крестный ход с образом Богоматери. Его плакатами были украшены скверы, парк и городские площади. Это были иллюстрации популярных лозунгов, вроде: «Переходи улицу только по переходу!», «Правила техники безопасности — катехизис трудящегося!». Или: «Первые на поле — первые на закупочном пункте!» (шит с этим лозунгом, два метра на полтора, поставили на рыночной площади). Заказы Лелюхович выполнял быстро и тут же напоминал, что ждет новых. Ясь Фляга, который часто с ним пил, рассказывал, как тот рисовал портреты вождей. Якобы у него был проектор, куда он помещал негатив, а потом направлял изображение на полотно любой величины, поставленное на распорки. Оставалось только провести кистью по чертам лица, и портрет был как живой.

Поговаривали о его эротических делишках — вроде бы Лелюхович в своей мастерской делал порнографические снимки, для которых ему позировали женщины, известные своей порядочностью.

Лелюхович часто менял женщин, это знали все. Он ездил с ними за город — его голубой «Вартбург» выдвали на проселках. Куда он возил своих любовниц, этого не знали. Говорили, что у него в гарах притон и там часто происходят пьяные оргии с участием немногих посвященных мужчин. Рената, жена Лелюховича, может, и догадывалась о чем, но на вид они были славной парой. Только со временем эта веселая, красивая женщина начала попивать. Особенно тогда, когда Лелюхович по несколько дней не являлся домой. Тогда Ренату видали на площади перед «Гражданским», она напивалась с Флягой и с другими. Говорили, что она зазывает мужчин домой и

Продолжение. Начало см. в № 11.

что там тоже происходят оргии, как в горном притоне Лелюховича. Летом она зазывала длинноволосых автостопщиков, которые проездом искали ночлега. Тогда из открытых окон доносились крики и пение (Лелюховичи жили возле парка). Ольшевский однажды попытался вмешаться, когда на улицу полетели бутылки.

— А ведь у этой веселой, красивой женщины и дом, и муж, и работа — что с ней, Мышка? Зачем это? — спрашивал Генрик.

Мышка работала с Ренатой в доме культуры и часто рассказывала мужу, что слышала. Когда Турони только приехали, они сдружились с Лелюховичами, но ненадолго.

— Тоска, — говорила Мышка, — тоска. Она ведь знает, что творит этот человек.

Туронь покачивал головой: — У каждого свои увлечения.

Тогда Мышка протестовала: — Как это так, должны же быть границы! У него такая женщина дома! Это он виноват! Только он!

— Надо понять и простить, — говорил Туронь.

— А он? И ему надо понять ее!

Знал ли Лелюхович? Этого никто не сказал бы наверняка. Может, закрывал глаза? Как-то Фляга в «Гражданском» прицепился к нему:

— Эдик, ты хоть знаешь, что твоя гуляет?

Они сидели за занавеской: магистр, Фляга, инженер Шафранек, Шелёнг и еще кто-то. Все уставились на магистра — о Ренате в городе уже всю говорили.

А он как не расслышал. Откинул со лба прядь седых волос, допил пиво, заплатил. Все ждали, что он выскажется, закричит, может, даст Фляге в морду? Но ничего не случилось, помолчали, кто-то засмеялся, и заговорили о чем-то другом.

Теперь Мушина стоял в толпе у здания исполкома и смотрел, как две большие головы медленно ползут вверх. Лелюхович кричал с мостовой людям на крыше. Это были всё те же арестанты, которые помогали Грошеку строить трибуну (надзиратель с автоматом затерялся в толпе). Другие стояли в открытых окнах — они должны были закрепить портреты на высоте четвертого этажа. Ниже, между портретами, уже висел лозунг: «Да здравствует праздник международной солидарности!»

Мушина огляделся: город вроде бы повеселел. Зелень деревьев прошта багрянцем — транспаранты повешены между фонарями, флаги на высоких мачтах. Даже на крыше будки с пивом воткнуты бумажные красные флажки. Теплый ветер раскачивал транспаранты над мостовой.

Мужчина в ковбойке дал знак, люди в окнах ухватились за шнуры, прибитые к рамам портретов. Большие лица застыли в неподвижности.

— Хорошо! Хорошо! — кричал седой слегка охрипшим голосом.

Мушина тронул за плечо Сломкевича (с тростью и кружкой пива): — Кто это?

— Этот тип? Магистр Лелюхович. Художник.

— Магистр? — удивился Мушина.

Франек махнул рукой, пиво расплескалось на тротуар:

— Какой он там магистр!

В шесть в районном доме культуры было торжественное заседание, Мушина получил приглашение на него от Ленки. Это была цветная открытка с напечатанным текстом: «Организационный комитет празднования Первого Мая имеет честь пригласить гр. (тут почерком Ленки были вписаны имя и фамилия Мушины) на торжественное заседание, которое состоится тридцатого апреля в восемнадцать часов в РДК». Мушина спросил: «Что такое РДК?», Ленка, притворяясь возмущенной, ответила: «Как это вы не знаете? Районный дом культуры».

Место было хорошее, в первом ряду, рядом с Медзой и Туронем. Секретарь уже издалека кричал:

— Товарищ редактор, пожалуйста! Тут для вас местечко!

В начале седьмого открылась торжественная часть. Учитель физкультуры Шелёг, председательствовавший на заседании, попросил занять места в президиуме Медзу, Туроня, председательницу кружка Лиги женщин (Хеленка в темно-синем платье, с укладкой, сделанной лично Янковским, поднялась на сцену, развеивая вокруг запах одеколона «Может быть»), майора Попеляка и директора Шафранека. Мушина остался в первом ряду один, посреди опустевших стульев.

Из длинной речи он запомнил только отрывки. Зал стих, когда Медза, слегка наклонившись вперед, опершись на стол, покрытый зеленым сукном, заговорил. Речь продолжалась час — Мушина считал страницы (тридцать две).

— Трудящиеся всего мира... — гудел голос Медзы в зале и на улице, потому что и там повесили рупоры. — Международный праздник солидарности... авангард передового класса... силы лагеря мира... генеральные задания!

Полвосьмого началась художественная часть. Играл оркестр музыкального кружка, пел мужской хор старших классов лица (Ренек, самый длинный, стоял в последнем ряду). Была и декламация. Дочурка Туроня, Малгося, прочла стихотворение о майском празднике, когда светит жаркое солнце, цветет сирень, небо голубое, и только надо помнить о тех, кто работает под землей, в темной шахте, или стоит у мартеновской печи. Ни разу не сбилась. В коротком белом платьице, в двумя косичками, она поклонилась, и все дружно хлопали в ладоши. Возле сцены стояла взволнованная Мышка с красными пятнами на лице. Это она, заведующая домом культуры, организовала самодеятельность. Танцевал школьный ансамбль:

кувяк, оберек и мазурку. Из досок выбивалась пыль, и казалось, что дрожат лампы на высоком потолке. Сквозь открытые окна были слышны крики низко летающих ласточек.

Не выступил только гармонист Домарадзкий — референт местной машинной станции. Это его гармонь одолжил и не отдал Медза. Домарадзкий ни на чем больше не умел играть (Мышка предлагала скрипку). Он отказался участвовать в музыкальном кружке и не пришел на праздник.

В девять началось веселье. Мушина сидел за столиком с Туронями — столики были расставлены вдоль стен. Посреди зала танцевали. Играл тот же оркестр музыкального кружка в очередь с молодежным ансамблем «Три туза» (три ученика одиннадцатого класса: контрабас, фортепьяно, ударные).

Туронь чуточку выпил, смеялся, рассказывал анекдоты. Мышка беспокоилась о детях (с ними сидела тетка, приехавшая на несколько дней). Мушина старался много не пить. Танцевал с Ленкой. Она подошла, когда было белое танго. Туронь заметил ее первый:

— По твою душу, редактор!

Они танцевали в приглушенном свете ламп, обмотанных цветными лентами. Пахло потом и пылью.

— Разрешите еще, панна Ленка? — спросил он, когда танго кончилось.

И они танцевали «Рамону», что-то быстрое, чего Мушина не умел танцевать (Ленка смеялась и пробовала научить его, но он ничего не слышал, потому что оркестр был слишком близко), а потом, когда играли «Три туза», — несколько молодежных шуточек: «Ты меня позабыла», «Мы до сих пор незнакомы» и «Цветов не дари мне, подруга». Потом он проводил Ленку к столику (она сидела с машинисткой Стасей и ее парнем). Больше они уже не танцевали.

За полночь Мушина проводил Туроней на Проектируемую. Он запомнил звезды над крышами, пустые улицы и близкий-далекий перелай собак. Когда он большим ключом отпирал дверь маленького домика, в низких окнах было темно.

С пяти утра Кривой Стефан подметал площадь. Метлой из березовых прутьев он собирал на большой совок бумажки, лошадиный навоз и щепки около трибуны. Было еще пусто — в окнах исполкома только что засверкало солнце. Длинные флаги на высоких мачтах мягко пошевеливались, шелестели бумажные флажки на пивном ларьке.

В шесть гармонист Домарадзкий выглянул на балкон (зевнул, почесал волосатую грудь между распахнутыми полами пижамы) и увидел эту пустую площадь — в солнце, в багрянце флагов и транспарантов, прошитом зеленью акаций, и Кривого Стефана в оранжевой безрукавке дорожного рабочего на мостовой.

— Эй, Стефан! — покричал он. — Ставку у тебя не отняли? Кривой Стефан только погрозил метлой.

С восьми по площади бегали дети — особенно они буянили на трибуне, там пахло сосновыми досками и надо было забираться по деревянной лесенке. У самых маленьких и макушек не было видно — они исчезали за барьером из плит.

Дети играли в прятки вокруг трибуны. Крик и смех разносились далеко. Только два дежурных милиционера, Окраса и Левандовский, с бело-красными повязками на руках, полдевятого согнали ребятишек с трибуны. Началась техническая проба репродукторов.

— Раз, два, три, четыре, пять! — загудели голоса. — Пять, четыре, два, один!

В девять Кривой Стефан пришел на площадь и стал в группе работников горсовета. Вид у него был, будто это и не он, а кто другой: черный костюм, сшитый на заказ у портного Бженчиковского за полторы тысячи злотых, белая рубашка, галстук, новые, желтой кожи, ботинки и фетровая шляпа. Люди обалдели:

— Стефан или не Стефан?

Зав Рыбачинский (как раз раздавал выпелы и плакаты для демонстрации) остановился возле него:

— Стефан, это ты, что ли?

— Я, пан заведующий, — поклонился подметальщик, приподнимая шляпу.

Рыбачинский вручил ему выпел:

— На, понесешь! Корову на демонстрацию не взял?

Люди кругом рассмеялись. Справа стояла колонна фабрики фруктовых консервов, слева строители. Впереди, перед учреждениями и предприятиями, выстроились школы. Девочки в белых блузках, мальчики в гимнастерках. Дружина харцеров в красных галстуках, с флажками и барабанщиком — время от времени он принимался барабанить, и шум на площади притихал. Кривой Стефан, сжимая древко выпела, проталкивался поближе. Через головы детей он лучше видел трибуну.

Гости начали собираться сразу после девяти. Два милиционера, Окраса и Левандовский, проверяли входные билеты.

— Стасек, ты считаешь? — спросил Левандовский Окрасу. — Смотри, чтобы кто зайцем не проскочил.

— Считаю, считаю! — ответил Окраса. — Уже тридцать два.

— Много, бля, — вздохнул Левандовский. — Что-то их много, любителей на трибуне постоять.

Действительно — тридцать два человека уже стояли на деревянной платформе, сбитой из досок столяром Грошеком. Стояли в три ряда. В первом, возле переднего борта, обитого красным полотном, — стояли те, что поважнее. Кривой Стефан не всех-то и знал. Кого знал, попробовал посчитать на пальцах.

— Пять, шесть... — считал он шепотом. Со счетом у него было не очень-то.

Он сразу узнал секретаря Медзу в синем костюме, с красным бантом в лацкане. Рядом стоял толстый, незнакомый, в очках (товарищ Котуля из воеводства). Дальше председатель Туронь — в светлом, улыбаясь — заговаривал с самыми малышами в первых рядах перед трибуной. Около него мужчина в расстегнутой болонье. Всё время шелкал зеркалкой (ясно — редактор Мушина!). Стефан узнал еще директора Гняздовского (как всегда, безупречно скроенный серый костюм, белый платочек в кармашке, седые, гладко зачесанные волосы). Был и хозяин коровы — директор городского стройтреста Шафранек. Он что-то говорил жене Медзы, председателнице кружка Лиги женщин. Хеленка громко смеялась — смех было слышать аж досюда. В первом ряду еще стояли районный архитектор инженер Тарговский, директор фабрики фруктовых консервов некий Кулеша и ксендз Олейничак в гражданской одежде с орденскими ленточками на груди (был капелланом в партизанских отрядах, а после со Второй Армией* форсировал Нису). Во втором ряду стояли менее известные, тем более — в третьем. Некоторых Стефан вообще не мог разглядеть, кто был поменьше ростом. Видно было, как некоторые встают на цыпочки, чтобы лучше видеть площадь.

Как только председатель Туронь поднял руку — наверно, хотел, чтобы толпа затихла, — грянул оркестр пожарников. Над головами детей засияли трубы и пожарные каски. Оркестр стоял возле трибуны, под шеренгой красных флагов на высоких мачтах. Стефан посмотрел на великие лица, вывешенные на здании Президиума, и еще крепче сжал древко выпела.

Оркестр поиграл и замолк. Гомон толпы притих. Председатель Туронь произнес речь первым — как хозяин города. Он говорил без бумажки, коротко. Кривой Стефан мало чего понял — Туронь сначала говорил тихо, только к концу погромче. Он обращался к детям в первых рядах. Говорил, что они должны помнить о тех, кто кровью завоевал этот праздник, и еще о рабочих.

— Многих нет с нами. Они погибли в тюрьмах и лагерях, на всех фронтах последней войны, и только их тени витают над этой площадью!

Кривой Стефан поглядел вверх, но увидел только голубое небо и белые облака. Под конец председатель вроде из-за чего-то разнервничался. Он говорил, что мы слишком легко поддаемся конформизму и желанию спокойной жизни.

— С этим надо бороться, чтобы кровь и пот наших отцов не стали бессмысленной жертвой! — кричал он. Стефан слушал разинув рот.

* Вторая Армия Войска Польского, входившего в Польшу с Красной Армией. (Прим. пер.)

Во время председательской речи на трибуну поднялся еще один почетный гость. Это был старичок Весоловский — легионер. Он чуточку опоздал, и Окраса не хотел его пускать.

— Да ты что, пан, — взвился старичок, — не видишь мундира? Не уважаешь?

— Пусти его, Стасек, — пробурчал Левандовский, и Окраса уступил.

Старичок протолкался в первый ряд. Отпихнутые поворчали, но Весоловский не обратил внимания. С довольной улыбкой он стал между ксендзом и Кулешей. Оба одновременно поглядели на него.

— Пан Весоловский, повежливей! — шепнул ксендз Олейничак.

Старик сделал вид, что не слышит. Он поправил конфедератку со скрещенными галунами. Кривой Стефан глядел восхищенно. Весоловский в легионерской форме был и вправду представителен. Серо-голубой мундир (кто поближе, чувствовал сильный дух нафталина), конфедератка с большим черным козырьком, окаймленным серебром, орденские ленточки на груди. Седые волосы старательно причесаны, щеки гладко выбриты. Он казался выше, чем на самом деле, хотя ксендзу и Кулеше доставал только до плеча.

После Туроня начал речь секретарь Медза. Нормально — с листочка. Люди видели, как он вынимал очки из футляра, как выдвинулся на шаг из первого ряда. Разгладил лист бумаги с текстом речи, глянул в него и начал:

— Дорогие товарищи и граждане!

И это было всё, что он успел сказать. В этот момент на чистом небе (где Кривой Стефан напрасно искал теней, упомянутых председателем Туронем) появился реактивный самолет. Была видна только серебряная точка, поблескивающая на солнце. За ним тянулась пенистая полоска. Люди на площади и на трибуне подняли головы. Кривой Стефан тоже глянул вверх и тут же услышал треск. Это был звук высокий и пронизывающий, как стон дровяной пилы. Перепуганная стайка воробьев сорвалась с акации и, с шумом перелетев площадь, села на крыши блочных домов.

Участковый Левандовский говорил потом Окрасе:

— Стась, я же тебе говорил, слишком много пускаешь. Кто это выдывал, чтоб на такую трибунку впихивать тридцать три человека?

— Все с билетами, — спорил Окраса. — Вот те крест. Ни одного — без!

Кривой Стефан встал на цыпочки. Все головы, которые только что он видел над высоким бортом из древесно-волоконистых плит, — исчезли. Потом появились руки — одни за другими, целый ряд. Попавшие в ловушку, видно, пытались подтянуться, но было слишком высоко. Огромная коробка затряслась как живая. Упала и буква «М» из белого картона, и две большие единицы. На площади,

в тишине, которая воцарилась вслед за этим громким стоном дровяной пилы, раздался голос председательницы кружка Лиги женщин:

— Езус Мария, Генек, мои чулки!

Только тогда люди начали смеяться.

Надо признать, что магистр Лелюхович сделал свою работу всерьез. («Не то, что этот халтурщик Грошек!» — говорили потом.) Плиты он укрепил брусьями, прибавил по две доски на углах. Из этой коробки трудно было вылезти. Слышно было, как там топчутся по обломкам досок и кричат.

— Рыбачинский! Рыбачинский! — зычный голос Медзы.

В замешательстве сломали деревянную лесенку. Окраса и Левандовский потеряли голову — беспомощно бегали вокруг. Кто-то кричал: — Стремянка! Где стремянка? Тащи стремянку!

Кривой Стефан слышал вокруг смех — тонкий детей и громкий взрослых.

— Тише, люди! — озирался он, размахивая шляпой. — Тише! С чего смеяться?

Крестьяне рассказывали потом, что смех было слышно даже за рекой, на полях под еловыми холмами. Встревоженные галки снялись в парке с деревьев. Гармонист Домарадзкий подтолкнул тракториста, с которым они стояли в группе работников сельского хозяйства. Указал ему на большие портреты, повешенные над трибуной.

— Глянь, Зенек! Эти — и то смеются.

Тракторист утирал глаза платком. Кривой Стефан кричал на детей:

— Тихо! Тихо, сопливые! Не с чего смеяться.

Но никто его не слушал. В какой-то момент дирижер пожарников поднял палочку. Щеки трубачей надулись как по команде. Оркестр заиграл «Сто лет, сто лет!», и только тогда смех немного утих. Зато люди запели. И снова Кривой Стефан повторял, размахивая шляпой:

— Тихо! Что вы, люди? В такую-то минуту петь?

— «Долгой жизни, долгой жизни!» — гудела вокруг площадь. Тонкие голоса детей и поглубже — взрослых. Крестьяне рассказывали, что и пение было слышно за рекой.

Домарадзкий, конечно, шутил: в этом общем визге и веселье только лица, повешенные на здании исполкома, смотрели на площадь без улыбки. И, пожалуй, только один человек не растерялся в общем замешательстве: сержант Ольшевский Зенон из районной комендатуры. Лопатой, которую он отыскал во дворе исполкома, сержант разорвал красное полотно и отогнул две доски, прибитые, казалось бы, на веки вечные. Он всунул лопату в середину и отогнул плиты. Сквозь эту щель, довольно узкую, но другой не было, жертвы выползли наружу. Медза вылез красный, как полотно, которым

Лелюхович обил плиты. Он сопел, вытирая лоб платком и повторял:

— Где Рыбачинский? Немедленно установить виновных!

Товарищ Котуля едва протиснулся в щель. Ольшевскому пришлось помогать ему. Редактор Мушина смеялся. Он сделал несколько снимков. Старичок Весоловский попросил снять его на фоне трибуны, предварительно подняв букву «М» и приколов ее к полотну.

Люди на площади еще пели: «Сто лет, сто лет!» Медза подбежал к пожарным и приказал сейчас же прекратить. Пение умолкло. В тишине (кое-где еще раздавались хихиканья и возгласы) зазвучали развешенные на фонарях репродукторы.

— Просим собравшихся извинить за нарушение торжеств, — сказал заводителем Рыбачинский из исполкомовской студии (говорил неясно, будто охрип). — Приглашаем всех принять участие в демонстрации!

И вот хоть этот, один-единственный раз эти с трибуны шли с нами. Стоять им было негде — факт. Люди еще на ходу посмеивались. Кто что припомнил. Давно у нас не было такой веселой демонстрации. Кривой Стефан нес вымпел.

— Кто это выдывал, — повторял он, — в такой беде, и смеяться! Эх, люди, люди!

Но никто не обращал на него внимания.

Медза во главе демонстрации извинялся перед товарищем Котулей.

— Мы не оставим виновников без суровых последствий. Это же скандал!

— Ничего, ничего, — добродушно улыбался Котуля. — Главное, все живы.

— Чулки разорвала совершенно, — жаловалась Хеленка пани Гняздовской. Они шли рядом в одной из первых шеренг.

Дети запели, в открытые окна люди приветствовали идущих. Над мостовой раскачивались транспаранты. Галки вернулись в парк. Слышны были их крики, детское пение и шум больших деревьев. Воробьи на акациях восторженно чирикали. И только эти лица над трибуной остались неподвижными и равнодушными, словно ничего не случилось. Не улыбаясь, смотрели они на наш город.

VI. Гражданин Грошек, пройдемте!

Они пришли в восемь, рано, Грошкова как раз полола грядки в огороде. Стали перед калиткой, запертой на крючок, и тот высокий, костистый (сержант Зенон Ольшевский) спросил:

— Муж дома?

Младший за всё время ничего не сказал — ремешок под подбородком ему, видно, немного давил, потому что он его всё поправлял. Грошкова поднялась — руки у нее были в земле, откинула прядь волос со лба. В эту минуту старик показался в дверях. Он был в холщевом синем комбинезоне, собирался идти в столоярку. Ольшевский сказал грозно:

— Гражданин Грошек, пройдемте!

Старик, кончая застегивать пуговицы, медленно подошел к калитке.

Он их внутрь не впустил. Ольшевский над загородкой подал ему клочок бумаги. Это была повестка на допрос. (Редактор Мушина потом упрямо доказывал, что Попеляк мог повестку послать. Но видно, майор спешил.) Старик потянулся к кармашку, из которого торчал картонный футляр. Открыл его, надел очки и только тогда прочитал. Грошкова стояла рядом с мужем. Руки у нее тряслись, когда она откидывала со лба седые волосы.

— Что, Янчик, чего они хотят?

Старик отдал бумажку Ольшевскому. — Всё в порядке, — сказал он. И, поглядев на жену: — Берут меня в комендатуру. — И пошел переодеваться.

Ольшевский и тот помоложе ждали его у калитки. Грошкова причитала:

— Иисусе Назаретский! Это же старый, больной человек. Он мухи не обидит. Чего вы от него хотите?

— Успокойтесь, пани Грошкова, — сказал Ольшевский. — Муж скоро вернется.

Женщина не знала, что делать. Побежала в дом. — Янчик, Янчик, — повторяла она, стоя над мужем. — Чего они от тебя хотят?

Старик должен был прикрикнуть на нее. И вышли из дома.

Над крышами уже стояло солнце, в цветах вдоль дорожки гудели пчелы. Грошек медленно шел в сторону калитки. Он надел черный костюм и белую рубашку с галстуком. Седые волосы причесал щеткой. Еще повернулся и сказал:

— Не забывай о рыбках!

(У него был столитровый аквариум с фильтровальным устройством, освещением и обогревом. Многие часы проводил он над рыбками. Петрусь, внук Грошека, как-то впустил в аквариум окуня из речки. Старик тогда рассердился и ударил мальчика.)

Грошкова повторяла: — Иисусе Назаретский! Иисусе Назаретский! — И шла за мужем до калитки. Когда он обернулся, обняла его этими выпачканными в земле руками. Притянула его голову и поцеловала в лоб. След земли остался на щеках Грошека.

Так и пошли через город: Ольшевский, тот молчаливый помоложе, которому ремешок давил подбородок, и Грошек в черном костюме, со следами земли на лице.

Люди оглядывались им вслед — столяр не спешил, шел медленно. Его седая голова была видна издалека. Рыбарчик выглянул на порог мясной, а за ним и несколько женщин вышли на улицу.

— Как веревочке ни виться... — засмеялся мясник.

— Иисусе Назаретский, — шептала Грошкова. Она еще стояла у калитки, руки с засыхающей землей слегка дрожали, смотрела в сторону, куда те ушли. Когда пришла в себя, побежала в исполком и там два часа дожидалась председателя Турона.

Вечером того же дня старичок Весоловский увидел привидение в развалинах замка. Как всегда, около девяти он вышел прогуливать собаку и некоторое время прогуливался вдоль эскарпа за развалинами. Иногда он останавливался, что-то говорил вполголоса, жестикулировал левой рукой (в правой был поводок), словно спорил с невидимым человеком. В какой-то момент он повернулся в сторону замка и увидел привидение.

— Кто это? — спросил он. — Есть там кто-нибудь? — повторил он громче. Ответом было молчание, привидение зашевелилось, как будто собиралось спуститься ниже.

Это вернее всего был Кривой Стефан, который теплыми ночами спал у реки, в шалаше. Его оранжевый жилет дорожного рабочего мог блеснуть отраженным светом. В город проезжали машины. Старичок об этом не подумал — постоял остолбенелый (ужас нарастал от всё усиливающегося шума деревьев вокруг развалин и криков летучих мышей), потом потянул собаку и трусцой побежал к городу. Такса Цезарь, кажется, бежала с поджатым хвостом.

— Привидение, привидение, — бормотал Весоловский. Направился прямо в комендатуру.

Дежурил сержант Ольшевский (он заменял больного капрала Смуклу). Сидел за деревянным барьером, у стола, на котором лежала приготовленная на всякий случай канцелярская бумага, проложенная фиолетовой копиркой (протоколы писали в двух экземплярах). Весоловский открыл дверь, перевел дыхание на пороге, беспомощно, как рыба, хватая воздух.

— Привидение, сержант, — забормотал он. — Я видел привидение.

Сержант поднял голову. Он сидел в фуражке, с ремешком под подбородком.

— В чем дело? Какое привидение? Входите и докладывайте по-человечески.

Старичок рассказал о приключении. Он был ужасно взволнован, руки у него тряслись. Он беспокойно крутился на стуле. Ольшевский пытался объяснить ему, что привидения существовали в былые времена, особенно при капиталистическом режиме, а теперь нет. В конце концов он уступил и составил протокол:

«Дня (следовала дата) явился гражданин Весоловский Антоний, проживающий (полный адрес), пенсионер, холостой, возраст 79 лет. Вышеназванный заявил, что около руин замка над рекой усмотрел привидение, напоминающее человеческую фигуру. На поставленные вопросы «Кто там?» и «Есть там кто-нибудь?» привидение не отвечало. Гражданин Весоловский докладывает о вышеприведенном событии, а также просит детально расследовать обстоятельства дела. По его мнению, под видом привидения может укрываться преступник-рецидивист или иной извращенец».

На этом протокол был закончен. Оставалось подписать. Старичок хотел добавить фразу о шевелении привидения с намерением спуститься ниже, но Ольшевский не согласился ни на какие поправки.

— Вы свободны, — сказал он. — Проверим.

Потом дело о привидении затихло, хотя и не совсем. Говорят, Ольшевский порвал записи на следующий день, после неприятного разговора с майором. Попеляк кричал, что у него голова забита делами поважнее, чем призраки Весоловского.

Дети бегали за стариком, крича: — Привидение, привидение!

По вечерам он перестал ходить гулять на эскарп. Но известно, что в развалинах бродят призраки, прижилось, люди рассказывали друг другу о духе, который поселился в замке. И только Кривого Стефана не трогали эти рассказы, он пас под разрушенными стенами корову директора Шафранека, а теплыми ночами спал тут же рядом, в шалаше.

VII. Обухом его, обухом!

Ренек ждал Баську на старом еврейском кладбище за городом. Перед обедом, когда официантка была свободна, они шли обычно к реке, здесь встречались только по вечерам. Кладбище было заброшено, дорожки заросли травой, серые плиты с непонятными надписями криво вращались в землю. В просветы тополей виднелись городские крыши и тропинка между полями ржи.

До войны пять тысяч евреев жили в нашем городе. Старые люди рассказывают, что в торговые дни вся площадь чернела от их халатов и ермолок. Немцы всех поубивали — вроде бы где-то в лесу, за еловыми пригорками, за рекой.

Баська пришла запыхавшись — бежала тропинкой через поле.

— Не могла вырваться, — объяснила она. — Слишком много народу сегодня.

Ренек сидел на каменной плите, подвинулся, крепко обнял девушку, когда она села.

Они познакомились год назад, на вечеринке в исполкоме. Баська была старше Ренека на два года. Сначала и разговаривать с ним не хотела, да подружки уговорили («Милая, с сыном секретаря

закрутить не хочешь?)). Еще и теперь иногда ласково говорила:
— Молокососище ты мой!

Мать Баськи работала в финотделе исполкома. Она хотела, чтобы Баська кончала школу, но Баська предпочитала работать.

— Что мне этот аттестат, мама, — говорила она. — В институт всё равно не пойду.

Она нашла место в кафе «Магнолия» и работала там уже три года. Была она крупная, рослая, темноглазая и громко смеялась. Ее волосы пахли лаком. Когда они целовались, она просила парня быть осторожней с прической.

Первый раз она отдалась Ренеку здесь, между старых надгробий еврейского кладбища. Было еще холодно — они лежали на расстеленном Баськином пальто. Она всё боялась, что кто-нибудь придет, поднимала голову, озиралась. Ренек запомнил запах ее пота, теплое дыхание, следы крови на подкладке пальто. Тут девушка заплакала — она испугалась, что пальто не отчистить.

Теперь они привыкли ждать первой звезды — после нее быстро темнело. За полями светились городские окна, ветер шумел в тополях.

— Знаешь, — сказала она, — мы завтра утром должны с твоим отцом ехать в рыбацкую хижину. Там такой обед на траве.

Ренек забеспокоился: — Кто?

— Ну, я и Зоська. А с твоим отцом — не знаю, кто будет.

— Не езд, Бася, — сказал парень. — Зачем?

— Заведующий приказал. Твой отец вроде бы звонил ему. Нужны две официантки.

— Чтобы вас лапать! — Ренек поглядел на небо, но первой звезды еще не было.

— Не бойся, Реня, — девушка придвинулась ближе. — Я им покажу, если кто попробует!

Они сидели, крепко прижавшись друг к другу, ожидая первой звезды.

Было совсем темно, когда они возвращались полевой тропинкой.

Рыбацкую хижину выстроили по проекту районного архитектора Тарговского, а место для нее выбирал Медза. Земля тут мягко идет под уклон, на взгорье виден последний неоштукатуренный дом милковицких выселков. Справа и слева к берегам подходит лес. Деревья не дают подойти к воде. Озеро большое и извивается заливами, как когда-то река, теперь перегороженная плотиной. Ближе к плотине осенью противоположный берег теряется в тумане. В маленьких заливах, затененных свисающими ветками бука и ольхи, жируют голавли, лещи и щуки. На лугах, уже некошеных, потому что к ним не приступить, до поздней осени звенят сверчки и кузнечики, умолкая, когда громкое слово, донесшееся с

лодки, нарушит тишину. Пустынно тут еще — можно день пробродить и ни души не встретить. Только след серны на илистом берегу да раскачивающуюся ветку там, где она спугнутая пробежала.

Как известно, рыбацкую хижину выстроили на деньги, предназначенные на развитие спортивно-туристической базы в городе. Официально она называется Городской центр водного спорта, но мало кто из нас этот центр видывал. Избранных можно пересчитать на пальцах: Шелёнг, директор Гняздовский, инженер Шафранек, Лелюхович, девушки, которых он туда возил, иногда какие-то официальные гости. Два-три раза там были Ренек и Хеленка. Ренек скучал (целый день пролежал на террасе в шезлонге).

— Слишком пусто тут для меня, папа, — сказал он на обратном пути.

Хеленка говорила мужу: — Генюшь, ты еще утонешь в этой воде!

Много денег пошло на хижину — миллион, а может два? Но не впустую же. И заграничным гостям не стыдно показать.

— Был тут как-то один, — рассказывал Мушине Медза. — Из Франции. Привез его товарищ Котуля из воеводства. Ну и хлопот с ним было — языка-то он не знал. Ну, я его привез в хижину, покатал на лодке, поудили немножко и выпили. Ох, понравилось этому лягушатнику — уезжал, всё по плечу меня хлопал и повторял: «Мерси боку, мерси боку!»

С террасы видны горы. Вечерами их словно запеленывает голубой туман. Бетонная лесенка ведет вниз, к помосту, где стоит причаленная моторка. В домике три комнаты: две внизу, и еще кухня, и одна — наверху, поменьше. Большие венецианские окна, дубовый паркет, резные перила деревянной лестницы. Ванна выложена кафелем, цветные стекла в дверях, как витражи. За кафелем Медза сам ездил на воеводскую оптовую базу. Его знакомый Папузяк, директор стеклозавода, на своей машине привез цветные стекла. Ну, и эти два километра лесной дороги, построенные нами на субботах и воскресниках, два километра линии высокого напряжения («сила!» — радовался секретарь, когда подключили свет) и два километра телефонной линии, которую, благодаря любезности командующего округом, проложили солдаты.

Они приехали в десять на двух машинах. Первым — Юзик на «Варшаве», привез секретаря и Мушину. Сразу пошли осматривать хижину, а когда вышли на террасу, к дому подъехал голубой «Вартбург» Лелюховича. Магистр привез Шелёнга и двух официанток.

Сначала разговор не клеился. Мушина был скован, спросил, сколько стоила хижина и почему ею не пользуется молодежь. Медза пытался шутить:

— Редактор миленький, если б я сюда напустил этих дикарей, через два дня посмотреть было бы не на что! Разрушили бы, уничтожили...

— Загадили бы, — засмеялся Шелёнг.

— Нельзя, никак нельзя, — качал головой Медза.

Лелюхович заговорил о живописи — спросил, что думает Мушина о поп-арте, но редактор не ответил. Они пили криничанку* из зеленых бутылок, иногда ветер приносил запах люпина (поле желтых цветов подступало к дому). Девушки шептались и хихикали. Они уселись на каменной стенке из песчаника, ограждавшей каменную террасу. Юзик поехал обратно — за водкой, пивом и бигосом (бигос Медза специально заказал в «Гражданском»).

— Минуточку, дорогой редактор, — говорил Медза. — Выпьем по первой, как шофер вернется, и на озеро! Увидите наше море!

Действительно, как выпили — настроение изменилось. Не успел Юзик подъехать к террасе, Медза побежал за водкой. Пробку выбил на ходу. Выпили под соленые огурчики.

— Панны, а вы что? — спросил секретарь. — По рюмочке, по рюмочке! На всех хватит!

Девушки отказывались, но Шелёнг и Лелюхович втиснули каждой по стопке и стояли рядом, пока те не выпили.

Потом поплыли на моторке. Это была большая лодка с мягкими сиденьями, с двигателем «ГАЗ». Медза управлял с воображением. На резких поворотах клал лодку на борт, так что вода чуть не шла через край, и девушки в ужасе визжали. На берегу остался Юзик. Некоторое время они видели красную крышу хижин, а потом был уже только теплый ветер, отблески солнца на воде, зеленые берега и долгое стрекотанье сверчков, когда глож мотор. Шелёнг поливал водой официанток, Мушина фотографировал. Медза клал лодку на борт, и пенистый след за рулем изгибался в дугу.

На воде они выпили еще. Учитель взял с собой початую бутылку житной. На обратном пути далеко разносилось нескладное пение: «Море, наше море!» Сверчки в испуге замолкали, когда ветер приносил голоса, а разгулявшаяся за моторкой волна громко била в берег.

Потом, усевшись в плетеные кресла, ели на террасе бигос. Девушки надели белые фартучки, носили с кухни глубокие и мелкие тарелки. Был еще бифштекс по-татарски с маслинами и яйцами, селедка в сметане и свежие огурчики.

— Ешьте, ешьте, товарищи, — приговаривал секретарь. — Абы только здоровы были. Редактор, приглашения дожидаетесь?

Когда Баська остановилась около него, посадил ее на колени и заговорил, грозя пальцем:

— Будешь мне Ренека баламутить, так я тебя знать не хочу!

* Минеральная вода. (Прим. пер.)

Девушка смеялась, но Медза внезапно посерьезнел, покраснел и, глядя на Мушину, сказал:

— Сына у меня хочет отнять! Сына. А он не для нее, редактор. Не для официантки! Парень два метра росту, рука — как две мои. Инженером будет — а, Шелёнг? Сделаем из парня инженера.

— Так точно, секретарь, — поддакнул учитель.

— Не для тебя, Бася! Будешь его баламутить — из города выкину! Где Туронь?

Туроня не было, но Медза, уже пьяный, кричал, словно председатель сидел рядом: — Уволить мать! Немедленно предупредить об увольнении!

Он кричал, злой и раскрасневшийся. Девушка перестала смеяться. Все умолкли и глядели на Медзу и на Баську, которая пыталась встать с его колен. И в конце концов, наверно, расплакалась бы — вроде бы шуточки, а вот секретарь и вправду злой.

— Ухватил меня в пояс, — жаловалась она на кладбище Рене-ку, — и пальцем грозил, как соплячке. Счастье, что эта свинья пришла.

— Какая свинья? — удивился Ренек.

Кабанчик был небольшой, черный — вышел из люпина и, похрюкивая, начал рыться в черной земле, отделявшей луг от поля.

— Гляньте, верь! — воскликнул Шелёнг.

Все оглянулись. Учитель шутил, понятно, все засмеялись, даже Баська улыбнулась, только Медза нет.

— Верь, верь! — повторил он. Отпустил официантку и встал. — Надо зайти сзади и к воде!

— Секретарь, — сказал Шелёнг, — это же свинья.

Они всё смеялись, но секретарь не слушал. Качаясь, он пошел в сторону каменной лесенки. Учитель и Мушина — за ним. Только Лелюхович остался. На лодке и во время обеда он всё приставал к Зоське. Девушка смеялась и била его по рукам, но магистр не отступал. Теперь, когда официантки вспрыгнули на песчаниковую стенку, чтобы лучше видеть, он стал позади Зоськи и полез к ней под юбку.

— Пан магистр! — взвизгнула Зоська. — Всё жене будет сказано! Свинья заметила мужчин и повернула обратно в люпин. Девушки с террасы видели ее черный хребет среди цветов.

— Окружить, окружить! — кричал Медза. — В воде ее прибьем! Шелёнг и Мушина вошли в люпин. Учитель поднял сухую ветку. Медза оглянулся.

— Юзик, Юзик! — Он шел по пояс в цветах, с распростертыми руками. Шелёнг молотил веткой, Мушина улюлюкала. Они подходили к свинье с трех сторон.

Животное, хрюкая, отступало в сторону луга. Хотело перебежать на другую сторону проволочной сетки, натянутой от воды до поля (дальше был лес), но Шелёнг перебежал дорогу. Хрюкая,

опустив пяточок, свинья побежала вниз, к озеру. Девушки с террасы видели теперь черный хребет в орешнике на краю луга.

— Ну, теперь ты наш! — пыхтел Медза. — Юзик, Юзик! — припомнил он и тяжелой рысцой побежал вокруг дома.

Шелёнг и Мушина гнали свинью вниз.

Юзик поставил машину под тополями с другой стороны хижин. Почитал детектив, потом улегся на сиденье (ноги в полуботинках со сбитыми подошвами высовывались через открытые двери) и заснул. Проснулся, когда его сильно дернули за штанину. Запыхавшийся секретарь стоял над ним.

— Раны Божьи, Юзик, спишь, а мы там... Где топор, лом, рукоятка?

Перепуганный Юзик выскочил из машины. — Что случилось? Драка?

— Мигом, мигом, мигом! — сказал секретарь. — Бери, что есть, и на берег! — Он повернулся и побежал обратно.

Кабанчик спрятался в густой орешник у воды. Тревожно похрюкивал. В листьях виднелся черный хребет и большие уши в розовых пятнах. Мушина и Шелёнг стояли рядом — учитель с сухой веткой.

— Секретарь, — сказал он, — это чужая свинья.

Медза не обратил внимания. Он еще покачивался.

— Теперь, ребята, в воду его! В воде на него навалимся.

— Если бы не я, — похвалился Шелёнг, — ушла бы в лес. В последний момент загородил дорогу!

Они ждали Юзика. Шофер прибежал нагруженный: тащил лом, топор и железную рукоятку. Всё бросил на землю.

— У Войтановского здесь ничего нет. Только этот топорик нашел в кладовке.

Войтановский, хозяин люпинового поля и неоштукатуренного дома на взгорье, одновременно был сторожем хижины. У него была ставка в исполкоме, и каждый месяц он ездил за зарплатой.

— Давай, давай, Юзик! — сопел секретарь.

Шофер увидел свинью в кустах и пошел смеяться.

— Секретарь! Это же свинья! Жалко убивать.

— Что за разговорчики! — побагровел Медза. — Свинья, свинья! А я тебе говорю — вебрь! Вебрь или нет? — повернулся он к Шелёngu.

— Вебрь, вебрь, — сказал учитель. — Однолеток.

— Видишь, Юзик? Сам председатель охотничьего кружка говорит, что вебрь!

Юзик больше рта не раскрыл.

Потом пошло гладко. Шелёнг зашел сзади и ломом ударил по хребту. Свинья резко завизжала и выбежала из кустов. Девушки на террасе поднялись на цыпочки.

— Они ее правда убьют, — сказала Баська.

Медза ждал с занесенным топором. Юзик подскочил с рукояткой и сильно ударил. Рукоятка стукнула как о камень. Снова этот резкий визг. Медза, на расставленных ногах, подходил медленно. Свинья вошла в воду, но сразу отступила. Закружилась на месте, как будто не зная, куда бежать. Тогда Медза ударил. Он бил острием. Кровь брызнула во все стороны. Мушина почувствовал капли на лице. Отошел немножко в сторону и снимал. Потом подступила тошнота, и его вырвало под деревом. Не видел уже, как приканчивали свинью.

У воды кабанчик упал на брюхо, а когда хотел встать, подскочил Шелёнг с ломом. Ударил по хребту. Потом Юзик приложил еще рукояткой. Так били по очереди: топор, топор, лом. Рукоятка. Девушки с террасы видели только, как поблескивало у них над головами.

Уставший Медза отдал топор шоферу.

— Обухом его, Юзик, обухом! — Он отер с лица кровь.

Мушина слышал эти удары, словно цепами били. Кабанчик еще кидался, пробовал встать, еще визжал, потом прижал голову к земле, между копытами, и только дрожь сотрясала его при каждом ударе. Капли крови разлетались во все стороны. Когда он замер, они остановились.

Шелёнг отбросил лом. Стоял раскорячившись и утирал пот с лица. Юзик осел на колени (такой снимок сделал Мушина: шофер на коленях, опираясь на топориче).

— Ну что, редактор: жаркое будет! — засмеялся учитель (бледный редактор стоял возле них).

С террасы прибежали девушки. Все смотрели на свинью. Лужа крови под головой впитывалась в глину и песок. В мясе белели обломки костей. Хребет еще истекал кровью. Там, где учитель бил особенно сильно, шкура выглядела как красное месиво.

— Иисусе! — шепнула Баська.

— Не знаю чего, — говорила она Ренеку, — принялась тогда плакать. Из-за твоего отца уже разнервничалась, а тут еще эта кровь! Они все смеялись надо мной. Пришлось уйти в сторонку.

— И что? — спрашивал Ренек. — Что потом? — Они поглядели на небо, нет ли уже первой звезды.

— Пили, — ответила Баська. — Пили. — И еще раз повторила: — Пили.

— Под этого вепря, господи! Под вепря, — кричал Шелёнг.

— Панны, а вы что? — спрашивал Лелюхович. — Для кого эта водка?

Потом Медза пьяный лежал на диване. Лелюхович втянул Зоську наверх. Вроде бы она упиралась, а пошла. Шелёнг пытался ухватить Баську — она ускользала между плетеными креслами на террасе. Мушина сидел, прислонившись к каменному барьеру. Пел, да

слов было не разобрать. Опрокинутые бутылки лежали на столе, ящик из-под пива был пуст.

Лелюхович повернул ключ в замке.

— Бася! Бася! — кричала Зоська. Но Баськи не было. Только Шелёнг поднялся по деревянной лестнице, цепляясь за резные перила, и застучал в дверь.

— Пан магистр, откройте! — говорил он. — Пан магистр!

Лелюхович не отвечал.

Медза уснул — широко раскинутые ноги, полурасстегнутые брюки, одна сандалия упала на пол и валялась рядом с диваном. Мушина пел. Шелёнг ломился в дверь.

— Пан магистр! Пан магистр! — слышно было внизу.

Баську Юзик раньше отвез в город. Вроде бы поехал отвезти в «Гражданский» ящик из-под пива, бутылки и термосы.

— Пан шофер, — говорила девушка. — Умоляю вас!

И Юзик уступил. Учитель попозже спустился вниз — перед тем даже ногами колотил в дверь (на белой поверхности остались следы резиновых подошв), но Лелюхович не открыл. Шелёнг уселся на деревянную лавку у стены, руки положил на колени. Скоро он заснул с широко раскрытым ртом.

Зоська сбежала, застегивая на блузке блестящие пластмассовые пуговицы.

— Свиныя, свиныя! — повторяла она. — Чего захотел!

Она подбежала к столу, схватила край скатерти и стянула на пол. Бутылки с пивом катились под дубовому паркету, звенели осколки стаканов.

— Вот вам! — крикнула она. — Получайте!

Швырнула бутылкой в натюрморт над диваном (картина упала рядом со спящим Медзой, но он не шевельнулся во сне), сорвала занавеску. Потом выбежала на темную террасу, где Мушина, прильнув к каменному барьеру, пел свою песню без слов.

Утром Медза — невыспавшийся, с опухшими глазами — приказал Чесе ехать с Юзиком в хижину и навести порядок. Чеса взяла щетку, ведро, две тряпки, и поехали. Войдя в домик, она схватилась за голову. Пол засыпан битым стеклом, полузасохшие лужи пива и водки. Грязная скатерть под столом, занавески сорваны. На террасе опрокинутые кресла, блевотина.

Пришел Войтановский, сторож, — толстый, высокий, в черном мундире и шапке с зеленым околышем (у него была еще ставка на электростанции у плотины — работал в охране промышленных объектов). Чеса на корточках мыла пол в большой комнате. Двери на террасу были открыты. Юзик сидел на каменном барьере. Войтановский, посапывая, стал рядом.

— Ну что, Чеса? Погуляли твои господа? Прибирать приходится!

Чеса зло буркнула: — И твои, и твои, Войтановский!

Сторож смеялся: — Ох, прошу прощения! У меня ставка в исполкоме. Председатель Туронь непьющий!

— Все они одинаковые! — говорила уборщица! — Господа! Всех в один мешок! — Она собрала битое стекло с пола и высыпала в ведро.

Юзик кашлянул. Посмотрел на сторожа и спросил:

— Войтановский, а свинья у вас случайно не пропала?

— Свинья? — заинтересовался сторож. — Точно. Вчера кабанчик на ночь не вернулся. Такой небольшой, черный.

— И не вернется! — покивал головой Юзик. — Никогда.

Войтановский не хотел верить. Только когда спустились в подвал, где со вчерашнего дня лежал забитый кабанчик, начал ломать руки. — Законтрактованный был. Как же так?

Юзик объяснил: — По пьянке приняли свинью за вепря. У пьяных всё случается, что вы думаете?

— Как же так, как же так? — повторял сторож. — Даже не выпотрошили как следует. Кто мне за него заплатит?

— Страховка, — сказал шофер. — Сообщите только, что утонул. Мы вам засвидетельствуем.

Они вышли из погреба на солнце. Войтановский потерял хорошее настроение. Уже не смеялся над Чесей, когда вернулся на террасу. Уселся на каменном барьере, глядел, как уборщица на короточках мыла пол, и повторял: — Как же так, ну как же так, люди!

— И что, Баська, — допытывался Ренек. — И что?

— Ничего, Реня, — говорила девушка. — Никто меня пальцем не тронул. Только Зоська с этим магистром пошла. А теперь говорить не хочет. Но я уж знаю. По глазам вижу!

Блеснула первая звезда, и Ренек крепче обнял Баську. Они еще видели, как бурьян у каменных надгробий колышется на ветру, и слышали шум в кронах тополей. Внизу светились огни города. Потом они опустились на землю между плитами. Быстро темнело.

VIII. Пан Янек, что с вами творится?

Они сидели на первом этаже, в кабинете майора Попеляка. Сквозь приоткрытую дверь на террасу Грошек видел белые анютины глазки в палисаднике. Были там еще нарциссы, покачивавшиеся от налетавшего теплого ветра. Жена майора любила цветы. Квартира их была на втором этаже, над КПЗ.

Допрос производил поручик Гонтарский. Низкий брюнет с серебряным зубом в верхней челюсти. когда он двигал головой, стекла очков сверкали.

— Мы, Грошек, всё знаем, — говорил он. — Вам нечего скрывать. Вы достаточно обнажили свое истинное лицо, выложили

карты на стол. Признайтесь лучше сразу: кто вам за это заплатил и какую сумму?

Старик пожал плечами. Сначала он протестовал, пытался объяснить.

— Какие деньги. Гроша еще не заплатили и, верно, не заплатят. Если б знал, за сто тысяч не взялся бы за такую работу.

Он говорил, что не было брусев, а доски слабые — пятого класса, горбыли. — Спросите заведующего Рыбачинского, какой был материал. Впереди поставил козлы, чтобы крепче было. Если их украли, кто виноват? — Он ссылался на председателя Туроня: — Сам приходил просить. Я и не хотел заканчивать эту трибуну.

Гонтарский не реагировал. В конце концов столяр замолк, не говорил больше ни слова. Потел и утирал лоб белым платком. Поручик твердил свое:

— Нам всё ясно, Грошек. Вы взяли деньги и отлично выполнили вражескую работу. Издевательство над всенародным праздником!

Старик глядел на анютины глазки.

— Мы всё про вас знаем, Грошек, — продолжал Гонтарский. — И то, что вы украдкой посадили пять абрикосовых деревьев на участке, предназначенном под общественную уборную. И то, что вы написали жалобу в высшие инстанции на инженера Тарговского из исполкома. И то, что вы нелегально купили два кубометра досок с милковицкой лесопилки. И даже то, что внука не хотите отдать в семинарию, хотя жена требует. — Тут поручик Гонтарский улыбнулся и прибавил: — Правильно, правильно, Грошек, не те времена.

Старик смотрел в окно за спиной поручика. Он видел небо над палисадником, над цветами, выращенными женой майора. Не говорил ни слова. Гонтарский кивал головой:

— Вы попались на удочку, Грошек! На вражескую удочку!

Он встал и придвинул к письменному столу маленький столик из угла. Там лежала приготовленная самописка и несколько листов бумаги.

— Пишите, Грошек, пишите, — сказал он.

Столяр не понял: — Что? Что я должен делать?

Поручик вдруг взорвался, ударил ладонью по столу: — Вы прекрасно знаете, что должны делать! Пишите! Не притворяйтесь! — И заслонился газетой.

Старик чуть-чуть подумал, потом написал крупными каракулями: «Настоящим заявляю, что я невиновен. Доски, которые мне были доставлены, были ничего не стоящие. Просил третий сорт, а получил пятый, и то одни горбыли. Заведующий Рыбачинский не доставил сверх этого брусев, а вышеназванных досок только два кубика, когда я просил три. И вообще не знаю, в чем меня тут обвиняют или чем угрожают. Если донос написала некая Домарадзкая Станислава, то вы поверили женщине лживой и злой, у которой на

меня личная обида. Являясь свободным человеком, я протестую...»

Дальше уже не мог писать. Рука его слишком тряслась, и буквы совсем искривились. Последнюю фразу он писал совсем медленно.

— Пан поручик, — сказал он, — не могу писать. Отвык.

Гонтарский взял лист, прочитал, скривился и пошел к майору Попеляку. Несколько минут его не было. Грошек сидел один против пустого окна. Глубоко дышал. Смотрел на цветы в палисаднике.

Гонтарский вернулся с майором. Майор Попеляк — высокий, крепкий мужчина (даже в летнюю жару ходил в кожаном пальто) — вошел в кабинет улыбаясь. Говорили, что он человек порядочный — таково было общее мнение. Не любил хулиганов, это правда, всех этих длинноволосых хиппи.

— Лопату им, на шахту их! — повторял он часто. — В каменоломнях запереть!

В этом они полностью сходились с председателем охотничьего кружка Шелёнгом. Сам майор тоже был пылким охотником. Часто видели, как его газик ехал серпантином над озером в сторону пустоши в горах (эти отдаленные места были резервированы для майора и товарищей из воеводства). Говорили, что любит иногда пострелять и что эта привычка осталась у него с войны, с партизанских времен.

Люди майора уважали. На улице с ним часто здоровались незнакомые. Майор — в кожаном плаще, высоких офицерских сапогах — прикладывал два пальца к козырьку. Рассказывали, что и выпить не дурак: — Свой парень, — говорили, — настоящий мужчина от стакана не бежит.

Всем известна история с неким Межеевским, который пригласил майора на свадьбу дочери (она выходила за капрала Смуклу из нашей комендатуры). Межеевский гнал самогон и под вечер, когда все уже запьянели, выставил его на столы. Думал, что Попеляк не заметит, но майор сразу разобрался. Подмигнул Межеевскому и погрозил пальцем.

— И что? — говорили люди. — И ничего. Свой в доску. Человека не обидел.

У майора было хобби, о котором все знали: радиофикация. Это он раздобыл «Нису» с громкоговорителем. И он же выступил с проектом установить на площадях и улицах репродукторы, против чего так отчаянно протестовал председатель Туронь. Об этом последнее время много говорили.

Сейчас он, улыбаясь, подал старику руку: — Пан Янек, что это с вами творится? Несколько слов для нас не хотите написать?

Грошек встал. Колени его дрожали.

— Я невиновен, пан майор, — сказал он.

Попеляк придвинул стул к маленькому столику, уселся поудобней. — Садитесь-ка, пан Янек, — говорил он. — Сигаретку? — Вынул пачку из кармана.

Грошек отказался. — Некурящий я.

Майор доброжелательно улыбнулся. Взял сигарету, Гонтарский подскочил подать огня от зажигалки. Попеляк затянулся.

— Как там рыбки, пане Ян? — спросил он.

Грошек думал, что майор шутит. Ответил неопределенно: — Рыбки? Ну да, плавают.

— У меня ведь тоже аквариум, а как же, пятидесятилитровый. Грелку немецкую купил позавчера. Двадцать пять ампер. Слабоватая.

Старик оживился. — Немецкую?

Несколько минут они разговаривали о рыбках. Попеляк советовался, как лучше их кормить: утром и вечером или только утром. Столяр словно забыл, чего он тут сидит. Объяснял майору, сколько надо сыпать дафний.

— Две щепотки, пан майор. Не больше.

Вдруг майор преобразился. Посмотрел на Грошека, будто только что его заметил. Улыбка сошла с лица.

— Гражданин Грошек, — сказал он другим тоном, — над вами тяготеет крайне серьезное обвинение. Своими умышленными действиями вы нарушили государственный праздник. Вы поддались подсажке враждебных элементов, которые у нас, к сожалению, еще имеются.

Старик смотрел растерянno. Может, искал той улыбки, которая исчезла с круглого лица Попеляка, как ветром сдуло?

— Пан майор, — сказал он, — пан майор... — И снова у него задрожали руки.

Под окном, закинув ногу на ногу, сидел поручик Гонтарский. — Вы попались на удочку, Грошек, — добавил он. И сверкнул серебряным зубом.

В полдень Грошкова молилась в костеле. В этот час там было пусто — две старые, вроде нее, женщины в черных платках склонились на ступенях алтаря. Она видела вокруг цветные пятна сквозящего сквозь витражи солнца. Запах старого дерева и каменного пола.

— Господи Боже, — молилась Грошкова. — Ты знаешь, что он невинен. Ведь не нарочно он это сделал, даже досок порядочных ему не дали, да и брусев. Как он мог делать, из чего? Господи Боже, Ты всё слышишь и видишь. Помоги этому старому человеку, он правда не хотел, даже в голове у него такое не мелькало! Ему что и надо: столярка, рыбки, огород, да эта уборная, против которой протестует, чтобы нам под носом не поставили, в чем тоже помоги ему, аминь!

Мушина позвонил майору с почты. Люди слышали, как он говорил: — Майор, дорогой, не перебор ли с этим Грошеком?

Майор, видно, спросил, кто говорит.

— Редактор Мушина, — ответил он. — Ясно же, что он не хотел этого сделать, это же старый, больной человек. Показательный процесс хотите устроить? — Мушина засмеялся в трубку, а потом смеясь поглядел на людей в очередях к окошкам. Никто, однако, не улыбнулся.

Майор, наверно, говорил о враждебных элементах и о бдительности. Например: — Редактор Мушина, я в ваши дела не вмешиваюсь, вы моих не трогайте. Вы хорошо знаете, что есть еще у нас враждебные элементы, которые хотели бы сеять смуту и дезорганизовывать нашу жизнь. А что, если названный вами гражданин Грошек снюхался с такими элементами? Мы должны быть бдительны, редактор Мушина! Мне странно, что вы об этом забываете!

Мушина (продолжая смеяться): — Товарищ майор, не поучайте меня по поводу бдительности и враждебных элементов. Я уж, наверно, достаточно бдителен. Речь идет о старом человеке и о его здоровье. Он же не хотел эту трибуну строить. Говорил об этом прямо самому председателю, есть масса свидетелей. В чем вы его обвиняете? В саботаже? Вы же ему не дали даже приличных досок. Работники отдела коммунального хозяйства водили его за нос до последней минуты. Я знаю факты, товарищ Попеляк! Речь идет о том, что нельзя портить жизнь человеку, не имея на то оснований. Я с этим вопросом обращусь к полковнику Галочке в воеводскую комендатуру, если вы не хотите разговаривать!

Эту последнюю фразу Мушина сказал очень громко, уже без улыбки, и тут же повесил трубку. Он вышел с почты энергичной походкой. Раскачавшиеся от сильного удара двери не сразу остановились. Люди в очередях к окошкам молчали.

Через час Грошек возвращался домой. Мясник Рыбарчик видел, как он шел, слегка сгорбившись, подволакивая ногами, в своем черном праздничном костюме, который словно слегка измялся. Не отошелся, когда Рыбарчик крикнул ему:

— Эй, пан Грошек, уже вас отпустили?

— Дома, — рассказывала Грошкова, — спросил, кормлены ли рыбки, и рассердился, что нет. Даже пиджака не снял, полчаса, наверно, простоял у аквариума. Такой седой бородой оброс...

Грошкова плакала.

— Видишь, видишь, Янчик! Всё моя молитва. Безбожник ты! — сказала. — Господь Бог тебя наказал за неверие.

Вошел Петрусь, внук, обрадовался деду.

— Ой, дедушка! Это правда, что в глаза светят на допросе? — Грошек не отвечал. Взял лопату и без пиджака, в подтяжках, копался до вечера в саду. Ольчакова, соседка, только утром рассказала

Грошковой о разговоре Мушина с майором. Она была на почте и всё слышала.

— Какое счастье, какое счастье, — повторяла Грошкова. — Провидение послало этого человека. — Задумалась и прибавила: — А знаете, пани, что муж сказал ночью? Долго не мог уснуть. Говорит, как вышел из комендатуры, уже когда его отпустили, стал на минутку свежим воздухом вздохнуть. Пани дорогая, столько времени! И тут услышал колокол в костеле. На заутренню звонили. Он ведь не такой, чтоб поговорить о переживаниях, а тут... Этот свежий воздух, зелень, река внизу (вы же знаете, пани, — комендатура высоко стоит) и этот колокол, — стоял и слушал...

Мушина с почты пошел в «Гражданский». Просидел с Флягой до восьми. Потом вышли и остановились у пивного ларька. Оба твердо держались на ногах. Редактор икал, опираясь о доску, обитую жостью. Рыбачинский платил за пиво. Вокруг стояли мужчины с бутылками. Мушина слышал обрывки разговоров — кто-то смеялся, кто-то кашлял. Пивной запах висел в воздухе.

— Ты, Стась, бля, смотри мне!

— Пани, я глубоко извиняюсь! (голос Фляги).

— На Межеевского рассчитывать нечего.

— Ты, Стась, бля, смотри мне!

— Я ему два раза говорил и еще скажу...

— Господом Богом клянусь.

— Ты, Стась, бля, смотри мне!

— Пани, я глубоко извиняюсь.

Фляга принес две кружки. Они пили. Мушина икал, привалившись к доске, обитой жостью. Рыбачинский что-то говорил, смеялся. Как гудение пчел, окружал их гул разговоров.

Гармонист Юзек Домарадзкий купил по случаю аккордеон. Он прочитал объявление в газете — написал письмо (продавал кто-то в другом городе). Пришел ответ, Домарадзкий послал деньги и получил посылку с гармонью.

— Бывают же еще порядочные люди, — обрадовался он. С той минуты, как отправил почтовый перевод (две тысячи), он всё успокоился, получит ли гармонь. Это был старый, потрудившийся аккордеон Вельтмейстер. Потому он и стоил дешево.

Тут он как раз вышел на балкон (он жил с женой и ребенком у площади), чтобы попробовать инструмент. Когда начал играть, мужчины у ларька подняли головы.

— Юзь! — окликнул его знакомый тракторист, — сыграй что-нибудь жалостливое!

Фляга толкнул редактора: — А может попляшем, Анджейка? — потянул Мушину к балкону. — Оберек, оберек! — крикнул он. (Домарадзкий играл для тракториста танго.)

Мужчины с бутылками подошли ближе. Домарадзкий увидел Рыбачинского, поклонился и заиграл задорную мелодию. Мушина с заведующим принялись плясать. Сначала у них плохо получалось. Один тянул в одну сторону, другой в другую. Потом ухватили ритм. Мушина притопывал и приседал, аппарат, повешенный через плечо, подпрыгивал в такт.

Фляга покрикивал: — Ухха! Ухха!

— Играй, Юзь, играй! — подстегивал Домарадзкого тракторист.

Остальные смеялись и хлопали в ладоши. Ларешница вышла из ларька. На тротуарах останавливались люди посмотреть, как Юзек Домарадзкий играет на балконе, а на площади, под балконом, редактор Мушина и заведующий Рыбачинский, оба пьяные в стельку, пляшут обереха.

К Туроням он пришел немного позже — Мышка перепугалась, когда открыла дверь.

— Пан Анджей, муж спит. — Увидела, что Мушина не собирается уходить, и сказала: — Сейчас разбуду. Входите, входите.

— Генрик, он не в себе, — шепнула она мужу.

Туронь, злой, застегивая пуговицы на брюках, вышел из своей комнаты. Мушина сидел за круглым столом — нюхал нарциссы.

Он посмотрел на Генрика и сказал: — Слушай, с меня хватит! Вот те крест.

— Кофе выпьешь? — спросил Генрик. Пошел в кухню успокоить Мышку.

Когда он вернулся, Мушина раскачивался взад и вперед над столом. — Что ты за человек, Генек? Сердце-то у тебя хоть есть?

Генрик молчал недовольно. Малгося заглянула в комнату — он махнул рукой, чтобы ушла. Мушина нетвердыми руками снимал пиджак (повесил на спинку стула). На мятой рубашке виднелись пятна от пота.

— Генек, Генек, у тебя там ничего нет! — он пхнул председателя кулаком в грудь.

— Ты скоро жить будешь в забегаловке, — сказал Генрик.

— Людям надоедаешь, пожить не даешь. А я тебе говорю: пусть все живут как хочется! Насильно загоняешь в счастливую жизнь?

Туронь молчал. Он смотрел через окно на вечернее небо. Виднелась темная линия елок за рекой. На балконе сушились пеленки.

— Медза тебя донимает, Генек. Факт! — Мушина засмеялся. — А не какая-нибудь там идея!

Мышка вошла тихо с двумя стаканами кофе на маленьком подносе. Принесла сахарницу и тарелку с печеньем. Она смотрела на гостя перепуганно. Мушина, в рубашке, пропотевшей подмышками, развалился за столом.

— Водки в этом доме нет?

Мышка забрала поднос и вышла.

— Слушай, старик, — сказал Туронь (он прикрыл руку Мушины своей ладонью), — ты пьян. Веди себя прилично. За стеной ребенок спит.

Мушина резко отодвинул стакан — кофе плеснуло на белую ска-терть. Встал так, что стул упал. — Ты так со мной? Так? — Кача-ясь пошел к двери.

— Погоди, старик! — Туронь поднял с полу пиджак. В коридо-ре он набросил его Мушине на плечи. Они вместе вышли на лестни-цу.

— Камень и тот лучше, — сказал редактор. — И тот чувствует, когда его пнут, не то что ты!

— Тише, тише, — просил Генрик. — Тут люди живут.

— А я кто? — крикнул Мушина (он качался и хватался за пери-ла). Он поглядел на Туроня и во весь голос запел: — «Господа офицеры...»

Они спустились и пошли по улице к городу. Мышка выглянула на балкон. Было слышно, как Мушина продолжает петь:

— «Господа офицеры, желаю многих лет!»

Мушина спотыкался — если б не Генрик, упал бы. Они поверну-ли на дорожку между ржаных полей. Их фигуры растворялись в сумерках.

Через поля они пришли к деревянному домику. Ленка была в кухне, когда председатель Туронь — бледный, с каплями пота на лбу — постучал в дверь. Мушина, покачиваясь, стоял рядом.

— Пани Ленка, — сказал Генрик, — ради Бога: поговорите с этим человеком по душам!

У Ленки задрожали плечи. — Я знаю, я знаю. Каждый день од-но и то же. И возвращается так поздно.

Они вместе уложили пьяного в постель. Сняли ботинки. Ленка вышла, когда Туронь стаскивал с Мушины брюки. Запах водки, про-потевшего белья, немых ног заполнил комнатушку. Мушина уже спал.

— Бедняга, — сказал Генрик, вернувшись. В ванной долго мыл руки. Разговаривал с женой через приоткрытую дверь.

— Я и думать об этом не хочу, — сказала Мышка. — Прямо думать не хочу!

И пошла кормить младенца.

(Продолжение следует)

СТИХИ

Наум К о р ж а в и н

* * *

Бог за измену отнял душу,
Глаза покрылись мутным льдом.
В живых осталась только туша,
И вот — нависла над листом.

Точит, всей тяжестью огромной,
Свою понять пытаюсь тьму.
И что-то помнит... Что-то помнит...
А что — не вспомнит... Ни к чему.

30 сент. 1976

Что будет — будет... Мутен взгляд.
Всё мельтешит, все мельтешат —
Жизнь под наркозом быта.
«Сотри случайные черты»!..
Но черт как раз не видишь ты:
Фокусировка сбита.

Всё мельтешит, в глазах рябит.
Звучат слова, а смысл — забыт.
Базар! — беседа ль, спор ли?
Гудит и пляшет всё вокруг.
Сплошной бедлам!.. И только вдруг
Лёд чьих-то рук на горле.

Не так уж страшен этот лёд.
Возмут в научный оборот, —
Рванусь, и хрустнут кости.
Но тут же мысль: «Неужто впрямь
Из пушки бить по воробьям,
Терять свой облик в злости?»

Но если злость, как в горле кость,
Пушай хоть так, но выйдет злость,
Открыв дорогу боли.
Ведь всё же как-то надо жить.
Ведь могут вправду задушить
Всё: здравый смысл и волю.

Так что ж, поэт, — вставай! гряди!
На — курам насмех — Пи-Эйч-Ди,
Шифровщиков стихии...
На глубину бессвязных строк,
На мутных гениев поток,
Текущий из России.

О, этот знак глухой беды. —
Подпольных гениев ряды,
Чье знамя секс и тропы.
Они цветут в парах свобод.
Им не мешает больше гнет
Твердить зады Европы.

Как мало вывезли они
Из той страны, где в наши дни
Все судьбы мира скрыты.
А так шумят! так мельтешат!..
И злюсь, хоть сам себе не рад:
Фокусировка сбита.

А впрочем — что ж? на что пенять?..
Я век не вправе догонять,
Пустым не сдамся фразам.

Мне как богатство в дар дана
Твоя судьба, моя страна,
Твой поздний горький разум.

Тоска? — Пускай!.. Но как всегда
Твоя со мною высота —
С нее смотреть на хаос.
И я с высот такой тоски
Здесь ни к кому в ученики
Сходить не собираюсь.

Как будто чёрт мне горло сжал.
Я не стыжусь, что я сбежал —
Куда мне было деться?
Но эта злая мельтешня,
Но шабаш ведьм средь бела дня —
Мне словно месть за бегство.

И дома — боль, и всюду — боль.
Я всё равно всегда с тобой,
Меня ты не обронишь.
И в речке — рябь, и в море — рябь.
Ты где-то тонешь, как корабль.
Но, может, — не утонешь.

Гудит и пляшет всё вокруг
И смысл слова теряют вдруг,
И глохнет крик — в конверте.
И всё смешно, чем жил досель,
И в даль ведет гнилой тоннель,
И светлый выход — в смерти.

НОСТАЛЬГИЯ

Я вспомнил Гагру... Дни без цели...
Всех вас... Себя... И — пусть смешно —
Как в зной у моря мы сидели,
А в море плавало г--но.

Взгляни ль поближе, в даль взглядись ли —
Плыло!.. В нем было всё вокруг —
Не в том, что в переносном смысле,
А в том, что вырвалось из труб.

На фоне пальм, качаясь вяло
На спинках волн в полдневный час
Плыло!.. И нагло утверждало
Всё то, что в жизни злило нас.

И мы ругались и острили,
И в общем знали, что нас ждет.
Мне до сих пор, как птице крылья,
Задор и едкость тех острот.

Те стыд и дружба, смех и горе...
С тех пор я видел восемь стран.
И вот опять брожу у моря,
И это море — океан.

Он — чист... Вокруг пирует праздник...
Но что мне праздники сейчас.
Здесь безусловно нет той грязи,
Но безусловно нет и вас.

Нет вас... Со всем, на чем сошлись мы:
Тех злых острот и злых помех —
Былого смысла нашей жизни,
Быть может, важного для всех.

...Бежит волна: влечет другую...
А я один... И как во сне,
Об этом дне, о вас тоскую...
Но не тоскую — о г-не.

КЕЙП КОД

Живем под небом на земле.
Живем при море и в тепле.
Почти не зная о вестях:
В них смысла нет, раз мы в гостях.

Куда вернемся? В никуда.
Живи! — Здесь воздух и вода,
И пляж, и чистый небосвод...
Забвенье времени... Кейп Код.

Здесь нужно думать не о том,
Что чуждый мир идет вверх дном,
Что он — могильщик моего...
И отдыхать — ни для чего.

Я очень немного знал о Викторе Некипелове, когда в руки мне попала, изданная, разумеется, Самиздатом, книга его стихов.

Должен признаться, что начал я ее читать с некоторой прохладцей (еще один поэт!), но прочитал, не отрываясь, до самой последней страницы, до самой последней строки. И теперь, мне кажется, я знаю о Некипелове всё — я знаю, кто он и о чем он думает, я знаю, как зовут женщину, которую он любит, и как зовут его детей — сына и дочь, а самое главное, я знаю, что он настоящий, прекрасный поэт.

Потому что поэзия для Некипелова не забава, не времяпрепровождение, а дело всей его жизни, способ противостоять насилию, лжи, бедам и в самых жесточайших условиях — «психушки», тюрьмы, лагеря — оставаться человеком.

Возможно, что некоторым любителям «высокой поэзии» стихи Некипелова могут показаться слегка старомодно-традиционными, но — да здравствует такая старомодность и традиционность, да здравствует слово, сказанное не для развлечения, а для того, чтобы пробиться к людям и стать делом!

Александр Галич

* * *

Тракт поэзии русской — навеки
Окаянный, ухабистый тракт,
Где как скорбные, серые вехи, —
Полосатые будки стоят.
То снегами его заметает,
То жарю нещадно палит...

Все считает кибитки, считает,
Муслия палец, солдат-инвалид.
Сколько здесь пролетело их, грешных,
От радищевских первых саней!
Промелькнуло — то конных, то пеших
Дорогих, незабвенных теней!
Чу! Опять застонали колеса.
Из томительной, призрачной мглы
Выступают виденьем белесым,
Головами качая, волны.
Два в истлевших мундирах скелета
Заунывно кричат: «Цоб-цобэ!»
То по тракту везут Грибоеда
На скрипучей черкесской арбе...
Так весь день
 по разбитой дороге,
Мимо будки, сквозь зной иль снежок, —
То скрипят похоронные дроги,
То грохочет опальный возок.
И опять, сердобольно сложивши
Три обкуренных пальца в щепоть,
Торопливо их крестит служивый
И бормочет: «Прости вас Господь!»

1968

ДЮНЫ

Мы поедем с тобой,
Мы ведь снова свободны и юны,
На балтийский прибой,
На певучие, белые дюны.

Мы, как прежде, горды,
Мы вернулись к потерянной вере.

Дюны спят у воды,
Как усталые сытые звери.

Погляди поскорей:
Вот медведь, вот жираф, вот волчица!
Хорошо средь зверей
Добротой их звериной лечиться.

Да прославится Бог,
Примиливший песка и акулу.
Шелковистый клубок —
Выбирай поцветистее шкуру.

Мы не тронем их сон,
Пробежим по околице пляжа.
Это наш бастион,
Это наша нагорная стража.

Как ты странно поешь!
Это песня какого народа?
Будто нервная дрожь...
Это нас опьяняет свобода.

Темной песне твоей
Вторят сосен золотые струны.
Четче контур ветвей —
За спиной просыпаются дюны.

Выгибая хребты,
Разекая горячие пасти, —
Звери строят ряды,
Подчиняясь неведомой власти.

Слышен крик лебедей,
Он звучит в вышине троекратно.
Мы ушли от людей
И не ищем дороги обратно.

Как завидна вина,
Как легка и ничтожна утрата.
Наше солнце — луна.
Наше утро — горнило заката.

Мы нашли свой ковчег
И примкнули к прекрасному стану.
Начинается бег,
Магнетический бег к океану.

VIII. 1973
Владимирская тюрьма №2

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Дочке Михайлинке

Ночь плывет над миром, ночь плывет над морем,
Над слезой и счастьем, над мечтой и горем.

Тишина какая — давит перепонки,
Только волны мерно плещут в переборки.
Ночь качает наши спаренные койки —
Здесь их называют странным словом «шконки».

«Шконки» — вроде «джонки», «шконки» — вроде
«шлюпки»,
Перед мглой и Богом — хрупкие скорлупки.

Но железным клином, бронебойным цугом,
Мы выходим в море, скованы друг с другом.
Этим и прекрасны, этим и едины,
Не страшны нам мели, не страшны нам льдины.
Лица наших кормчих четки как медали.
Пусть гремят фанфары — мы штурмуем дали.

Верны капитану, что ведет нас к раю.
Ни забот, ни горя...

— Баю, дочка, баю!

Ночь плывет над миром, ночь плывет над морем,
Над слезой и счастьем, над мечтой и горем.
Над кудрявым летом и хромой зимою,
Над твоей кроваткой и моей тюрьмою.
Где ты в этом мраке, баюшки-баю,
Робко-робко правишь лодочку свою?

А вокруг шныряют, до поживы падки,
Ладно бы акулы, ладно бы касатки, —
Лоцманы да боцманы, да разные мессии,
Много их, горластых, бродит по России.

Не поддайся, дочка, ни за что на свете!
Не устань, не сбейся, оборви их сети.
Не бойся мрака, не бойся града,
Обмини дороги, по которым — стадо.
Через все преграды, через все невзгоды
Проведи бесстрашно лодочку свободы.

Ночь плывет над миром, ночь плывет над морем,
Над слезой и счастьем, над мечтой и горем.
Ночью нету слабых, ночью нету сильных,
Ночь не различает: красных, белых, синих...

Тишина какая! Ни конца, ни краю.
Мир тебе дорогой! Баю, дочка, баю!

XI. 1973
Владимирская тюрьма №1

БАЛЛАДА О ПЕРВОМ ОБЫСКЕ

*«Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой?
Что делать нам с бессмертными стихами?»*

Н. Гумилев

Я ожидал их так давно,
Что в час, когда пришли,
Мне стало так же всё равно,
Как лодке на мели.

Я оглядел их сверху вниз —
Процессию теней:
На козьих ножках — тельца крыс
И хоботки свиней.

Они рванулись, как на мед,
На давний мой дневник...
Они оставили помет
На переплетах книг...

Какой-то выхватив альбом,
Захрюкали в углу...
А я стоял, прижавшись лбом
К прохладному стеклу.

А я глядел на дальний бор,
На три моих сосны.
Я знал, что всё иное — вздор,
Непрошенные сны.

Там, отрицая этот сброд,
Лаская и даря, —
Вставала из раздольных вод
Пурпурная заря.

И в лике пенных облаков,
Прекрасны и тихи,
Текли, не ведая оков,
Бессмертные стихи.

Не зная страхов и утрат,
Был легок путь в зенит...
Я знал, что этот высший лад
Никто не осквернит.

И оглянувшись на зверье,
На разоренный стол,
Я, как во сне, сказал:
«— Мое.
Давайте протокол».

13 июля 1972

НЕКИПЕЛОВ Виктор Александрович — род. в 1928, окончил фармацевтический институт и Литературный институт им. Горького, печатал стихи и переводы в советской периодике, выпустил сборник стихов. В 1972 поселился в г. Камешково Владимирской обл., где и сейчас живет, работал зав. аптекой. Здесь он в 1973 был арестован и за распространение самиздата («Хроника» и его собственные стихи) был приговорен к двум годам лагеря. Освобожден в 1975.

МАМА МОЯ, МАМА...

Лирико-публицистическое исследование

(Продолжение)

В. Ф. Дурдуковский получил по приговору 8 лет, но вскорости оказался на воле — вероятно, по старости, по болезни, а также за ту неоценимую услугу, которую он оказал суду и следствию. Один из моих «свидетелей эпохи» встречал его в Киеве после освобождения.

— Он никуда не выходил из дому. А когда приходил кто к нему, перед каждым гостем бил земной поклон, произнося при этом: «Простите меня, люди добрые, простите, если сможете!»

В 37-м его взяли опять. Уже на тот свет.

Другой мой «свидетель эпохи» застал в живых однодельца Дурдуковского Г. К. Голоскевича*. И Голоскевич ему говорил, что Дурдуковского во время следствия и суда судьи и подсудимые прозвали «Нестором-летописцем», поскольку он все время писал: сидел в камере и писал, писал, писал. Его допрашивал следователь Брук — страшный, по-видимому, тип. Ему, Бруку, вспоминал Голоскевич, принадлежали слова:

Начало см. «Континент» № 11.

* Григорий Константинович Голоскевич, редактор института ВУАН, впал на следствии и суде в полную истерическую расслабленность, лгал на всех и на себя безудержно, а в минуты просветления рыдал, каялся и клялся, как только отбудет наказание, тотчас покончит с собой. Ему дали 5 лет. Он сдержал слово: пошел в ссылку после лагеря, огляделся, вдохнул вольного воздуха (если воздух кануна 37-го можно назвать вольным) и повесился. Кое-что успел рассказать друзьям, часть рассказанного дошла до меня.

— Эх, надо бы всю Украину перестрелять, да, к сожалению, — нельзя. Но вас, украинских интеллигентов, мы всех уничтожим!

(Брук был еврей. Как и все (или почти все) следователи по делу СБУ — Южин, Грозный, Правдин, Броневой, Гольденберг — были евреи. Не понятно? Чего уж тут: именно евреям надо было поручить следствие по недобитым петлюровцам, по погромщикам. Ну, а о дальнейшей судьбе этих южиных — грозных сказать Тебе, читатель? Скажу. К 37-му их уже в живых не числилось. Последним отбыл туда Броневой. С ним в 37-м сидел в одной камере отец моего хорошего приятеля. Он (отец приятеля, ныне уже покойный) отбыл свой срок, вернулся и рассказал сыну, что Броневых однажды оказалось в камере два: к киевскому брату привезли брата московского в гости на очную ставку, тоже следователя, и довели их до того, что один из братьев — не установить уж теперь, какой, — спятил и по ночам выл на луну — вернее, на запечатанное намордником окно.)

Так вот, Дурдуковский тогда же, во время суда, жаловался Голоскевичу, что он не может видеть Брука, не в состоянии говорить с ним, тот его гипнотизирует и вгоняет в животный ужас, потому-то он, чтобы отдалить очередную встречу, пишет, пишет все свои показания, стараясь наперед предугадать, о чем еще может спросить Брук, чем еще может заинтересоваться...

В «Вістях» публикуются фотографии: суд и защита в полном составе, подсудимые — загородка с конвойными по углам, общественные и государственные обвинители, общий вид сцены оперного театра с портретом Ильича на заднике. Помещены и ораторы на трибуне, обвинители, адвокаты, подсудимые: фото или карандашный рисунок какого-нибудь Евг. Кацмана (помните, который обиделся за портретик «Маяковский в гробу»?) склиширован и перенесен на газетную полосу. Не все подсудимые удостоились, но главные красуются в газете. Среди них и Дурдуковский. Лысый, старый, толстые усы вниз, очень на Шевченка

похож. Весь какой-то робкий, потерянный — духом никак на бунтаря-Кобзаря не схож... Простите меня, люди добрые, простите, если сможете! Может быть, моя любовь к детям была ошибкой и привела кого-то из них на скамью подсудимых...

Возвращаюсь к цитатам, выписанным приятелем из стенографического отчета о процессе СВУ.

2-й кусок текста, где упомянута мать. Тоже допрос Павлушкова Николая.

«Тов. ЛЮБЧЕНКО: — Кто создал вашу организацию — ТЕЗ?

ПАВЛУШКОВ: — Это был школьный выпуск в полном составе.

Тов. ЛЮБЧЕНКО: — А во главе были вы?

ПАВЛУШКОВ: — Малашук, воспитанник детского дома, Мазуренко — воспитанница детского дома, я и Наталка Собко.

Тов. ЛЮБЧЕНКО: — Вы не знаете, где Наталка Собко?

ПАВЛУШКОВ: — Я не знаю. Знаю, что она вызвана сюда как свидетель.

Тов. ЛЮБЧЕНКО: — А где Малашук?

ПАВЛУШКОВ: — Он также был вызван как свидетель. Малашук — комсомолец, а Собко — я не знаю» (стр. 479 I тома отчета).

3-й кусок текста. Павлушкова допрашивает адвокат Гродзинский.

«ПАВЛУШКОВ: — Из товарищей, которые постоянно работали, могу назвать Димнича, Матушевского и реже Мария Скрипник, Виктория Мазуренко, Малашук и Собко.

ГРОДЗИНСКИЙ: — А Малашук, Виктория Мазуренко и Собко были правее, чем вы, или нет?

ПАВЛУШКОВ: — Они были левее» (стр. 505).

И *4-й кусок* — из допроса свидетеля Малашука.

«ПРОКУРОР: — Были ли в этом кружке ученики, более близкие к Гермайзе?

МАЛАШУК: — Мазуренко, Скрипник, Собко были ближе» (стр. 533).

Вот и всё из отчета о маме.

Выходит, она вызывалась в качестве свидетеля.

Но была ли? Вызвано — 10, прибыло — 9. Она? О ее допросе ни в газетах, ни в отчете не упомянуто. Помещен допрос Малашука, упоминаются показания на предварительном следствии свидетеля Бобыря Д. — а о матери нет. Между тем старая мамина подруга считает, что мама ходила на процесс и выступала как свидетель: она, подруга, помнит даже, как мама с ней советовалась, какое платье надеть.

— Почему это тебя интересует? — удивлялась подруга мамы моим настойчивым расспросам.

Я объяснял, что хочу понять и взвесить, какую трагическую тяжесть должна была носить мама в душе своей все годы до самой своей преждевременной смерти в 36 лет, если ей в самом деле пришлось свидетельствовать против друзей своей юности — ни в чем не повинных, как она отлично о том знала. Что, может, потому и ушла она так рано из жизни, сломилась под тяжестью непосильного груза, не смог больной мозг противоборствовать раковым клещам. И я должен знать о том! О словах, сказанных дядюшкой, я, естественно, подруге маминой не заикался.

— Да не было в этом никакой трагедии, уверяю тебя! — говорилось мне. — Пошла она, сказала, что следовало — и тут же забыла!

Ой нет, не забыла.

И как вообще минула ее чаша сия? Член руководящей группы ТЕЗа, названного прокуратурой полуправительственной организацией, превратившейся вскоре в фашистскую контрреволюционную. Дочь царского офицера. Помиловали? В газетах я тоже нашел ее имя:

«ТЕЗ, как известно, распался, при этом Собко и Малашук вступили в комсомол, а Павлушков и другие пошли в СУМ... Выходит, что когда Собко и Малашук сменили нездоровую атмосферу шевченковской школы и попали в окружение здоровой молодежи, они сразу же стали совсем иными, начали работать вместе с комсомолом».

За это мать помиловали? В комсомоле она не была, это я точно знаю — даже если бы очень она хотела и старалась, не могли ее в те годы принять, офицерскую дочь. Или за то помиловали, что написала в ЦК комсомола? Донесла? А может, потому не выпущен был перед зал суда 10-й свидетель, потому приберегли его, что надеялись еще использовать?

Я уже упоминал, что в 1937 году маму объявили врагом народа и каким-то чудом необъяснимым она уцелела. По совершенно непонятной случайности сохранилась у меня газетка 37-го года, в которой напечатана статья о маме. Вот она у меня в руках. Газета «Большевик Южной», 22 сентября 1937 года — имеет-ся в виду Южная железная дорога.

ШКОЛОЙ РУКОВОДЯТ ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛЕПЦЫ

Два года в 46 железнодорожной школе (поселок «Южный») преподавала украинский язык и литературу националистка Снегирева-Собко. В прошлом она была тесно связана с участниками контрреволюционной организации СВУ, отчим ее за вражеские действия сослан*.

Работая в школе, Снегирева дискредитировала советских украинских писателей. Кроме того, она приглашала учащихся на дом и там проводила «воспитательную работу». Она всячески старалась, чтобы учащиеся не увлекались историей и русским языком, а для этого подрывала авторитет преподавателей этих дисциплин.

И лишь в конце учебного года, когда ей не удалось оклеветать лучшего педагога школы, когда на нее обрушился педагогический коллектив, она, чтобы избежать окончательного разоблачения, решила уйти из школы...

Руководители школы, вместо того, чтобы серьезно заняться вопросом о Снегиревой, легкомысленно отпустили ее «по собственному желанию». Они не пригляделись к Снегиревой, к ее делам, не сделали из этого большевистских выводов.

Между тем Снегирева, проживающая тут же, около школы, продолжает свою «деятельность». До сих пор ее квартиру посещают

* О мамином отчине А. С. Степаненко я еще буду вспоминать.

ученики, а ее муж, выдающий себя за члена союза писателей, разлагает учеников.

И это ничуть не беспокоит ни директора Кривогуз, ни комсорга Микильченко, ни парторга поселка Скибу, который работает в той же школе.

В начале учебного года некоторые ученики 10 класса, прибранные к рукам Снегиревой, собрались навестить старую «учительницу». Кривогуз, узнав об этом, молчала. Один ученик, обработанный Снегиревой, дважды выступал на митингах с контрреволюционными толкованиями, а теперь всячески восхваляет ее среди учеников.

Руководители школы ведут себя, как гнилые либералы, простофили. Они не приглядываются к тому, кто прячется за спиной учеников, не видят, что школьная библиотека засорена вредной литературой.

Доротдел школ выступает в роли наблюдателя. Имея сигналы о Снегиревой, никто из доротдела сюда не заглянул. Руководители доротдела до сих пор не просмотрели выводов аттестационной комиссии, в которой были националисты. Снегиреву эта комиссия восхваляет, как образцового педагога, и представляет к аттестации учителя средней школы.

Это сигнализирует, что с аттестациями неблагополучно, их надо немедленно пересмотреть, сделав соответствующие выводы.

Юр. Донець.

Прячу газетенку назад на самое дно архивной папки — лежи, ты еще понадобится, как вот понадобится уже.

Масса жуткеньких воспоминаний пронеслась, пока перепечатывал статейку. Но не они сейчас важны, им иное место и иное время. Статейка эта, доносец, в прессе опубликованный, равносителен был смертному приговору. Но — чудо случилось. Через месяц в той же «Большевике Южной» на последней странице внизу появились четыре строчки маленьким шрифтом о том, что обвинения, выдвинутые против Снегиревой, не подтвердились. Не стану описывать, как бежал полтора километра от железнодорожной станции к дому, размахивая газетой, мой шестидесятилетний дед, как билась в истерике и лежала полумертвой мама — тому

иное место, иное время. Таких чудес в то время — ох, кому ни рассказывал, никто припомнить не мог. И все-таки — случилось. Чудо? Или... или помиловали, вспомнив прежние заслуги? Или еще раз приберегли — чтобы еще использовать?

Прости меня, мама... Прости меня, что так бесцеремонно и грубо препарирую память о Тебе... Прости меня, мама. Больно Тебе это. И мне больно. Прости.

На днях с одним из моих «свидетелей эпохи» произошел у меня такой разговор.

— Вы, Гелий Иванович, — сказал он мне, — плохо представляете себе те времена. Папа моей невесты, профессор, крупнейший ученый, проходил по так называемой 6-й категории, называлось «допущение с пресечением» — разрешали то есть ему работать, читать лекции, но строжайше контролировали. Читал он лекции в Институте красной профессуры. Он стоял у окна, читал, а слушатели из чистокровных пролетариев, партийные и советские бонзы, возлежали на диванах и слушали его, прерывая, когда им, хозяевам жизни, казалось, что он идеологически ошибается. Замечу, к слову, эти будущие «красные профессора» долго тоже в своем звании не протянули, в большинстве своем... А профессор в течение десяти лет... да нет, побольше, с 1929-го по самую войну, — каждую ночь клал возле кровати на столик запасную пачку папирос и пять рублей — туда разрешалось брать с собой только это, пачку папирос и не больше пяти рублей. Каждую ночь гудели на улице моторы и оставались где-то рядом, а может, и возле нашего подъезда, и каждую ночь шагали по лестницам...

— Но это же... так было в 37-м, мне казалось?

— В 37-м? Да нет, раньше это было, до 34-го, я студентом был, в 33-м я институт закончил. У нас в ИНО — институт народного образования назывался,

ежегодно ему меняли имя — преподаватели и профессура, особенно по историческим дисциплинам, сменялись каждые две недели. Приходит новый, читает свою первую лекцию и, естественно, ругает своего предшественника, который вот вчера исчез и — мы уже знаем — объявлен врагом народа. И мы этого нового слушаем — и ухмыляемся в кулак: протянешь ты-то хоть пару недель? Ровно две недели проходило — такой мне срок запомнился — исчезал, голубчик. Брала главу семьи — тут же ночью в другую машину жену, детей. Помните Любченка — Панаса Петровича Любченка, главу украинского правительства к 37-му году? Он превосходно знал державные порядки по опыту предыдущих годков, в 37-м, когда стрелялся, сперва жену и сына застрелил, а потом уже — себя, сперва близким свободу обеспечил, потом себе.

И студенты туда же катились. У нас в группе было четыре человека городских — мы у себя дома жили, а остальные — сельские, в общежитии. И один как-то ушел из комнаты, а штаны — запасные имел, чудак, — оставил висеть. Тем четверым — или троим, не помню, — поесть захотелось, голодное время было, они штаны его продали и чего-то там купили на базаре, поели. Тот вернулся — штанов нет. Рассердился, пошел и на всех донес. Один из них был такой примерный комсомолец — имя Сталина произносил, руки на молитву складывал и глаза закатывал, так тот за штаны свои донес: этот, мол, держал вот так перед собой портрет вождя и сказал — «вот азиатский сатрап!» Всех забрали. К выпускным экзаменам нас из всей группы четверо и осталось — почему-то как раз городские все уцелели. Заходим, сдаем экзамен, — «Следующий!» — а следующего нет.

Так с теми сельскими студентами было. Уходили они из голодного разрушенного села в город, в науку — и катились в мясорубку. А нас, городских, на село посылали — да, на продразверстку и просто работать,

как сейчас студентов посылают. И я ездил. Вот так, рядом, в двух шагах от меня те селяне умирали от голода. А мы — работать приехали. А что мы могли там наработать, сами пухлые, вот-вот подохнем?

Вы говорите — в 37-м. В 1934-м подрабатывал я тут под Киевом в санатории летом, писателей много там было. Бывало, уходит писатель на прогулку — и не возвращается, нет его. Никто особенно и не удивлялся, розыска не объявляли. Только до сих пор не пойму — что они там, за каждым кустом сидели и фотографии в руках держали — этого брать, а того не надо?

— Но потом-то хоть реабилитировали их, а этих...

— Реабilitировали? Многих реабилитировали. А некоторых и реабилитировали, извлекли посмертно из ямы — а потом и опять туда же. Вот Зерóв Николай Константинович, бывал у них, у папы невесты моей, в доме, милейший и очень несчастный человек, сын единственный и обожаемый у него пяти лет от менингита помер, с женой мучился, стерва попалась. Выдающейся культуры ученый, небывалая память, огромные знания — весь в науке, в поэзии, в истории, талантливейший литературовед, знал десяток языков, поэт. Забрали в 37-м, пропал. Потом реабилитировали, а сейчас опять запрещено вспоминать его имя.

— Как? Да ведь в 66-м вышло его избранное, солидный том с предисловием Максима Рыльского!

— То было — в 66-м, а сейчас у нас, простите, — 76-й. В академии недавно книжечка одна выходила, автор в ней сослался на Зерова, обнаружили стражи крамолы, когда полтиража уже отпечатали и разослали; так в остальных полтираже перепечатывали и вклеивали новую страничку, а ту — вырезали. Так и пошло: полтиража — с Зеровым, половина — без... Не-ет, не ищите кардинальных различий. Цифры — не те, массовости, слава Богу, нет, а в принципе — то же.

Но тогда была просто-таки разверстка цифровая,

задача стояла: вскрыть и ликвидировать как можно больше врагов. Нельзя было без врагов. Конечно, не было никакого СВУ, все это знали. Все знали, что любого из нас могут сегодня забрать, ни за что заберут. И Ефремов, и Никовский, и Иваница, — кстати, автор великолепного учебника, прекрасного учебника, пытался я достать, нужен он мне позарез — невозможно, всё погибло, — все они преданные науке ученые, с мировыми именами, известные, от политики далекие. Да, в подлинном смысле — мозг украинского народа. Уничтожение этого мозга немедленно сказалось на интеллектуальном и духовном процессе в стране, сказывается поныне и долго еще будет. Ведь на место этих голов с мозгами немедленно сели, извините, задницы и пошли командовать, вершить науку и культуру по своему образу и подобию.

— Но чего-то я все-таки до конца в толк не возьму — какой был смысл уничтожать, зачем эта цифровая разверстка?

— Зачем? Трудно это понять, множество поводов для подобных акций у тирании, у неустойчивой власти.

— Допустим, у власти — много поводов. Но почему они сами признавали себя виновными в том, чего не совершали? Зачем клеветали сами на себя? Ведь говорят, что в те годы, до 37-го, еще не били!

— Не били? Вы не представляете себя на их месте. А если неделю не дать поспать, всё таскать на допросы? За полчаса сна скажешь что угодно. А если пригрозят — признавайся, иначе расправимся с близкими?

— Да, понимаю, согласен. Но такую напраслину на себя взваливать!

— Я вам по этому поводу смешной случай расскажу. Крупный армянский ученый оказался с революции за рубежом, а потом запросился на родину. Его впустили и через годик подмели. И следствие тре-

бовало от него сознаться, что он — турецкий шпион. Так он взмолился: хорошо, говорит, признаю, что шпион — но переделайте ориентацию, пусть не турецкий! Любой — но не турецкий, не могу, говорит, признать себя турецким шпионом, поскольку я убежденный армянин и у нас, армян, с турками древняя историческая вражда! Как хотите — а не мог я стать турецким шпионом, пусть уж буду афганским, что ли. Следователь доложил по начальству — и разрешил ему признать себя афганским шпионом. Это он сам мне рассказывал, он до сих пор жив и благоденствует.

4. ВОЖДЬ И ЕГО АРМИЯ

Нет, рассказ «свидетеля эпохи» я привел не в качестве доказательства того, что процесс СВУ — липа. Как мы и договорились: доказываем только со ссылками. В рассказе же свидетели всё безымянно, потому воспримем его только как настроенческую характеристику той поры. И пусть отложатся где-то в уголочках памяти две фамилии:

Любченко и Зеров, —

мы с ними еще встретимся.

Итак, мы с Тобой, читатель, пришли на процесс в день его начала; потом, напомним Тебе, удивились, что газеты еще до суда пишут о подсудимых так, словно они уже признаны судом виновными: «обвиняемые сливаются в единую фигуру украинского воинствующего фашизма»; занялись мы проверкой правильности-ошибочности этого, а заодно подискутировали, можно ли обвинять на основании одних только личных признаний подсудимых, — и от заседания отошли. Давай же теперь опять вернемся в Харьковский оперный театр марта 1930 года*.

* Процесс СВУ шел в Харькове, хотя организация киевская и

Итак — в зале полно трудящихся. В ложе — весь в полном составе дипломатический корпус. За барьером — по углам стоят милиционеры — 45 подсудимых; а стульев почему-то 46, один лишний, мы еще встретимся с этим лишним стулом. Сидит пресса, вспыхивает магний фотокорреспондентов.

За столом на фоне портрета Ленина — государственные обвинители: Михайлик, Ахматов, Якимшин, Быструков;

общественные обвинители: П. П. Любченко, академик А. Н. Соколовский, писатель А. А. Слисаренко; председатель суда — Приходько, члены суда, среди них — Гаврила Одинец, председатель Укомнезама, Украинского комитета незаможников, т. е. бедняков — вспомним и эту фамилию — Одинец; Коробенко, старый рабочий, арсеналец;

защитники: Ратнер, Виленский, Пухтинский, Ривлин, Шац, Волкомирский (выразительная фамилия для адвоката) — всего четырнадцать.

Оглашается обвинительное заключение — то же самое, что публиковалось в газете «Вісті» с 27 февраля по 9 марта, длинное заключение, два дня читали.

Все подсудимые полностью согласны с обвинительным заключением и признают свою вину:

— Подсудимый Ефремов! Признаете себя виновным?

— Да, признаю.

— Подсудимый Чеховский, признаете себя виновным?

— Да, признаю.

— Подсудимый Дурдуковский, признаете себя виновным?

— Да, полностью признаю...

ее члены-подсудимые в основном киевляне. Харьков был тогда столицей Украины, столица переехала в Киев с 1934 года, и столь громкое дело должно было, естественно, разбираться в столице.

И 44 раза — «да, признаю». Только... только вдруг подсудимый Гр. Холодный вскакивает и выкрикивает:

— Обвинения не признаю! Дам объяснения! («Вісті», 13 марта).

«А на предварительном следствии полностью признал себя виновным», — издевается газета*.

— Обвинения не признаю! Дам объяснения!

Напрасно, не пролистывайте газетных полос. Не дал подсудимый Гр. Холодный объяснений. Почему? Неизвестно. Когда дошла суду очередь его допрашивать, ничего он уже объяснять не пытался и полностью обвинение признал, как делал это и на предварительном следствии. И публикуя его допрос, «Вісті» уже не упоминают о наприличной и непредвиденной выходке Холодного. Напрасно станем мы заглядывать в «Правду» с «Известиями» — там вообще заминка с Гр. Холодным опущена. И никто никогда ничего не узнает, потому что где-то в конце 50-х годов получили родственники Григория Григорьевича сообщение о том, что он в 1938 году расстрелян.

Суд допрашивал подсудимого Холодного 4 апреля. 12 марта крикнул он:

— Обвинения не признаю!

Что происходило с Григорием Григорьевичем Холодным, 43-х лет, научным сотрудником ВУАН, ди-

* По процессуальным порядкам во всем мире (и у нас, как ни странно тоже), обвиняемый на суде имеет право отказаться, отречься от собственных показаний, которые он дал и даже подписал на предварительном следствии. Гнилой, конечно, порядок. И суд тогда обязан с особым тщанием проверить, каким же образом, почему подписал он, обвиняемый, те свои предварительные показания: а не применяло ли к нему следствие *недозволенных мер* — вот что прежде всего выясняет суд в таких случаях. Подобный прецедент — большая мороза для следствия. Да и для суда тоже.

ректором Института научного украинского языка, в эти 22 дня — с 12 марта по 4 апреля — мы не знаем. Пауза. Белая (черная?) пауза. Заполни ее, читатель, как Тебе угодно...

Первым допрашивают главу организации СВУ С. Ефремова*.

«Вісті», М. Берлин:

«...фигура хуторянского политикана пирятинского масштаба...» (Пирятин — райцентр на Украине, вроде Хацапетовки. — Г. С.)

«... хуторянский гладиатор политической арены...»

«... пытался установить на Советской Украине «буржуазно-демократическую» диктатуру воинствующего фашизма...»

«Правда», Д. Заславский, статья «С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ, ВОЖДЬ»:

«В зале плохая акустика... А у Ефремова слабый голос. Его плохо слышно... доносятся только два слова:

— Себ то... то шо (по-русски — «то есть», «тому подобное»). — Г. С.).

... И так в течение пяти часов: ни одного прямого слова, ни

* Может быть, надо бы поместить здесь, в этом месте моих разведок характеристику С. А. Ефремова, главной фигуры процесса СВУ, рассказать о его происхождении от деда-прадеда, об огромном количестве им написанных трудов по истории украинской культуры, литературоведческих исследований, публицистических выступлений, об общественно-научной деятельности в течение тридцати без малого лет, о политических его взглядах, идеалах. Но не стану делать этого. Давай мы с Тобой, мой читатель, будем пока что, при начале процесса, знать о нем только то, что знал каждый средний харьковчанин, попадавший тогда, в марте 1930 года в зал оперного театра. А именно: академик Ефремов, вице-президент ВУАН, известный украинский литератор, в прошлом — член всяких там националистических украинских правительств и партий, создатель и руководитель выведенного на суд СВУ.

одного принципиального заявления. Всё время зигзаги, всё время скользкие увертки...»*

С портрета глядит полный достоинства мужчина — гордая голова, седая пышная шевелюра, прямой взгляд, усы вниз — тоже шевченковские.

Пятичасовая речь С. А. Ефремова не напечатана, естественно, в газетах. Но давайте послушаем (почитаем), о чем он говорил (писал) на предварительном следствии, что отвечал на допросах, как характеризуют его юристы, свидетели, подсудимые.

Итак, в прошлом академик Ефремов активно занимался политикой. Наиболее выразительно о преступлениях Ефремова в былые времена скажет общественный обвинитель П. Любченко в своей блестящей обвинительной речи. В самом деле, без иронии — блестящая речь, если бы только... ладно, позже об этом.

«...диктатура пролетариата слишком милостива к своим врагам, слишком быстро прощала тех, кто с оружием в руках выступал против нее. В самом деле, разве не имела права Соввласть посадить на скамью подсудимых еще в 1919 году главу партии социалистов-федералистов, заместителя председателя центральной рады Ефремова, который вооруженно боролся против Советской власти?.. с десяток тех, кого судит теперь Верховный Суд?.. А что делает рабоче-крестьянская власть? Еще не умолкли пушки.., а уже активные участники петлюровщины допущены к работе, как научные сотрудники... Академии наук, храм науки они превратили в шпионский центр. Трудно сказать, товарищи судьи, в чем больше неправды, в том ли, что бандитские атаманы Гаевой, Орлик, Ангел не стали членами медсекции ВУАН или педагогического товарищества, то ли в том, что вице-президент Академии Ефремов только в Академии

* На процессе допрашиваемым давали высказаться «от пуза», кто сколько хотел, не останавливали, а потом вели самый вопрос. Зачем так? Может, чтоб устал подсудимый. Может, чтоб устали от него слушатели — зал, корреспонденты, корпус дипломатов, чтоб невзлюбили его. Может, чтобы подчеркнуть демократичность суда — болтайте себе, мы разрешаем, не боимся. Никовский трепался 5 часов, Чеховский — 5 часов.

руководил бандитами, а не пошел во главе их гулять по лесам Украины».

Впрочем, мнения о прошлом Ефремова расходятся. Журналист Д. Заславский — очень известная фигура в газетном мире, разносторонне эрудированный товарищ, — пишет в «Правде» по поводу допроса С. Ефремова:

«Лето 1915 года. В Москве выходят тощие книжки «Украинской жизни» в синих обложках... Тут будущий вожь «Спілки визволення України» напечатал статью (под названием «Двойной мерой») о «Союзе освобождения Украины»*.

Этот союз был основан, как известно, во время войны группой украинских националистов и ставил своей задачей с помощью Германии и Австрии оторвать Украину от царской России. Существовал этот союз на средства и при прямой поддержке австрийского генерального штаба...

Будущий вожь «Союза освобождения Украины» писал так: «С одной стороны — австрийское правительство, поступившее так, как поступает обыкновенно правительство при подобных обстоятельствах, а с другой — куча прежде всего самозванцев, *потерявших возможность ориентироваться в политической обстановке*. Оценка этого «сотрудничества» не возбуждает сомнений: оно, как и всякая игра, одинаково *отвратительна* (подчеркнуто оба раза в «Правде». — Г. С.) и с той, и с другой стороны...» Скоропис-Елтуховский, Жук, Донцов и другие вожди первого «Союза Освобождения Украины» были пламенными национальными империалистами австрийской ориентации. И вот политику этих националистов Ефремов считал «отвратительной»...

* Уже тогда, оказывается, существовал «Союз освобождения Украины», позже украинская эмиграция будто бы заложила «Союз освобождения Украины», а потом и Ефремов с К° основал «Союз освобождения Украины». Пошла путаница. Ведь когда в зале суда произносилось: «Союз освобождения Украины», то кто там на слух к чёрту был в состоянии разобрать, о котором идет речь! Да и при чтении газетных материалов происходило то же. Так и получалось: первый «Союз» существовал реально, факт уже известный; существование второго и третьего словно бы требовалось еще доказать, но в путанице, в жонглировании «Союзами», они, второй и третий, тоже стали реальностью.

Постойте, а Д. Заславскому это не нравится, что ли? Ведь клеймит С. Ефремов запроданцев, еще в те далекие годы — клеймит! Вроде бы превосходно клеймит, вполне наш человек! Но зачем же это его клеймение цитирует Д. Заславский, которому, как мы понимаем, надо самому заклеить Ефремова? А вот за чем. Следует фраза:

«В борьбе с ними он выступал как лояльный подданный царского правительства... Большевики клеймили российский патриотизм ефремовского типа».

Как-то оно неубедительно получилось, неправда ли? Не хотел продавать Украину австриякам, лаял тех, кто пытался продать — и тут же и виноват... Ладно, оставим этот выверт на совести Д. Заславского; зато мы теперь знаем, что за дореволюционную деятельность вроде бы Советской власти особенно карать С. А. Ефремова нечего: существовало бы что-либо похлеще — уж будьте уверены, раскопал бы Д. Заславский*.

Еще о политической деятельности Ефремова в прежнее время. Защитник его Ратнер риторически спросил:

«Почему Ефремов, который до 1920 г. играл очень незначительную роль в политической жизни Украины (выделено мной. — Г. С.), стал вдруг на путь политической деятельности, на путь борьбы с Советской властью?»

Произносил адвокат эти слова в присутствии прокуроров и общественных обвинителей, и никто поправлять его не стал. Мог адвокат, конечно, и ошибиться

* Д. Заславский и не такое раскапывал. Мы еще не раз на этих страницах встретим открытия выдающегося советского журналиста Давида Заславского, который за год до этого, в 29-м, травил Осипа Мандельштама, 25 лет спустя уничтожал Бориса Пастернака, а в промежутке за четверть столетия — закопал столько, что и не перечесать.

— ведь мог? Вряд ли, опасно было защитнику ошибаться на том процессе в пользу обвиняемого.

Беда вся в том, что сам Сергей Александрович признал себя активным политиком антибольшевистского направления — во все времена, до революции и после. В своей громоподобной речи государственный обвинитель Михайлик скажет так:

«Член заграничного «СВУ» Феденко в своем органе «Тризуб» от 2 февраля 1930 г. (то есть, когда стало известно о готовящемся процессе. — Г. С.) уверяет: «Большевикам хорошо известно, что Ефремов уже в 1920 г. отошел от политической жизни и посвятил себя целиком научной работе». Пусть Феденко попробует теперь, после признаний Ефремова (разрядка моя. — Г. С.), рассказать об этом...»

Нельзя, будто бы, на собственных признаниях строить обвинения, толклись мы уже на этом, но в самом деле — попробовать Феденку трудно, подкузьмил Ефремов Феденка. Зачем он это сделал? О, это вопрос!

Нет, пока нам с Тобой, читатель, не ясно: по Д. Заславскому и защитнику Ратнеру — словно бы Ефремов до революции в политику не лез; какой-то там контрик Феденко заявил, что и после Ефремов в политику не игрался; Любченко с трибуны гремит о вооруженной борьбе Ефремова против Советской власти — непонятно нам. Пока непонятно.

О позиции адвокатуры на этом суде подробно поговорим попозже, а сейчас позволю себе привести длинную и психологически любопытную характеристику С. Ефремова, данную ему тем же С. Б. Ратнером, его адвокатом:

«.. все 45 подсудимых признали себя виновными еще на предварительном следствии*. Более того, они собственноручно почти все без исключения — написали признания, где детально и подробно с полнейшей откровенностью рассказывают о своей контрреволю-

* Инцидент с Г. Г. Холодным — начисто забыт.

ционной деятельности. Когда я страницу за страницей перелистывал собственноручные академика Ефремова признания, я сначала думал, что подсудимый под влиянием то ли чувства страха и инстинкта самосохранения, то ли под влиянием какого-то психоза — написал не то, что соответствует действительности. Но в конце я встретил протокол от 23 декабря 1929 г., когда Ефремова в Допре* посетили председатель ГПУ т. Балицкий и заместитель нарком'юста т. Михайлик**. На их вопрос, не было ли допущено какого-либо нарушения во время проведения расследования — Ефремов заявил: условия, в которых он находится в месте заключения, а также проведение расследования являются буквально идеальными... Таким образом, свои итоги контрреволюционной деятельности Ефремов писал не из чувства страха, которое вообще не присуще подсудимому, а из желания вполне искренно рассказать пролетарскому суду и советскому обществу о своем прошлом. Так же точно сделали все остальные 44 подсудимых...

Подсудимые вынуждены откровенно признать свои преступления перед державой трудящихся. Это их признание навсегда зафиксировано в истории украинского революционного движения и поэтому теперь подсудимые являются политическими трупами... *Между обвинением, защитой и подсудимыми, которые признали свою вину, нет никаких расхождений...*»

Вчитайтесь в последнюю, мной подчеркнутую фразу. Экая идиллия! Никаких расхождений!

Но продолжу высказывания Ратнера*** о Ефремове:

«... не надо забывать, что Ефремов является не только большим контрреволюционером, но также и большим ученым, за время своей деятельности написавшим 3.000 разных научных разведок,

* Допр — дом предварительного заключения.

** Считаю нужным дать сноску. Товарищи Балицкий В. А. и Михайлик М. В. расстреляны Советской властью как враги народа. Точных дат (хотя бы годов) их смерти установить не сумел. Констатирую факты. Больше ничего сказать этим не хочу.

*** Ратнер Семен Борисович — крупнейший, известнейший киевский адвокат. Арестован Советской властью в 1937 году и расстрелян, как о том сообщено его семье, в 1941.

биографий, работ и т. п. Это серьезный актив, мимо которого пройти нельзя...

Двойственность — характерная черта для Ефремова, так же как для некоторой части интеллигенции вообще. Эта двойственность, постоянная неуверенность — «шаг вперед, два назад»... повлекла к тем результатам, за которые он теперь сидит на скамье подсудимых, ибо если бы этой двойственности не было, он бы оставался большим ученым и не имел бы тех отклонений, которые превратили его в большого контрреволюционера...

В речах обвинения Ефремов заклеен еще и как ярый антисемит, добивавшийся даже ограничения приема евреев в украинские вузы и на службу в украинские учреждения. Ну, стыдливо напомним себе, что подобные настроения ого как цветут в нашей государственной политике сегодняшнего дня и, выходит, для нас сегодня — академик Ефремов вполне наш деятель. Если он в самом деле антисемит. Но я на секунду о другом. Нам нынче представляется: подумаешь — обвинение в антисемитизме, тут фашизм и контрреволюцию шьют человеку! Так вот мои «свидетели эпохи» восклицают все, как один:

— Да вы с луны свалились! Да в те годы за шепотом промолвленное слово «жид» сходу давали пятерку!

Э, а мы-то и не знали, думали — ха, от антисемитизма отрешивается! Дело-то серьезное, оказывается! Вот почему, оказывается, знакомый наш Гр. Холодный, как пишут о том «Вісті» —

«...считает свою работу в «ИНАРАКе» и «СВУ» контрреволюционной, одновременно категорически отбрасывая обвинение в антисемитизме».

И Ратнер грудью встает за своего подзащитного:

«... вполне ли можно говорить о том, что подсудимый Ефремов является антисемитом?..»

Нет, оказывается — вполне нельзя, т. к. еще в 1905 году Ефремов выступил со статьей «Чи буде суд?» («Будет ли суд?» — Г. С.), протестующей против еврейских погромов. Антиеврейскую политику царских черносотенцев заклеил он и в 1909 году в солидном труде «Еврейское дело на Украине».

«Правда, — Ратнер далее, — после 1917 года Ефремов слегка изменил свое отношение к евреям, впрочем, повторяю, этот перелом не вылился в форму антисемитизма».

Короче — ясно: не был Ефремов антисемитом, порядочный в этой отрасли гражданин. Согласны?

Заканчивает Ратнер свою защитную речь так:

«Подсудимый Ефремов сидит перед судом абсолютно разбитый, вполне уничтоженный, распластанный. В своих итогах он заявил: «Я виновен в этом деле вдвойне: во-первых, я отвечаю за всё то, что мне правильно инкриминируют в этом зале, и во-вторых — я отвечаю за всех тех подсудимых, кого я привлек к контрреволюционной работе».

...В душе Ефремова разыгрывается великая трагедия. Ему, некогда такому популярному и связанному с заграницей, ему не так просто перед лицом всего мира делать такие заявления... Возможно, что для него физическая смерть была бы более приемлемой, более легкой, нежели полнейшее признание своего политического банкротства, нежели тот крест, который он поставил над всей своей прошлой деятельностью...»

Что ж, словно бы по первым характеристикам смотрится подсудимый вице-президент Сергей Александрович Ефремов вполне приличным человеком. Только что же он там натворил такого, по поводу чего признания повергли бывшего адвоката Ратнера в изумление и даже вызвали недоверие, пока два кандидата в покойники Балицкий с Михайликом не успокоили его? Придется возвращаться к газетным материалам — «Из обвинительного заключения по делу «СВУ», основой в них легли данные предварительного следствия — и среди них удивившие Ратнера собственно-ручные признания С. Ефремова.

Начнем с начала. Момент из истории создания «СВУ». Какого? Тьфу, чёрт его знает, вероятно — этого, нашего, за которое судят.

Л. Чикаленко, деятель украинской эмиграции, в апреле 1926 года к С. Ефремову

«обратился с директивным письмом, где он информировал его о том, что заграничная эмиграция объединяется для борьбы с Советской властью, и указывал, что на Украине нужно также перейти к организованной контрреволюционной работе...»

«Чикаленко писал, — говорит Ефремов, — что уже пора заложить освободительную организацию, ...как о том условлено еще на Берлинском совещании с Никовским».

Никовский уже упоминался нами: тот самый, что удрал за границу в качестве министра иностранных дел при несостоявшемся правительстве УНР, а в 1924 году запросился на Родину и приехал — но приехал-то, оказывается, тайным лазутчиком Петлюры со всеми надлежащими клейнодами.

Вокруг письма Чикаленка Ефремову разгорится на суде спор, если можно назвать спором то, что произошло. Общественный обвинитель П. Любченко спросит у одного из подсудимых, Н. Павлушкова, во время допроса последнего:

— Был ли судом объявлен перерыв, когда вы со-
слались на усталость?

— Да, — ответит Павлушков.

— А вы, Ефремов?

— Да, — ответит Ефремов, — и по моей просьбе объявлен перерыв.

— А газета «Новое время» во Львове* пишет, что вы пять раз просили — и вам отказали... А еще они пишут: «Профессор Ефремов ответил твердым и выразительным голосом — «Хотим независимой Украины!»

* Львов тогда был заграничным панско-польским городом, где собралась изрядная компания украинских эмигрантов.

— Нет, я так не отвечал..

«Смех, — пишет газета «Вісті». — Смеется и подсудимый Ефремов».

Вообще, на этом суде много смеялись, было очень весело и публике в зале и актерам... тьфу, простите, и тем, кто сидел на сцене, подсудимым и членам суда. Чтоб не забылось — запомни, читатель, фразочку: «Опера СВУ — музыка ГПУ», потом вникнем в ее смысл.

Нет, правда, все весело смеялись, вообще атмосфера в зале была теплая, дружественная — театральной премьеры атмосфера. Та же мамина подруга два раза получала у себя в учреждении пропуск на суд и дважды была там. Она говорила мне, что в зале царил атмосфера полнейшего спокойствия, словно разыгрывали спектакль:

— Все отлично одеты, чай в стакане, предельная вежливость. Я даже подумала, а не дали ли им какие-то сильно успокаивающие таблетки...

Отсмеявшись, Любченко спросит Ефремова о письме к нему Чикаленка в 1926 году. И Ефремов, отсмеявшись, скажет:

— Да, было письмо, призывал он основать СВУ.

— А Чикаленко, — возмутится Любченко, — возражает в львовской газете «Дело»: написал, мол, он Ефремову единственное письмо в 1922 году безо всякой политики, спрашивал, не остались ли целы случайно старые его научные рукописи и геологические экспонаты. Еще и клянется, мерзавец! Было письмо?

Далее цитирую газету:

«ЕФРЕМОВ: — Я утверждаю, что получил письмо от Чикаленка в 1926 году.

Тов. ЛЮБЧЕНКО: — И читали его на заседании «СВУ»?

ЕФРЕМОВ: — Да.»

(«Вісті», 14 марта 1930 г.)

Вот так в едином порыве, рука в руке, посадили в галошу зарубежного врага-петлюровца друзья-единомышленники подсудимый С. Ефремов и обвинитель П. Любченко.

Непонятно мне это. Мог Ефремов отказаться — заявить, что не было письма (а его скорее всего так-таки и не было)? Мог. Письмо в руки ГПУ не попало, как доказательный документ суду не предъявлено. Кто-то из подсудимых — Никовский то ли Дурдуковский — показали, будто п о м н я т чтение письма на одном из заседаний СВУ. Но решает вопрос — было письмо или нет — Ефремов, от него требует суд окончательного ответа. Что стоит ему сказать — «нет, не получал, нет, не читал на заседании СВУ»? Ничего не стоит. И однако — он не говорит, хотя прекрасно понимает (не дурак Ефремов, далеко не дурак!), какой удар наносит этим по себе и по своим товарищам. Как же, подхватили директиву зарубежного петлюровского штаба и воплощали ее в жизнь! Удар и по зарубежным своим приятелям недавним, которые там божатся-клянутся, что не вмешиваются в дела ненавистной им советской власти на Украине. С чего же это он, а? Зачем так активно помогает суду?

Непонятно. Мне — непонятно. А Тебе, читатель? Возвратимся опять к началу СВУ.

«Первое учредительное собрание фундаторов «СВУ» было созвано в июне 26 г. по инициативе Ефремова. Ефремов по поводу первого заседания «СВУ» и своего доклада свидетельствует: «Где-то около половины июня 1926 года мы созвали, наконец, свое первое организационное заседание, говорю «мы», то есть я и Дурдуковский, которые выступили, таким образом, фундаторами дела. Состоялось собрание в помещении Дурдуковского*. Кроме нас, при-

* Родственники С. Ефремов и В. Дурдуковский жили в одном доме по улице Гоголевской, 27. Дурдуковский занимал комнаты на втором этаже, Ефремов располагался среди огромного количества книг своей библиотеки на первом. Заметим, что с ними жил и Николай Павлушков, их племянник.

существовали такие приглашенные нами люди: Гермайзе, Гребенецкий, Никовский, Черняховский, Чеховский. Собрание начал я, указав на причину его и задание. Коснувшись кратенько последних событий, которые категорически диктуют нам вступить на путь организованной нелегальной деятельности, я сделал обзор тех обстоятельств, среди которых нам придется работать, и видов, которые может иметь эта работа...»

И — начали работать. На втором заседании (осень 1926-го) вырабатывают устав; второй пункт его — об обязанностях и правах; об обязанностях почему-то в газете «Вісті» опущено. Почему? Вероятно же, среди обязанностей этих немало ужасного: всемерно расширять, яростно агитировать, а то и убивать. А о правах — вот:

«...никаких особенных прав — они не имеют, кроме права на товарищеское отношение и дружескую помощь всех остальных членов организации...»

Странновато о правах, правда? Будто сговорились друзья-товарищи о туристском походе.

За весь период существования СВУ состоялось свыше 20 заседаний руководящего центра,

«...на основании одобренного устава заседаний не протоколировали».

Зря не протоколировали! Очень жаль, что не протоколировали! Этим оставили следствие и прокуратуру ну вовсе без документов! Помнишь, читатель, Ты сетовал, что мало у меня документальных доказательств, а я отвечал Тебе — мол, у следствия-суда их, документальных доказательств, тоже не густо? Какое не густо, вовсе нет! Устава — нет, программы — нет, письма Чикаленка — нет! Хотя бы одна исписанная доказательная бумажка, содержащая факты деятельности СВУ, — так нет ни единой.

«Заседания Президиума обычно происходили в помещении отдельных членов президиума в дни их семейных празднеств, юбилеев, именин и т. п. Это делали из соображений конспирации».

Товарищи, братцы, осторожно, очень осторожно сходитесь-собирайтесь на семейные торжества! И уж лучше ведите протоколы застольных тостов, хохмочек и анекдотов (анекдоты — исключительно о бабах, учитите!). Не то — бац-бац — понадобится ГПУ (то есть ныне оно уже иначе прозывается) — и превратятся ваши именины в заседание конспиративного Президиума.

«20 октября 1926 года в день именин Ефремова у него в помещении состоялось заседание центра «СВУ» в составе всех его членов. Это заседание состояло из двух частей — закрытой и открытой. На первой, закрытой части, при участии только членов руководящей семерки... стоял доклад С. Ефремова о работе пятерок... Выступив в дебатах, А. Никовский и В. Чеховский поставили вопрос о перестройке системы пятерок, поскольку она тормозит рост организации...»

Далее В. Дурдуковский свидетельствует об открытой части заседания,

«на которой принимали участие... также гости, которые собрались на именины Ефремова... (выделено мной. — Г. С.; Господи, газетчики-редакторы, да вычеркните хоть эту фразу, не компрометируйте ГПУ!)... была посвящена (открытая часть. — Г. С.) организации комитета для увековечения памяти Петлюры».

Нет, братцы мои, это — гусак, тот самый гусак, — сходились, садились вокруг «гусака»... Да что это за конспирация, извините? При гостях — не мелочью шутить, создавать комитет для увековечения имени Петлюры! И когда? Где? В стране, где уже великолепно знали все от мала до велика, что ГПУ шуток не понимает, пусть то был еще и не 37-й, но уже 27-й! Вранье тут, несомненное вранье.

Дальше — о том, как «в тесном кругу руководителей «СВУ» конспиративно формировали кабинет и распределяли министерские портфели»,

«каждую кандидатуру выносили на всестороннее обсуждение и критическую оценку. В результате руководители «СВУ» остановились на таком распределении министерских постов: Ефремов — премьер-министр, ...министр просвещения — Дурдуковский, министр внутренних дел — Никовский, министр труда — Гермайзе, министр культов — Чеховский, министр земледелия — Мациевич и другие».

Давайте представим себе на минутку такую сценку. В доме Дурдуковского сидят дружки и режутся в дурака.

— Вальтом пошел!

— Тебе бы, Володька, с твоей головой — министром просвещения, не меньше...

— А я твоего вальта королем, я министром труда буду!

— А я тебя, Йоська, тузом!

— Ну-у, премьер, Серёга, премьер-министр...

Глупая пародия, скажете, шутовство неоправданное? Так вот послушайте, как попал в этот кабинет на пост министра внутренних дел — главным по ГПУ — Никовский:

«Обвиняемый Никовский, излагая свои политические совещания с В. Дурдуковским и С. Ефремовым, на которых обсуждались перспективы «СВУ», свидетельствует:

«Припоминаю, что в каком-то разговоре на политические темы (выделено мной. — Г. С.) с Ефремовым и Дурдуковским, Павлушковым был задан вопрос, как бы следовало строить власть, если бы украинская интеллигенция оказалась опять призванной к тому; на вопрос, пошел ли бы я тогда в правительство и взял ли тот самый, что имел когда-то, портфель (министр иностранных дел УНР. — Г. С.), я ответил — нет, на этот раз, если бы к тому пришлось, я пошел бы на министра внутренних дел, потому что большевики нас научили, как надо строить власть и аппарат в стране и у них надо учиться системе твердой власти».

Верю! В точности так и болтал Андрюха Никовский, шутник эдакий, с друзьями Володькой и Серёгой, только вот при племянничке их Кольке Павлушкове лучше помолчал бы... Да, точно так и шутили. У «гу-

сака». Но следователям — Бруку, Правдину, Броне-
вому, Южному-Грозному — зачем об этом выбалты-
вать? Тоже и с ними себя в тесном дружеском кружке
ощутил — и следователи вместе с арестантами за
«гусака» уселись? Впрочем, не Никовский следовате-
лям этот эпизод поведал, обратите еще раз внимание
на то, что беседа велась при племяннике, Павлушко-
ве. Ах, этот племянничек!

Кстати, не думай, читатель, будто «гусака» не
вытащат на процесс. Еще как! С заглавной буквы!

«Это только в дневниках Ефремова и Дурдуковского, — будет
ораторствовать с трибуны прокурор Ахматов*, — это только на
собраниях «Гусака» или иных знаменитых ячеек «СВУ» — можно
ругать Советскую власть за то, что она проводит украинизацию,
индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства.
Только там, в интимных группировках можно говорить, будто
село чахнет, наука не может развиваться, дети не имеют где учиться,
а писатели не могут творить...»

Точно таким представляет себе «гусака» (прости-
те, — «Гусака») прокурор Ахматов, каким он и на
самом деле выглядел!..

Да, так вот. За первое полугодие центр, руково-
димый Ефремовым, создал 5 кружков-пятерок.

«...в ряде больших городов Украины — Одессе, Харькове, Полта-
ве, Чернигове, Виннице, Днепропетровске, Каменце и Умани начата
работа по организации первичных пятерок. Члены президиума
специально выезжали на места (С. Ефремов — в Полтаву, Днепро-
петровск, Херсон, Чернигов; А. Никовский — в Одессу, чтобы
создать новые филиалы «СВУ»).

Стоп. Для организации СВУ Ефремов в Полтаву
не ездил: СВУ заложили в 1926-м, а ездил он туда в
последний раз, по данным следствия, — в 1923-м, для
организации БУДа, Братства Украинской Державно-
сти, предшествовавшей СВУ контрреволюционной ор-

* Расстрелян в 1935-м.

ганизации, которая тут же — как это отмечено следствием — и развалилась. О визите в 1923-м году говорит подсудимый Товкач — о нем еще буду говорить, пока только отмечу, что он полтавчанин, преподаватель ИНО и слепой, физически слеп:

«...Потом устроили вечеринку в честь Ефремова. Ефремов и тут рассказывал о «БУДе», а когда прощались, Ефремов сказал присутствующим: «Так вы ж организуйтесь». На это присутствующий Щепотьев в очень возбужденном тоне ответил: «Не беспокойтесь, мы организуемся».

Это вот так, извините, создаются подпольные антисоветские организации?

Прокурор Быструков* тут же у слепого Товкача и спросит:

«Тов. БЫСТРУКОВ: — Считали ли вы себя членом «БУДа», организованного после этих двух совещаний?»

Уже организованного — понимаете? Только Ефремов сказал — «вы ж организ...» — и готово, уже готово! Нет, постойте, было же еще первое совещание? Было. О нем Товкач тоже рассказал, чуть раньше, это — когда гостя дорогого Сергея Александровича встречали на вокзале.

Как же ответил тов. Быструкову подсудимый Товкач? Цитируем «Вісті»:

«Товкач говорит, что «официально» — нет, но в конце концов признается: «Я принимал участие в работе «БУДа».

Вот так. А уже потом, в 1926 году, приехал он в Киев, где Ефремов «ознакомил его на словах»** с платформой СВУ.

* Да, загремел, ни слуху о нем, ни духу.

** На словах — всё на словах! Хоть бы клочочек исписанный! Или уж молчите об этом «на словах», граждане начальники, в газете не разоблачайте себя!

«Товкач согласился сам пристать к ней и взял на себя поручение организовать полтавский филиал. Он это задание выполнил...»

Как выполнил? Кого организовал? Нет этого в материалах обвинительного заключения, нет в показаниях Товкача на допросе. И прокурор не стремится задавать о том вопросы. Почему прокурор не стремится? Да потому, что знает он: подсудимому Товкачу отвечать ему нечего, не выполнил он задания, поскольку его и не получал, не было в Полтаве ни филиала, ни пятерки, ни во времена БУДа, ни в эпоху СВУ, нигде в материалах процесса не найдете вы о том ни слова! И прокурор вместо того спрашивает:

«Тов. БЫСТРУКОВ: — В чем именно заключалось главное задание «СВУ»?»

ТОВКАЧ — решительно заявляет — «в свержении советской власти».

Тов. БЫСТРУКОВ: — А свергнуть советскую власть можно только оружием?

ТОВКАЧ: — Понятное дело».

Учись, читатель мой, если когда-нибудь Тебе придется допросы оформлять, — высокий уровень! Любуй так ответит, не только слепой затурканный, и я так отвечу:

— А свергнуть советскую власть можно только оружием?

— Понятное дело, пожалуй — и оружием трудно-вато.

Много всякой ереси навалили на себя вожди СВУ по поводу подготовки ими вооруженного восстания. Никовский, Дурдуковский, Павлушков наговаривали на Ефремова, он прёт сам на себя. Но шедевром является последнее признание Ефремова из раздела обвинительного заключения «Повстанческая деятельность «СВУ»:

«Мы высказывали мысль, что село еще не полностью лишилось оружия, что его еще немало должно сохраняться позапрятанного

со времен империалистической и гражданской войны и в нужный момент его хватит на вооружение повстанцев».

А? Это заявляет не пацан-первоклашка, не идиот — это с видом вполне серьезным вещает академик-историк, издавший не одну войну. А граждане начальники тоже согласны принять его слова всерьез. Да что они, и академик и начальники — рехнулись? Притворяются? Да кто же такому поверит?

Какого оружия могло «сохраниться позапрятанного»? Обрезы? Заржавевшие наганы? Пара винтовок? И с ними — против танков, орудий и авиации Красной Армии? Видал же Ефремов эти танки и авиацию на парадах, читал о них в газетах!.. Нет, поиздевался над вами академик, граждане начальники, — славно поиздевался, а вы и прошляпили. И выдали себя с головой.

Мне кажется, читатель, из-за одного этого «позапрятанного оружия» мы имеем с Тобой право с полной ответственностью утверждать: не готовил Ефремов с друзьями-приятелями восстания, не вела СВУ повстанческой деятельности.

Нуте-с, чего еще сказал (написал) академик С. А. Ефремов такого, на что нам стоит обратить внимание? Вот, например, признается он («Вісті», 3 марта, из обвинительного заключения — «Деятельность кооперативной группы «СВУ»):

«...мы основали кооперативную пятерку в составе Болозовича, Ботвиновского, Ганчеля, Высочанского, Пожарского. Пятерка *должна была приступить к работе* (а приступила? — нет; если бы приступила — непременно о том расписали бы! — Г. С.) и по практическим линиям кооперативного движения и по воспитанию и влиянию на молодежь в кооперативном институте... создать в кооперативном институте твердыню антисоветского движения»...

И дальше:

«Итак, предварительным следствием установлено, что контрреволюционная организация «СВУ», готовя вооруженное восстание

против Советской власти, пыталась использовать (не поднялась рука написать — «использовала»! — а почему, собственно, кто опротестовал бы? — Г. С.) в своих контрреволюционных намерениях аппарат кооперации».

Все разделы обвинительного заключения кончаются аналогичными выводами:

«Итак, на предварительном следствии установлено, что трудшкола им. Шевченка была одной из важнейших опор «БУДа» и «СВУ»...»
«Итак, на предварительном следствии установлено, что «СВУ» проводила консолидацию своих сил в литературно-издательских учреждениях с целью вредительства на идеологическом фронте».

Из кооперативной пятерки вывели на процесс двоих — Болозовича и Ботвиновского; почему нет остальных троих? — а их не *отобрали* в зал оперного театра (об отборе этом — позже). На допросе Болозович пытается урезонивать прокурора: дескать, не шли мы, старые битые кооператоры, на откровенную борьбу, не срывали мы снабжение народа, Бога побойтесь!*

«Подсудимый заявляет, что он виновен только в том, что не проявлял, как кооператор, достаточной активности».

«— Когда вы вступили в «СВУ»? — спрашивает прокурор Якимшин**. Болозович рассказывает, что в 1926 году встретился с Ефремовым, пожаловался ему на то, что, мол, трудно работать, жить и т. п. На это Ефремов ответил: всё это потому, что «мы разобщены». Спустя какое-то время Ботвиновский рассказал ему, что и он имел разговор с Дурдуковским, причем последний советует, чтобы «украинцы объединялись». Тогда, по словам подсудимого, он понял, что дело приобретает до некоторой меры организационный характер, хотя и не представлял себе этого конкретно...»

— Какие задания ставила СВУ? — следует вопрос. Заметьте, как хитро и вовремя ставится именно

* Болозович к моменту начала следствия по делу СВУ уже сидел два года по какому-то другому делу — сидел, кажется, в лагере в Котласе. Его вынули оттуда и приобщили к делу СВУ.

** Где он? Там же. После убийства С. М. Кирова.

этот вопрос — каждый раз, когда следовало бы спросить: — Когда и кто принял вас в СВУ? — ведь не принимал-то никто и никогда, только таким и может быть ответ, и он, естественно, не устраивает.

«Болозович *начинает колебаться* (выделено мной. — Г. С.)...»

Обратите внимание на это «начинает колебаться». Не только Болозович начинал колебаться, когда в зале суда отвечал на главные вопросы, вот и Товкач колебался — официально, мол, не был членом БУДа, *но в конце концов* признал, и у других мы увидим еще эти колебания...

«...Он, видите ли, понимал слова Ефремова и Дурдуковского так, что украинцам надо объединяться для «повышения и укрепления национальной культурной работы», а не для какой-то организации, которая ставит заданием свержение соввласти, и потому, мол, он *и согласился войти в «СВУ»*. О настоящей цели «СВУ» он будто бы узнал только на процессе». (Выделено мной. — Г. С.)

Постойте, «согласился войти» — стало быть, вошел? Но где? когда? кто принимал? когда ему задали эти вопросы? — мы что-то прозевали, когда Болозович на них ответил? А мы не прозевали. Не было вопросов. И не было ответов. Потому что никто, никогда и нигде не принимал старого кооператора в СВУ. А как же он оказался... А вот так, ловкость рук — и никакого мошенничества. Да быть не может, где-то, все-таки, признался он, чего-то ты, автор, не процитировал! Ну вот клянусь всем святым на свете — всё выписал, что было говорено и писано! Вот хоть и адвоката Вознесенскую, которая защищала Болозовича и Ботвиновского, послушайте:

«...пристали к «СВУ» вполне случайно: не зная ни программы, ни окончательной цели... фактически ничего не делали... надежды центра «СВУ» на кооперацию не оправдались».

Но она всё-таки сказала — «пристали к «СВУ»? А вы бы хотели, чтобы она этого не сказала? Мо-

жет, вы бы и вовсе хотели, чтобы адвокатша с трибуны заявила, что не существовало никакого СВУ? Да? И так достаточно взяла на себя: ничего не делали, надежды не оправдались. Полагаю, и за эти выпады ее по головке не погладят...

Но давайте заодно уж и допрос Ботвиновского послушаем. Оказывается, он был членом БУДа. Вот как это случилось:

«В конце 1922 года попал на какое-то собрание, где были Ефремов, Гермайзе, Дурдуковский. Ефремов в своей речи призывал широкие слои украинской интеллигенции объединяться... Тогда он считал, что это обыкновенное собрание, но потом осознал, что присутствовал на заседании «БУДа». По словам Ботвиновского, он «мимо воли стал членом «БУДа».

Клянусь всем святым — выписано мной слово в слово! Газета «Вісті», 9 апреля... Я вас спрашиваю: можно ли, — нужно ли — комментировать подобное? Разве вот в каком плане: граждане начальники, не компрометируйте подпольную контрреволюционную организацию БУД! Допрос Ботвиновского помещен в газете за 9 апреля: случайно забрел на какое-то собрание — оказалось, что это заседание БУДа, подпольного, контрреволюционного и, естественно, законспирированного. Пощадите БУД, поберегите авторитет его хотя на денечек еще! Завтра общественный обвинитель Панас Любченко в блистательной своей речи воскликнет на весь зал и на весь мир:

«И вот, товарищи судьи, из недобитков создан в начале 20-х годов подпольный контрреволюционный «БУД», а в 26-м подпольная контрреволюционная организация «СВУ».

Нет, очень грязная работа, граждане начальники...

Чтобы закончить с кооператорами — еще слово Ботвиновскому. О своем членстве в СВУ он говорит так:

«...в этом на него имел влияние Дурдуковский, который беседовал с ним о создании организации для сплочения разрозненных украинских сил ... вступил, как и Болозович (это не я вставил — «как и Болозович», это газета. — Г. С.) в кооперативную группу... члены кооперативной группы *использовали* кооперативный институт в Киеве, стремились создать из него крепость антисоветского контрреволюционного движения (выделено мной. — Г. С.; вот уже и исчезло — «пытались», стало — «использовали», вот так)... Я осознаю свою тяжелую вину и искренне раскаиваюсь. Я проклинаю украинскую контрреволюцию».

Проклинаешь? Твое дело. Получай 3 года строгого режима плюс 2 — поражения в правах. Болозовичу — 2 плюс 2 в довесок к уже отмеренному. Кайся — не кайся, есть логика или нет ее в том, что забрел на какое-то собрание — значит стал членом контрреволюционного подполья — участь твоя предreshена: академик Ефремов (разве можно не верить академику?) признал тебя в своем активе, племянничек его Павлушков подбавил («Ефремов назвал тогда имена Болозовича и Ботвиновского.., которые должны были расшатывать советское хозяйство», — ох, этот племяш!) — и песенка твоя спета: еще до процесса ты вписался «в единую фигуру украинского воинствующего фашизма».

Зачем, зачем вы признавались в том, чего не совершали, Болозович и Ботвиновский? Да в чем, собственно, и признались-то? Тогда зачем каялись — признаю, проклинаю? Э-э, не говори, если б не каялись — то и под расстрел бы подвели, а жить-то хочется... А? Всё могло быть.

Всё могло быть. Вот и Страшкевич, редактор Института украинского научного языка при ВУАН, покаялся в конце концов. А было так. На допросе в суде

«Страшкевич пытался провести версию, будто он не знал, что «ИНАРАК» контрреволюционная организация, будто он не знал, что это филиал «СВУ». Организационное собрание группы Холод-

ного «ИНАРАКА» Страшкевич пытался обрисовать так, будто, увидев разлад работы в институте, собралось «производственное совещание при руководителе института Холодном», которое и поставило вопрос обо всех этих делах. На самом же деле закладывали «ИНАРАК»...* Но его собственные признания (вишь — бултыхается, пытается отрицать то, что признал на предварительном следствии. — Г. С.), как и показания других подсудимых (хотя бы раз сослались на свидетеля — ну, будто вовсе их и нет, как же без свидетелей на таком солидном процессе! — Г. С.), перечеркивают это. Ефремов, как в показаниях на предварительном следствии, так и теперь на суде, называет Страшкевича «одним из основоположников «ИНАРАКА»... В конце концов, Страшкевич уже категорически говорит: «Я считаю, что фактически принадлежал к «СВУ» и целиком признаю свою вину».

(Вот оно — опять: и этот «начинает колебаться» — но «в конце концов уже категорически говорит».

Улавливаешь, читатель, психологию этого глубинного процесса — начинает колебаться, но в конце концов уже категорически?

Перед судом следователь Брук сказал:

— Ты ж, мать-перемать, смотри и помни! (А может, и без «мать»: — Вы, голубчик, смотрите и помните!) Не то... Понятно? Ну-ка, повторим, что будешь отвечать?

Повторяет покорный раб.

Повторяет — но в глубине души пульсочек: а вот выйду перед зал, на люди, на тысячи глаз — и скажу: всё не то, не был, не совершал, не состоял!

И выходит. И видит зал. И тысячи глаз. И... и дрожит от ужаса — и... и надежда шевелится... и совесть перед этими тысячами глаз воскресает. И... и он, бедняга, раздавленный, начинает колебаться: отказаться, не признать, плюнуть на Бруков!.. Но Бруки — тут как тут. Тут же на сцене оперного театра позади всех у самого задника с висящим Лениным — в затылок подсудимым, прокурорам, суду, адвокатам! И глядят Бруки мертвыми глазами на извивающегося раба.

И раб покорно сгибает спину.)

То-то же, опомнился. Показал на тебя Ефремов пальцем — не трепыхайся. А между прочим, адвокат

* Об ИНАРАКе и происхождении самого этого «иностранным» названия в свое время будем беседовать.

Обуховский, защищая Страшкевича, позволил себе огромную смелость:

«Ефремов, очевидно, ошибочно, пересчитывая членов «СВУ», назвал фамилию Страшкевича».

Представляете? Отважный человек адвокат Обуховский.

Страшкевич получил 3 года ссылки.

С памятью академика Сергея Александровича Ефремова творится странное. А надо полагать, неплохой памятью обладал автор 3.000 научных трудов! Вот допрашивают В. Ганцова, профессора-лингвиста.

«Когда речь заходит о вступлении в «СВУ», Ганцов признает, что *фактически он был членом «СВУ», но формально нет, и что даже само название «СВУ» он услышал только во время следствия* (выделено мной, на эту фразу я еще буду ссылаться. — Г. С.). Спрошенный прокурором подсудимый Ефремов подтверждает, что он всегда считал Ганцова членом «СВУ»... На вопрос тов. Любченка, почему подсудимый Ефремов не сказал ничего Ганцову об организации, Ефремов отвечает — «Я считал, что он знает об этом... Мне казалось, будто Ганцов был тогда на заседании, когда я докладывал об организации»...»

Не был Ганцов на заседании, алиби у него: ездил Ганцов в заграничную научную командировку. Почему позабыл об этом Ефремов, зачем топит хорошего человека? А он не позабыл. И не топит. Он устал. А главное — он знает: так ли скажу, иначе ли — результат один, впаяют Ганцову на полную катушку. Потому что —

«Правда», 31 марта, под материалом «Заграничная «командировка» профессора Ганцова» подписался наш приятель Д. Заславский:

«Всеволод Ганцов. 39 лет, он профессор-филолог киевского ИНО, научный сотрудник Академии наук... В эпоху центральной рады занимал невысокий пост уездного комиссара — однако и тут отличился: арестовал президиум крестьянского съезда и подвел его под статью, карающую смертной казнью. Не казнили не по его

вине. Не скрывал своих симпатий к погромщикам, мечтал о кровавой бане для всех большевиков в 1918 году...

Командировку ему дали. Снабдили надлежащими советскими бумагами, он зашел перед отъездом к Ефремову, чтобы получить надлежащие указания для поездки: он ехал не учиться, а информировать зарубежных деятелей «СВУ» о работе киевского центра и получить, в свою очередь, инструкции из-за границы.

Рассказ Ганцова на суде о заграничной поездке был не полон. Наиболее существенную часть ему предложили продолжить при закрытых дверях*. А пока предстала перед слушателями картина эмиграции. Немногочисленны эти эмигранты. Несколько десятков человек, разбросаны по всей Европе. Нет, однако, ни одного европейского кабинета, где бы не ютился где-то на задворках, питаюсь кухонными обедами, член «правительства УНР»**. В Чехо-Словакии — Лотоцкий, в Париже — Прокопович, Шульгин, во Львове — Дорошенко, в Варшаве — Чикаленко (тот самый, что письмом Ефремову не писал. — Г. С.) и др. Замечательно, что научный маршрут Ганцова совпал как раз со всеми этими центрами.

Он повидал всех этих «бывших людей» и со всеми пошушукался. Расписал, конечно, работу «СВУ» в Киеве со слов Ефремова: вышло, что существует на Советской Украине ужасно мощная и многочисленная организация, которая хоть сейчас — на всё готова! Со своей стороны, «министры»... поведали Ганцову, что за последнее время чрезвычайно повысился интерес у капиталистических правительств к Украине...

* Когда суд, прокуроры или подсудимые упирались в дела, касающиеся «одной зарубежной страны», — объявлялся перерыв и дело слушалось дальше в закрытом заседании. Так было несколько раз. Это придавало процессу особую значимость и таинственность.

** Это правда. Это известно из истории, об этом мы еще будем слушать показания А. Никовского, который и сам «ютился и питался» и запросился на родину. Но раз это правда — то о каких серьезных угрозах советской Державе со стороны мощных и страшных «украинских националистических штабов» могла идти речь? В году — подчеркиваю — 1930-м, а не при центральной раде или гетмане Скоропадском или хотя бы при рейде атамана Тютюнника в 1921 году? Вот беда Д. Заславскому! Нос вытащишь — хвост увязнет, и наоборот. Возвеличишь украинскую эмиграцию — нехорошо, будут о ней разные хохлы слишком уважительно думать; унизишь ее, стерву — опять худо, бороться не с кем.

Сам Ганцов возвратился весной 1929 г., незадолго перед тем, как раскрыта была организация «СВУ». Он еще успел повидаться с Ефремовым, полный отчет о «командировке» ему пришлось дать уже на суде...

Ну, как? При таком «составе преступления» зависит что-либо от слов, которые надлежит сказать подсудимому С. А. Ефремову? И получает профессор-филолог В. М. Ганцов свои 8 строгой плюс 3 лишения прав. А просидел он в общей сложности 21 годок. А защитник Юровицкий,

«подчеркивая научную работу Ганцова, считает, что к Ганцову не стоит применять длительную изоляцию... считает, что Ганцов искренне признал свою контрреволюционную работу в «СВУ», но работа его, по мнению защитника, «не была активной».

Отсидел миляга-профессор «недлительную изоляцию» — и жив, говорят, еще где-то и ныне, могуч род человеческий...

(Любопытная деталь по поводу могущества рода человеческого. Всеволод Михайлович Ганцов был маленького росточка, щуплый. Об этом вспоминают «свидетели эпохи», об этом же фраза у защитника Ривлина:

«Маленькая фигура профессора Ганцова вдруг обернулась на процессе в фигуру большого политического деятеля».

Как-то один «отсидага» спросил меня:

— Как ты думаешь, кто выживал в лагерях?

Я принялся гадать: сильный духом, закаленный физически, умеющий подольститься...

— Не то. Выживали маленькие, низенькие и худые. Им еды меньше надо и к теплу легче протиснуться.

Вот так.)

Да, жив Всеволод Михайлович Ганцов! Уже во время записывания этих глав, — вернее, к тому времени, когда закончил я осторожное рытье в газетных архивах и потерял надежду встретить воочию кого-либо живого из подсудимых по СВУ, — вдруг привели меня к профессору Ганцову...

Состоялось у меня с Всеволодом Михайловичем две встречи. На вторую я принес с собой свой старенький «Фэд» и вечером, без вспышки, собрав все настольные лампы, что были в доме, нащелкал кадров.

Маленький, крепенький дедок (ему 84 года) с доброй, тихой, подсмеивающейся украинской речью и добрыми внимательными глазами. Никаких признаков старческого маразма: кое-какие события путает, но абсолютно твердо помнит, что в заграничную командировку выехал 4 декабря 1927 года, а вернулся 27 января 1929 года, пробыл там 13 месяцев. Точно помнит, что I интернациональный лингвистический конгресс в Гааге в 1928 году начался в апреле на третий день «Великодняя» — пасхи по-украински; Ганцов был участником конгресса, получил почетное приглашение после того, как крупнейшая мировая величина в области лингвистики француз Мейе в «Бюллетене лингвистического общества» дал высокую оценку трудам Ганцова, в частности работе «Классификация украинских говоров».

Ганцов учился у знаменитого лингвиста А. А. Шахматова; его называли «украинским Шахматовым».

Да, за границей он в самом деле повидал тех украинских эмигрантов, имена которых поминали на процессе: Лотоцкого, Прокоповича, Шульгина, Дорошенка, Чикаленка. Они, узнав о приезде земляка, разыскивали его, приходили к нему. Свидания были грустные, смотрели они на него с завистью — он вернется на родину, хоть и поработавшую Советами. Лотоцкий сказал:

— Я твердо знаю: мне возврата не будет.

А Прокопович рассказывал, что каждое лето выезжает на границу Франции и Испании, в деревне той живут баски, природа там и образ жизни похожи ему

на родную Украину:

— Они ездят на волах...

Но в основном общался Ганцов в своей научной командировке с учеными типа Макса Фасмера, автора знаменитого «Этимологического словаря русского языка»; он знал Фасмера еще по Петербургу, где был студентом, а Фасмер — приват-доцентом университета; встречались они в Берлине, где Фасмер заведовал в университете отделом славянских языков и всячески помогал молодому советскому лингвисту в его научных изысканиях.

Ко времени ареста Ганцов не читал лекций и не писал новых трудов: все силы и время забирала работа над составлением «Словаря украинского живого языка» — он возглавлял комиссию по составлению словаря.

Я спросил:

— Простите за бестактность — но как вы могли признать свою несуществующую вину? Вы лично — и вы все, подсудимые по СВУ?

— Меня сбили Страшкевич и Голоскевич, — ответил он тихим своим подсмеивающимся голосом, — всё убеждали, что надо со всем соглашаться, чего требуют прокуроры.

Объяснение не то, которое могло меня устроить, — меня интересуют психологические глубины, — но нажимать, выпытывать, въедаться в душу я не решился. А Ганцов как раз, по сравнению с другими, оклеветал себя совсем ничтожно и почти не каялся. Он твердо заявлял — и сбить его с этой позиции не удалось: формально членом СВУ не был и само название СВУ услышал только во время следствия. Иных его признаний я в газетах не нашел, но, по словам защитника, он — «искренне признал контрреволюционную работу в «СВУ». Пойди теперь разбери.

Любченко назвал Ганцова в своей обвинительной речи — «Козелецкий Кавеньяк»; Козелец — захолустный городишко на Черниговщине.

Защитника своего Юровицкого Всеволод Михайлович не помнит — то ли беседовали один какой-нибудь раз, то ли вовсе не видывались. Но что формулировка, дающая ему 8 лет строгого и 3 поражения в правах, звучала так:

«доказаны проявленные им фашистские убеждения и антисемитизм» — это запомнил он, как «Отче наш».

Я спросил, почему и зачем понадобилось С. А. Ефремову утвердительно отвечать на переспрашивания прокурора и защитника — знал ли Ганцов о СВУ, был ли членом СВУ. Он усмехнулся, смущенно пожал плечиками, отвел в сторону светлые свои глаза.

— Не знаю, не могу сказать... У нас с Сергеем Александровичем всегда были прекрасные отношения. Он меня любил...

Получил он по делу СВУ 8 лет, а просидел в общей сложности — 21 год. Сначала ему продлили срок — удвоили. Выпустили в 1947-м. Он поехал в Москву, пришел в Институт языкознания Академии наук. Его объятиями встретили светочи советской лингвистики Виноградов и Аванесов:

— Мы учимся на ваших работах! Любая ваша самая маленькая статья — это докторская диссертация! Мы немедленно берем вас к себе в институт!

Но... на другой день они прятали глаза, матерились лингвистически в бессильной ярости:

— Простите, Всеволод Михайлович, — ничего не можем сделать. Стена! На вашем имени — табу...

Он поселился где-то под Москвой, пытался искать правду. Был выслан. Потом его опять судили — непонятно, за что, — и отправили досиживать до двадцати одного года...

Всеволод Михайлович Ганцов прошел, по его собственному подсчету, — 40 (СОРОК!) тюрем и лагерей. Жестокостей не помнит. Умолчал в разговоре со мной, предпочел навсегда забыть? Не думаю. Как сочетать его данные с материалами «Архипелага»? Не знаю. Везло, должно быть, Всеволоду Михайловичу. Он вспоминает даже такое. Начиная с Соловков, им, политическим, полагался «политпаёк»: 600 граммов хлеба в день, 35 сахару, приварок. И политпаёк шел за заключенным: переводили в другую тюрьму — пересылали «аттестат»: в Кеми, например, политических вместе с Ганцовым было всего несколько и отдельной кухни для них не держали, так они договорились с женщиной, которая им варила и приносила в отдельной кастрюле. Шел тот паек где-то аж до 1935 года. О подобном, о политпайке в советской системе тюрем 30-х годов, я никогда ни от кого не слышал. А. Солженицын в «Архипелаге» упоминает политпаёк — но то ж сразу после революции, в начале 20-х. Но Всеволод Михайлович рассказывает с уверенностью. Везло? Ну, и слава Богу.

Им же, политическим, по политпайку выдавались папиросы. И полагалось сдать столько выкуренных мундштуков, сколько получил папирос, — дабы не использовал зек тот квадратик бумаги для заговорщицкой переписки. Бывало, забывшись, куривший швырял окурки в парашу, а потом вынужден был под дружные подначки сокамерников вылавливать подотчетный документ из нечистот, сушить его и обтирать...

Богатейшую библиотеку В. М. Ганцова родители перевезли из Киева после его ареста к себе в Чернигов. В войну дом их сгорел. Библиотека и архивы погибли...

Окончательно выпущенный в 1956 году, Всеволод Михайлович принимал участие во всесоюзном съезде языковедов в Ужгороде как почетный гость. Не было

на съезде участника, который не подошел бы пожать ему руку, произнести теплые слова:

— Вы — наш восставший из мертвых учитель!

— Мы воспитываем себя на ваших работах!

В президиуме съезда он сказал председательствующему Никите Ильичу Толстому — главе советской лингвистики, внуку Льва Толстого:

— Вот — впервые сижу в президиуме...

— Зато смотрите, — ответил тот, — как вас все любят! Почему-то один Белодед вас не любит.

О Белодеде — расскажу сейчас. А диалог этот возник после того, как Ганцов блистательно выступил с замечаниями по поводу какого-то важного изыскания и ему устроена была пятиминутная овация; Н. И. Толстой тут же подбежал к трибуне, обнял расплакавшегося оратора, повел в президиум и усадил рядом с собой:

— Рад, несказанно рад, Всеволод Михайлович, вашему триумфу!

Сколько после этого триумфа ни пытались коллеги, ученики и почитатели Ганцова вытащить его из Чернигова в Киев, взять в Институт языкознания украинской Академии наук — ничего не вышло. Воспротивился академик Белодед Иван Костиевич, главарь украинской лингвистики, нынешний вице-президент АН УССР, типичный кагебист от науки и ученый от КГБ. Известен Иван в ученом мире тем, что имеет особый нюх, собачье верхнее чутье на стоящие труды опальных ученых, на титульной странице которых (трудов) можно без риска и труда вклеить свое соавторское имя: академик И. Белодед. Не хочет распространяться Всеволод Михайлович, улыбается и уходит от ответа, но было, намекал Иван, что хорошо бы в д в о е м опубликовать кое-что из былых открытий «украинского Шахматова»...

Остался Всеволод Михайлович в Чернигове. Живет в однокомнатной квартире с племянницей покойной жены. Жена Ганцова — тоже сотрудница ВУАН к концу 30-х годов, тоже филолог (слушала во Львове лекции Грушевского и Франка) — тоже арестована по делу СВУ, не отобрана на процесс, осуждена и умерла в лагере... Получает 52 рубля пенсии из расчета заработной платы бухгалтера леспромхоза, должность, занимаемая профессором в ссылке. С племянницей покойной жены пришлось зарегистрировать брак, иначе после его кончины ее выгонят из квартиры...*

Еще рассказал Всеволод Михайлович, что тогда, в 1930-м, адвокат отобрал из его архивов девять его работ — часть опубликованных, как «Классификация украинских говоров» и «Характеристика полесских дифтонгов», а шесть — рукописи, единственные экземпляры, частично незаконченные. Работы эти были приобщены к делу для доказательства полезности подсудимого, как ученого. В 1960 году он обратился в прокуратуру с просьбой вернуть ему рукописи. Прокуратура отправила его в архив КГБ. Там подняли дело, вынесли ему пачку grossбухов — рукописи оказались на месте, все девять целы. И — последовал отказ.

— Я ж их вот держу в руках, эти свои рукописи, единственные, которые мне уже не написать...

Отказали.

— Ведь у меня их брала защита — чтобы с их помощью доказать, что я не политик никакой, а человек науки!

Отказали.

Опять обращался в прокуратуру, еще куда-то писал — отказали.

— Каждая из ваших самых маленьких статей — это докторская диссертация...

* Адрес Всеволода Михайловича Ганцова:
Чернигов-центр, ул. Ленина, 35, кв. 154.

Услышав об этом, я решил подключить для помощи старику добрых моих знакомых — по двум каналам: первый — через влиятельных сотрудников Института языкознания; второй — пусть похлопочет о возвращении рукописей, имеющих ценность для развития советской украинской литературы, руководство Союза Писателей. Ведь так просто: пишется официальное отношение на бланке, бестрепетно идет писатель или научный сотрудник в архив КГБ, отбирает (под присмотром бдительного ока) то, что нужно, согласовывают с начальством, перепечатаывают — а оригинал пусть даже остается там, в КГБ, на память. И ведь это в самом деле для развития отечественной науки и литературы!

И ни в АН УССР, ни влиятельные братья-писатели, члены Правления Союза Писателей Украины, не решились что-либо предпринять. Не решились лингвисты и писатели хотя бы обратиться к своему начальству за этой вот официальной бумаженцией на бланке: «Просим разрешить ознакомиться с находящимися в Ваших архивах трудами и т. д.» Страшно. Да, страшно. Бестрепетно т у д а не ходят.

Всеволод Михайлович Ганцов не реабилитирован. Пенсию — 52 ре — получает. Воздухом — дышит. Но обвинение в контрреволюционной, антисоветской, фашистской деятельности с него не снято, обвинение это он с собою на тот свет унесет. Как так, почему? А так. Ведь в УРЕ (Українська Радянська Енциклопедія) черным по белому записано, что СВУ — «подпольная контрреволюционная организация... ставила своей целью отторжение Украины от Советского Союза с помощью вооруженного восстания». И обвиняемые по делу СВУ остаются фашистами и воинствующими антисоветчиками. Ведь процесс был о т к р ы т ы й . И никто из обвиняемых, осужденных по открытым

процессам, не реабилитирован. Понимаете? В этом есть своя логика и весьма железная.

— Процесс был открытый?

— Открытый.

— Законность соблюдалась, поскольку — на глазах у народа?

— Выходит — так.

— Виновным себя признавал?

— Признавать-то признавал, но...

— Никаких но! Признавал сам себя виновным, привселюдно признавал — никаких реабилитаций!

Логично? То-то же.

Всеволод Михайлович Ганцов только чуть-чуть признал себя виновным. И быть ему за то уже до конца дней фашистом и кровавым преступником.

(Продолжение следует)

ЗАЯВЛЕНИЕ ПО УКРАИНСКОМУ ВОПРОСУ

В заявлении, которое мы публикуем, считая его новым важным шагом вперед во взаимодействии восточно-европейских эмигрантов, было бы второстепенным и даже затемняющим существо дела анализировать сходства и различия между российским империализмом прошлого века и современным советским империализмом. Существо дела — это сам империализм, независимо от того, в каком виде он выступает, какими мотивами или масками пользуется, в каких исторических обстоятельствах действует. Нельзя не вспомнить и о бедах, принесенных Украине многовековым польским империализмом.

Независимо от своих форм, целей и обоснований империализм равно угнетает народы, которые являются его жертвами, и равно отравляет народ, который является его носителем. Сказав это, нельзя обойти одно фундаментальное различие: в противоположность царской России, Советский Союз сегодня — последняя колониальная империя мира, и раньше или позже всеобщая стихия национального освобождения должна ударить и по ее анахроническому существованию.

В имперской структуре СССР существуют две степени зависимости: статус «ограниченного суверенитета» в так называемых народных демократиях Восточной Европы и статус полной несuverенности в инкорпорированных союзных республиках. Поляки, чехи, венгры имеют несравненно большие возможности сохранить свою национально-культурную тождественность, чем украинцы, белорусы, прибалтийские или мусульманские нации. Первые подвергаются процессам советизации, но всё еще не русификации. Вторые — и советизации, и всё более интенсивной русификации. Но судьбы тех и других тесно связаны друг с другом: не будет по-настоящему свободных поляков, чехов или венгров без свободных украинцев, белорусов или литовцев. И в конечном счете — без свободных русских. Без русских, освобожденных от имперских устремлений, развивающих собственное национальное бытие, уважающих право на самоопределение других наций.

В нашем заявлении мы говорим именно об украинцах как о крупнейшей в рамках Советского Союза угнетенной нации и как о нации, наиболее упорно — наравне с литовцами — стремящейся добиться независимого государственного существования.

В течение неполных десяти лет хрущевской «оттепели» на Украине подняли голову потомки Расстрелянного Возрождения, пытаясь хотя бы частично восстановить то, что было уничтожено в сталинские времена. Потом пришли — и по сей день продолжают — брежневские погромы. Однако ничто не указывает на капитуляцию Украины. Наоборот, украинские патриоты идут в лагеря и тюрьмы, сопротивление на Украине стало синонимом национального сопротивления во всей империи.

Делая это заявление, мы ставим перед общественностью три вопроса. Во-первых, украинский вопрос как таковой. Во-вторых, вопрос всех остальных «нацменьшинств» (в сумме составляющих теперь уже «нацбольшинство» в СССР), которые стремятся к самоопределению, к осуществлению гарантированного Советской Конституцией — гарантированного на бумаге — права на отделение и выход из состава СССР. И в-третьих, наконец, — вопрос самой «имперской нации», для которой благом было бы как можно скорее осознать, что ликвидация советского колониализма лежит и в ее собственных интересах: только это способно противостоять угрозе будущей братоубийственной резни.

Мы с особой надеждой призываем русских участников правозащитного движения в СССР и русскую политическую эмиграцию укреплять и углублять сотрудничество с борцами за независимость Украины.

Андрей Амальрик, Владимир Буковский, Збигнев Бырский, Александр Галич, Ежи Гедройц — редактор «Культуры», Густав Герлинг-Грудзинский, Наталья Горбаневская, Юзеф Лободовский, Владимир Максимов — редактор «Континента», Тибор Мераи — редактор «Иродалми Уйшаг», Доминик Моравский, Виктор Некрасов, Александр Смоляр, Павел Тигрид — редактор «Сведецтви», Юзеф Чапский



«ПОСЕВ»

Общественно-политический журнал

Выходит с 1945 г. за рубежом ежемесячно

«Посев» участвует в борьбе за право, свободу и справедливость в России; по мере сил поддерживал и поддерживает российское освободительное движение во всех его проявлениях и на всех этапах его развития; информирует о России и из России; публикует материалы, отражающие развитие политической и общественной мысли нашей страны, аналитические, проблемные, дискуссионные статьи; освещает важнейшие мировые события с российской точки зрения.

Ежеквартальное приложение — «Вольное слово» — сборник избранных самиздатовских материалов: документов, статей, обращений, записей судебных процессов, и т. п.

Удешевленная подписка в издательстве:

«Посев» и «Вольное слово» — 65 н.м., «Посев» — 50 н.м.
Подписка через магазины: «Посев» и «Вольное слово» — 78 н.м., «Посев» — 60 н.м.

Доплата за воздушную доставку «Посева» в Сев. Америку и на Ближний Восток — 20 н.м. В Юж. Америку и на Дальний Восток — 30 н.м.

«Посев» в Австралии с доставкой возд. пакетом и рассылкой на месте — 24 ав. дол.

Адрес: POSSEV-VERLAG, Flurscheideweg 15,
D - 6230 Frankfurt/Main 80

Россия и действительность

Лариса Богораз

МЕЛКИЕ БЕСЫ

Года три тому назад я прочитала самиздатский детектив. Не помню ни его названия, ни имени автора, да и сюжет испарился из памяти. Внешне это было вполне самиздатское произведение: машинописная копия со слепым шрифтом, самодельный переплет. Об авторе мне сообщили, что это дама, специализирующаяся в жанре детектива не из корысти, не ради славы, а по влечению души, и что ее не публикуют...

Самиздат, очевидно, явление гораздо более широкое, чем принято думать. В рамках этого уникального издательства могут уместиться все жанры и все степени таланта. Помимо широко известных художественных произведений, документалистики, публицистики, фантазии, переводной литературы, мне попались две порнографические повести (или рассказа) и — дамский роман «К вольной воле заповедные пути...» Анны Герц.

Собственно, я не знаю определения дамского романа и не берусь дать его сама. Могу лишь сослаться на известные мне образцы — романы Анны Коптяевой, Вс. Кочетова (например, «Секретарь обкома») и т. п., а из недавних — мемуары Н. Решетовской «В споре со временем». Кроме обязательного для советской литературы производственного или идеологического конфликта, в них существенную, а иногда главную роль играет нравственный конфликт в очень узком аспекте, а именно: спать ли с тем, с кем хочется или с кем долг велит. Эта проблема №1 переворачивается на все корки, обмусоливается со всех сторон. Проблема №2 в дамских произведениях — как он (она) к ней (к нему) относится. Набором проблем диктуется и сюжет произведения, и расстановка персонажей. Обычно дамские романы шибко трогательны, стало быть несчастливые; зато взамен утраченного (или не достигнутого) постельного счастья герой получает компенсацию в виде горячей любви, одобрения и сочувствия самого автора.

Все сказанное относится и к роману Анны Герц.

Кроме того, дамская литература обладает общими стилистическими особенностями. Посвященная в значительной степени отношениям мужчины и женщины, она либо избегает сексуальных

сцен, либо говорит о них уклончиво: «У Глеба всегда после *этого* появляется какое-то особенное выражение...», «блаженная мука, слаще которой нет...», и опять: «Как он это со мной делал, снова и снова, взхлеб...» (все цитаты взяты из романа Анны Герц; последний оборот, видимо, символизирует чистоту и непорочность дамы, которая как бы сохраняет непричастность к действию). Откровенность автора идет не дальше поцелуев и объятий. Зато тем большее возбуждение вызывают у автора переживания и отношения вокруг главного события (героиня Анны Герц на протяжении половины романа решает вопрос, позвонить или не позвонить любовнику, столько же страниц она выясняет, кто ей «ближе и роднее», муж или любовник; в конце концов оба сделали с ней *это* — под застенчивые околичности автора), а также подробности антуража: желтые стволы сосен, белый песок, море, золотистые занавески, деревянные панели, национальная керамика, просторный холл, камин..., *его* тахта, подушка... Стоп! Или: будуар с широкой кроватью, шелковые одеяла, кружевное белье... Ох, какая безвкусица! Впрочем, последние детали быта — кочетовские, а не Анны Герц.

Отмечу, что для *этого* гляцевую упаковку с видом на море и обратно Анна Герц выдает далеко не каждой паре, а строго в соответствии с заслугами. Неверный муж лапает свою любовницу на коммунальной кухне («Видик у них был тот еще!»), а другой порицаемый персонаж лезет к даме и вовсе в чужой ванной комнате. Даже сама любовь у них сугубо различного качества: одним отпущено «просто приятное физиологическое отправление», другие, хотя еще не перешли к почкованию, совокупляются совсем иным способом — «как до грехопадения», а третьи и вовсе делают *это* в присутствии Бога («...в такие минуты, ну, когда мы с тобой, я верю в Бога, просто чувствую, что Он есть...»).

Роман «К вольной воле заповедные пути...» вряд ли вызвал бы интерес читателей (кроме специфического круга любителей дамской тематики и стилистики), если бы не фон, по которому пушены вышеуказанные лирические узоры. Фон, претендующий на то, чтобы быть основным содержанием романа, определяющим его место и в литературе, и в обществе. Роман Анны Герц имеет необходимое и достаточное число признаков, чтобы быть отнесенным к «нашему славному Самиздату». Первый и главный признак — он не опубликован в советских издательствах, по рукам ходят машинописные копии. Автор — псевдоним, даже и со значением: Герц (сердце) — Герцен. Посвящение — крамольному Амальрику. В тексте свободно промелькивают запретные имена и события: Венгрия и Чехословакия, Синявский и Даниэль, «Хроника», листовки, демонстрации. Автор даже специально останавливает на них внимание читателя: «...Слова Даниэля. — Того самого? — Ну да. А музыка Кости Ба-

бицкого. Того самого...» — чтобы мы, не дай Бог, не забыли, что читаем неподцензурное произведение.

Впрочем, эти знаки имеют не только внешнюю функцию — возвести роман к сферам вольного русского слова. Их функция в ткани романа — обозначить описываемую среду, указать общественное место героев, а именно — их принадлежность к «демократическому движению» России. Да что там принадлежность, они-то, герои Анны Герц, и есть «демократическое движение», диссидентский круг в полном составе, во всех его проявлениях.

Вы знаете этих людей на сцене, в героическом спектакле. Прочтите роман Анны Герц, и вы увидите их за кулисами, со следами грима, полураздетых, со стаканом водки в руке, узнаете, кто с кем спит и кто за чей счет живет. Захватывающе интересно, так сказать, «Пушкин в жизни».

Вот этот, Алька, Александр Моисеевич, — позер и трепач, легкомысленный, безответственный тип, бездельник, которого кормит труженица-жена. «Все о чужих печется, да и то больше на словах. — Он последнюю рубашку с себя снимет... — Может, и снимет, да только на людях, чтоб все видели».

Нет бабы, с которой он не переспал бы. Но главный грех его тот, что он, приняв сперва участие в судьбе некоей девочки, после поостыл к этому своему увлечению. Не совсем понятно, правда, что именно должен был сделать Алька для Анютки — жениться ли на ней, удочерить ли. Вся история намечена контурно, зато абрис густо залит черной краской: мало того, что речь идет о ребенке, — и девочка-то убогая, калека (но одаренная, стихи пишет, рисует), и мать-то у нее пьяница, проститутка, а отца нет, и теперь из-за Альки Анютка покатила по той же дорожке, пьет, курит, в обнимку с мальчишками по подъездам околачивается — «...если бы не Алька, у Анютки, возможно, хватило бы сил самой выкарабкаться... А теперь — что ж? Теперь она от обиды, назло Альке, что угодно может выкинуть. Нарочно погубит себя, втопчет в грязь...»

Образуется типично Достоевский эпизод с погубленным ребенком. По пути читатель теряет нить, забывает, что именно сделал или чего не сделал Алька, видит и слышит только, что из-за него девчонка пропала. Тут не до собственных суждений, остается вознегодовать вместе с нянькой, с Надей (женой Альки), с самой Ачюткой: «Дерьмо он, ваш Александр Моисеевич!»

Вот он какой, борец за справедливость, герой и любимец публики.

Его друзья — не лучше. Пустоговорение, пьянство, взаимная подозрительность, озлобление; и ни проблеска истинного добра, на этот счет слова, слова, слова. Гриша Радин — «из-за любого пустяка в бутылку лезет. — К бутылке, лучше скажи». Михаил Левитин пьет до одурения — «с перепугу пьет, от страха перед жизнью», —

а жена бьет его по морде. Веня Фогельсон уводит чужую жену прямо с вечеринки, что называется, при живом муже (то ли она сама на нем виснет), а этот муж тут же хватается за разные места другую чужую жену.

Ну и компания, подонки один другого чище. «Нравственное чувство у них нарушено... Особый вид душевной аномалии» (не правда ли, почти готовый диагноз для помещения в психбольницу? Автору — bravo!).

Правда, положительная героиня, рупор автора — Надежда Аксанова жалеет их, по-христиански призывает к «терпимости». Надя пытается убедить нас, будто раньше эти люди были другими, это теперь «от всех недавних порывов, горения, надежд остались лишь горечь поражения, мутный угар похмелья да постыдное, мелочное озлобление»; а все потому, что дела настоящего нет, с работы их повыгоняли, КГБ преследует, но пока не сажает — вот они и доходят, ищут способа «отключиться», кто во что горазд. Позвольте не поверить Надежде: автор весьма убедительно доказывает, что никчемность изначально была присуща ее героям — Алька, например, всегда был «пирожок ни с чем».

Впрочем, неважно, то ли движение Сопротивления стало прибежищем жалких, ничтожных личностей, то ли участие в нем приводит людей к полной духовной деградации; вывод, к которому автор подводит читателя, один: Сопротивление есть по существу лишь «видимость дела», пустота; к тому же «если в итоге — саморазрушение, распад личности, то к чему, зачем все эти жертвы?» Короче, героический спектакль провалился, игра не стоит свеч.

Но вернемся ненадолго к личностям.

Если не все диссидентское движение, то по крайней мере диссидентская карьера Альки началась с драматического эпизода — ареста и осуждения художника Федора Полушкина. Это произошло еще *до* безвременья, *до* разложения и распада, во времена «порывов, горенья и надежд». Алька составил и распространил стенограмму процесса «Искусство под судом», по словам следователя, «одного этого достаточно, чтобы возбудить дело». Итак, речь идет об *истоках*.

Федор Полушкин — кумир диссидентской публики, да и всей либеральной интеллигенции. Чем же художник заслужил их поклонение? А вот чем: 1) его исключили из Союза художников «за нарушение принципов соцреализма и коммунистической морали»; 2) «после того, как о нем написали в двух-трех парижских газетах, кое-кто стал поговаривать, что Полушкин — гений»; 3) «полушкинские полотна за границей на вес золота»; и, наконец, 4) «Федино дело... фантастическое... От начала до конца подтасованное. Они (т. е. власти — Л. Б.) ...опозорились на весь мир». По сути же, сообщает Надежда Аксанова, живопись Полушкина — отвратительная смесь порнографии, мистики и христианства: «Какие-то

голые задастые бабы с раскоряченными ногами, мужчины с песьими и кабаными мордами, вампиры, гробокопатели, трупы, ведьмы, бесы и прочая нечисть, и все эти монстры мужского и женского пола совокупаются в самых противоестественных позах... И на каждой картине — кресты, горящие свечи, полуразрушенные часовни, опрокинутые алтари...»

Сам художник — не привлекательнее своих полотен: «Одевался он с нарочитой небрежностью, носил окладистую бороду и нательный крест на простом шнурке, ... но рыжие глаза смотрели с холодной жестокостью, уверенно и жестко, жадные, красные губы негерпеливо подрагивали в зарослях бороды...»; «он носит свое стилизованное благообразное мужицкое обличье как маску, а под ней таится... какая-то недобрая темная сила»; «пьяница, развратник, растлитель душ...» Пардон! Последняя цитата приписывается в романе газетам, которые Полушкина «унижали и поносили». Надя же решила «оставить свои критические замечания при себе и не присоединяться к хору официальных хулителей». Зато автор, Анна Герц, не удержалась на высоте нравственных принципов своей героини, присоединилась-таки, а мочет и переплонула официальных хулителей — правда, всего лишь вымышленного лица; но ведь это символ, не так ли? Символ художника — в широком смысле — гонимого властями, почитаемого ценителями и вызывающего горячее и деятельное сочувствие персонажей романа, которые суть советские диссиденты.

Итак, мы теперь знаем, как расценивает автор столкнувшиеся здесь силы.

«Герой» развенчан и смешан с дерьмом, заодно и его поклонники. Автор настолько увлекся этой операцией, что втянул в нее не только Надежду Аксанову (куда бы ни шло, она ведь подруга оскорбленной Полушкиным женщины), но и всех прочих действующих лиц романа. «Творчество Полушкина разоблачает его интимную жизнь», — злословит один из его заступников. Друг Полушкина сообщает о религиозном художнике: «Дарью (т. е. жену — Л. Б.) он боится, а не Бога». Он же подначивает другого: «Ты попробуй, Игорь, опиши все как есть... Хочешь, детальку подброшу?» Далее следует деталька — издевательское, в лучших традициях советских фельетонистов описание дома и семьи Полушкина: «...антикварные книги, картины, домотканые изделия, старинная утварь, как в музее, и, конечно, иконы, ... церковная кружка для подаяния... Хозяйка салона, с крестом на шее, в тяжелых старинных браслетах и заношенном платье (но, между прочим, от Диора), лихо кроет соседок матом... Роскошный Беккер...»

Вот так. Побывал в гостях у друга — и продает задешево «детальки»: «Опиши, Игорь». Хороши друзья и заступники! Но автор не замечает предательства, не в нем видит «нравственную аномалию». Вместе с героиней автор жадно ловит все сплетни о Полушкине,

всю мерзость и грязь, какую только способны выплеснуть приятели на художника, отсутствующего по причине заключения. И все ей мало: «...все кругом не то, чтобы оправдывали Полушкина, но не разрешали себе судить его: он в тюрьме...» Да, не судили, так просто обливали помоями в своем кругу. Но это ничего, раз они заодно с автором: поделом Полушкину!

Нет, не верю я после этого ни христианскому всепрощению Надежды (это поза!), ни ее оправданиям и объяснениям насчет несчастной судьбы диссидентов (это слабо и беспомощно). А верю оценкам других, более последовательных персонажей: 1) Наташа Гордон: «Как же, лучшие люди, совесть России... Они нисколько не лучше тех, кто их преследует... Даже хуже». 2) Глеб Логинов: «Вам ведь жертвы нужны... Александр с приятелями очередное письмо сочинит, и пойдет кипучая деятельность. А ты деньги соберешь для беременной жены... Вся эта безответственная сволочь!» 3) Слава Хряков: «Бесовщиной от вас разит...» — к высказываниям Хрякова мы еще вернемся.

Как ни старается автор продемонстрировать свою солидарность с Надеждой, весь роман в целом свидетельствует в пользу пристрастных критиков — Логинова, Гордон, Хрякова. Читателю подсовывают оценку, с которой автор якобы спорит — но спорит так, что на деле подтверждает именно эту оценку, а не ее опровержение. Вот такой хитрый ход.

В ту же степь, что и характеристика личностей, ведет нас описание собственно деятельности, «нашего безнадёжного дела». Демдвиженцы ужасно много двигаются, все где-то бегает: «Алька обычно целыми днями гоняет по городу. Дела у него такого рода, что телефоном лучше не пользоваться». Прячутся в ванной: «Все деловые переговоры вели там. Впрочем, самое важное писали на листках бумаги, а потом спускали в сортир или жгли». Словом, конспирируются от КГБ. Автор тоже конспирирует перед читателем, нипочем не говорит, что это за дела. Правда, ярко изображен сбор денег — по трешке с сочувствующих: «На детей политзаключенных... Я собираю только на детишек». «Я приглашаю вас... помочь детям. Только детям и никому другому». Эти две фразы — Надежды Аксановой и Остапа Бендера — настолько идентичны интонационно, что у читателя по аналогии возникает подозрение: а не на Союз ли Меча и Орала взимает взносы положительная героиня Анны Герц?

Упоминается «Хроника»: «Это-то настоящее и действительно нужно». Кому и зачем нужно? Вряд ли героям романа, ведь они ее даже не читают (как и прочий Самиздат), а только перетаскивают с места на место. Чем больше у демдвиженца экземпляров «Хроники», тем выше его ранг в глазах автора и КГБ. Вот у Бориса Иоффе 10 экземпляров, так КГБ его арестовал, а Герц ставит его много

выше, чем всех прочих, чем того же Альку, у которого «Хроники» только 3 штуки и который был отпущен с допроса домой*.

Ну, там еще «всякие письма, протесты»... Как не согласиться с Глебом Логиновым насчет видимости дела? Ведь за всем этим в душе полная пустота. На вечеринке у Григория Радина, где собрался весь цвет диссидентской публики, никто и не вспомнил арестованного утром Бориса Иоффе — а ведь протест состряпают со слезой, это уж точно.

Где же оправдание «кипучей деятельности», впрочем, весьма опасной? И есть ли оно?

Автор снова предлагает два решения. По мнению Глеба Логинова, все это от безответственности, во-первых, и от неприкаянности, во-вторых: «Покрасоваться ему (Альке — Л. Б.) хотелось! Это уж такой человек: безответственный, инфантильный, неприспособленный к жизни, к делу...» Второе решение — Надежды: «...Хоть попытаются что-то сделать» (нам уже рассказали: «спасают» девочку, чтобы потом вернее загубить ее). «У человека не может не болеть душа, если на глазах у него изо дня в день топчут все сколько-нибудь талантливое и живое» (и про таланты и поклонников нам автор тоже все пояснил заранее — смотри выше). Снова роман опровергает ответ Надежды и подтверждает ответ умеренного и благоразумного Глеба.

Снова картинка явно противоречит декларациям автора. Но когда автор переходит на личности, чувствуется хотя бы знание дела — эстетичных и малоэстетичных адюльтеров, главным образом. А вот ведомы ли Анне Герц «к вольной воле заповедные пути», заявленные как главная тема романа? Понимает ли она что-нибудь в этой материи? Невразумительность и конспиративность изложения «главной темы» очень напоминают мне производственную линию в обобщенном советском дамском романе. Что-нибудь такое: гудят стропила... крутятся синхрофазотроны... Я вовсе не ратую за то, чтобы автор романа о строителях сам был каменщиком. Но пусть фон будет фоном и не выдвигается на передний план, раз уж ничего кроме банальностей, автор не в состоянии сообщить о нем читателю. «Бывают эпохи, когда можно любить свою родину, только ненавидя»; «надо, чтобы они (власти — Л. Б.) знали, что им это не сойдет...» Да какие ж это заповедные пути, это избитые, изъезженные, давно всем известные туристские маршруты облегченного типа.

Дама-детективщица, о которой я вспомнила в самом начале, искренне предана своему жанру: десяток убийств, обезвредить

* Я догадываюсь, почему на самом деле арестовали Бориса Иоффе: просто автору нечего было делать с этим идеальным вундеркиндом, он не соответствовал задаче романа, вот и пришлось, отделавшись одним абзацем, упечь его в Лефортово.

преступника (или, может, найти человека), и никакой тебе посторонней общественно-политической подоплеки, никакой избыточности в избранных пределах. Анну же Герц не прельщает репутация сочинителя обыкновенной аморалки. Создается групповое дело, в которое рядом с формулировкой о моральной неустойчивости заносится обвинение в безответственности перед обществом, в бездушии, а среди инкриминируемых деяний — не только доведение до самопосадки Наташи Гордон и растление (духовное, духовное!) несовершеннолетней девочки Анюты, но и участие в «безнадежном деле».

По какой же статье обвинение?

Со времен Достоевского в России стало традицией всякое общественное движение называть бесовщиной. В конце 60-х — начале 70-х гг. нашего века это определение Сопротивления прямо-таки вошло в моду, носилось в воздухе (но, мне кажется, не прижилось). Увы, мы привыкли рассуждать по аналогии и поклоняться авторитетам: сказываются мелкость чувств и леность мысли. Салонные критики даже не пытаются рассмотреть существенные свойства — хорошие или дурные — нового общественного явления, многозначного и многообразного, с неисследованным генезисом и неизвестной структурой. Вместо того они выискивают действительные и мнимые его пороки, злорадствуют, обнаружив пену и мусор на его поверхности, жаждут новых разоблачений и улики против него. Вот для этих критиков роман Анны Герц, повторяющий салонный треп о Сопротивлении, будет приятным презентом — тем более, что в романе просвечивают фотографические портреты*.

«Бесовщиной от вас разит», — говорит Альке Хряков. Я думаю, что бесы, ведьмы и прочая нечисть на картинах Полушкина появились тоже неспроста. Автор дает намек для непонятливых, как надо трактовать ее роман: «К вольной воле...» — это «Бесы» сегодня.

Так нет ведь, не только пороку, но и духу не хватило. Страшно! Чтобы написать современных «Бесов», мало представить для всеобщего осуждения Полушкина и Левитина, Альку и какую-нибудь Ингу — надо набраться смелости осудить явление. За это можно вылететь из либерального круга, оказаться в компании Кочетова и Шевцова. Собственной-то позиции у Анны Герц нет. Вот откуда межеумочность, жалобные попытки «все понять, все простить», вялая ненависть и принужденное примирение.

* Из рекламного выступления редактора «Нового журнала» я узнала, что произведению Анны Герц предсказывают популярность на Западе. Что ж, вполне вероятно: русская экзотика — слежка, обыск, водка, КГБ... Роман Гуль назвал его произведением о диссидентах — значит, купился, принял его за откровение «вольного русского слова». Вот это жаль. И без того искаженное представление Запада о современной России пополнится еще одним кривым изображением, к тому же в посредственном исполнении.

Пожалуй, сравнение с Достоевским, даже при отрицательном итоге — непомерная честь для романа. Однако не побоимся оказать ему эту честь и распространим сравнение также на область методологии. Известно, что «Бесы» имеют реальную основу, описан нечаевский кружок, нечаевское дело; не удержался великий писатель и от соблазна попутно дать по морде одному-другому из своих идейных противников, изобразив их в карикатурном виде. Тем не менее, «Бесы» — создание, творение Достоевского; роман существует независимо от того, был ли на самом деле Нечаев или его вовсе не было. Может быть, для русского общества роман Достоевского имеет даже большее значение, чем его прототип, само нечаевское дело; осмысление важнее факта.

Анна Герц в следовании правде жизни, безусловно, превзошла Достоевского. В ее романе нет ни одной вымышленной детали. Разговоры в ванной «под сенью струй», перепрыгивание самиздата из дома в дом, трешки на помощь семьям политзаключенных, водка под ископаемый пряник — все, все воспроизведено с фотографической точностью. Я узнаю не только типичные темы разговоров в интеллигентских домах, излюбленные тосты и анекдоты, но даже множество фраз в романе мне знакомо, я знаю, кто, когда и при каких обстоятельствах их произнес. То же касается и целых эпизодов: некоторые перенесены в роман, как говорится, «из жизни» без малейших изменений; отдельные ситуации подверглись механической трансформации, сохранив при этом реальные отношения своих элементов. Над живыми людьми проделаны столь же механические операции интеграции и дистрибуции: реальное лицо в романе раздваивается, иногда даже растранивается, зато иной персонаж воплощает в себе черты двух-трех известных мне людей. Это делается очень просто: Васин нос + Колины уши + Федина шляпа. Притом еще автор удивительным образом ухитряется увидеть в людях и событиях все пустейшее, все поверхностное, второстепенное и постороннее*.

Роман «К вольной воле заповедные пути...» может показаться достоверным произведением, имеющим хотя бы такую же ценность, как и любительский фотоснимок — бесхитростный документ своего времени. Как бы не так! Приглядевшись, видишь перед собой типичное блочное сооружение из готовых малоценных деталей или, того хуже, панельную конструкцию.

* Я намеренно не указываю пальцем на опознанные мною эпизоды, ситуации, людей: 1) в конечном счете, эти люди оклеветаны Анной Герц, причем, будучи переименованными, не могут привлечь ее к ответственности за клевету; 2) и без меня найдется довольно досужих охотников узнавать из романа неизвестные прежде детали биографий реальных лиц — для них это увлекательное занятие и составит основной интерес при чтении романа.

...Под конец я скажу нечто такое, что, думаю, автору будет приятно услышать. Роману «К вольной воле...», вероятно, не суждено опубликоваться в официальном советском издательстве, а быть ему самиздатским и тамиздатским произведением и, тем самым, числиться в каталоге неподцензурной русской литературы. Причина чисто формальная, бюрократическая: в Главлите есть список запрещенных имен — как бы своего рода матерных для советской власти; а в романе их понапихано сверх всякой меры — Амальрик и Солженицын, Сахаров и Григоренко, Даниэль и Бабицкий... Хотя, впрочем... Пойдите! Вышла же недавно в АПН книга Н. Решетовской «В споре со временем». Весь тираж — Западу, своим — шиш: что немцу здорово, то русскому смерть.

Почему бы АПН не напечатать и другое произведение, не менее ценное в идеологическом поединке? Во всяком случае, я не возражаю против того, чтобы АПН рассматривало данную статью как официальную рекомендацию к публикации романа Анны Герц «К вольной воле заповедные пути...» — пока западные издательства не перехватили инициативу.

Июль-август 1976 г.

Иркутская область

Несколько слов в «послесловие»

Незадолго до моего отъезда, сидя в одной из незабвенных московских кухонь, мы говорили с Ларисой (не только с ней) о романе Анны Герц. Еще неясно было, будет ли он опубликован на Западе, но ходили слухи, что рукопись уже там, и мы сожалели — прежде всего, об авторе. Пока рукопись была доступна нескольким друзьям, пока она не стала общественным, социальным, литературным (в широком смысле) достоянием, можно было махнуть рукой, можно было — если знать и видеть автора — сказать: «Брось, не надо, не распространяй, держись за репутацию порядочного человека», во всяком случае не было нужды в серьезном анализе и критике: мало ли кто что пишет. Но роман начал ходить в самиздате — он еще не дошел до меня, а кто-то уже с энтузиазмом восклицал: «Ну, говорят, такая книга, всё ваше демдвижение отщелкали!» Ко времени разговора на кухне я уже прочла сочинение Анны Герц, всё это «отщелкивание» «демдвижения», и мы говорили о том, что книга эта, дурно написанная, бульварно-литературная, тем не менее, не просто дурная литература, — есть в этой книге определенная, не только автору свойственная и многих читателей приятно шекочущая тенденция: тенденция самооправдания, оправдания собственной пассивности — путем обличения пустоты, бесплодности, неблагоприятных мотивов всяческой активности. Это требовало ответа, и,

может быть, прежде всего, с нашей стороны, не только потому, что, будучи много лет в гуще всего происходящего, мы знали всю силу и все слабости нашего Сопротивления, но и потому, что наши имена были одними из многих «алиби», рассыпанных по тексту романа. Вот об этой системе «алиби» — только об этом я и хочу прибавить свои несколько слов к достаточно, по-моему, исчерпывающему анализу, сделанному Ларисой Богораз.

Чтобы уяснить мысль об «алиби», сошлюсь на другую рукопись, которую мне случилось прочитать уже в Париже. В ней герой-автор, повествуя, «как живем мы, диссиденты» — пьянствуем, врем, занимаемся саморекламой, — также время от времени делает напоминания примерно такого рода: «Ну, это мы, так называемые «диссиденты», а вот есть где-то настоящие диссиденты», и после этого опять красочно живописует пьянки, похвальбу (главным образом, на тему «как я переспал с иностранкой»), новое и новое вранье. Но в литературе нету веры на честное слово, есть вера в то, что написано, показано, нагромождено, вера в ткань и материал произведения — если даже это написано плохо и не веришь, что автор прав, во всяком случае, только эта ткань дает поверить автору, что же он на самом деле думает. Более того, чем хуже это написано, тем обнаженнее авторское отношение. И все эти оговорки насчет существующих где-то «настоящих диссидентов» — не более, чем алиби: чтобы не приняли за ретрограда и приверженца режима. И всё, что написано им о «так называемых диссидентах», — это и есть преподносимое читателю авторское отношение к «диссидентам вообще».

Та же самая история с романом Анны Герц. Там забирают на обыске мои стихи, там с благоговением и трепетом помянуто имя Ларисы Богораз и еще многие имена людей, сидящих во время действия романа или отсидевших «страдальцев», «героев», «народных заступников», всё это в ореоле и в суперлативах. Попробуйте после этого сказать, что роман — «антидиссидентский». Нет, он только против «нехороших» участников движения — правда, они все, все до одного на страницах романа нехорошие, в крайнем случае — несчастные и от отчаяния бросающиеся в «диссидентство». Все руководствуются либо жадой саморекламы, либо неспособностью к «реальному» делу, либо — это самая светлая героиня романа — самоубийственным личным разочарованием. Так откуда же взялись, куда делись, какими мотивами руководствовались те «герои» и «страдальцы», чьи имена автор произносит с придыханием? Сидят — и, видимо, за что-то ужасно благородное, а не за ту «мышиную возню», которой занимается скопище псевдонимных персонажей: не за составление книг о процессах, не за распространение «Хроники», не за выход на безнадежные демонстрации (однако за эту-то бестолковщину мы все, в том числе называемые Анной Герц «герои», и сидели) и не за пьянки, не за соблазнение чужих жен, не за весь этот базар житейской суеты и ярмарку тщеславия (так ведь за это

и не сажают). Опять-таки срабатывает алиби: преклонение перед сидящими (как будто решетки и колючая проволока автоматически отделяют людей благородных от подонков) означает, что автор никак не солидарен с их гонителями и сам храбро противостоит несвободе. Но, читая страницу за страницей роман Анны Герц и видя, что все общественные поступки всех мало-мальски обрисованных персонажей продиктованы исключительно мелкими личными страстями, кто поверит, что иными побуждениями были продиктованы действия персонажей только поименованных, поднятых над текстом романа как бумажные цветы над серыми шеренгами октябрьской демонстрации...

Вопрос — зачем? Зачем алиби и зачем повальный полив?

И вопрос — почему? Почему московский читатель со злорадным восторгом сообщал мне: «...отщелкали ваше демдвижение»? (Я не хочу касаться еще и восторгов издателя романа — думаю, что они вызваны возможностью сквитаться с вызывающей раздражение «третьей эмиграцией», но, к счастью, знаю, что это не единственная точка зрения в кругах старой эмиграции, что появление новых сопротивляющихся поколений в России для многих стало надеждой и что на Западе достаточно русских, которые признают и принимают нас такими как мы есть.)

Ну, зачем алиби само по себе, вроде ясно, уже сказано. А вот зачем поливать «демдвижение» — или, уточню я вслед за Ларисой, движение Сопротивления, — если это делается не в шевцовско-кочетовских целях, где нет надобности в алиби, оговорах и уловках? Это мы, между прочим, пытались понять, разговаривая всё на той же московской кухне, — поэтому вывод не только мой.

Роман Анны Герц написан после тяжелого кризиса, пережитого нашим движением в 1972-1973 году. Труднее всего выходить из кризиса по-настоящему: обдумывая, что в самой почве движения дозволило обычным людским слабостям дораста до трагических результатов; ища, в чем виноват каждый из нас, а не только герои и жертвы показательных процессов; обращаясь к себе, к своей личной ответственности, формируя ее и формулируя на будущее более жестко и непримиримо к себе, а не к каким-то внешним силам. Мнимый выход из кризиса гораздо легче: отстраниться — мы чистенькие, мы сторонние, мы давно всё поняли и отошли от этой суеты и чуши, нас не втянешь и не заманишь, мы — носители нравственных ценностей и выносители нравственных оценок, которые, конечно же, мы дадим в исключительно художественной форме (и она тоже оказывается своеобразным алиби — не придерешься). «Мы» отошли от «всего этого» не потому, что убоялись репрессий (послушайте, а разве это стыдно — убояться? просто убояться, и отойти, и жить своей жизнью, не восхваляя ничего героизма и не обличая покинутых тобою), — нет, мы нравственнейшим образом оттолкнулись от в корне гнилого дела, и мы еще всем откроем глаза на это бе-

совство, а кто сам не умеет написать роман, радостно подхихикнет читаячи... Вот, по-моему, и вся нравственная глубина и высота романа Анны Герц — не глубже залива у плоского берега, не выше пляжа над плоским заливом.

Н. Горбаневская

БОГОРАЗ Лариса Иосифовна — род. в 1929 в Харькове, отец в 30-е годы был репрессирован, после войны училась в Харьковском университете, где познакомилась со своим первым мужем Юлием Даниэлем, вместе с ним преподавала русский язык и литературу в сельской школе в Калужской обл., затем переехала в Москву, защитила кандидатскую диссертацию по языкознанию (полонистика), занималась проблемами математической лингвистики и машинного перевода; после процесса Синявского и Даниэля принимала активное участие в самиздатской деятельности, в защите политзаключенных и в помощи им; в 1968 приговорена к 4 годам ссылки за участие в демонстрации на Красной площади против вторжения в Чехословакию, ссылку отбывала в пос. Чуна Иркутской обл., где сейчас тоже в ссылке находится ее второй муж Анатолий Марченко, так что ее жизнь проходит теперь «между Тарусой и Чуной».

Телеграмма... телеграмма... телеграмма... телеграмма... телег

Дорогие друзья!

Горячо поздравляем вас с тридцатилетней годовщиной основания журнала «Культура». С первого дня своего существования этот журнал всемерно развивал и поддерживал славную традицию духовной связи и политической солидарности с лучшими представителями русской литературы и общественной мысли как у нас в стране, так и за рубежом. Заверяем вас, что мы оцениваем это по достоинству и сделаем все от себя зависящее, чтобы ответить вам столь же искренней и последовательной взаимностью.

Надеемся, что общность целей и идеалов будет залогом незыблемости и полноты нашего единства.

Существование журнала «Культура» самое красноречивое свидетельство в современном мире того, что Польша и польская культура не сгинела и не сгинет вовек.

Редколлегия «Континента»

Восточноевропейский диалог

Юзеф Чапский

«КУЛЬТУРА»

Тридцать лет — огромный кусок жизни для всякого человека, тем более для журнала, да еще эмигрантского. Основанный 30 лет назад Ежи Гедройцем, им же руководимый и редактируемый до сего дня, журнал «Культура» выходит сейчас тиражом 7 тыс. экз., из которых шесть расходятся по подписке, а тысяча предназначена для Польши и разными путями туда доходит.

Нелегко в коротком тексте охватить годы существования «Культуры», достоинства многочисленных текстов, которые в «Культуре» появились, неустанное расширение контактов с Польшей, с Восточной и Западной Европой, с Америкой и с целой сетью наших представителей во всех частях света. При этом сразу надо отметить, что «Культура» — это не только сам ежемесячный журнал, который без всяких перерывов выходит с 1947 года, это еще и «Зэшиты хисторычне» («Исторические тетради»), начавшие выходить в 1953 году. В них читатель находит документы и исследования по новейшей истории Польши.

Нельзя не вспомнить и еще об одной линии издательского дела — о "Библиотеке «Культуры»", в которой до весны этого года вышло уже 275 книг. Среди них Собрание сочинений Витольда Гомбровича — его «Дневник», занимающий в сочинениях три тома, первоначально регулярно появлялся на страницах «Культуры». Чеслав Милош издал здесь свои стихи, эссе и романы, среди них самый, пожалуй, прекрасный — «Долина Иссы», а также книгу, которая в свое время

была мировым бестселлером — «Порабощенная мысль». Двумя изданиями вышел «Иной мир» Герлинга-Грудзинского — одна из первых книг о ГУЛаге, который он пережил; изданы его же эссе, рассказы и «Дневник, который пишется ночью». Лешек Колаковский выпустил у нас «Присутствие мифа» и первый том «Главных течений марксизма».

Не забыть нам и тех писателей, которых унесла смерть, — Ежи Стемповского, Марека Хласко и многих других. О вышедших у нас переводах с русского и украинского скажу позже.

Мы печатали также многих писателей, живущих в Польше. До недавнего времени многие из них, хотя далеко не все, печатались у нас под псевдонимами. Среди наших авторов самыми выдающимися можно назвать Томаша Сталинского (псевдоним), Ежи Анджеевского, Казимежа Орлося, Яцека Березина. Последнее время в новой серии «Без цензуры» авторы из Польши выступают только под своими именами. Первые книги этой серии — сборник новелл Богдана Мадея и поразительные свидетельства адвоката Анели Стейнсберговой, защитника мучимых и пытаемых жертв госбезопасности на послевоенных политических процессах.

Почему именно мне выпало написать о «Культуре»? Дело в том, что я был связан с журналом с момента его возникновения, однако сейчас уже годами нахожусь на периферии свободно понимаемого коллектива, так что могу писать, не подвергая себя подозрениям в хвастовстве или, наоборот, ложной скромности.

Что же я знаю об организационной работе — основе существования журнала, в которой сходятся все ниточки? Хотя бы то, что, возвращаясь, как случается, поздно из Парижа, я застаю еще Зофью Герц, студентку на машинке и, как всегда, не знающую ни дня, ни часа, если «Культура» требует ее труда. Именно ее

ум и страсть к работе скрепляет всю организацию «Культуры». Когда я встаю утром и застаю за завтраком полупустой стол, это значит, что Зыгмунт Герц и Хенрик Гедройц, брат редактора, еще на рассвете уехали в Париж и уже занимаются там отправкой журнала во все стороны света. Что же еще я знаю сверх того, что, в какой бы час ночи я ни возвращался, окна Гедройца всегда светятся — это его излюбленное время чтения присланных рукописей, потому что весь день он проводит на вахте в своем до потолка загроможденном книгами и папками кабинете, без единого дня отпуска или отдыха уже 30 лет, в то время как рядом его брат с дотошностью швейцарского часовщика регистрирует, записывает и переписывает подписчиков со всего света, их постоянно меняющиеся — как водится у эмигрантов — адреса, проверяя при этом не всегда регулярную плату за журнал и, как тигр, оберегая свои картотеки.

Когда мы входим в монастырь, мы слышим журчание молитв, — здесь до нас доходит шелест двух голосов, чтение корректуры. Уже почти десять лет Густав Герлинг-Грудзинский, один из основателей журнала, — снова с нами, и каждые несколько месяцев наезжает сюда из Неаполя. Теперь, возвращаясь из Парижа, я вижу еще одно освещенное окно и его макушку, склоненную над грудой рукописей или над его собственными текстами для «Культуры».

В моем описании не хватает — и никто нам его не заменит — Юлиуша Меровского. Совсем недавно мы его утратили. С самого возникновения «Культуры» он ежемесячно вел, присылая из Лондона, политическую хронику журнала.

* *

Каждый внимательный читатель «Культуры» знает, что она стремится быть в первую очередь полити-

ческим журналом. Ее положение было бы совершенно иным, если бы она пошла исключительно по линии культуры и литературы, — как это нам не раз советовали. На этой политической направленности я и хотел бы сделать здесь ударение. Исходная точка всего, что делал наш журнал, — попытка обдумать и вычленив такую линию действий, которую мы должны проводить, исходя из позиции неприятия навязанной нам извне польской политической реальности. Мы знали также, имея аналогичные примеры польской эмиграции XIX века, как трудно сохранять на чужбине большие организационные формы, как быстро они подвергаются распаду. Печатное же слово, наоборот, всегда имело и продолжает иметь в нашей части Европы огромную силу воздействия.

После пережитого нами краха, после того, как распалось всё прежнее устройство нашего континента, мы чувствовали потребность переосмыслить ситуацию в атмосфере полной свободы, не отягощая себя грузом даже самых чтимых авторитетов, без инстинктивного мышления в категориях государства, переставшего существовать как независимое. Мы хотели выйти за пределы этой инстинктивности, которая приводит к бесчисленным политическим табу и постоянно ослабляет либо делает вовсе невозможными любые действия в новом соотношении сил.

Форма очень свободного коллектива, особенно в период возникновения «Культуры», создала журнал открытый, который давал и дает слово людям, никогда бы не вместившимся в жесткие рамки организации.

В то же самое время защита, иногда — до крайностей, полной независимости журнала диктовалась ощущением, что, несмотря на все катастрофы, Польша продолжает занимать особое положение в Восточной Европе, играть особую роль, несоизмеримую с ее нынешними возможностями и статусом средней, бед-

ной страны, — роль, смысл которой должны сформулировать мы, поляки.

С самого начала «Культура» была нацелена на восприятие в Польше. Смысл «Культуры» мы видели в расширении и укреплении постоянного контакта со страной, единственного пути воздействия на общественное мнение в Польше. И в этом мы проходили через трудные и даже драматические периоды. Борьба режима с нашим журналом росла всегда по мере того, как режим осознал наши контакты с Польшей и наше влияние. Не один из наших друзей в Польше заплатил годами тюрьмы за желание сотрудничать с нами или помочь в распространении журнала.

Одним из первых шагов, подчеркивающих нашу связь со страной, было издание антологии рассказов военного времени, в значительной степени включавшей авторов в Польше. В свое время мы первыми издали также книгу эмигранта, который съездил в Польшу и свободно изложил свои впечатления. К этой же линии тесного контакта и знания положения в стране относилось издание пяти специальных выпусков, суммы сведений обо всех аспектах тогдашней Польши.

С самого начала мы были противниками резолюции лондонского Союза польских писателей, запрещавшей выпускать книги в Польше, мы считали, что можно — и даже нужно — печататься в стране, при условии неподчинения цензурному давлению. Примером этого может служить позиция Гомбровича. Мы всегда считали, что контакты с миром науки, искусства, вообще — с творческим миром в Польше необходимы, только речь должна идти о действительных тружениках поля культуры, а не о лжеученых и пропагандистах. Мы старались сотрудничать со страной и путем издания книг и статей, удивительными путями добравшихся к нам оттуда. В последнее время их доля неизмеримо выросла.

Я уже вспоминал о недавно скончавшемся Юлиуше Мерошевском. Его политические статьи, появлявшиеся столько лет в каждом номере журнала, вызывали всё больше плодотворных, нередко и резких споров. Его обвиняли — как и журнал в целом — в изменчивости и множественности концепций, начиная от поддержки любой борьбы против коммунизма (эпоха корейской войны) и до теории мирной эволюции. Если же сосредоточиться только на польских делах — от бескомпромиссной борьбы с режимом до кратковременного положительного отношения к Гомулке в 56 году (вплоть до того, как Гомулка закрыл журнал «По просту», первое в тех условиях выражение не искаженного цензурой молодого критического мышления и честного наблюдения жизни в стране). Дальше были попытки поддержать отечественных ревизионистов разного толка и, наконец, последний период, когда начали вырисовываться возможности более широких движений, имеющих социальную основу и требующих новых размышлений и контактов.

В смене политических концепций «Культуру» часто упрекали люди, которые вели и ведут себя так, словно рассчитывают только на действия тех или иных возможных союзников, а то и прямо на чудо — на временно отложенный «приговор исторической справедливости». В «Культуре» никто не верил в неизбежность такого дара небес, который дал бы отпущение пассивности ума, замененного жестами благородных протестов и многолюдных торжеств.

*
*
*

Польская довоенная политика до самого 1939 года целиком выводится из традиций 1863 года; начиная с выдвигающейся во главу этой эпохи фигуры Юзефа Пилсудского и до его сторонников и противников — все они были отмечены этой эпохой. «Культура» пыталась и пытается перевести политику этой эпохи,

завершенной в 1939 г., на политический язык эпохи после второй мировой войны. Линия «Культуры» уже долгое время кристаллизуется на основе следующих посылок:

1. Нельзя рассчитывать на Запад — этому нас научила, в первую очередь, история последних тридцати лет.

2. Мы должны готовить почву для нормализации отношений с нашими соседями, а среди них — прежде всего с бывшими польскими национальными меньшинствами.

3. Вопросы Литвы и Украины, Вильно и Львова требовали от нас преодоления наросших за века истории патриотических «аксиом» — нет политики без жертв. Болезненный для каждого поляка отказ от Вильно и Львова в пользу Литвы и Украины вызвал сильнейшие протесты в эмигрантской прессе. Эти реакции очень близки к реакциям российским по поводу сепаратистских, направленных на независимость устремлений прибалтийских государств, а тем более — Украины. Наше отношение к Украине: том антологии украинской поэзии, составленный Юрием Лавриненко, «Расстрелянное Возрождение» издан у нас рядом с книгами Ивана Кошелівца и Бориса Левицкого.

4. «Культура» стремилась возбудить у поляков интерес к Чехословакии. Сразу после вторжения 68 года мы издали специальный номер «Культуры» почешки. Наши высказывания и наши статьи о Германии шли по линии отношения к немцам без комплексов прошлого.

5. Дальнейшее политическое развитие тесно связано с развитием ситуации во всем восточном блоке, а прежде всего — в России. Мы должны искать взаимопонимания с либеральными оппозиционными силами в Советском Союзе, помня и о значении, которое может иметь для России положение в Польше. Октябрь 56 года, как и события на Побережье в декабре 1970,

усилили заинтересованность оппозиционных кругов Польшей, июньские события прошлого года могли только обострить этот интерес, и это тогда, когда возникают проявления солидарности в Советской России, Польше и Чехословакии.

Надо не только нормализовать отношения с Россией, но и создать дружественные отношения в будущем, для этого мы должны преодолевать старые травмы, которые заложены в самых основах политического мышления большинства поляков, — но не путем националистической политики Дмовского, который еще в начале XX века связывал будущее Польши и России путем союза с правительственными и консервативными силами, отвергая всякий либерализм и существование свободолюбивых стремлений народов, входящих в состав империи.

Нам кажется ясным, что установление политических отношений с Россией может идти только путем взаимопонимания с либеральной Россией, ее представителями. Если бы эти круги пришли к власти, они должны были бы, видя угрозу насильственных центробежных движений, признать свободолюбивые стремления народов, населяющих Советский Союз. В какой форме? Не нам и не сегодня это предрешать.

С первых же номеров «Культуры» нам было чуждо отождествление России с Советским Союзом и дешевое клише, гласящее, что любая Россия — царская, либеральная или советская — непременно нам враждебна. Статьями на русские темы, изданием книг мы хотим познакомить польского читателя с сокровищами русской литературы последних лет. Первой на Западе «Культура» издала Синявского и Даниэля, мы издавали Пастернака, Солженицына — два первые тома «Архипелага ГУЛаг» (третий переводится), «В круге первом» и «Раковый корпус», сборник рассказов «В собственных глазах», где среди других русских писателей перевели и Максимова.

Нельзя не вспомнить и наших отношений с русской эмиграцией, которая в мою жизнь вошла еще с 1919 года (Мережковские, Савинков, Философов, Бердяев, Шестов, не говоря о близких друзьях, которые к литературному миру, даже в самом его широком значении, не принадлежали). Если же говорить о встречах, связанных с «Культурой», то одной из самых драгоценных была наша дружба с Алексеем Ремизовым. Этот — как он сам себя называл, «вербалиатор» — словотворец, слепой и до последнего дыхания творчески активный великий русский писатель, обладал глубоким чувством Польши и видел взаимные отношения обеих стран в перспективе истории, начиная с наиболее близкого ему XVII века, когда западные влияния приходили в Россию через Польшу, а также глубоко интересовался польской поэзией — особенно Норвидом. Уже в 1951 году мы печатали фрагменты его, тогда еще неизданного, романа.

Новый важный этап установления отношений с Россией начался с притоком новой эмиграции или высылки, начиная с приезда Синявского, потом Солженицына и нашей встречи с ним и, наконец, возникновения журнала «Континент».

Редактор «Континента» Максимов, давая Герлингу-Грудзинскому интервью для «Культуры», рассказал, как он выезжал из России «с гвоздем в голове: мыслью об основании журнала». Об этом он написал Солженицыну, который ему ответил: «Я думаю, Вам надо обязательно связаться с поляками из «Культуры» и с эмиграцией венгерской и чешской». Так и произошло. Сейчас «Культура» и «Континент» — это журналы, которые во многом работают в одном и том же направлении и одновременно путем личных контактов создают возможность искреннего обмена мнениями по вопросам, жгучим как для русских, так и для поляков.

Как постоянно изменяющаяся международная ситуация, так и происходящие в Польше сдвиги требуют всё нового и нового анализа.

«Культура» включалась и включается во всё, что может пробудить чувство ответственности, что политически активизирует общество. Всякий кризис тоталитарного устройства может быть попыткой кристаллизации устойчивой оппозиции. Стремление «Культуры» — быть одним из сборных пунктов этой оппозиции, по возможности — не единственным. «Культура» инстинктивно противостоит всем априорным суждениям и осуждениям, предоставляя возможность высказаться и принять участие в общей борьбе даже своим противникам. Кто-то сказал, что в Польше нет надобности в самиздате, раз существует «Культура» и «Библиотека «Культуры»». Мы думаем, что это неверно. Идеалом «Культуры» было бы стать базой для самиздата, приходящего из Польши. Даже строгая, не выходящая за рамки объективной информации о фактах «Хроника текущих событий», систематически издаваемая в СССР, стала ценным связующим материалом для всё более широких кругов советских граждан.

Лондонский журнал «Экономист» написал о диспропорции между колоссальным советским аппаратом и сравнительно скромным движением советских «диссидентов» и задал вопрос: откуда же эта истеричность, с которой как будто паровым молотом ударяют по орешку? Ответ «Экономиста»: может быть, этот молот знает об орешке больше, чем мы...

У нас в периоды относительной, точнее — мнимой, стабилизации, когда общество начинает впадать во всё большую пассивность, маленькие группы каждый раз приобретали всё большее значение. «Культура» — их трибуна и адрес. Все до сих пор известные

группы, идейно-оппозиционные к нынешнему режиму, в конце концов находили дорогу в «Культуру» и могли громко высказаться с ее страниц или в книгах, издаваемых «Культурой». Из высказываний эмигрантов последней волны, 1968 года, — видно, как «Культура» подтачивала даже цитадели власти. Одно дело — думать и сомневаться, другое — увидеть собственные мысли и сомнения в печати.

Сколько в течение этих 30 лет напечатала «Культура» весомых текстов из Польши, таких свидетельств, как подробное изложение (с уточняющими истину комментариями) разговоров Герека с рабочими щецинской верфи, сколько литературных произведений — вплоть до самого молодого поколения, до Яцека Березина и Станислава Баранчака.

До недавних времен «Культура» доходила почти исключительно до кругов интеллигенции, но времена меняются, мы ищем путей, которые могли бы обеспечить скромный, хотя бы частичный, контакт с рабочими. Возникновение Комитета защиты рабочих сблизило в Польше эти два мира, интеллигенцию и пролетариат, чего не было еще во время рабочих волнений 1970-71 гг., когда интеллигентские круги заняли, в основном, позицию осторожного выжидания. Комитет защиты рабочих объединил оба мира в открытой борьбе за права человека, законность и демократию. Совсем недавно «Культура» издала сборник документов «Соппротивление. Польша — Чехословакия».

С первых дней существования журнала мы противостояли всякому национализму в Польше, в том числе и антисемитизму, который был снова призван на помощь нынешним режимом в 1968 году, позоря имя Польши. Мы боремся за Речь Посполитую, свободную от национального фанатизма, мы стараемся развить чувство того, что не одна Польша, но и вся Центральная и Восточная Европа — наше общее отечество. Не безумны ли эти мысли сейчас, когда Польша

ша из ягеллонской стала пястовской и мужицкой, не романтика ли это? «Когда тебе говорят, что головой стену не пробьешь, не верь тому».

Каждый из нас, кто сознательно пережил последние десятилетия европейской истории, мог бы возразить скептикам, сославшись на бесчисленные и решительные перемены в настроениях, во взаимоотношениях стран, еще недавно «навсегда» враждебных друг другу, а ныне примиренных. Сколько при этом дальнозорких планов, почитавшихся утопиями, уже в наш век было — то к счастью, то к несчастью человечества — осуществлено.

Польша, за которую борется «Культура», — это не утопия.

ЧАПСКИЙ Юзеф — польский художник и публицист, род. в 1896 г. в Праге, окончил гимназию в Петербурге, участвовал в польской кампании 1920 против Красной Армии, студентом Краковской академии изобразительных искусств в 1924 уехал в Париж, где с другими польскими художниками в 1930 организовал группу капистов, в 1931 вернулся в Варшаву, в 1939 мобилизован как офицер запаса, взят в плен под Львовом советскими войсками, был в лагерях военнопленных в Старобельске и Грязовце, после начала советско-немецкой войны и амнистии для поляков был освобожден и по поручению польского посольства в Куйбышеве и командующего польскими войсками ген. Андерса занимался розысками тысяч офицеров, пропавших из лагерей в Козельске, Старобельске и Осташкове. Об этих временах написал книги «Старобельский диалог» (вместе с Марией Чапской) и «На чужой земле». Вместе с Войском Польским эвакуировался из Советского Союза и сражался на Западе. Один из основателей журнала «Культура», автор публицистических и искусствоведческих статей (часть последних издана в "Библиотеке «Культуры»" отдельной книгой). Как художник многократно выставлялся и продолжает выставляться в Париже и других городах мира.

Запад — Восток

Родольфо Квадрелли

«ДРУГАЯ» ЛИТЕРАТУРА НА ЗАПАДЕ

Считается, что выражение «другая литература» относится только к подпольной литературе в Советском Союзе или в других тоталитарных странах. Эта статья ставит себе задачей как раз показать, что выражение это применимо также и к либерально-демократическому Западу и, как это ни кажется невероятным, к самой западной литературе.

Вторая литература, как ее называют, может существовать лишь там, где нет свободы; подразумевается, что подполье — это противоположный полюс классического абсолютизма или современного тоталитаризма. Проблема, поставленная в таких терминах, становится удивительно простой — и именно поэтому чуждой Западу со всей его сложностью.

Из России все сильнее доносится эхо героического и эпического сопротивления, уводящего нас не столько в географически удаленные места, сколько в далекие времена и эпохи. Сама человеческая жизнь вовлечена в эту борьбу, и во многих случаях сопротивление это оказывается не только духовным, но и физическим. Эта тотальная оппозиция, при всей ее трудности, имеет, однако, то достоинство, что она очень ясна: добро существует, и ради него следует терпеть преследования. Трагическая, но утешительная ясность, кто на Западе может прийти к такой решительной определенности? Кого еще преследуют сегодня в так называемом «терпимом обществе»?

Конечно, я не думаю, что диссидентам следует завидовать, я вовсе не хочу доводить всё до такого парадокса и подвергать нашу чувствительность такому испытанию, к которому она не подготовлена и которое ею, быть может, даже не предусмотрено. Но тем не менее положение диссидентов, особенно писателей, парадоксально именно потому, что, как я уже сказал, кажется, переносит нас в далекие эпохи. Преследования, когда они не столь радикальны, как при Сталине, вызывают неслыханный и ни с чем не сравнимый резонанс. Чему другому, если не преследованиям, мы обязаны тем, что узнали урок, преподанный нам Солженицыным? Поистине, преследование — это не только путь мировой коммуникации (то есть не только внешний фактор), но и школа внутреннего созревания, из которой возвышенные души черпают сущность. Мы узнаём величие Солженицына, когда постигаем его утверждение: «Я говорю: благословенна будь тюрьма, за то, что ты была в моей жизни!» И это как раз в тот момент, когда все осуждают тюрьмы для политзаключенных и призывают освободить невинных. Нельзя отрицать, таким образом, парадоксальности этой ситуации.

Урок, который дают нам великие русские писатели в изгнании, — это не просто битва за гражданские права. А что же? Убежденность в том, что великие альтернативы для человечества решаются всегда в терминах добра и зла, ставших вновь осязаемыми благодаря специфической ситуации, которая для современного западного мира аномальна. Нормальной же для современного мира является западная и только западная ситуация, то есть та, при которой, благодаря либеральным и буржуазным революциям, не существует более преследований за убеждения. Не существует просто-напросто потому, что слова добро и зло более не принимаются всерьез, потому что не существует более метафизической истины, а существуют

лишь истины относительные, говорят нам, настолько относительные, что несомненными, по методу исключения, остаются лишь принцип пользы и принцип удовольствия. Поэтому, когда русские диссиденты говорят нам: «мы пришли из вашего будущего», — я позволяю себе сомневаться в этом. Мягкий тоталитаризм Запада функционирует слишком хорошо, и нет надобности заменять его грубым и скандальным тоталитаризмом, который может вызвать решительное и столь же скандальное сопротивление.

Западный тоталитаризм существует и берет свое начало из вполне определенного понятия о свободе. Что я имею в виду? Именно то, что я только что сказал выше: принцип свободы мнения, понимаемый как прикрытие моральной индифферентности, оставляет нетронутыми лишь два принципа — пользы и удовольствия, без которых человечество обрело бы себя на самоубийство. Западный тоталитаризм связан именно с этими двумя принципами и состоит в отрицании каких бы то ни было обязательств, выходящих за пределы этих двух принципов. Догмой сегодня уже более не является религиозная истина, со всеми теми ошибками и ужасами, которые совершались в прошлом во имя нее. Догма сегодня состоит в сведении всего, абсолютно всего, к механической игре стимулов и отталкиваний, интересов и расчета, выгоды и невыгоды, удовольствия и боли. Диалектика просветительства, то есть бессознательная замена свободы рабством, — это тюрьма, огромная, как мир, и удобная, как жилище зажиточного человека, но это тюрьма, из которой невозможно выйти. Напротив, классический абсолютизм и современный тоталитаризм в узком смысле, при всей их жестокости и репрессивности, не смогли устранить совсем возможность выбора, пусть даже это выбор жертвенности и мученичества. Но о чем можно свидетельствовать, ради чего жертвовать, чему посвящать себя на современном Западе?

Говорят, что худшее наказание для человека — это осмеяние, и Киркегор пророчески предвидел возможное возвращение Христа уже не под знаком креста, а под знаком насмешки. Сегодня пошли еще дальше: уже не насмешка, а безразличие, безразличие холодное как смерть, обволакивает сегодня того, кто строит свою жизнь в соответствии с критериями духовной свободы и ускользает от мягкого рабства коллективной или личной пользы и удовольствия.

И если верно то, что литература с особой остротой отражает дилеммы духовной свободы, то ясно, что можно говорить и о «другой» литературе, о второй литературе, о самиздате на Западе.

Мы живем в массовом обществе, и массовыми обществами являются как общества Запада, так и Востока. В массовом обществе, чтобы быть услышанным, нужны средства массовой коммуникации, а конечно, не африканский там-там и не маленькие печатни, в которых еще в прошлом веке Леопарди публиковал свои стихи, получавшие почти сразу же всеобщую известность. Так вот, именно потому, что западный тоталитаризм массового общества целиком определяется принципами пользы и удовольствия, только той литературе действительно доступны средства массовой коммуникации, которая живет этими принципами, которая их обсуждает, которая на них намекает, которая от них зависит. Произведения Моравиа, например, быть может, самого типичного представителя западной интеллигенции, зависят от них целиком, и его полемика с Пазолини доказывает это, если еще нужны тут какие-то доказательства. Пазолини же, со своей стороны, почти удивительной популярностью своих выступлений обязан собственным противоречиям, то есть той дани, которую он в прошлом отдал некоторым распространенным пред-
рассудкам.

Вся западная литература признает этику лишь в форме общественной пользы, для которой слова «продвижение» и «развитие» почти синонимы, она воспевает личную свободу лишь под видом удовольствия, и этому понятию придается самый широкий смысл. Так возникает наглая полукультура, распространяющаяся как загрязнение воздуха, стремящаяся по-марксистски и по-фрейдистски демистифицировать ту кажущуюся бескорыстной деятельность, которой поглощается человеческая жизнь, чтобы показать, что кроется за этим. За авторитетом кроется власть, за фигурой отца — извечный фашист, потому что сам Бог, поскольку Он Отец, — тоже старый реакционер, а Христос — революционер, и за каждым запретом кроется и всегда крылось угнетение, и всё, практически всё, есть лишь проекция экономических факторов или либидо. Особенно роман, основное средство массового времяпрепровождения, стал носителем этих низменных идей, и можно даже утверждать, что в нем степень «демистификации» зависит как раз от того, с какой силой он отрицает такие принципы, как существование добра и зла и, как связанный с ними, принцип духовной свободы.

Однако не следует думать, что современный Запад практикует просветительную диалектику в терминах восемнадцатого века, то есть рационалистически. Он практикует ее мистическим или псевдомистическим образом, принимая продвижение в обществе с мессианским пафосом и переживая его жизненным инстинктом, преимущественно сексуальным, как экстатическое приобщение. Это и есть *эрзац*, благодаря которому новые верования не отрицают старых, а лишь заменяют, обогащаясь и усложняясь, и благодаря этому новшеству западный тоталитаризм очень трудно понять и осудить. Поэтому все более сомнительным оказывается определение Востока как царства гнета и Запада как царства свободы. И не менее сомнитель-

ным оказывается разграничение между либерализмом и конформизмом на Западе, главным образом — потому, что это разграничение исходит из простой, слишком простой и очевидной констатации культурной гегемонии марксизма на Западе. Эта очевидность на самом деле лишь отчасти отражает реальное положение вещей, потому что западный тоталитаризм (а не гегемония) не имеет ни правой, ни левой окраски: это сведение всех человеческих побуждений к понятию власти, по вышеназванным причинам. Если перевести это в философские термины, то просветительство взяло реванш над историзмом, легкий реванш, потому что и историзм, или скорее историзмы, не может не видеть в современности наиболее зрелой системы, по сравнению с которой все другие эпохи — либо религиозны, либо примитивны.

Марксизм, совершенно обанкротившийся в коммунистических странах, пользуется все бóльшим кредитом на Западе и даже господствует здесь, и немарксистская литература с трудом находит издателей, а если находит, то и авторы и издатели клеймятся как «фашисты» или же оказываются окруженными глухим безразличием. Но верно также и то, что власть сохраняет свои законы благодаря марксизму. Идеологическая приверженность марксизму не устраняет постоянного фактора массовой культуры: то есть того, что литературу терпят лишь тогда, когда она слаба и не угрожает власти, сводимой к принципам пользы и удовольствия. Возникает конфликт, и в этих условиях лишь немногие писатели, как, например, Элиот или Вейль, благодаря присущим им достоинствам, или Солженицын, благодаря внешним факторам, могут заставить слушать себя. Но происходит это вовсе не по злой воле кого-либо, кто чинит препятствия или преследует (такие явления — лишь редкие исключения), происходит это из-за отчаяния слабых, то есть большинства, перед лицом тех структур, которые,

став уже массовыми структурами, кажутся неизменными, как природа.

Та западная литература, которой удастся быть услышанной, стала уже насквозь пронизанной журнализмом, потому что она отдает себе отчет в том, что она существует лишь благодаря средствам массовой коммуникации. Раньше знание шло главным образом через университеты, и нужно сказать, что делалось это часто посредственным образом, из-за культа педантической точности, с одной стороны, и из-за идеалистической приблизительности и неточности, с другой стороны. Сегодня знание приходит через журналы, и не удивительно, что наиболее честолюбивые университетские профессора устремились все в эту область, демонстрируя, что их евангелием всегда был и есть «здравый смысл», в лучшем случае, а в худшем — общепринятое. Никогда не преувеличивать, иметь крепкие нервы, взвешивать за и против, выгоды и невыгоды, придерживаться всегда апробированных выводов, быть антифашистами для того, чтобы продолжать оставаться консерваторами, противопоставлять факты словам, хулить реакционеров, жалеть утопистов, быть рационалистами: таково кредо, которое журналисты-писатели, из профессоров и не из профессоров, вдавливают в опустошенные головы масс. И совершенно неважно, является ли оно по преимуществу крочиевским или грамшистским, потому что оно сильнее этих понятий, как сильнее и таких понятий, как правое и левое. Это доказывается не только тем фактом, что иногда (и это случаи хотя и не частые, но очень знаменательные) носители этого кредо хвалят друг друга, хотя и принадлежат к разным партиям, пишут в разных журналах, занимают разные позиции, но также и тем, что они все сходятся в главном — в уважении к наличному, к существующему. Журнализм навязывает содержащиеся в нем в скрытом виде установки тем, кто не в состоянии со-

противляться им из-за слабости или отсутствия собственных убеждений. И тот факт, что это навязывание совершается бессознательно и предстает как нормальное, не уменьшает вины. Очень типичны для журналистического рационализма строгость, внимание и негодование по поводу проблем второстепенных или вовсе ничтожных и в то же время высокомерное неведение существенного.

Такая ситуация неизбежно порождает отчужденность подлинной и настоящей литературы, которая всегда и неизбежно исходит из отказа от суеты и тщеславия. Я хочу привести в качестве примера скандальную и многозначительную судьбу большого писателя Гвидо Морзелли, история которого достаточно хорошо известна, по крайней мере в Италии. Оказавшись вне центров, в которых концентрируются власть и средства коммуникации, он упорно продолжал писать свои романы, которые издатели отказывались печатать. Огорченный такой упорной глухотой и непониманием по отношению к себе именно в то время, когда издатели публиковали всё, что угодно, Морзелли покончил самоубийством в июле 1973 года. Четыре его романа были посмертно опубликованы Адельфи и еще пять других будут скоро опубликованы тем же издателем. Читая то, что уже опубликовано, приходишь в изумление от того, что писателю так долго приходилось встречать отказы: с первой же страницы виден необычный дух, а местами рука подлинного мастера. И тогда спрашиваешь себя: почему же? Я не думаю, что речь идет здесь о вполне понятных и простительных ошибках невнимательности, потому что слишком многочисленны были попытки Морзелли привлечь интерес крупнейших издателей. По-моему, ответственны здесь рефлексy, обусловленные определенным типом культуры, представителями которой в данном случае являются работники издательств, куль-

туры по существу тоталитарной и отвергающей все, что подвергает ее сомнению.

Морзелли подвергал ее сомнению: «Рим без папы» — это сатира на прогрессивный католицизм, предстающий как новый вид триумфализма, и в то же время душераздирающая погребальная песня о конце религии; «Контро пассато проссимо» (непереводимая игра слов: пассато проссимо — грамматический термин, который значит в то же время «ближайшее прошедшее») — фантазия, в которой опровергается крочиевский, гегелевский и марксистский историзм с его безжалостной и тупой логикой, в свете понятия возможности; «Дивертисмент 1889» — это легкая и приятная комедия, без спекулятивных амбиций, возвышающаяся благодаря изяществу стиля над теми тяжеловесными претенциозными воспроизведениями недавнего прошлого, которые нам обычно подсовывают; и наконец, «Коммунист» — это драма познания страдания, которую переживает коммунистический активист, страдания, навсегда связанного с процессом труда и в конечном счете обусловленного тем смертельным концом всякого историзма, каким является природное зло.

Повторяю, отталкивание от этих истин — не вполне осознанное, это лишь плод невежества, столь нескромного, что оно превращается в преследование.

Я решил прежде всего указать на пример Морзелли, потому что это пример наиболее свежий и потому что здесь мы имеем дело с таким трагически концом. Но следовало бы особо остановиться на столь долгом одиночестве Джакомо Новента, который вступил с господствующей культурой, идеализмом и антифашизмом, с одной стороны, и чистой поэзией, с другой, в напряженный диалог, изобилующий тончайшими нюансами и вовсе не сводящийся к поверхностному отрицанию, диалог, длившийся несколько десятилетий и в котором у него никогда не было собеседника, или, точнее, никогда не получавший отклика у многочис-

ленных собеседников, которых Новента отчаянно приглашал, под конец приписывая им даже не заслуженные ими достоинства. И наконец, нельзя не упомянуть о тех обойденных молчанием выступлениях, столь же богатых оттенками, как и речь Новента, но более решительных и более открытых, с которыми выдвинулись в недавние годы те, кого обычно объединяют под формулировкой «традиционная культура», приемлемой, если под термином «традиция» подразумевать ту возможность, которая дает смысл будущему, а не идентифицировать ее с прошлым. В творчестве этих писателей, далеких от всяких злободневных веяний и движений, поверхностные критики, судящие обо всем лишь на основе тех категорий, которые им близки, усмотрели некий политический смысл и скрытые политические побуждения, тогда как на самом деле их понятие традиции явно и по-настоящему враждебно экономическому и политическому консерватизму правых (а также и левых, если преклонение перед существующим — это синоним консерватизма).

Индустрия культуры делает лишь частичное исключение для тех, кто готов уплатить хоть какую-то дань определенным политическим течениям и тем, по крайней мере, приобретает право на существование, но еще более идет на уступки тем, кто под традицией понимает главным образом эстетические аспекты, то, что я назвал в свое время культом Боргеса (разумеется, еще до политических заявлений аргентинского поэта). Несомненно, наблюдается сейчас не только засилье «прогрессизма», но и усталость от него, и именно эта усталость позволяет ослеплять себя лучами всех религий и всяческих эзотерических учений, но лишь умирающих. Сегодня позволительно быть скорее сторонником халдейской астрологии или культа Изиды, нежели католиком, а из старых традиций признаются в основном традиции пародистов, которые по крайней мере развлекают и льстят самолюбию нового образо-

ванного общества. Экстравагантные метафоры, острое слово, небрежно брошенное, святое, соединенное часто со святотатством, подлинное или напускное презрение к вульгарности, бутафория с мишурой всех прошлых времен — таковы звучания этой новой музыки. Но только никогда мы не встретим здесь истину, посмевшую выступить, так сказать, в одиночку и без мишуры. Тех же, кто осмеливается представить ее просто и не банально, ждет самое ужасное после клеветы проклятие — то есть молчание. И в заключение этих размышлений напрашивается сравнение этого молчания с тем шумом, который вызвала «другая» русская литература. Это явный знак того, насколько различны условия существования литературы, — быть может, в будущем эти две литературы встретятся, но до сих пор они не смогли вступить в диалог, по той простой причине, что «другая» литература Запада считается несуществующей.

· КВАДРЕЛЛИ Родольфо — род. в 1939 г. в Милане, где он живет и преподает. Поэт и эссеист, он опубликовал: «Язык поэзии», «Философия слов и вещей», «Апология и частушки» (стихи), «Униженная страна», «Смысл настоящего»; составил и отредактировал сборник «Александр Мандзони, философские произведения».

НОВАЯ ЖИЗНЬ ИСКУССТВА

«Единственное применение, которое я могу найти своей голове, — это таранить полицейских», — заметил недавно один поэт. Он не русский и не чилиец. Он живет в процветающей стране, в Швеции. И он сделал крайний вывод из общего мнения, что искусство более не существует, жива лишь политика.

Чересчур заботясь о том, чтобы быть современными и радикальными, художники бросались из одной крайности в другую. Вот одна из причин, почему сегодня так много художников и мало искусства.

После последней мировой войны путь развития искусства — по крайней мере, изобразительного — привел его к тонкой игре формами и красками. Эстетская беспредметная живопись ушла от рядового зрителя еще дальше, в темную область изысканной красоты. Неистовая реакция стала неизбежной. Маятник качнулся и достиг противоположной точки — разгула преступности, уродливости, бешеных нападков на современное общество.

Это не значит, что все новое искусство ничего не стоит; необузданная реакция не поможет нам приблизиться к истине. Истина же переживет восстание и предательство, поскольку она вечна и независима от человека. Мы открываем смысл искусства и существования лишь в той мере, в какой нам удастся усвоить истину, поднимающуюся над нашими личными претензиями.

Здесь я должен вспомнить художников, сохраняющих верность высшей правде, какой они ее видят, и

вместе с тем, способных поступать свободно в жизни и искусстве — так, что нам остается благоговейно склонить голову. Я говорю о тех, кто провозглашает истину в странах, где ее не хотят. Нам, в так называемых свободных странах, нельзя выбирать слишком легко то, что говорить или рисовать. Нам нужно жить той правдой, ради которой готовы умереть наши коллеги.

Когда я работаю в мастерской, то часто думаю о тех художниках, которые искренне отказались от заданных форм ради собственных выношенных идей — и теперь смотрят в полной беспомощности, как бульдозер давит их полотна. А вот и композиторы с верою в Бога и в музыку — их ноты не будут никогда сыграны. Вот слова, которые никогда не будут прочитаны или запечатлены на бумаге. Разве можно не воспользоваться моей свободой, чтобы донести до мира то, что они хотят сказать? Последствия тоталитаризма ужасны: он поражает сердцевину творческой воли. И поэтому каждое свободное духовное творение есть победа над тоталитарной системой.

Было время, когда Церковь и искусство делали одно дело — служили Богу. Потом они разделились. Искусство принялось искать собственной цели и смысла. Мы не знаем, что потеряла Церковь; искусство же отвергало и отбрасывало всё и вся ради большей свободы. Когда, наконец, искусство нашло цель в собственном бытии, оно лишилось основы своего бытия. Боевой клич дадаистов в 1920 году — «искусство умерло, да здравствует машина!» — означал, что искусство поплатилось всем, что имело.

Сегодня мы слышим нечто подобное и от некоторых теологов: «Бог умер!» Но, может быть, Бог и искусство всё это время не умирали, а только нам, их слугам, нужно снова родиться? Может быть, религия и искусство могут вызвать к жизни новую и в то же

время зрелую культуру, встретившись после многих лет раздельного существования?

До освящения новой церкви, расположившейся возле фьорда на западной оконечности Норвегии, оставался месяц. Я втаскивал наверх огромное количество материалов, предназначенных для алтаря. Двое рабочих помогали мне крепить к кирпичной стене тяжелые секции из металла, дерева и стекла. Один из них посмотрел на меня с высоты строительных лесов и произнес: «Давно уже пора покончить с этими суевериями».

Я смертельно испугался: вдруг годовая работа в этом огромном помещении окажется никчемной и жалкой. Его слова прозвучали, будто голос судьбы. А я перетаскивал этот огромный крест у себя в мастерской, пилил, резал, паял и забивал гвозди. Собрав все свое мужество, я сказал: «Нет, мы только начинаем. Христианство еще не отыграло своей роли. Мы едва начали открывать таящуюся в нем творческую силу».

Четыреста фунтов материалов были сплочены со стеной. Рабочие ушли. Мне осталось доделать мелочи. В тот вечер нужно было ехать домой через горы, и я не успевал поесть. Пустая церковь стояла грузно и торжественно. Рабочий вернулся. Он вынул из сумки несколько бутербродов, термос: «Я принес вам кое-что — я подумал, что у вас не будет времени поесть».

То была первая вечерня в церкви в Фарнесе. Среди инструментов, еще не убранных с алтаря, стоял термос и лежали бутерброды. Не знаю, что думал рабочий, а он не догадывался о мыслях художника, — но с алтаря мне протягивали чашку кофе и хлеб. И вдруг украшения над алтарем ожили. Зал превратился в священное место, стал храмом.

Нашупывая путь к тайне христианства, которая долгое время казалась запертой комнатой, я нашел для искусства никем не скрываемые богатства. Нам говорили: чтобы преуспеть, художник должен верить

в себя. Эта идея близка современной религии, провозглашающей, что смысл жизни состоит в развитии личности человека. Но этого у нас было так много — по крайней мере, у нашего поколения — слишком много великих личностей, приспособлявших общество к себе. Быть рабом своей личности — для художника значит ограничить собственное искусство. Ведь задача искусства требует приподнять уголок занавеса, чтобы человек смог увидеть глубины существования.

Конечно, большая часть искусства возникает в результате экспансии Я. Явления великого искусства редки, они проистекают из другого источника. Великое искусство создается через отрицание себя той духовной силой, которая наполняет сердце, если оно освобождено от Я, если на смену Я приходит личность.

Всегда я буду благодарен за то, чему научило меня моральное перевооружение: делать правое дело в самое неподходящее время — когда более всего необходимо такое делание.

Вы не очень рискуете, провозглашая правду в так называемом свободном мире. Проблема кроется в другом: на Западе часто затруднительно установить, что есть правда.

Мы все знаем, как трудно бороться за правду при тоталитарной системе, но там правда имеет, по крайней мере, видимые очертания: как правило, это то, за что наказывают.

В каждом художнике сильны честолюбие и тщеславие, но худшая опасность для способности творить — страх быть высмеянным или попасть под замок.

Честолюбие — могущественная сила у всех художников. Ведь мы так хотим, чтобы нас высоко ценили.

Но нельзя использовать искусство для наших лич-

ных целей. Искусство есть свободное творение духа, живущего в свободном и открытом сердце. Оно подобно дыханию. Вы вдыхаете и выдыхаете. Вы принимаете — и вы дарите. Настоящее искусство доступно смиренным сердцам, тем людям, кто готов принять и пойти дальше.

Беда тому, чье сердце нельзя наполнить, ибо оно уже полно. А многие из нас наполняют сердце малочленным и для нас, и для мира. Нам надлежит очистить сердце, чтобы освободить место для подлинных Божьих даров. Я говорю о Боге, поскольку считаю, что у каждого человека-творца есть своя вера. Нельзя создать нечто духовное, если не верить в Дух.

Мы говорим, что должны изображать действительность. Но наводить объектив на сточную канаву и утверждать, что вы снимаете действительность, — значит лгать. Сточная канавка — малая часть действительности. В коммунистическом мире требуют снимать смеющееся лицо и немедленно остановить кинокамеру, если улыбка исчезнет, — это называется социалистическим реализмом. Но ни одна частичная правда не становится настоящим искусством, если она не содержит смысла цельной правды. Подлинный импульс в искусстве не есть нечто особенное, но таинственное богатство обычных вещей. Искусство придает смысл и значение вещам, которые у всех нас перед глазами.

Наше время можно понять только как отрезок исторического развития. Подобно человеку, и культура живет определенное время. Средневековая Европа — Европа дитяти, тогда Бог и Церковь были отцом и матерью каждого. Ренессанс впервые обнаружил желание ребенка думать самому, часто противореча Церкви. Ренессанс стал началом эры индивидуального, эры протеста.

В жизни человека «период протеста» обычно начинается в 14-15 лет и длится, по крайней мере, пять

лет. К несчастью, он иногда затягивается. Гораздо чаще, изжив протест, зрелый человек находит независимый путь к такому состоянию, когда он и его истоки воссоединяются.

Это может произойти в наше время. Протест истощится, когда он приведет к бессмыслице. И затем может прийти поколение зрелых и сознательных людей.

Наша задача не в том, чтобы убежать от уродств мира в тишину и гармонию. Мы должны принять боль от сознания того, что принадлежим к извращенной культуре, и понести ее по дороге жизни — от хаоса — к новой форме, от отчаяния — к творящей вере. Но художественную деятельность нельзя подчинять холодным доктринам и теориям. Внутренняя свобода, переливающаяся через край, — вот творчество.

С помощью теологической доктрины можно организовать секту, с помощью теории — живописную школу. Свободные люди, живущие согласно вечным ценностям, могут создать новый тип совместной жизни — новую живую культуру и новую цивилизацию. Это дало бы, естественно, новую жизнь искусству.

На одной лекции в молодежной школе девушка спросила меня: как стать личностью?

Мы все рождаемся индивидуумами, но очень скоро вступаем на путь приспособления к окружающим нас людям, вместо того, чтобы развивать творческую личность.

Очень часто мы понуждаем себя к лихорадочной деятельности, но наше внутреннее Я остается неподвижным и мертвым. Возросшая личность неизбежно восстает против теории материалистического детерминизма и борется за то, чтобы стать творческим человеческим существом. Свободная личность всегда будет творить вокруг себя новую жизнь.

Девушка задала и такой вопрос: как становятся художником?

Иногда случается видеть артиста, который крайне энергично, с шумом выходит на сцену. Он бегают согласно всем законам собственно деятельности, однако лишь утомляет вас: он притворяется тем, кем он не является на деле.

Затем выходит другой. Ему вовсе не нужно двигаться — вы еще раньше чувствуете исходящие от него токи. Настоящий артист — личность, которая дана. Фальшивый артист больше озабочен тем, как он выглядит, а не тем, что он есть.

Значит ли это, что конечная цель каждого свободного человека — стать островом индивидуализма, не связанным с другими? Или анархия — финал развития человечества? Нет, только подлинная личность может понимать и уважать другого, какими бы разными они ни были. Настоятельная потребность человечества — создать такое общество, которое сохраняет за индивидуумом максимальную степень свободы и в то же время создает солидарность человеческих существ на основе общих ценностей. И тогда мы должны будем научиться работать вместе, а это нелегко для людей с сильной волей.

Один русский ученый недавно писал, что его соотечественники, покинувшие Советский Союз по той или иной причине, не могут более принадлежать к русской культуре. Когда я прочитал это, я вспомнил Генрика Ибсена, покинувшего Норвегию со слезами, прожившего в Италии 28 лет. Большую часть самых блестящих вещей он написал там — тех самых, которые лучше всего представляют норвежскую культуру и которые вошли в мировую литературу.

Отнюдь не место проживания определяет принадлежность художника к культуре — это зависит от вклада, который он вносит в воспитавшую его культуру.

Мы нужны друг другу. Чего бы ни собирались мы добиваться, мы должны действовать вместе, — в противном случае удача не придет к нам.

Не поможет человечеству, если Россия станет свободной и христианской страной, а западным миром начнет править атеистический материализм. Мы должны вместе победить или проиграть нашу борьбу. И наше братство — братство творчества.

В определенном смысле все мы — беглецы из враждебного мира. И все художники — пионеры, строители той новой Духовной страны, из которой эмигрировать никому не придется.

СПАРРЕ Виктор — норвежский художник, род. в 1919, учился в Государственной школе ремесла и прикладного искусства, затем — в Академии Художеств в Осло. Несмотря на свой пацифизм, в 1940 участвовал в кампании против гитлеровских войск. После войны продолжал учение во Франции и в Испании, одновременно много работая и выставляясь. Кроме живописных полотен, создал много витражей и предметов прикладного искусства. Тема России занимает большое место в его творчестве.

**Александр Солженицын
Александр Гинзбург**
Участникам Русского Общественного Фонда в СССР

ИСКРЕННЯЯ БЛАГОДАРНОСТЬ И ГЛУБОКАЯ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

5-го февраля мы приняли на себя трудную, но почетную и крайне необходимую обязанность — взять распределение средств вашего Фонда.

Человек хочет есть каждый день. Поэтому мы приступили к ней немедленно, в горькую для нас минуту — в минуту ареста Александра Гинзбурга — человека высочайшей честности, справедливости и разумности. Глубокий поклон ему от нас за ту, сказочную в условиях нашей жизни, четкость и ясность ведения дел Фонда, которую мы обнаружили, непосредственно приступив к своей работе. Глубокий поклон ему за справедливое и разумное распределение средств вверенного ему Фонда.

Лишь начав это многотрудное дело, мы поняли воистину колоссальное значение существования Общественного Фонда помощи преследуемым и заточенным, их нуждающимся и гонимым семьям, их плачущим детям.

Именно поэтому мы, живущие в государстве, где запрещено и сознательно выкорчевывается милосердие к узникам, решили исполнить свой первейший долг — поблагодарить всех тех, кто принимал и принимает участие в организации Общественного Фонда и в его исполнении. Примите простую человеческую благодарность. Спасибо. Спаси вас Бог.

Кроме поддержки жизни и здоровья «политических преступников», их страдающих матерей, жен и детей, Фонд в нашей стране необходим еще по двум, основным причинам.

Первая и основная. Моральная поддержка узникам, сокрытым от всего мира.

В беседах с освободившимися заключенными часто приходится слышать: **самое страшное** — это ощущение, что тебя забыли.

Подчеркиваем: **самое страшное** — не помнят, забыли, один. Значит, Фонд избавляет советских узников от самого страшного, от чувства одиночества, заброшенности. От этого же ощущения заброшенности Фонд спасает и семьи заключенных. Ощутимое присутствие Общественного Фонда вселяет надежду в сердца отцов и матерей, что их дети будут жить и расти, что бы ни случилось с их родителями, ибо о них знают и помнят.

Вторая и тоже основная. В 60-х годах с появлением открытого противостояния властям у людей нашей страны (непосредственно не участвующих в противостоянии) появилось робкое желание хоть как-то помочь тем, другим, идущим «на плаху». Так появился росток Общественного Фонда внутри страны.

Страшен у нас закон содержания людей в «местах заключения». По этому закону человек лишен возможности воспользоваться милосердием, а люди — проявить его. Нарушителя поджидает жестокая кара.

Однако с ухудшением внутренней ситуации росток стал увядать и увял бы, пожалуй, если бы не Фонд, учрежденный вне нашего государства. Вначале, правда, возникла точка зрения, что появление денег из-за границы испугает наших соотечественников и они отшатнутся от начатого доброго дела.

Но это была неверная точка зрения. Добро обязательно порождает добро, а не уничтожает его. Милосердие, которое с таким рвением искоренялось нашими властями, вновь пробудилось и побороло страх: Общественный Фонд стал пополняться средствами и наших сограждан.

И это вторая основная заслуга Общественного Фонда: пробуждение милосердия и уменьшение страха.

Именно за это огромное спасибо всем людям доброй воли, бескорыстно приносящим свои жертвования на священный Алтарь Милосердия и Добра, питающих нас и наших сограждан.

Пусть же Милосердие и Добро будут теми началами, которые помогут людям всего мира прийти к согласию, спасут их от войн и террора!

Татьяна Ходорович
Москва 129041, пр. Мира, д. 68, кв. 156
Мальва Ланда

5 апреля 1977 года

Татьяне Ходорович, Мальве Ланда

Спасибо вам, друзья, что Русский Общественный Фонд ни одного дня не был беспризорным, но тотчас после ареста Александра Гинзбурга перенят вами!

Вы замечательно верно пишете, что нас так согнули, так унизили, что даже шаги милосердия оказываются для советского человека шагами смелости, шагами в страшную неизвестность. Но тем выше гордость и радость, что всё больше находится людей, переступающих эту границу страха. Нам нанесено уродств, язв и ран гораздо глубже, чем только политических, и излечение от них лежит не на путях политики.

Храни Бог вас и всех, кто будет вам помогать и соучаствовать. Да не удастся врагам добра закрыть вам все пути!

Душевно с вами
и со всеми, кто у нас в стеснениях,
гонениях и за колючей проволокой

25. 5. 1977

25. 5. 1977

Александр Солженицын

«ВРЕМЯ И МЫ»

В странах Европы и Америки производится подписка на ежемесячный журнал литературы и общественных проблем «Время и мы», выходящий в Тель-Авиве. Вышло 16 номеров журнала. Читайте в них:

Артур Кестлер. «Тьма в полдень» — впервые на русском языке. **Борис Хазанов.** «Глухой неведомой тайгой», «Частная и общественная жизнь начальника станции» и др. рассказы — новый талант самиздатской литературы. **Зиновий Зиник.** «Извещение» — сюрреалистская проза о драме эмигранта. **Виктор Перельман.** «Отрицание отрицания» — воспоминания и наблюдения бывшего сотрудника «Литературки». **Майя Улановская.** «Конец срока — 1976» — лагерная жизнь школьницы, осужденной за терроризм после войны. **Владимир Гусаров.** «Мой папа убил Михоэлса» — сын бывшего первого секретаря Белоруссии рассказывает... **Юлий Марголин.** «Сентябрь, 1939» — неопубликованные главы из «Путешествия в страну Эзка». **Борис Вахтин.** «Ванька Каин» — ироническая проза, получена из Самиздата. **Андрей Синявский.** «Мы и они» — о самовыражении в лагере. **Он же** — «Театр Галича». **Михаил Ледер.** «Афера, или дело, которое тянется 22 года» — полное досье израильского «Уотергейта». **Илья Рубин.** «Рассказание и просветление» — о прозе Владимира Максимова. **Наталья Рубинштейн.** «Абрам Терц и Александр Пушкин» и другие статьи. Стихи **Анри Волохонского** и **Бориса Камянова.** И многое другое.

Стоимость подписки (включая пересылку журнала):

В США и Канаде: 6 мес. — 19,60 \$, 1 год — 39,20 \$

Во Франции: 6 мес. — 92 FF, 1 год — 184 FF

В Германии: 6 мес. — 46 DM, 1 год — 92 DM

Адрес редакции: «Time and We», Monthly Magazine, Nachmany St. 62/9, Tel Aviv, Israel

Необходимо прислать заявку с адресом подписчика и чек.

Из Франции оплата подписки производится перечислением соответствующей суммы на счет журнала Israel Discount Bank, Export Department, Hakiya Branch 2, Kaplan St., Tel Aviv, acc. 140317

Одновременно издательство «Время и мы» сообщает о выходе в свет автобиографического повествования Виктора Перельмана «Покинутая Россия» (кн. 1 «Иллюзии»). Автор — бывший корреспондент Московского Радио, фельетонист газеты «Труд», заведующий отделом и специальный корреспондент «Литературной газеты». Кн. II «Крушение» вышла в январе 1977 года.

В Париже журнал «Время и мы» и книгу «Покинутая Россия» можно приобрести в магазинах русской книги:

1. Les Editeurs Réunis. 11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris

2. La Maison du Livre Etranger (Dom knigi), 9, rue de l'Eperon, 75006 Paris

Цена журнала: 20 FF; цена книги: 17,50 FF

Представители журнала, у которых можно оформить подписку:

В Европе — Галина Келлерман: 64, rue de la Condamine, 75017 Paris

Тел.: 292-09-02.

В США — Эдуард Штэйн: 7 Miles Ave., Woodbridge, Conn. 06525.

Тел.: (203) 387-05-97

Звуковые барьеры радиовещания

Ян Н о в а к

Открытое письмо Александру Солженицыну

Вначале я хотел бы Вам представиться. Двадцать четыре года я был руководителем польских передач радио «Свободная Европа». Я ушел с этого поста полтора года назад, руководствуясь мотивами, о которых пойдет речь дальше.

В наших польских программах много лет почти ежедневно повторялось Ваше имя, и всё, что вышло из-под Вашего пера, воспроизводилось по-польски и достигало миллионов моих соотечественников, которые, слушая нас, с затаенным дыханием следили за Вашей судьбой.

Мы были единственным отделом РСЕ, который благодаря помощи Ежи Гедройца, редактора парижского журнала «Культура», целиком, изо дня в день, по пятнадцать минут ежедневно, передал Вашу горькую эпопею мук человеческих — «Архипелаг ГУЛаг», не опустив ни одного слова, ни одной запятой. И я не преувеличу, утверждая, что благодаря «Культуре» и РСЕ ни один русский не был в истории польской нации предметом такого уважения и симпатии, какими Вы окружены сейчас в Польше.

Именно поэтому я испытываю к Вам благодарность как человек, как поляк и как бывший руководитель радиостанции, вещающей на Польшу. Вы помогли нам перебросить первый мостик над пропастью, которую вырыли между двумя нашими народами преступные разделы Польши и вековая неволя, нашествие на нашу страну в сговоре с Гитлером в 1939 г., массовые депортации нашего населения в лагеря и тюрьмы, уничтожение наших военнопленных — цвета нашей интеллигенции — в Катыни и других, неизвестных местах казни, трагедия Варшавского восстания и, наконец, строй, принесенный на штыках Красной Армии, который, отняв у нас свободу и независимость, лишил польский народ плодов победы над Гитлером.

Все эти беды до сих пор в умах поляков ассоциировались с Россией и русскими. Только Вы показали полякам, украинцам, че-

хам, словакам и другим угнетенным народам Восточной Европы, что существует ДРУГАЯ Россия, которая страдает, как и они, Россия — такая же, как они, жертва ужасных преступлений и несправедливости. И что есть ДРУГИЕ русские — такие, как Вы, — не враги, а союзники, разделяющие с нами наше несчастье.

Красный тоталитаризм, который, как Вы справедливо утверждаете, ничем в моральном смысле не отличается от коричневого, основывает свое правление на устрашении граждан, порабощении их сознания и разжигании среди них взаимной вражды — национальной, религиозной, классовой и расовой. Он натравливает поляков на украинцев, христиан на евреев, крестьян и рабочих на интеллигенцию. Вы же вынесли из лагерей чувство солидарности и примирения людей, объединенных общим страданием, и Вы стали апостолом единственного союза, который может принести спасение: союза всех угнетенных советским строем, без различия нации, вероисповедания, происхождения или профессии.

Вы проявили героическую отвагу не только тогда, когда были в пределах достижимости КГБ, но и позже — говоря Западу горькую, неприятную, непопулярную правду, остерегая его от судьбы, которую готовят себе народы, утратившие волю к борьбе и самоотверженность в защите самих себя или же способные чужим рабством оплатить иллюзию своей безопасности и свободы.

Я не сомневаюсь, что Вы еще не раз выступите, отвечая на обвинения, будто бы Вы хотите толкнуть мир к ядерной катастрофе, ибо Вы якобы не указали до сих пор невоенных путей сохранения западных демократий.

Имея в виду как раз будущие Ваши выступления, я обращаюсь к Вам с этим открытым письмом, которое одновременно является призывом о помощи. О помощи не для меня, но для тех, кто Вам ближе всего, для тех, к числу которых и Вы относитесь.

Вы, безусловно, полностью отдаете себе отчет в значении западного радио для движения защиты прав человека в Советском Союзе и других странах под властью коммунистической тоталитарной диктатуры. Для нескольких сот миллионов людей, живущих в коммунистическом блоке, западное радио является единственным источником информации и оценок, а также единственным средством связи с внешним миром. Для немногочисленной же группы активных защитников прав человека — Би-Би-Си, «Голос Америки», «Немецкая волна» и, прежде всего, радио «Свобода» и «Свободная Европа», кроме того, служат передаточным ремнем между

ними и широкими массами граждан их собственных стран. Без этого средства передачи — их выступления, отвага и самоотверженность были бы совершенно неизвестны широким массам. Огласка, придаваемая в западных средствах массовой информации репрессиям и преследованиям против борцов за права человека, составляет их единственную защиту от органов подавления и террора.

Как Вы знаете, Конгресс Соединенных Штатов, американская пресса и общественное мнение подавляющим большинством отвергли в 1973 г. предложение сенатора Фулбрайта, требовавшего закрыть радио «Свобода» и «Свободная Европа» как «пережиток холодной войны». Однако сенатор Фулбрайт не был, как оказалось, единственным глашатаям этого мнения.

История обеих радиостанций в 1971-1976 гг. оказалась — вопреки многочисленным опровержениям и публичным заявлениям — верным отражением пресловутой доктрины Зонненфельдта. Под ложным предлогом экономии денег американского налогоплательщика персонал обеих радиостанций был сокращен примерно на треть. Состав редакторов только одной польской редакции срезали на 40%. С одной стороны, вводили высокие премии для тех, кто соглашался уйти раньше пенсионного возраста, с другой — герметически заблокировали приток новых сил, приговаривая обе радиостанции к постепенному увяданию, отнимая у них будущее. Массовые увольнения, повторяющиеся из года в год, приводили к деморализации, к уничтожению идейной настроенности сотрудников, глубоко разочарованных и живущих в постоянном страхе за завтрашний день. Всё время выдвигались новые проекты реорганизации, слияния, перенесения радиостанций на территорию США, то есть удаления от стран, проблемами которых они должны жить повседневно; Международный комитет радиовещания, созданный Конгрессом, боролся за то, чтобы отнять у обеих радиостанций автономию, охраняющую их от вмешательства дипломатов и правительственной бюрократии, — всё это ликвидировало стабильность и спокойствие, необходимые условия любого творческого труда.

Одновременно, во имя экономии и недостатка средств, в течение ряда лет отвергались требования усилить и модернизировать устарелые и слабые передатчики, действующие, в основном, еще с 1951 года. И это в то самое время, когда Советский Союз и страны коммунистического блока швыряли сотни миллионов долларов на эффективное глушение западных радиостанций и на

расширение мощности своих передач на границу — как открытых, так и диверсионных.

Политические директивы*, введенные Международным комитетом радиовещания и опубликованные в отчете за 1976 г., являются ярким примером нравственного дуализма эры Киссинджера-Зонненфельдта. В то время как во вступлении радио «Свобода» и радио «Свободная Европа» определены как «независимые радиостанции», долженствующие заменить слушателям свободную прессу и радио, — вторая часть директив наполнена длинным списком запретов и ограничений, явно противоречащих свободе слова и праву наций на самоопределение. В частности, документы самиздата должны подвергаться «детальному исследованию», прежде чем их можно будет распространять в эфире.

Чувствуя себя бессильным перед лицом постепенного демонтажа того инструмента, которому я посвятил большую часть своей сознательной жизни, 1 января 1976 г. я ушел со своего поста.

Перелом наступил только сейчас, когда президент Картер выдвинул на первый план своей программы дело защиты прав человека, разрывая с двойственной моралью своих предшественников. Это немедленно нашло выражение в отношении к радиостанциям «Голос Америки», «Свобода» и «Свободная Европа». В публичном заявлении президент Соединенных Штатов поднял их достоинство, определяя их как важнейшие инструменты американской внешней политики. Обещание удвоить мощность передатчиков всех трех радиостанций позволяет надеяться, что их голос преодолеет глушение и дойдет до миллионов Ваших соотечественников в Советском Союзе и их сотоварищей по несчастью в странах Восточной Европы.

Программа президента Картера, однако, может быть реализована и найти последователей в таких странах, как Великобритания, Западная Германия и Франция, только в том случае, если она встретит широкую поддержку общественного мнения в Соединенных Штатах и во всем западном мире.

Вы были бескомпромиссны в своей отважной разрушительной критике политики Запада относительно советского тоталитаризма. Сегодня я призываю Вас сказать свое весомое слово, требуя полного использования тех возможностей, которые создает техническая революция в сфере средств массовой информации.

* См. письмо Владимира Буковского директору радио «Свобода» в «Континенте» № 11. (Прим. ред.)

Наверное, никто лучше Вас не осознаёт стратегического значения этого требования. Если бы западные радиостанции начали вещание на Россию не в 1946, а в 1918 году, — не стало бы возможным тоталитарное порабощение умов целого поколения, родившегося в СССР между войнами и воспитанного в условиях герметической изоляции от внешнего мира. Повсюду там, где голос западного радио доходит до слушателя, преодолевая глушение, цензура теряет смысл. Повернув ручку радиоприемника, каждый может узнать всё, что пытается скрыть от него власть. А правящая бюрократия прекрасно понимает, что без эффективной цензуры, гарантирующей монополию информации, пропаганды и воспитания, тоталитарный режим недолговечен.

Кремлевская олигархия, объявив Западу идеологическую войну, открыто провозглашает, что этим путем она, не применяя оружия, стремится к покорению западных демократий и победе в мировом масштабе. Одной из первостепенных целей этого наступления было выбить из рук противника тот инструмент, которым является радио, а в будущем станет телевидение с помощью спутников. Это понял президент Картер. Увы, этого не понимают люди Запада, привыкшие к тому, что радио и телевизор — всего лишь поставщики развлечений. Но Вы, великий писатель, конечно, знаете цену слову как носителю мысли и идеи.

В начале было слово. Христос не имел иного оружия, кроме слова, и оно, разносимое и повторяемое из уст в уста Его учениками, одолело тогдашний языческий мир. Словом поднимали людей и народы творцы религиозных движений, мыслители, философы, писатели, отцы новых идей, — словом они собирали сторонников, освобождали могучие запасы человеческой энергии, пробуждали готовность к безграничной самоотверженности и к действию, вооружали одних и обессиливали других.

Западный мир, погруженный в бытовое благополучие, завоуженный материальной мощью современного оружия и средств уничтожения, потерял не только веру в какую-либо идею, но и забыл о значении слова как носителя человеческой мысли. Но он еще сохраняет свободу, проявляющуюся в свободном столкновении различных, нередко противоположных мнений. Независимое свободное радио, а в будущем сателлитное телевидение — это слово бы проекционный аппарат, который может направить на экраны умов человеческих от Эльбы до Камчатки глубоко притягательный образ свободы.

Не будет проку от астрономических миллиардов долларов на производство сверхсовременных средств уничтожения, если их применение означает массовое самоубийство, а единственной альтернативой оказывается только постепенная капитуляция — сдача без выстрела одной позиции за другой. Сама техническая и материальная мощь способна иметь разоружающее влияние, создавая фальшивое чувство защищенности, — как линия Мажино морально разоружила французов перед 1939 годом.

Вооружения, необходимые в момент растущей угрозы, сами по себе не дают ответа на вопрос, как Запад может защитить себя и победить в идеологической конфронтации с советским тоталитаризмом.

Так поднимите же еще раз Ваш голос, чтобы указать направление контрнаступления. Голос Ваш возбуждает активную неприязнь в тех, у кого отнимает блаженное спокойствие или моральное алиби, но каждое Ваше высказывание внимательно слушает весь мир. Напомните им, что этим направлением идеологического контрнаступления может быть только воздействие словом на умы людей, живущих в том огромном лагере, который называется «блоком социалистических государств». Словом, которое не побуждает к насилию, но, указывая свободу, освобождает поработанные умы, пробуждает самостоятельное мышление, помогает людям преодолеть паралич страха, отнимает смысл существования цензуры, делает невозможной чистку мозгов и становится рычагом перемен. Покажите же западному общественному мнению, что на этом пути светит надежда на спасение и на победу без использования войны и ядерного хакари.

Технический прогресс открыл слово как носителя мыслей, идей и информации. С каждым днем приближается эра спутникового телевидения, которое позволит рабочему или крестьянину в самой глухой деревне своими глазами увидеть условия жизни в свободном мире. Необходимо только концентрировать соответствующие финансовые средства и признать право приоритета — чтобы ускорить введение международного телевидения в арсенал идеологической борьбы. Присутствие на Западе многочисленных защитников свобод, недавних выходцев из Советского Союза, во главе с Вами — впервые открывает перед радио «Свобода» возможность высказаться так весомо, чтобы оказать влияние на население и дойти до самых отдаленных уголков СССР.

Предостерегая западные общества, укажите же им и возможный выход, пробудите в них надежду, ибо без надежды нет воли к сопротивлению.

В заключение я прошу Вас принять мое глубочайшее восхищение, почитание и преданность.

26.3.1977

НОВАК Ян (наст. имя и фамилия Здзислав Езёранский) — род. в Варшаве в 1913, окончил Познанский университет, был перед войной старшим ассистентом кафедры истории экономических доктрин и теорий в Познани. Участвовал в войне с немцами в сентябре 1939, с марта 1941 принадлежал к Армии Крайовой, участвовал в Варшавском восстании 1944, был редактором на повстанческой радиостанции. В 1943-45 трижды был эмиссаром командующего АК на Запад, причем в январе 1945 — первым эмиссаром-участником восстания, добравшимся в Лондон. Награжден польскими и английским военными орденами. В 1948-51 был одним из редакторов польской секции Би-Би-Си. В 1951 стал организатором и директором польской редакции радио «Свободная Европа», где проработал до конца 1975.

ЗАПИСКИ РАДИОСЛУШАТЕЛЯ

Неоднократно я уже замечал: стоит по каким-то причинам несколько дней не послушать передачи западных радиостанций, и совершенно теряется всякая ориентация в мировых событиях. Вот и совсем недавно: дня три-четыре прожил я без своего транзистора, открываю «Правду», читаю статью о событиях в Португалии и — ничего не понимаю... Что там сегодня происходит? В какую сторону развиваются события? Не понимаю. Иммуитет к «новоречи» (Орвелл), который удается выработать и сохранять, лишь постоянно, регулярно питаюсь новостями, доносимыми до нас, живущих в России, радиоволнами из свободного мира, не позволяет уму довольствоваться угаданным между строк насквозь лживой и тенденциозной советской прессы. О том же, например, поется в полушутливой песенке Александра Галича: «Товарищ мистер Гольдберг, скажи хоть что-нибудь!..» Существует немало других серьезных свидетельств о том, что сегодня человек в Советском Союзе, лишенный возможности... точнее сказать: никогда не имевший возможности покупать по утрам в киосках Союзпечати «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан», «Монд», «Русскую Мысль» и другие издания, независимые от советского «Мини-Тру» (опять же — Орвелл), только благодаря западному радио получает полную и всестороннюю информацию о происходящем в мире и (парадокс — но это так!) о событиях внутри СССР. Об этом же неоднократно веско свидетельствовали и А. Солженицын, и А. Сахаров, и В. Максимов, и другие лидеры свободомыслящей России. Если не прислушиваться к их голосам (а надо бы — прислушиваться!), то стоит обратить внимание на то, с каким раздражением, с какой злобой без конца набрасываются на западные радиостанции советские деятели. Вот на столе моем — целая кипа материалов, содержащих нападки на западное радиовещание, обругивающих, облаивающих, охаивающих «Свободу», Би-Би-Си, «Голос Америки» и др. радиостанции, вещающие на русском языке. Назову хотя бы некоторые из книг, посвященных этой теме, не стану тратить время и место на перечисление неисчислимого множества газетных и журнальных статей, кои появляются, должно быть, еженедельно. Итак: А. Белов, А. Шилкин. «Диверсия без динамита»; А. Ф. Панфилов. «За кулисами «Радио Свобода»; Г. Н. Вачнадзе. «Антенны направлены на Восток». Последняя книжица издана совсем недавно, уже в «великую эпоху разрядки».

Видимо, стоит еще обратить внимание на обширную статью «Отравители», написанную заместителем главного редактора газе-

ты «Правда», главным внешнеполитическим комментатором советского радио и телевидения, депутатом Президиума Верховного Совета СССР и прочая и прочая — Юрием Жуковым, опубликованную в журнале «Знамя», №№ 10 и 11 за 1974 г. Этот неустанный борец за мир, готовясь, видимо, к «событию первостепенной важности» — к Хельсинкскому совещанию в верхах, в своей статье озлобленно обругал западные средства информации, обозвав всех журналистов свободного мира (кроме разве что услужливого Джеймса Олдриджа, еженедельно подкидывающего АПНу очередные порции своей просоветской продукции) — отравителями. Деликатно сказано, не правда ли? Однако я, осмелюсь заметить, регулярно слушаю западное радио, но ни разу не слышал, чтобы когда-нибудь кто-нибудь отсюда, с Запада, позволил себе налечь хотя какой-нибудь неслетный ярлычок на того же Ю. Жукова или на его коллег-единомышленников: В. Зорина, С. Зыкова, В. Шрагина и пр. Видно, воспитание другое, не позволяющее на личности переходить, что ли?..

Я регулярно, систематически слушаю передачи западных радиостанций лет 5-6. Как уже сказано в начале этих заметок, не мыслю себе дня без того, чтобы хоть 15 минут в сутки не посидеть с транзисторным приемником в руках, чтобы хоть краем уха не услышать хоть самой краткой сводки последних известий. Мне кажется, я не ошибусь, если засвидетельствую, что сейчас западное радио в СССР слушают *все* слои населения, почти *все* поголовно население СССР. Это, если и преувеличение, если и «округление», то — не слишком грубое.

Из документов самиздата, например, известно, что некоторые кагебисты иногда проговариваются, проявляя неслужебное знакомство с содержанием самых недавних передач несоветского радио. Это факт не раз зафиксированный.

Вот другой показатель, уже из моего личного опыта. Год назад еще работал я редактором в небезызвестном журнале ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Как раз тогда журнал опубликовал просталинский роман И. Стаднюка «Война». Через некоторое время западные радиостанции, ссылаясь на сообщения корреспондентов из Москвы, прокомментировали этот факт. Надо было видеть, как в следующие дни одни сотрудники редакции, встречаясь в коридорах, мрачно цедили друг другу: «Ну и в дерьмо же мы вляпались, на весь мир прогремели...», а другие, сталинисты и антисемиты типа Вл. Фирсова и Г. Серебрякова, спешили по утрам в кабинет главного редактора и, потирая руки, делились радостными для них новостями: «Вчера нас Би-Би-Си («Голос Америки», «Немецкая Волна», «Свобода»...) поругало!» Почему радовались? Да по принципу: *враг* ругает, значит — мы правы.

Как, может быть, некоторые помнят, спустя какое-то время на страницах газеты того же ЦК ВЛКСМ, «Комсомольской правды»,

появилась критическая статья об этом романе Стаднюка. На Западе это заметили и обратили внимание радиослушателей на этот факт. На моих глазах Анатолий Иванов, главный редактор «Молодой гвардии», узнав от сотрудников о содержании радиокомментариев по этому поводу, снял телефонную трубку, позвонил «куда следует» и попросил прислать ему застенографированные тексты этих передач. Через несколько дней шеф собрал сотрудников редакции в своем кабинете, в нашем присутствии набрал номер телефона одного из секретарей ЦК комсомола и прочел ему выдержки из этих сообщений, тексты которых ему любезно предоставили друзья из ГБ. «Слушай, Вася, — сказал Иванов, — что вещают наши враги: «Москва. Как сообщает московский корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», недавно в «Комсомольской правде» появилась статья, резко критикующая опубликованный в журнале «Молодая гвардия» престоалинский роман Ивана Стаднюка...» И прочитывает всю информацию, переданную «Голосом Америки». Затем так же цитируются передачи «Свободы», Би-Би-Си и «Немецкой Волны». А итог выводится следующий: «Ты понимаешь, Вася, что натворила «Комсомолка», если ее хвалят наши враги?..» (Сюда же надо добавить, как сам Стаднюк переписывал для себя копии радиоперехвата, в архив свой писательский...)

Еще вот эпизод. Мой друг, собравшийся эмигрировать из Советского Союза, получил письмо от своих родителей, простых людей, никогда не занимавшихся интеллектуальной деятельностью, никогда не считавшихся оппозиционерами по отношению к советскому режиму. Они не одобряют решения сына, они исчерпали все житейские доводы, чтобы переубедить его, и вот пишут: «Слышали мы тут по радио Америки интервью с каким-то Володи (фамилию не разобрали), недавно приехавшим в Америку из Москвы. Даже ему, хотя он прекрасно знает английский язык, плохо там и грустно...»

А прошлой зимой я ездил с одним моим другом-писателем в глухую приволжскую деревушку — отдохнуть, на лыжах покататься. Жили мы в доме лесника, мужика лет 45, все, казалось бы, интересы которого сводятся лишь к одной ежедневной проблеме: где сегодня добыть полтора рубля, чтобы сбежать в соседнее село купить бутылку «гнилушки», выпить ее одним махом с холода да и засесть на весь вечер перед телевизором, не разбирая, что показывают и зачем. А у нас с приятелем с собой был транзистор, и каждый вечер мы сквозь рев глушилок и грохотное бурчание телевизора в соседней комнате напряженно вслушивались в голоса дикторов радио «Свобода». Время от времени на пороге нашего чулана появлялся хозяин и, не замечая, что он нам мешает, радостно сообщал нам, каждый раз одно и то же: что прошлой зимой он по своему дешевенькому приемнику «поймал Сахарова». И так он гордился этим, и так он был доволен тем, что слышал «самого

Сахарова», что никак не могли мы удержаться и каждый же раз спрашивали нашего общительного хозяина: «Ну и как он, Сахаров, тебе?» — «А что, — серьезно отвечал лесник, — мужик наш, правильный. Дело говорит, потому и ругают». (Саша Соколов, теперь живущий на Западе, может подтвердить эту историю, ее невыдуманность.) Наивно, конечно, было бы выводить из этого факта, что все крестьяне регулярно слушают западное радио, но ведь — слушают же!..

Когда я возвращаюсь в Москву после коротких поездок в свой родной город в 170 километрах от столицы и рассказываю друзьям, что по центральной улице этого областного центра (конечно же — Советской улице) по вечерам прогуливаются сотни подростков, группами, со своими подругами в обнимку, и в каждой группе кто-нибудь непременно прижимает к животу транзистор с далеко в сторону торчащей никелированной, блестящей в темноте антенной, и каждый приемник непременно настроен на «Голос» или какую-нибудь другую западную станцию, и ревет обязательно на всю мощь своего динамика... Друзья мои в притворном веселом ужасе всплескивают руками: «Что делается?! Разгул демократии!.. А в каком штате находится этот город?..»

И нужно ли рассказывать о том, что ни одна туристическая группа, ни одна геологическая экспедиция, ни одна группа студентов или служащих, выезжающих «на картошку», не обходится ныне без транзисторного приемника? Что танцы на деревенских пятачках происходят не под давно уже забытую гармошку, а под танцевальную программу «Голоса» или «Немецкой Волны»? Нужно ли говорить, что транзистор — более неотъемлемый атрибут в сегодняшней квартире, чем, скажем, телевизор, которых-то, как утверждает советская статистика, уже чуть ли не по полтора «на душу населения»... Все это факты известные, и только Юрий Жуков и ему подобные «правдисты», только эти «приводные ремни партии» берутся бессовестно утверждать, что западные радиоцентры «теряют слушателей» в Советском Союзе. Это — не так.

Количество радиослушателей западных станций неуклонно растет. И те, кто берется анализировать эффективность работы западных радиостанций, вещающих на Россию, должны бы обратить внимание на такой совершенно поразительный пример. Год назад группа независимых московских художников решила организовать самостоятельную выставку своих работ на открытом воздухе, в зоне отдыха на окраине Москвы. Но как сообщить об этом любителям искусства? Очень просто, как оказалось. Инициаторы выставки проинформировали о своей затее иностранных корреспондентов в Москве, те послали соответствующие известия в свои агентства и газеты, а радиостанции, почерпнув эту новость оттуда, сообщили ее москвичам. Помните, сколько тысяч заполнили огромную лужайку Измайловского парка 29 сентября 74 года? То-то же...

А ведь сколько еще не пришло по различным причинам!.. Вот такие факты заменяют нам опросы общественного мнения, институты Гэллага и пр.

Деятели западного радио должны помнить, должны чувствовать ситуацию в сегодняшней России. Вот все тот же Юрий Жуков пишет: «Советский человек привык уважительно относиться к печатному слову и к слову, которое доносят до него волны эфира». Все правильно сказано, но требует одного дополнения: к слову, произнесенному и написанному не-советскими пропагандистами и журналистами. Советская пресса с ее нескончаемой ложью и с отсутствием твердых, постоянных критериев обрыдла советским людям всех слоев общества, всех образовательных и интеллектуальных градаций.

Вот самый простой пример, очень типичный, насколько я могу судить. Одна пожилая работница, видя и слыша ежедневные словословия в адрес «Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза товарища Леонида Ильича Брежнева» (прошу прощения, но не я выдумал такое писанное правило, именно так должны без запинки каждый раз его титуловать советские дикторы, и они не запинаятся, в отличие от дикторов «Голоса Америки», которые нет-нет да и ляпнут, на потеху слушателям в СССР: «Генеральный секретарь Киссинджер», «Государственный секретарь Брежнев»...), эта простая женщина вздыхает: «Сталин был верным ленинцем — обосрали, Хрущев был еще вернее — тоже обкакали, теперь вот и этот — в ленинцы записался...» И переключает советский человек свой телевизор на другой канал... И тут мне опять придется отвлечься, пересказать недавний советский анекдот на эту тему.

Приходит человек с работы, включает телевизор. Показывают выступающего Брежнева. Включает другую программу — и тут Брежнев выступает, переключает на третью — опять Брежнев! Чертыхнулся человек и переключил телевизор на последнюю, учебную программу. А там во весь экран здоровенная квадратная рожа свирепо таращится и кулаком грозит: «Смотри, п[а]ря, допереключаешься!...»

Но вернемся к теме. Радиостанции Запада сейчас слушаются советскими людьми, можно сказать, совершенно открыто, без боязни. Отсутствие же страха расковывает человека, и он все охотнее идет на обмен информацией. Вечером мы слушаем новости, которые, конечно, нельзя будет прочесть утром в «Правде», а если и прочтешь — то не узнаешь. И действительно, утром, по пути на работу, в метро или троллейбусе мы разворачиваем три унылых листа «Правды» или «Известий» и не находим услышанного нами вчера, или находим до неузнаваемости искаженным.

И встречаясь на работе с сослуживцами, мы спешим поделиться с ними чем богаты. А они — с нами. А так как советские люди в рабочее время только делают вид, что работают (а государство

делает вид, что платит им зарплату), то чем-то все-таки надо убить время. Хорошо женщинам — у них свои проблемы: где что дают, что кто носит... А мужчинам о чем говорить? Замечательные футбольные матчи — не каждый день... И обсуждаются события в Португалии... Не по информации «Правды» — тут обсуждать нечего: информация «Правды» обсуждению не подлежит (и потому что она — догма, и потому что ее — нет как таковой). Значит, со слов «Голоса» или Би-Би-Си. Обсуждаются последние выступления Солженицына, заявления Сахарова, издательская деятельность Максимова, выставочная Шемякина и Глезера... А вечером, после работы, человек возвращается в другом кругу, не среди сослуживцев, конечно, которые надоели ему за 7-8 часов рабочего безделья. Теперь он делится информацией, которую непосредственно из эфира получил, плюс — сообщенной ему товарищами по службе... И узнает еще что-то новое... Вот такова механика вечного двигателя информации, которой делится с нами свободный Запад. И это следует учитывать, этот высокий КПД собственной деятельности следует ценить и беречь тем, кто посвятил свою жизнь распространению информации, службе Правде (без кавычек).

Что же именно мы слушаем?

В упомянутой мною книжке «Диверсия без динамита» есть «схема размещения враждебных (так! — В. С.) радиостанций, ведущих пропаганду на социалистические страны» (стр. 103). Составители этой схемы, из-за ложной, по-видимому, скромности, утаили несколько, разумеется, известных им радиостанций, таких, как Белград, Пекин, Тирана... И это понятно. (Непонятно, почему обижено невниманием «Радио Швеция», может быть, оно не числится во «враждебных»?) Сверим эту схему со своим личным опытом, а заодно поделимся своими впечатлениями об этих радиостанциях, о содержании и качестве программ. Разумеется (нужно ли специально оговариваться?), все наблюдения принадлежат только мне, и за их достоверность несу ответственность только я, основываясь на своем, более чем пятилетнем регулярном слушании западного радио. Но и, должно ради истины отметить, немало людей опрошено мною на эту тему, дабы откорректировать, дополнить свои взгляды и оценки. Также надо учитывать, что я со своим транзистором находился все эти годы либо в самой Москве, либо недалеко, в радиусе 220 километров, от нее.

Итак — самый большой сектор отведен в этой схеме «Голосу Америки». И по справедливости. Эта радиостанция вещает порусски с 17 февраля 1947 года, сейчас — по одиннадцать часов в сутки. Техническая оснащенность «Голоса», по-видимому, лучше, чем у всех остальных радиостанций. Передачи «Голоса» очень разнообразны, охватывают очень широкий круг вопросов и тем, все сферы общественной, научной, культурной жизни Америки, много внимания уделяется рассказам о быте американцев. Делается это

по большей части профессионально, умело, артистично. Дикторы хорошо владеют русским языком, неплоха редактура текстов радиопередач. Но, как это не прискорбно, «Голос Америки» не имеет сегодня своего пристрастного слушателя. Это отнюдь не значит, что у него нет слушателей. Напротив, количество слушающих передачи «Голоса Америки», я полагаю, превышает количество слушающих другие западные станции. Но объясняется это не характером передач, не их направленностью, но лишь мощностью передатчиков, почти полным отсутствием советского глушения передач «Голоса Америки», а также удобным для слушателя временем вещания. «Голос», в отличие от других станций, можно послушать всегда, можно включить приемник, вернувшись из гостей поздно вечером, и, настроившись на «Программу для полуночников», узнать сразу все дневные новости. Очень удобно для слушателя, что самая важная программа «Голоса» — «События и размышления» — с недавнего времени повторяется в магнитозаписи на следующий день в рамках передачи, начинающейся в 3 часа дня (время везде московское). Если и это почему-либо не устраивает слушателя, он может включить приемник рано утром и за завтраком, перед уходом на работу, узнать вкратце о самых важных событиях в мире.

И, тем не менее, «Голос» теряет своих слушателей. Начался этот процесс сравнительно недавно. По-видимому, кто-то в американских верхах слишком всерьез играет в так называемую разрядку, решив, что лучше поступиться собственными идеалами, предписывающими безусловную свободу распространения информации, — лишь бы не обидеть противника. (Написал «противника» и подумал: полно, да противник ли теперь Кремль для Белого Дома? Может быть, давно уже — лучший друг? Странная ситуация: сидят два взрослых человека и играют в шашки. Но один из игроков всерьез играет, стараясь как можно больше фигур «съесть», а другой игрок — в «поддавки» играет, он цель игры видит в том, как бы заставить противника «съесть» как можно больше его фигур...) Эта политика, окрещенная здесь, в России, как «киссинджеровщина», сказалась на эффективности «Голоса Америки» как тяжелая иссушающая болезнь. Слушатели стали с некоторых пор замечать, что «Голос» все больше времени уделяет таким темам, как филателия, спорт, нумизматика, музыка, туризм, наука и техника, здравоохранение, сельское хозяйство, все более сужая количество и продолжительность передач, имеющих первостепенное значение для советских людей. Постепенно в программе «Голоса Америки» осталось лишь несколько передач, действительно интересных здесь, в России: «Обзор религиозно-общественной жизни», «Что пишет американская печать о Советском Союзе» (но и здесь стали преобладать темы, в лучшем случае, внешнеполитические, но все меньше и меньше — о внутренней жизни в СССР), «Книги и люди». Но в последнее время и эти темы заметно выхолащиваются. В «Обзоре религиозно-обществен-

ной жизни» совершенно игнорируются проблемы нашей, российской действительности; в программе «Книги и люди» почти не упоминаются работы таких писателей, как Солженицын, Максимов, Галич, Бродский, Коржавин и др., т. е. игнорируются те, кто пишет сегодня самые важные для России книги, которых ждут сегодня в России миллионы читателей. «Голос Америки» не помогает читателям найти эти книги. Ну, а про передачу «Обзор американской печати о Советском Союзе» я уже говорил, тут «Голос» можно упрекнуть даже в сознательном замалчивании некоторых действительно важных тем, о которых, как известно, американские корреспонденты из Москвы пишут довольно обстоятельно и часто. Как к этому относиться нам, слушателям в СССР? Не оскорбително ли такое к нам отношение американской радиоадминистрации, которая сознательно проводит политику дискриминации в области обмена информацией? Если они всерьез считают, что существуют новости для свободного мира и новости — победнее, поскупее — для живущих за железным занавесом советской цензуры, то можем ли мы верить в их непоколебимую преданность принципам Декларации прав человека, торжественно утверждающей неотъемлемое право каждого получать и распространять любую информацию?

А предположим, что завтра ситуация в мировой политике изменится, Киссинджер и иже с ним уйдут в тень, и «Голосу Америки» придется сменить тон своих передач на Советский Союз, его дикторы вновь с пафосом начнут требовать от кремлевских вождей свободы слова для советских людей?... Кто завтра всерьез отнесется к таким справедливым словам, помня, что еще вчера этот же «Голос» не давал свободы своим редакторам и дикторам... Горько, но это выходит так.

Более того, в Москве поговаривают, что работникам «Голоса Америки» приходится записи некоторых передач, прежде чем запустить их в эфир, возить на прослушивание в Госдепартамент, который, говоря журналистским языком, «режет» всё, что, по мнению рыцарей детанта, может не понравиться кремлевским цензорам... Занятная ситуация! И главное, что никому не приходит в голову простая мысль о моральной ответственности за такие подрывные, направленные против самих американских принципов свободы, действия!

Не менее серьезную тревогу вызывают у свободомыслящих в СССР слухи о возможной официальной передаче «Голоса Америки» под непосредственный контроль правительства. Ни к чему хорошему, я полагаю, это не приведет. Большевиков вам, господа, все равно никогда не задобрить! Как вы этого не понимаете?! Ведь, как ни крути, все эти «разрядительные» маневры шиты белыми нитками, и они, большевики, это прекрасно понимают. «...В последнее время «Голос Америки» и Би-Би-Си, — пишет все тот же Ю. Жуков, — предпочитают тон вкрадчивый, порой даже как будто

дружественный. Однако... классово-враждебная направленность передач» ему, Жукову, разумеется, очевидна. Он, как и другие коммунистические идеологи, считает, что предлагается «изменить лишь формы и методы радиоинтервенции (!), ничего не меняя в сути дела. Приноравливаясь к новой обстановке, организаторы «психологической войны» постепенно начинают переходить от «лобового убеждения» («hard sell») к «ненавязчивому убеждению» («soft sell»), но этим новизна и ограничивается. Ставка по-прежнему делается на «эрозию» устоев нашего строя, на все ту же стратегию «наведения мостов», по которым можно было бы перебрасывать в социалистические страны гнилой идеологический товар, — стратегию, которая, как помнит читатель, широко рекламировалась еще во времена президента Джонсона». Юрий Жуков, сознаемся, видит куда больше нашего. «Мы видим, — вещает он, — что американский пропагандистский аппарат, и прежде всего та часть его, которая орудует (!!) в эфире, старательно пытается выполнить сей обширный план, причем осью его была и остается антисоветская и антикоммунистическая деятельность».

Мы, простые слушатели, кто ежевечерне садится перед радиоприемниками, не видим этого. Наоборот, мы слышим иногда из уст некоторых комментаторов «Голоса Америки» такую апологетику Советам, какую не услышишь в передачах Радио Москва.

Вот побывал в Советском Союзе корреспондент «Голоса Америки» Виктор Француз; в первых числах ноября 1974 мы услышали его впечатления о советской действительности. Оказывается, в наших магазинах — «обилие товаров» (!!), а очереди, если и есть, то только потому, что плохо налажено обслуживание... Вот это да! Жаль, что женщинам, которые в провинциальных городах должны в 6-7 утра собираться у магазинов, чтобы, когда они в девять откроются, раскупить в полчаса все имеющееся «обилие» мясных продуктов, не объяснил господин Француз, в чем тут все дело. Они бы его «обслужили» так, что в другой раз он не спешил бы делать такие опрометчивые заявления... Подобное верхоглядство подрывает авторитет радиостанции, разрывает те тонкие нити взаимопонимания, которые протягиваются между радио и его слушателями, протягиваются только в случае полной информированности и добросовестности, и истинной заинтересованности первого в судьбе последних.

И еще раз вернемся к упрекам «Голосу Америки», который почти напрочь игнорирует выдающихся деятелей русской культуры, в последнее время оказавшихся на Западе. Их, к сожалению слушателей в России, по-видимому, не слишком охотно приглашают к микрофонам радиостанции, в то время, как им есть что поведать верящим их слову соотечественникам. (На моей памяти лишь несколько репортажей Зоры Сафир и Юрия Осмоловского.)

Вместо этого «Голос Америки» берется иногда прямо дублировать Радио Москвы и предоставляет на неограниченное время свои

микрофоны таким послушным шавкам Кремля, как Сергей Михалков, которого иначе как подонком и не называют в России. Что это, как не издевательство над слушателем? Или бесконечные интервью со всевозможными советскими делегациями: спортсменами, артистами, писателями и даже — партийными деятелями... Полно, господа, ведь мы имеем возможность слышать такие вещи ежедневно и ежеминутно по советской радио- и телевизионной сети!

Станным образом «Голос Америки» игнорирует и русскоязычную прессу Америки, которая — и мы, в России, это знаем! — есть, и довольно-таки интересные материалы в ней помещаются. Почему она не учитывается в разделе «Американская печать о Советском Союзе», ведь и нью-йоркское «Новое Русское Слово», и сан-францисская «Русская Жизнь» — американские газеты, с теми же правами, что и «Нью-Йорк Таймс», и «Крисчен Сайенс Монитор»?.. Это, опять же, дискриминация, только тут уже пахнет расовой дискриминацией, прошу прощения, но будем называть вещи своими именами...

Я не хочу сказать, что у «Голоса Америки» нет вовсе никаких заслуг. Есть и положительные стороны в его деятельности. Отдельные сотрудники радиостанции нашли верный тон, нашли подход к сердцам подростков и молодежи в СССР, которые это оценили и «своих» дикторов и авторов передач, как, например, Юрий Осмоловский, знают по именам. (Тут надо еще не упустить сказать, что передачи поп-музыки, которые в довольно больших количествах транслируются по «Голосу», определенным успехом пользуются, в основном, разумеется, у молодежи, на которую они и рассчитаны. Совсем непонятно, зачем надо транслировать по коротким волнам серьезную музыку? Ведь те атмосферные помехи, которые не могут слишком уж навредить року, совершенно убивают классическую музыку, любитель которой лучше совсем не будет слушать такую музыку с искажениями, просто выключит приемник или настроится на волну другой станции...)

Теперь — бегло — по расписанию «Голоса Америки». В первую очередь о программах новостей. К сожалению, как уже было сказано, в них слишком незначительное место уделяется новостям из России, а если что и сообщается, то в сводку важнейших новостей вкратце такие известия почему-то, как правило, не попадают, что слушателя раздражает: для «Голоса Америки» развод какого-то арабского принца важнее, чем призыв академика Сахарова... Неплоха по идее довольно новая рубрика «Трудовая Америка», но тут часто встречаются такие затянутые диалоги корреспондента с его собеседником, что прямо хоть выключай приемник. В этой рубрике, как я мог заметить, самыми популярными выпусками являются те, где корреспонденты беседуют с русскими иммигрантами. Программу «Кино» я лично никогда почти не слушал, потому что не отношу себя к числу приверженцев этого искусства. Другие мне говорили, что и их эта про-

грамма не удовлетворяла, но, возможно, потому что кино — лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать... Как бы там ни было, занимает эта рубрика неоправданно большое эфирное время, мне кажется. В «Обзоре религиозно-общественной жизни», о котором я уже говорил, надо бы, мне кажется, больше внимания уделять православной России. К сожалению, мало говорится и о православной Америке. Как пожелание, — почему бы не завести постоянную рубрику в рамках этой передачи: «По православным приходам Америки»? Рассказывать об истории того или иного прихода, беседовать с прихожанами, транслировать фрагменты богослужений в этих американских храмах... Ко всему прочему — какой бы был контраст между положениями церквей в США и в СССР!.. Тут же скажем и о религиозной программе, включающей проповедь архиепископа Иоанна Сан-Францисского. Сейчас эта программа выходит в эфир ранним воскресным утром, то есть в то время, когда христиане в России спешат в храмы на литургию, а неверующие преспокойно себе спят. (Кстати, Би-Би-Си это обстоятельство учло и транслирует свои очень популярные в России религиозные программы в середине дня, в то время, когда верующие уже возвращаются из церквей домой.)

Если руководители «Голоса Америки» не желают, чтобы мечты Жукова стали реальностью, они должны, на мой взгляд, многое принципиально пересмотреть в своей деятельности. А главное — четко ответить на главный вопрос: зачем, во имя чего существует такая дорогостоящая организация, как радио «Голос Америки»?

Справедливости ради следует сказать, что буквально в самое последнее время качество и целенаправленность передач «Голоса Америки» заметно улучшилось. Будем надеяться, что это не дань текущей политике, а принципиальное направление.

Руководители радио «Свобода», другой американской радиостанции, вещающей на русском языке, понимают свои цели и задачи гораздо лучше. «Свободе» в упомянутой схеме выделен сектор чуть меньше, но все же очень значительный, и это соответствует реальному положению вещей. Эта станция находится в эфире круглосуточно. Ее больше всего ненавидят большевики — сейчас, когда отпала необходимость глушить передачи некоторых других западных станций, почти все силы КГБ — Армии — Министерства связи брошены на глушение «Свободы». Денно и ночью миллионные киловатты, обходящиеся совсем не в копейку советским налогоплательщикам, изрыгаются в эфир передатчиками армейских специальных станций (задача которых во время войны — глушение оперативной радиосвязи войск противника), находящихся в двойном подчинении: у Генштаба и КГБ (Министерство связи лишь распределяет частоты). Рев, грохот, лязганье, кудахтанье... Сплошная немота и аучное заиканье... Каких только способов глушения не изобретено, чтобы заткнуть рот свободному голосу правды, чтобы оглушить уши жаждущего услышать эту правду... Как узналось недавно из книги Джу-

лиана Хейла «Мошь радио», отрывки из которой читались по Би-Би-Си, глушение обходится в 5-6 раз дороже, чем трансляция передач. Поэтому большевики могут позволить себе немного: «Свобода» глушится лишь в Москве и в других больших городах. Но Россия-то, слава Богу, не из одних городов пока состоит! Уже в 80-100 км от Москвы можно слушать «Свободу», и — слушают, с трудом, сквозь глушилки, прильнув ухом к самому динамику, пренебрегая мощным, красивым, незамутненным звучанием шикарного «Голоса Америки». И это — не лучшая ли награда работникам радио «Свобода»? И то, что их без конца поливает грязью коммунистическая пресса, — не повод ли для радостного ощущения своей нужности, своей победительности?!

Мой приятель, живущий в Подмоскowie, приезжает в столицу и рассказывает нам, москвичам, что он слышал по «Свободе», — мы исходим завистью! Он в курсе всех новостей. Ему предлагают самиздатовскую или тамиздатовскую литературу, а он, извиняясь, благодарит и — не берет: он в сё слышал по «Свободе».

«Свобода» гибко и оперативно откликается на все самые животрепещущие вопросы российской действительности, что объясняется, безусловно, и точным, честным пониманием своих задач и целей, и, что не менее важно, активным привлечением в число своих сотрудников новых выходцев из СССР, хорошо ориентирующихся в наших проблемах, чувствующих конъюнктуру, говорящих, наконец, на сегодняшнем русском языке, что немаловажно.

Мне кажется, здесь уместно будет сделать лишь один упрек редакции радио «Свобода»: создается у слушателей впечатление, что все более на второй план отступает в программах радиостанции собственная тематика.

Напрасно также, на мой взгляд, «Свобода» испытывает терпение своего слушателя передачами откровенно марксистского толка, идущими обычно под рубрикой «По Советскому Союзу» или «Проблемы труда и демократии», которые за последнее время заметно участились. Подобная пропаганда транслируется различного рода коммунистическими радиостанциями из Пекина, Белграда, Тираны и других столиц почти двадцать четыре часа в сутки, и едва ли «Свободе» нужно стремиться тоже пожать лавры на этом сомнительном поприще, тем более, что ее материалы на вышеуказанную тему подаются, как правило, на крайне убогом и непрофессиональном уровне.

Отрадно, что, опять же в отличие от «Голоса Америки», радио «Свобода» охотно приглашает к своим микрофонам замечательных писателей, выдающихся общественных деятелей России, недавно оказавшихся на Западе. Информационные программы «Свободы» дают не только исчерпывающую информацию о событиях в мире, но и наиболее подробно, по сравнению с другими станциями, и полно освещают внутрисоветские дела и проблемы. Поэтому и предпочи-

тают советские люди, имеющие возможность регулярно слушать радио «Свобода», слушать только эту станцию, пренебрежительно прокручивая ручку настройки приемника, если случайно попадет волна какой-либо другой зарубежной станции. (Другие радиостанции тоже, случается, передают интересные программы, но сколько же надо неинтересных и неважных слов выслушать, прежде чем дожидаться важного и интересного!..)

Именно поэтому советские идеологические держиморды всеми дозволенными и недозволенными средствами — бесконечными печатными попытками скомпрометировать личности сотрудников радиостанции, засылкой агентов-провокаторов, всею мощью своих глушителей, высвободившихся благодаря «детанту» от «опеки» «Голоса Америки» и некоторых других радиоцентров, — пытаются убить «Свободу». Пока, к счастью, безуспешно. Несмотря на кипучую деятельность некоторых, мягко говоря, весьма недальновидных американских политиков, объективно работающих рука об руку с большевиками. Я имею в виду скандал, затеянный в январе 1971 года сенатором-республиканцем Клиффордом П. Кейсом, подхваченный и развитый не в меру шустрым и, по видимости отсюда, не слишком глубокомысленным, теперь уже бывшим, к счастью, председателем комиссии по иностранным делам Уильямом Фулбрайтом. (Знает ли почтенный господин Фулбрайт, что здесь, в России, его часто не очень почтительно именуют Брайтфулом?) Ах, как возрадовались большевистские сердца, когда эти деятели, очевидно, в погоне за политическим капиталом, призвали, потребовали громогласно «похоронить радио «Свобода» на кладбище «холодной войны»! К счастью, и это с грустью вынужден констатировать Ю. Жуков, здравомыслящих политиков в высших законодательных органах США в тот момент оказалось больше, чем кейсов и фулбрайтов. «Протестующий сенатор, — сочувствует Фулбрайту его единомышленник Жуков, — глас вопиющего в пустыне»... Теперь Фулбрайт ушел на покой. Но где гарантии, что скоро не выскочит на политическую арену какой-нибудь новый ражий «борец» и потребует закрыть самую нужную России радиостанцию?.. Что ж, господа, валяйте, наступайте на горло собственной свободе, перекрывайте кислород!.. Не пришлось бы только вам пройти «путями нашей канализации», смотрите, бойтесь открытия на своей карте архипелага, подобного нашему...

А вы, работники «Свободы», делайте свое дело, когда-нибудь свободная Россия скажет вам спасибо вслух. Я же сейчас низко кланяюсь радио «Свобода» от имени многих ее благодарных слушателей в сегодняшней России.

Посмотрим, однако, вновь на схему «враждебных радиостанций», помещенную в советской книжонке «Диверсия без динамита». Почти такое же место в ней, как и «Свободе», уделено Радио НТС. Но я про эту радиостанцию ничего сказать не могу, так как не толь-

ко сам никогда не слышал передач такой радиостанции, но и не встречал людей, которым бы удавалось слышать ее.

Би-Би-Си. Эту радиостанцию в России очень хорошо знают, она пользуется довольно значительным авторитетом. Больше того, кто не может слушать радио «Свобода», слушают Би-Би-Си. Эта радиостанция особенной популярностью пользуется, как я могу судить, у интеллигенции, особенно у технической интеллигенции. Объясняется это во многом точностью сообщаемой британским радио информации, серьезностью и обстоятельностью комментариев и относительной немногословностью: вещание на русском языке ведется не такое большое время, чтобы можно было бесцельно болтать или передавать по несколько раз в день какие-то малоинтересные программы, как это делает «Голос Америки». Скажем, поп-музыке, которой «Голос Америки» уделяет непропорционально много времени, Би-Би-Си отводит одну вечернюю передачу по пятницам. Я уже сказал, что очень популярны в СССР политические комментарии Би-Би-Си, а обозревателя Анатолия Максимовича Гольдберга по имени и голосу знает, без преувеличения можно сказать, вся страна. (Рассказывают уже несколько лет, как на одном партийном собрании в одном московском НИИ парторг предоставил слово очередному докладчику Анатолию Максимовичу... Гольдбергу. Какой взрыв хохота потряс зал, как с того момента все течение собрания пошло сикось-на-кось!.. Парторг, находясь под впечатлением ежевечернего слушания Би-Би-Си, просто спутал фамилии, оговорился, а такая оговорка слишком всем понятна в СССР!) Очень интересны, как правило, обзоры печати Би-Би-Си, часто интересна программа «Уик-Энд», почти всегда слушается всеми, кто может, программа «Глядя из Лондона». Особенно же подкупают советского слушателя чтения литературных произведений, осуществляемые британской радиостанцией. Мы бесконечно благодарны Би-Би-Си за чтение «Архипелага ГУЛаг» Солженицына, — в эти дни и часы у Би-Би-Си было как никогда много слушателей! Запомнились чтения отрывков из книги Джулиана Хейла «Мощь радио», транслировавшиеся летом 1975 года. У Би-Би-Си очень хороша программа для православных слушателей в СССР (и передается она, как я уже сказал, в очень удобное для слушателей время).

Можно было бы много хвалебных слов сказать о Би-Би-Си, но надо сделать и критические замечания. Например, о мастерстве дикторов. Как правило, оно на высоком довольно уровне, но в последнее время появляются перед микрофоном какие-то дикторы, у которых русский язык — явно не родной, и владеют они им не достаточно хорошо: режет ухо акцент, слова при чтении искажаются, что, в лучшем случае, вызывает улыбку слушателей (не всегда уместную, если передача посвящена, скажем, каким-то трагическим событиям), а в худшем — производит отталкивающее впечатление, раздражает слушателей. А это — очень важно, когда между слушателем и дик-

тором налаживается психологический контакт. Кроме того, надо учитывать тот факт, что русские слушатели больше доверяют русским же дикторам и авторам передач, потому что «умом Россию не понять», потому что русские люди с недоумением наблюдая нелепую для них прыть сторонников того же «детанта» на Западе, склонны часто считать, что наши проблемы, наши заботы и наши боли иностранцы не могут понять до конца... Может быть, это и заблуждение, но — учитывать его необходимо, мне кажется, если желаешь установить прочные и естественные контакты радио и его слушателей.

Выше я сказал о популярности политических комментариев Би-Би-Си, но тут следует оговориться, что эта популярность держится исключительно по инерции. В последние годы все заметнее интеллектуальное отставание политических обозревателей британского радио от уровня подготовленности слушателей.

Бывают у Би-Би-Си, как и у других радиостанций, и фактические ошибки. Вот, например, такая. 14 сентября 1975 года я с группой друзей с 11 часов утра до 1 часу дня находился на углу улиц Профсоюзной и Островитянинова в Москве. Мы надеялись присутствовать на обещанной выставке художников-нонконформистов. В это же время там же собралась довольно большая группа иностранцев — корреспондентов и дипломатов, десятка полтора-два советских граждан. Неподалеку маячило четыре милиционера в форме. И не было ни одной картины показано! Это точно. Иностранцы потолкались с час, наверное, на маленькой зацементированной дорожке посреди пустыря, сфотографировали своих детишек, резво собравших ромашки на этом пустыре, и — разошлись. А вслед за ними ушли и мы. А в тот же вечер мы услышали по Би-Би-Си, в программе, начинающейся в 11 часов вечера, сообщение о выставке, якобы состоявшейся в тот день в Москве, о присутствии на ней нескольких десятков милиционеров и т. п. Мы с друзьями, услышав такое сообщение, переглянулись и вздохнули: нам было стыдно за Би-Би-Си... Я понимаю, что радиостанция не сама выдумала эту «выставку» и «десятки милиционеров», что это вина корреспондентов. Но простые-то радиослушатели не станут выяснять, кто именно сказал неправду первый, они-то, особенно жители близлежащих к этому пустырю домов, которые из окон глядели, ожидая обещанную выставку, они-то знают, что сообщение неправильное дало Би-Би-Си, и в следующий раз будут делать скидку на подобные ошибки, будут меньше доверять радиостанции.. Это очень опасно, по-моему! У советских людей вообще силен иммунитет против всяких средств информации, поскольку советские газеты и радио более полувека говорят им неправду, и огромных трудов стоило западным радиостанциям привить доверие советских слушателей к их информации. И каждая такая ошибка перечеркивает очень многое.

Слушателя в СССР подкупает целеустремленная и определенная политическая программа «Немецкой Волны» (в этом смысле немецкая радиостанция могла бы даже соперничать с американским радио «Свобода»), передачи «Немецкой Волны» неплохо задуманы тематически, к микрофонам этой радиостанции довольно часто допускаются наши авторитеты, недавно покинувшие СССР диссиденты, писатели, ученые. «Немецкая Волна» много внимания уделяет самиздату, чтению произведений «неподцензурной России». Кроме того, и это немаловажно, — радиостанция «Немецкая Волна» обладает, по-видимому, довольно мощными передатчиками — по крайней мере, в Москве ее слышно лучше всех других радиостанций, почти как московское радио!..

К положительным сторонам «Немецкой Волны» следует отнести ее поиски собственного лица, ее особую ориентацию: в то время, как все западные радиостанции стремятся найти контакт с интеллектуалами, немецкое радио откровенно ориентируется на простых людей в СССР, пытается разговаривать со своими слушателями доходчивым языком, не лукавствуя, не оглядываясь на дипломатические штампы. При этом радиостанция не оттолкнула от себя и интеллигенцию, которая предпочитает слушать «Немецкую Волну» потому, что ее короткие по времени программы густо насыщены действительно важными для слушателя в СССР новостями. В порядке пожелания и дружеского участия хотелось бы посоветовать руководству русского отдела «Немецкой Волны» обратить большее внимание на профессиональную подготовку дикторов, постараться добиться более разговорной интонации, более неформального тона. Это очень важный, на мой взгляд, аспект: если слушатель не испытывает симпатии к носителю идеи, то и к самой идее у него не возникнет симпатии.

Работает по-русски еще Ватикан, но мне не приходилось встречать людей, регулярно слушающих передачи этой станции, а самому мне их программы не были интересны никогда. То же с римским радио, с радио Тегеран, с Белградом, Токио, Монте-Карло (умри они сегодня, как некоторое время назад умерло французское радио, никто не всплакнет, я уверен).

Есть еще одна радиостанция, о которой я хотел бы поговорить, — Радио Канада. Эта станция возникла в самое недавнее время, как-то совсем неожиданно для нас (может быть, мы ошибаемся, может, она существовала и раньше, но заметили ее советские радиослушатели в недавнее сравнительно время). И сразу же привлекла внимание слушателей. Сегодня ее стараются услышать в СССР. Причина тут, как мне кажется, кроется в нахождении этой станцией своего языка, своего лица, так сказать. Видимо, там работают недавно покинувшие Россию люди — так можно судить по тому, с какой легкостью и как непринужденно и естественно говорят они на современном русском языке, точнее даже сказать — на языке совет-

ского среднего класса, языке технократов, учителей, писателей, творческой интеллигенции. При этом ведут себя дикторы перед микрофоном непринужденно, свободно, что совсем непривычно и заманчиво для советских слушателей, привыкших к деревянным голосам и непроницаемым интонациям советских дикторов и подражающих им дикторов большинства западных станций. А тут, на волне Радио Канада — так все по-домашнему, с хохмами, анекдотами, с подтекстом... Ну как будто из соседней комнаты друзья-коллеги ради шутки играют в радио! И при этом Радио Канада работает смело и откровенно, не озираясь на то, что скажут жуковы и проч. советские вертухаи разрядки. Единственная беда — маломощно Радио Канада, да и советские глушители еще стараются ... Не всегда можно и не чисто настроиться на волну Радио Канада, а уж о чистом приеме приходится только мечтать...

О чем еще следует сказать — о рекламе передач той или иной западной радиостанции. Это очень важно, потому что лишь немногие энтузиасты могут себе позволить слушать все передачи подряд: авось что-то и услышишь. У «Голоса Америки» существует определенная постоянная программа передач, которая иногда меняется, но в общем — неизменна. Эта программа даже отпечатана в виде листовок, но листовки эти распространяются крайне неэффективно: они лежат в консульском отделе американского посольства в Москве, куда советским гражданам доступ крайне ограничен — разрешен только тем, кто уже одной ногой за границей, кто уже через несколько дней должен покинуть СССР. Но и этим людям никто из сотрудников Консульства не предлагает прихватить с собой несколько таких листовок, а сами люди и запуганы, и взволнованы так, что им в этот момент уже не до программ «Голоса Америки»... Наконец в 1974 году программу «Голоса Америки» напечатал продающийся в СССР журнал «Америка». И тут же вздохнули и подумали: а почему бы «Америке» не печатать программу «Голоса» из номера в номер? В киосках Союзпечати продается такое ничтожное количество экземпляров этого журнала, что однажды опубликованная программа не стала доступна всем радиослушателям. Би-Би-Си давно уже печатает расписание своих передач в журнале «Англия», издающемся по-русски и попадающем в СССР. Но публикуется в журнале только расписание времени и диапазонов передач, а об их содержании — ни слова. Между тем, у Би-Би-Си есть своя определенная и очень удобная для слушателей схема передач, в общем — неизменная. Так надо же и ее опубликовать в журнале «Англия» и не однажды, чтобы у всех она была, чтобы каждый мог по вкусу выбирать: когда и какую передачу слушать! Сложнее обстоит дело с опубликованием программы «Немецкой Волны». У Западной Германии нет своего журнала, который бы продавался в СССР. Значит, эта радиостанция должна разработать постоянную программу и не спеша, с повторениями передавать ее в эфир как можно чаще (то же следует, на мой

взгляд, делать и другим радиостанциям, даже тем, кто имеет возможность публиковать свои программы в журналах: не спеша диктовать для радиослушателей программы своих передач, чтобы они могли записать эти программы). Радио «Свобода», по идее, имеет то же право, что и «Голос Америки», опубликовывать свои программы и расписание передач в журнале «Америка». Я понимаю, что в сегодняшней ситуации сделать это далеко не просто, пока у руководства США находятся люди типа Фулбрайта... Но надо же быть последовательным! Если мы признаем радио «Свобода» американской радиостанцией, то по какому праву ее негласно третируют, почему эта радиостанция (повторю еще раз — самая нужная и самая популярная у советских радиослушателей!) до сих пор находится на положении падчерицы?

Может быть, стоит радиостанциям, не имеющим своих государственных трибун, публиковать программы и расписания передач в русских зарубежных журналах, которые, как известно, попадают в Россию в довольно больших количествах?

И еще одно примечание. Очень правильно сделано, что в журнале «Америка» был помещен материал, рассказывающий о сотрудниках «Голоса Америки»: знание сблизает авторов передач и их слушателей. Надо это продолжать и в дальнейшем, надо, мне кажется, такой же материал опубликовать на страницах журнала «Англия» — о сотрудниках Би-Би-Си. Может быть, помня о том, что советская контрпропаганда, стараясь отвлечь слушателей от «враждебных радиостанций», все время пытается очернить конкретных сотрудников этих радиостанций, завести специальную рубрику в программах передач этих станций типа: «Чьи голоса вы слышите» или т. п. И в этих передачах авторы чтобы рассказывали о своих коллегах, об их жизненном пути, интервьюировали тех, кто обычно сам интервьюирует других...

Мощь радио необычайно велика в наши дни. И роль радиовещания на другие страны — благородна, необходима, ибо сблизает народы лучше всяких разрядок. Важна и благородна такая деятельность еще и потому, что она является реальным воплощением ВСЕОБЩЕЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, статья 19 которой гласит: «Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». (Цитирую по Сборнику конвенций по правам человека, ратифицированных Советским Союзом. Нью-Йорк, «Хроника», 1975, стр. 80.)

И давайте наконец прислушаемся к словам, произнесенным Александром Солженицыным от имени угнетенных миллионов в СССР, в Восточной Европе, на Востоке:

«Внутренних дел» не осталось на нашей тесной планете... Коммунистические вожди говорят вам: не вмешивайтесь в наши внутренние дела, дайте нам душиТЬ спокойно... А я говорю вам: пожалуйста, побольше вмешивайтесь в наши внутренние дела. Мы просим вас — вмешивайтесь!»*

Октябрь 1975, Москва — апрель 1976, США

СОКОЛОВ Виктор Владимирович — литературный критик. Родился в г. Калинин в 1944 году. Учился в Литературном институте имени Горького, работал редактором в издательстве «Молодая гвардия». В 1976 году выехал в США и вскоре был лишен советского подданства за активное участие в русской эмигрантской прессе. В настоящее время живет в Сан-Франциско.

* Из выступления в Вашингтоне 30 июня 1975 г.

Религия в нашей жизни

Анна Хмелевская

ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ

И в одно верю: свободный, пытливый ум личности — самое ценное в мире. И за одно буду бороться: чтобы разум мог сам, без всякого руководства, выбирать свой путь. И против одного я должен бороться: против каждой идеи, религии или правительства, ограничивающих или уничтожающих личность. Таков я, таковы мои стремления. Я могу понять, почему режим, устроенный по какому-то шаблону, всегда тшится уничтожить свободный разум — ибо это единственное, что способно уничтожить такой режим.

Джон Стейнбек

1

Вы ставите много вопросов, но все их можно свести к одному: «чем стало для тебя христианство?». Точнее, следовало бы сказать: «почему христианство чем-то для тебя стало?». И в вопросе этом — подспудное беспокойство: как же всё это соотнести с нашим давним мировоззрением, с ценностями, которые мы разделяли, словом, с нашим общим когда-то убеждением о «левизне» наших позиций и взглядов.

Подумаем вместе — что́ это, собственно, значит: наши левые позиции и взгляды. Мы — первое поколение, родившееся после войны, мы — признавшие свою окружавшую нас действительность, мы — обвиненные издевательской печатью в том, что хотели взять на себя ответственность за судьбы Народной Польши, наконец, мы — последнее поколение поль-

ского ревизионизма. Я преувеличиваю, говоря так о всем поколении? Возможно. Однако, когда у этого поколения один-единственный раз появилась возможность заявить о себе во весь голос — в марте 1968 года, зазвучал этот голос слева, выступив в защиту понятия «социализм», неразрывно связанного с понятиями о свободе и хлебе вдоволь для всех, о равенстве и свободе слова.

Если верно, что зрелость формируется в детстве, может быть, в каком-то смысле нам посчастливилось больше, чем сегодняшним школьникам и выпускникам. Нас учили ложной истории — летописи народных обид и кроваво разгромленных народных бунтов, — но тем самым научили считать самым важным социальную несправедливость. Нас учили интернационализму, и мы приняли идею о равенстве всех, независимо от рас и национальностей. Нас учили, что антисемитизм — продукт системы эксплуатации и несправедливости, и мы поверили в это. Нас учили вульгарному атеизму, противопоставляя «опиум для народа» духу рационализма, и, может быть, тем самым приучили неохотно принимать на веру что бы то ни было.

Я отнюдь не собираюсь защищать сталинскую школу. Но мы чувствовали тогда дуновение идеологии, прикоснулись к великим и универсальным вопросам, и это, вероятно, имело какое-то значение. Разумеется, такое предполагаемое положительное влияние воспитательного процесса никаким образом не уравнивало деформации, которой мы подвергались. Нас научили еще одному: стоять можно или на стороне эксплуатируемых, или на стороне эксплуататоров, можно быть либо за прогресс, либо против него, — мир был описан противоположностями, разделен на две и только на две части. Нам дали выбрать только две дороги. И мы выбрали дорогу налево. Входя с таким багажом в молодость, мы попали в разделен-

ный надвое мир; и единственные категории, в которых можно было формулировать суждения о нем, мы нашли в доктрине-пророчестве. Марксизм стал для нас не вехой в развитии человеческой мысли, а чем-то вроде дорожного знака, и в то же время — инструмента, благодаря которому мы надеялись понять и преобразовать действительность.

Несмотря на всё сказанное, выбор левого пути был выбором сознательным и добровольным. Были же и другие возможности, а среди них самая простая — вообще не принимать никакого решения или же стать в позу скептика, наблюдателя, насмешника.

Я думаю, однако, что в шестидесятых годах выбрать активность — означало быть марксистом.

Мне не нужно именно тебе напоминать истории нашего романа с марксизмом. Но заметь, что момент принятия этой концепции слился у нас с моментом сомнения в ней. Мы принимали метод, но отбрасывали теоремы, принимали перспективу, поставленную перед нами, но отбрасывали кривые дорожки, по которым общество должно было продвигаться к цели. Мы принимали и революцию. Ее злоупотребления, ошибки, сопутствующее ей зло не остались незамеченными, но не заслоняли для нас главного ее достижения: разрушения общественных барьеров, открытия массам возможности выдвижения, социальных завоеваний, новой экономической структуры. Тем не менее, мы ставили под сомнение почти всё — и, пожалуй, только два элемента нашего миросозерцания были постоянными и признанными. Первый — это марксова концепция истории и метод раскрытия ее законов; из нее мы черпали убеждение в объективной обоснованности наших взглядов. Второй — моральная подоплека, которую мы видели в науке Маркса. Большое искушение — считать, что твоя правота подтверждается на этих двух шкалах: объективной науки и гуманистической этики. И ощущать за собой традицию «левой»

борьбы — пафос проигранных битв и победоносной революции.

Но дело в том, что в момент победы революции появлялись трудности. Место уничтоженной несправедливости занимало огромное, конденсированное, нечеловеческое зло, совершались преступления, — и мы чувствовали себя в какой-то мере ответственными за них, но не хотели о них молчать. Кроме того, действительность не подчинялась предусмотренным для нее законам, а причиненное зло марало ценности, во имя которых и шло переустройство мира. Реальность расходилась с предсказаниями доктрины. И на этом перепутье мы бросились спасать инструмент, обеспечивающий нам понимание правды; мы стали поправлять правду так, чтобы снова описать мир чудодейственным прибором. Мы бросились спасать принятые нами ценности — и стали поправлять мир. Нам казалось возможным — соединить воедино три элемента: объективные ценности, правила и общественную жизнь.

Мы были последними ревизионистами. Не потому, что после нас не нашлось никого, кто хотел бы идти по тому же следу. Наука-пророчество еще может очаровывать. Но ревизионизм — не столько идейное направление, сколько политическая позиция — существовал в силу своего спора с властью о толковании концепции, спора о соответствии осуществляемой формы действительности с теорией. Но для такого спора обе стороны должны исповедывать ту же теорию. В 1968 году, однако, власть сочла теорию ненужной и неудобной декорацией, избавилась от нее и взяла на вооружение лозунги совсем другого порядка — шовинизм, ксенофобию, ценности, дорогие сердцу обывателя-бюрократа: порядок, право, спокойствие и неподвижность.

Подведем итог. Мы выбрали активность против индифферентности. Активность я понимаю здесь как позицию соучастия в ответственности за все, что тво-

рится вокруг. Почему я считаю, что для выбора этой позиции нужно было быть марксистом? Во-первых, потому что мы умели описывать действительность только в категориях марксизма. Во-вторых, потому что мы составляли неотъемлемую часть общества, сознание которого подвергалось особому рода операциям. В результате, невозможными, немыслимыми стали иные концепции, течения, политические платформы. В-третьих, в ряду наших предпосылок стояла податливость системы на реформы, и даже — на давление общественности (еще не умерли иллюзии Октября*). Тут мы и видели нашу роль, зная, однако, что единственной платформой дискуссии и давления могла быть только платформа, принятая властью. Дискуссия была не вполне обычной, в ответ на аргументы применялись репрессии, и всё же мы упорно стремились вынудить у власти ответ. Ответ, в котором она призналась бы — пусть косвенно, пусть невнятно, — в предательстве революции, марксизма, ценностей, написанных на ее же знаменах и вбитых в наши головы, призналась бы в том, что каждым своим действием противоречит собственным словам. Тут мы касаемся сути: быть марксистом в шестидесятих годах значило верить, что партия растеряла содержание великой идеи. Мы это замечали и призывали вернуться к истокам. Тогда нам еще не приходило в голову, что мы ошибаемся, что всё обстоит иначе, что, быть может, всё прошлое и настоящее зло уходит своими корнями именно в эту великую идею.

Потом пришли Март, Август и Декабрь** — месяцы школы, потрясшие основы нашего научного видения мира. Ведь мы считали социализм общественной системой, подчиняющейся общественно-экономическим

* Польского Октября 1956. — Прим. ред.

** Март 1968 — студенческие волнения в Польше и погромные репрессии против них; Август 1968 — вторжение в Чехословакию; Декабрь 1970 — восстание польских рабочих на Побережье. — Прим. ред.

законам. Выискивая закономерности, мы находили, что после периода террора наступает период оттепели, и на этом основании давали оптимистические предсказания о следующей стадии. Свой тезис мы поддерживали аксиомой о том, что экономическое развитие само по себе вызовет бóльшую демократизацию общественных отношений. Такой подход позволял связывать годы террора с мобилизацией усилий для строительства тяжелой промышленности, а познанные события и венгерское восстание рассматривать как нечто возможное в конце прошлого этапа, но не сейчас, после окончания холодной войны, при сношениях с миром, при кокетничаньи с революционными и освободительными движениями в постколониальных странах. Короче говоря, предположив, что общественный процесс — равнодействующая многих векторов, поддающаяся расчету, мы принимали наличие какой-то рациональной связи между причиной и следствием. Только причины были сложными, самодовлеющими, объективными, и никак среди них не помещалась простая, грубая сила монополизированной власти. Нашу ситуацию можно сравнить с той, в какой окажется через несколько столетий исследователь экономической истории, ломающий себе голову над тем, что может значить странное искривление прямой линии канала, — он будет искать экономические, топографические, на худой конец — культурные причины, но не догадается, что это просто контур царского пальца, придерживающего линейку во время вычерчивания кратчайшего пути для канала. Август и Декабрь заставили нас взглянуть на Познань и Венгрию не как на болезненные симптомы перехода от одного этапа развития к другому, а как на примеры функционирования тоталитарной системы. Польский же Октябрь с этой точки зрения потерял свою роль маяка в будущее, о котором забыла власть, и стал всего лишь кратким эпизодом дарованной и тотчас же отобра-

ной четвертьсвободы. Последствия этого нового видения действительности оказались весьма существенными. Мы потеряли одно из двух оснований для нашей деятельности: веру в ее объективную правоту, в историческую неизбежность принятой нами цели — гуманного, открытого социализма с человеческим лицом, — веру в то, что общество и мы как его частица имеем какое-то влияние на приближение к этой цели. Мы потеряли надежду и веру в то, что когда-нибудь эта система изменится и человек сможет в ней жить с уверенностью в своей свободе и достоинстве. Система может только пасть. Или неизменно продолжаться.

Могла ли спастись из развалин нашего мышления вторая координата — порядок ценностей? Можно было, разумеется, сказать, что осуществленный социализм противоречит ценностям «левой позиции». Но это уже говорилось слишком часто. Нужно было попытаться честно ответить на вопрос: *не кроется ли — а если да, то насколько — в левом, марксистском миропонимании предопределение того зла, которым отмечен путь его перевоплощения в действительность*. И тогда-то фраза Бабеля, некогда звучавшая с угрюмым пафосом: «Мать в революции — эпизод», раздалась предостерегающим звонком у порога стра- ны ГУЛАг.

2

Для того, чтобы хотя бы самым приблизительным образом наметить пространство наших поисков ответа на поставленный выше вопрос, скажем, что речь идет о марксистском, радикальном, революционном левом течении, отбрасывающем какие-либо компромиссы со старым порядком, поставившем главной целью перестройку действительности. Мы принимали именно это, самое могучее течение, и с ним надо те-

перь свести счеты. Сначала — несколько слов о том, что нас привлекало в сфере моральных постулатов теории. Каутский хотел рассматривать марксизм как научную систему, не занимающуюся оценочными действиями, а ограничивающуюся описанием и анализом явлений. Его противники, однако, располагали вескими аргументами. Хотя марксизм и отказал этическим нормам в автономности, сводя их к роли производных общественных отношений или даже просто — ширмы для хищных механизмов эксплуатации, нельзя сказать, что он не производил оценки общественных явлений: он осуждал одну формацию в пользу другой, применяя критерии, для которых точкой отсчета была концепция освобожденного, целиком реализующего себя Человека в мире не чуждом и враждебном, а наоборот, близком и помогающем развиваться.

Это состояние достигается, однако, только после удовлетворения условиям, называемым коммунизмом. Каково же воистину человеческое предназначение человека до того, как коммунизм наступит? Ответ на этот вопрос содержит в себе основной этический критерий «левой позиции». Вместо того, чтобы искать смысл своего существования вне действительного мира, внутри схем, предложенных религиями, человек должен понять окружающий мир, осознать действующие в нем законы и свою роль сознательного элемента в ходе неизбежных перемен. Он должен осознать общественные процессы, ускорять их по мере возможности и влиять на их формы. Смысл же и подлинно человеческая радость жизни — в чувстве общности и взаимодействия с другими людьми, в активном включении в общественную, сверхиндивидуальную жизнь, в творчестве и созидании для других. И вот главное моральное требование «левых»: обязанность человека состоит в отказе мириться с общественным злом и в переустройстве мира с целью уничтожить это зло.

Именно расширение сферы нравственной ответственности — главная сила «левого» миропонимания. Это как бы высшая степень любви, самоотверженности, жертвы собой для других.

Но взглянем с иной точки зрения. Марксизм вводит два оценочных уровня. Первый, так сказать, общеисторический, сверхиндивидуальный, оценивающий историю в перспективе ее окончательного свершения. Там, на горизонте, виднеется идеал ЧЕЛОВЕКА неограниченного, полного и свободного, и его атрибуты дают возможность дисквалифицировать все те пути и ограничения, в которых тысячелетиями бьется человек-муравей, не понимая великого общественного процесса, реализующегося через него самого. Однако этот уровень оценки неморален, он относится не к индивидуальным людским выборам, а к коллективным видовым действиям.

Второй уровень проходит через личность и связан с концепцией реализации человека теперь, до установления коммунизма, реализации сиюминутной, если можно так выразиться. В этом случае благо и зло измеряются усилиями людей, направленными на преодоление очередных воплощений эксплуатации и неволи, а тем самым — на подталкивание колеса истории в сторону окончательного освобождения.

Понимать и действовать. Эти два императива, или, вернее, эта неразрывная конъюнкция вводит первое фундаментальное разделение: на тех, кто открывает исторические законы и начинает сознательно действовать, и на всех остальных. На тех, кто является инструментом истории, и на тех, кто составляет ее материал.

И те, и другие могут оцениваться на общем уровне, в качестве неких абстрактов — например, авангард рабочего движения, крестьянство, владельцы средств производства, — но вторая шкала ценностей, шкала человеческая, применима только к первым, ибо только

они осознают механизмы развития. Только они совершили акт познания и признания мировых законов — и через этот акт обрели своеобразный субститу́т свободной воли: необходимость подчинения действующим закономерностям они превратили в свободу сознательного соучастия в их воплощении. Свобода эта, разумеется, особого рода — не оставляющая права выбора, так как единственно верный выбор — марш плечом к плечу с Историей, с верховной властью, награждающей победами сторонников и выбрасывающей на свою свалку тех, кто усомнился, обманул надежды или стал предателем.

Свобода эта дает основание и для входа в сферу действия моральных норм. Еще раз повторим: принять марксизм — это принять марксистский образ мира и сопряженный с ним императив действия. А важнейшая принадлежность марксистского образа мира — его научность, иными словами, его исключительная истинность, перед которой все другие построения не более, чем мираж, ложное сознание, опиум для народа. Только принявшие марксистский образ мира совершают выборы и действия, прочно опираясь на подлинную и познанную реальность, остальные бродят в тумане идеалистических и прочих иллюзий, подчиняясь механизмам, о существовании которых они и не подозревают.

Члены этой массы «остальных», индивиды, составляющие бесформенный исторический материал, не подпадают под действие личностных моральных оценок. Несознательный пролетарий, изнасиловавший поденщицу, — жертва общественных отношений. Такой же поступок капиталиста — яркое проявление классового конфликта, который превращает работницу в товар. Капиталист, организующий детский сад или обеспечивающий благосостояние своим рабочим, продолжает совершать зло, приписанное его общественному положению, он маскирует подлинное лицо обществен-

ных отношений, препятствует пролетарию его распознать и переродиться в класс для себя. Мужик-пьяница, избивающий свою семью, лучше показывает отношения эксплуатации, чем трудолюбивый и благочестивый (опутанный поповской паутиной) крестьянин. А значит, первый лучше служит делу повышения сознательности деревенской бедноты:

Но те, кому познание истинной реальности дало свободу сознательного выбора — служить или не служить Истории — и поставило вне «остальных», не знающих, что они творят? Какой шкалой ценностей пользуются те, кто знает? Их призвание и предназначение — борьба, и нормы их — этика борьбы.

Состояние борьбы — это мобилизация всех сил, подчинение индивида группе и солидарность с группой, ставшая обязанностью, это — требование самоотверженности, дисциплины, лояльности, это — распоряжение вместо дискуссии. И еще — устав вместо спонтанности, единство вместо плюрализма. И бдительность, выжигание каленым железом пораженчества, сомнения, раскольнической деятельности — ибо единство превыше всего. Борьба самой теорией освящена — как непрекращающееся состояние, пульсация законов эволюции; освящена первыми революционерами — как единственный способ подняться с колен для униженных и поработанных; освящена большевиками — как образ жизни.

Победа революции ничего не изменила: состояние борьбы продолжается. Борьба формирует язык, мысли, действия, она и есть подлинная реальность нашего бытия, над которой надстроены пустые формы сеймов, выборов, дискуссий и прав.

В нашей культурной традиции состояние борьбы считалось, как правило, исключительным, и отменяло на время часть норм, в особенности норм, относящихся к противнику. Нормы отменялись по-разному и в разной степени, и только одна ситуация вела к забвению

всех моральных правил и оправданию всех средств — отнюдь не ситуация смертельной опасности для борющейся группы, нет, речь идет о такой ситуации, в которой враг считается лишенным каких-либо достойных уважения качеств.

Присмотримся к врагу левых.

Первый революционер принадлежал к маленькой горстке бойцов, схватившихся с могучим деспотизмом. Он начинал борьбу, не раздумывая, дождется ли он окончательной победы. Борьба была актом несогласия со злом, которое он видел вокруг себя, актом бескорыстным и назначенным служить другим людям, зачастую людям, ничего не требовавшим и не знавшим о нем. Но ведь он лучше их понимал их участь, он был готов посвятить для их дела жизнь, — но не совесть. Народолюбец, замахнувшись на царя, еще видел перед собой не только тирана, но и человека. В тирана он целился от имени народа, но в человека — от своего собственного, и был полон решимости заплатить кровью за зло, причиненное своим поступком. Революционер тех времен легко жертвовал жизнью — но только своей.

Большевики знали уже, что совесть — продукт ложного сознания, а человек ценится настолько, насколько вносит от себя в сверхиндивидуальную общественную жизнь; более того: близость и реальность победы ощущались так, что историческая правота и моральное к ней устремление сливались в одно понятие с качеством революционной эффективности. Причем последнее преобладало, и становилось: то, что действительно, то и правильно. И в процессе исторической оценочности враг осуждается вдвойне: он обречен на уничтожение в эсхатологическом масштабе, и он всеми силами тормозит воплощение объективных законов сегодня. Все его действия несут печать безусловного зла, независимо от того, как их называть — филантропией или насилием.

На долю врага не может выпасть самая малая толика правоты, ни тени благородства, отваги, любви. Только в одном случае враг может оказаться прав: когда сам по себе, внезапно прозрев, он замечает наши успехи или свое поражение. («Даже правая газета «Зюд-дейче Цайтунг» вынуждена признать...») По отношению к врагу теряют свою силу все нормы: слабого следует уничтожать, с сильным можно договариваться — но не для соблюдения договора, это всего лишь окольный путь к уничтожению врага, неизменно остающегося врагом. «Мы не можем судить преступников в духе справедливости! Еще пришлось бы их всех оправдать!» — восклицает русская учительница после процесса Галанскова, Гинзбурга и других. Что же непонятного в случаях, описанных Солженицыным, — умершего ребенка во время обыска выкидывают из гроба, со стола стаскивают и арестовывают только что оперированного больного. У врага нет права не только на справедливость и уважение, но и на жалость, на сочувствие — статус врага не зависит от его действий или намерений, он не подпадает под категории добра и зла, всё, что он делает, служит лишь иллюстрацией его объективной, открытой или замаскированной вражеской сути. Врагами становятся по назначению.

Действующая ныне доктрина по многим пунктам расходится с первоначальным откровением. Наивный ревизионизм совал пальцы в эти щели, словно их существование имеет какое-то значение. Важно же не то, как власть реализует теорию, важно совсем другое: История признала правоту теории, дав ей победу и открыв зеленую улицу ее реализации. (Победа всегда доказывает нашу правоту, а поражение — не больше, чем проигранный бой. Поражение врага — совсем другое дело, это доказательство исторического проклятия, которого не снимет никакая победа.) Несмотря на изменения в доктрине, конструкция врага осталась.

Так же, как и борьба, продолжающаяся здесь и сейчас.

Мы обольщаемся, думая, что нам уместно проскользнуть по ничьей земле: между властью и врагами. Внезапно — всегда внезапно — объявляют маневры, и вот уже нет выбора — или становись в ряд со всеми, или станешь врагом, и не будет тебе ни правды, ни благородства, ни справедливости. Всё будет доказано, ибо твое поражение неизбежно. И вокруг тебя сомкнется гижина, а может быть, победитель начнет доказывать твою подлость твоими же словами — плоскими, подлыми, скулящими.

Взаимоотношения в левых кругах определяются двумя главными факторами: общим видением мира и солидарностью.

В романе Станислава Бжозовского «Пламя» одна из героинь говорит: «Мы все давно распрощались с личной жизнью. Мы живем только как моменты истории. Человек создает историю впотьмах, а нам хочется жить зрячими. Потому-то нет и не может в нас быть ничего, кроме этого непрерывного сгорания в мире будущего. Для нас мы — всё; для каждого из нас счастье, жизнь, весь мир — мы сами, наша горстка. Здесь каждый из нас живет не как каторжник завтрашнего дня, а как человек».

После принятия резолюции «За единство партии» Карл Радек сказал: «Голосуя за эту резолюцию, я чувствовал, что она может обернуться и против нас, но несмотря на это, я поддерживаю резолюцию (...). Пусть в момент опасности ЦК предпринимает самые суровые меры против наилучших товарищей, если возникнет в этом нужда (...). Лучше, чтобы ЦК ошибся, это не так опасно, как сегодняшняя шаткость».

Вот два текста; на первый взгляд они говорят о том же — об абсолютной преданности делу. В действительности между этими двумя ситуациями разыгралась драма «левых сил». В каком-то месте там пролегла

граница — с одной стороны оказались люди, живущие в мире незыблемых ценностей, жертвующих собой во имя других, смертью возражающих злу, но знающих, что счастье — это братство и любовь к другому человеку; а с противоположной стороны появились другие люди, считающие себя носителями законов, готовые кого угодно отдать в жертву своему мировоззрению и своей власти, люди одинокие и беззащитные в своем мире, который они сами выхолостили, лишили всех ценностей. Напротив Человека бунтующего появился Человек поработанный.

Ибо всякий раз, когда человеческая мысль пренебрегает личностью, принимает личность лишь как удобрение для истории, отвергает элементарные веления этики, всякий раз плод такой мысли имеет горький привкус рабства.

Всё сказанное выше отнюдь не должно обосновывать переход на позицию, противоположную «левой». Это всего лишь попытка рассказать о выходе из разделенного мира, где человеческие действия определяются формулой «кому это служит — кто за этим стоит — в чьих интересах», а человеческие права — принципом «свобода? да, но для кого?», из мира относительных и сократимых ценностей. А выйти из него совсем не значит — перешагнуть линию раздела, это значит — перечеркнуть ее.

Заканчивая этот анализ — попытку осознать перемены, в какой-то мере общие для многих из нас, я хочу задержаться на вопросе строго индивидуального порядка.

Лично я не жалею моего опыта с марксизмом, с левым мировоззрением. От него осталась одна ценность: понимание того, что отношение к окружающей действительности оценивается нормальными мерками, что чувство ответственности за всякое зло и несправедливость — обязанность каждого из нас, обязанность, от которой нельзя уклоняться. Понимание,

наконец, что нужно выступать против воплощений зла и несправедливости в общественной жизни, против власти и силы, санкционирующих зло, превращающих его в наш повседневный хлеб.

Но сегодня я знаю: для того, чтобы эта ценность, это понимание было воистину человеческим, нужно вынести его из разделенного мира в мир многих ценностей, из которых самая важная — бесконечное уважение к каждой личности

3

Время ответить на ваш первый вопрос. Но прежде — несколько слов о позиции, с которой вы его задаете, позиции, традиционно противопоставляющей христианство и общественный бунт. Мне понятна привязанность левых к такому противопоставлению: с кем только они не братались за свою историю — с капитализмом, фашизмом, тоталитаризмом, антисемитизмом и Бог знает, с чем еще, — но всегда последовательно и беспардонно боролись с религией и Церковью. Это константа левой позиции — еще немного, и она станет ее единственной отличительной чертой.

А мне кажется, что это противопоставление сегодня потеряло свой смысл. Действительно важный водораздел проходит сегодня иначе — перерезая давние исторические деления, — с одной его стороны находится человек подневольный, с другой — разные концепции человеческой свободы. Одна из этих концепций содержится в христианстве.

В христианстве человек составляет нерушимую ценность — во-первых, в силу самого факта существования, во-вторых, по причине своей человеческой сущности.

Первый принцип — тот, что человеческая жизнь священна, — не знает исключений; нельзя даже поставить вопрос о качестве жизни, принцип охватывает

ее самые увечные проявления, даже недоразвитую жизнь — у которой остались лишь биологические функции, — даже жизнь еще не родившуюся.

Второй принцип говорит о том, что человек не вправе осудить до конца другого человека, отобрать у него всякую надежду на реализацию своей человечности. Окончательный суд может произойти уже вне бренного мира. Человек в христианстве свободен в том смысле, что у него есть возможность делать выборы, решающие для значения и ценности его жизни. Цель человеческого существования можно называть по-разному — счастьем, благочестивостью, спасением, — но ее неотъемлемым качеством остается достижимость; а если цель достижима, то нельзя ставить под сомнение подлинность человеческой свободы. И на человека падает полная ответственность за всё, что он делает в своей жизни, его не освободят ни исторические, ни биологические закономерности. Таким образом, человека нельзя судить, кроме как за его сознательные действия и намерения. Человек идет к своему предназначению в муках — и эти его усилия во время суда весят больше, чем результаты его действий. Человек имеет право ошибаться, и ошибки всегда ждут прощение. Только одно запрещено: сомневаться в прощении. Катехизис говорит, что только один-единственный грех не отпускается: сомнение в милосердии Божьем. Это веление надежды, поддержанное угрозой самого сурового наказания, окончательно — нет возможности лишить личность ее ценности, сам человек не волен этого сделать по отношению к себе самому. (Церковь воздерживается от осуждения. За всю историю только однажды допустила эту возможность — но Иуда Искариот был проклят не за то, что предал Христа, а за то, что не преодолел отчаяния и не уверовал до конца в Его любовь.)

Христианство внесло в нашу культуру именно эти два элемента: неотъемлемая ценность каждой личнос-

ти и ее свобода выбора, определяющего смысл человеческого бытия. Впервые между Ветхим и Новым Заветом эти атрибуты были признаны всем без исключения — и, таким образом, впервые открылась брешь в непреодолимой стене между своим и чужим, ближним и врагом, таможенником и жрецом, рабом и кесарем. В какой-то плоскости люди стали равными по своей сущности, или, иначе говоря, несравнимыми в своей человечности.

Маркс заметил бы иронически: «равные в небе, неравные на земле». И правда, мысль о равенстве людей, привитая христианством, долго шла к земле: от равенства перед Богом через равенство прав до равенства шансов. Но стремление ее полного осуществления проявлялось не один раз — в христианских коммунах, в монастырях, городах солнца и утопиях. Эти попытки диалектически вырождались, но по долгу надежды делались все новые, и всё больше от них оставалось, принимая юридические формы. Этот труд человеческой мысли и усилия для ее осуществления достойны внимания иного рода, чем то, какое ей уделяют марксисты, считая культуру побочным продуктом производственных процессов, причем продуктом, функции которого весьма подозрительны. Правда также, что свобода, дарованная человеку христианством, не освобождает его от эксплуатации, несправедливости и нищеты, этой свободой нельзя утолить голод. Но эффективные утверждения такого типа опираются на многозначность терминов. Речь же идет о том, что свободная воля означает автономию и суверенность личности, не позволяет свести ее к роли полусознательного винтика в огромном механизме, элемента вторичного по сравнению с обществом, и тем самым в очень многом определяет непререкаемую ценность личности.

Может быть, благодаря тому, что эта ценность встроена в фундамент христианства, оно нашло силы

для перехода от тоталитарного к плюралистскому универсализму. Первый предполагает, что существует лишь одна истина и одна дорога самоосуществления человека, и ей должно подчинить все области и проявления его деятельности. Это течение создает догмы, врагов, отличается нетерпимостью, ведет священные войны, пишет подробные уставы и «Молот ведьм». Плюралистский универсализм предполагает, что христианские ценности могут реализоваться через все человеческие ценности, что много дорог ведет людей к свершению, а наилучшей дороги нет, что христианству не может быть чуждо никакое проявление человеческой деятельности, творчества, стремлений, — во множестве проявлений оно находит свою полноту. Идеи плюралистского универсализма тонким, но постоянным ручейком протекают через всю историю Церкви; громче всего их высказывали еретики и отщепенцы. Еретиков сжигали на кострах и предавали анафеме, но идеи мало-помалу просачивались в тело Церкви и дали начало тому, что сегодня предлагается внутри христианства.

Тоталитарный универсализм видел цель человеческой жизни в трансцендентном измерении, посюсторонняя жизнь была лишь тренировкой, упражнением в добродетели, покаянием за первородный грех: борьбой с врожденной склонностью к злу. Настоящее счастье возможно только после смерти, и ему целиком подчиняется земная жизнь. Принцип обратно пропорциональной компенсации (чем больше страданий здесь, тем меньше — там) заступил дорогу стремлениям изменить мир. Помогал ему в этом другой принцип — назовем его индивидуализмом. Требовал он от человека в первую очередь стараться спасти собственную душу. В каком-то смысле эгоистический характер главной цели человеческого бытия уравнивался альтруизмом пути, к этой цели ведущего. Христианство означало любовь к ближнему как к себе самому,

обязанность уважать человека в каждом человеке. Но в истории и традиции практической реализации христианства — только в каждом отдельном человеке. «Только» — значит, что оценивались действия человека по отношению к отдельным, конкретным людям, но не по отношению к общественной действительности в целом. Так, рабовладелец, желающий удовлетворить высшим моральным требованиям, должен освободить своих рабов, но не обязан бороться с рабовладением. Точно так же английский капиталист должен дать милостыню нищему, но может с чистой совестью голосовать в пользу закона о бродяжничестве. Польский помещик мог послать талантливого крестьянского сына учиться — это было похвально, но не существовало морального веления, заставлявшего того же помещика бороться за всеобщее и бесплатное обучение. Немецкий духовник тридцатых годов осудил бы донос на еврея, но ему не пришлось бы в голову узнавать, симпатизирует ли кающийся Гитлеру.

Филантропия вместо преобразования человеческого мира и общественная несправедливость как объективные условия совершенствования обижающих и обиженных: первых — актами милосердия, вторых — умерщвлением плоти, — вот общественно-этическое пространство христианства описанной формации. Нравственная ответственность человека сводилась к заботе о собственном совершенствовании и к личным отношениям с ограниченной группой людей. Остальное дано наперед, никто за него не в ответе и никто не обязан ничего менять.

Христианство, названное здесь плюралистским, открываясь для всех проявлений человеческой деятельности, должно иначе подойти к проблеме человеческой жизни; оно должно взглянуть на него не как на преддверие вечности, а как на ее центр, и признать тем самым несводимой, непререкаемой ценностью полное развитие человека. Любовь к ближнему должна про-

являться и так, чтобы у каждого появилась возможность полного развития, чтобы пропали барьеры, разделения и неравенства, отнимающие или уменьшающие людям шансы на развитие. «Разве не исчезает для всех нас почти полностью индивидуалистский вопрос о личном спасении? Разве нам не кажется, что существуют вещи, гораздо более важные, чем этот вопрос? (...) Разве в Ветхом Завете что-либо говорится о спасении души? Не составляет ли центральной точки всего справедливость и Царство Божье на Земле? (...) Не о другом мире речь, а о нашем, о том, как он сотворен, как сохранен, как обрел законы, как придет к примирению и обновлению» (Д. Бонхоффер. Избранное, стр. 243). «Условие свободы человека состоит в устранении всяких форм господства: экономических, политических, военных. Поработительские, эксплуататорские общественные структуры, ограничивая человека, направлены против Бога. Все злоупотребления *собственностью*, все злоупотребления властью следует распознавать и отвергать» (К. Сливинский. В дне двенадцать часов, стр. 26, в кн.: Направления общественной активности).

И вот снова появляется постулат распространения системы моральных оценок на сверхиндивидуальную сферу человеческой жизни, на общественную действительность. Но эта действительность оценивается не в зависимости от ее совпадения с неким идеальным образцом — такого образца нет и быть не может, это вытекает из предпосылки, принимающей множественность форм общественного сожития людей. Действительность оценивается в зависимости от того, какие условия она создает для человека, живущего в ней. И если она ограничивает его способность к развитию, его возможность формировать самого себя и свою жизнь, если лишает возможности удовлетворить его нужды в материальной, духовной, интеллектуальной областях, если лишает достоинства и свободы, —

тогда следует назвать ее безнравственной. А это значит, что мы поступаем плохо, если принимаем ее без протеста.

Добавим, что постулат распространения нравственной ответственности сам по себе не является чем-то новым в истории христианства. Не так уж редко на христиан падала обязанность создания на земле милого Богу порядка — без язычников, или без иноверцев, или без еретиков. Новое сегодня в том, что нравственная ответственность мотивируется тезисами, которые до сих пор были монополизированы левыми кругами; самое важное здесь то, что источники зла кроются уже не в воле личностей (пусть работодатели лучше относятся к рабочим, а рабочие лучше понимают трудности работодателей), а в общественной структуре.

Сливинский написал, что злоупотребления собственностью и властью следует «распознавать и отвергать». Об обязанности распознавания и оценки сказано выше. А обязанность отвергать может означать очень многое — от отказа участвовать в зле до применения оружия.

Принцип нравственной ответственности за общественную действительность невозможно примирить с индивидуалистской этикой в одной плоскости: они относятся к разным уровням, которые охватывают все конфликты этих двух несоизмеримых шкал ценностей и сводят к одному постоянному вопросу: благо общее или благо личное?

Течение христианства, разорвавшее заколдованный круг личной заботы о своей совести, пытается найти ответ на этот вопрос. Один из ответов — несомненно, ответ экстремистский — принадлежит формации, наиболее эффектно порвавшей с традицией и, как кажется, выбравшей радикально новое направление. Ее самое сжатое изложение дал на своей картине

аргентинец Карлос Алонсо: Христос с винтовкой на плече.

Мария Эстер Хильо в своей книге «Тупамаросы» передает разговор с группой левых иезуитов. В ответ на ее вопрос, приемлет ли «ангажированное» христианство насилие, один из иезуитов вспоминает историю исхода евреев из Египта и берет Библию:

«В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам и все рабы его, и весь Египет; и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». Так евреи смогли уйти с земли их неволи. Он закрыл Библию, отложил ее на стол и, глядя на меня поверх очков, сказал: — Рабы получили свободу через акт высшего насилия, свершенного Богом, Который не делал различия между невинными и виновными» (стр. 129).

Этот иезуит, оглядываясь на Бога, уничтожившего первенцев для того, чтобы освободить избранный народ, чувствует себя свободным от запрета убивать (виноватых и невинных) во имя общественных идеалов. Он обладает желанным чувством собственной правоты и вот уже вступает в партизанский отряд, может похитить и даже убить заложников — ведь он считает, что революционная ситуация отделила добро от зла линией фронта. И еще одно — этот уругвайский иезуит уверовал в «окончательную победу» своего дела. Это определение означает наличие границы, по ту сторону которой не будет более никакого страдания и несправедливости, за которой начинается Эдем. Сколько бы трупов ни бросать на чашу весов, вера в «окончательную победу» всё перевесит, всем человеческим страданиям подведет нулевой итог.

Революционное христианство распространило моральную оценку на общественную деятельность в

том смысле, что объявило об обязанности борьбы, а конфликт между индивидуальной этикой и принципом эффективной борьбы решило так, что однозначно подчинило первую второму, вплоть до отмены первой.

« — Будет ли спасен тот, кто любит? — Нет, если не будет пользоваться такими средствами, которые сделают его любовь действенной. Каждый человек, каждое поколение должно составить список своих ресурсов, и его ответственность заключается в выборе надлежащих путей к поставленной цели. Если в результате такого анализа христианин придет к заключению о том, что самым подходящим способом осуществления его любви является насилие, он не имеет права отвергать его» (там же, стр. 128).

Наш иезуит обманывает самого себя, думая, что указывает новые дороги христианству, — но, входя в первый круг тоталитарного мышления, он остается верным учеником Торквемады.

И скажем ясно: не потому, что он применяет насилие, а потому, что считает его оправданным. Каждый человек в определенной ситуации имеет право — а иногда это его долг — вступить в борьбу и убивать. Но эта борьба остается справедливой лишь до тех пор, пока на вопрос: «перестает ли быть злом смерть противника?» — сражающийся отвечает отрицательно. Ибо если нужно выбрать зло, так это и следует называть, пусть никогда зло не стирается необходимостью, пусть выбор постоянно обдумывается заново, чтобы зло не стало привычкой и правилом, а победа — если будет — не выродилась в свою противоположность.

Все попытки освободить человека от необходимости выбора среди различных ценностей, от тяжести решения и дать ему чувство объективной правоты — все такие попытки обесценивают человека и как субъекта и как объект действия. И ведут его на бесплодное бездорожье. Так же, как и вера в то, что можно про-

жить жизнь с чистыми руками. Две эти концепции — с виду разные — ведут к похожим результатам.

Для первой концепции существует некая иерархия ценностей с одной главенствующей, способной отменить все остальные и озарить светом однозначной истинности все средства для ее осуществления. Выбирая эту ценность, поступив к ней на службу, человек получает в награду освобождение от колебаний и конфликтов.

Вторая концепция признает существование комплекса неконфликтующих ценностей и возможность выбора только блага. Плата за эту веру — ограничение нравственной ответственности человека до минимума; но и это не спасает концепцию от противоречий, и, защищаясь, она обрастает кодексами, предназначенными выпрямлять кривые тропки человеческих судеб своими ясными указаниями.

Обе концепции снимают с человека ответственность — или путем сваливания ее со своих плеч, или же через ограничение сферы ее действия, — обе позволяют бежать от свободы.

Но свобода — это не осознанная необходимость, а обязанность жить в мире многих ценностей, противоречий и усложнений, в мире, где нужно совершать всё новые и всё более трудные выборы, где нужно защищать моральные императивы, помня, что защита ничего не сможет оправдать. Человеку нужно нравственное самосознание, «которое позволяет осознавать, что в некоторых обстоятельствах каждый выбор плох и, выбирая лучшее, мы также выбираем зло. Если моральные стимулы имеют значение для наших практических жизненных позиций, они должны вытекать из убеждения, что решения часто вращаются в мире ценностей, несовместимых в осуществлении, и поэтому нашей обязанностью иногда бывает творить зло; (...) Меньшее зло не должно называться благом потому, что оно именно меньшее и что мы морально вынуж-

дены его реализовать» (Л. Колаковский. Этика без кодекса).

Может показаться парадоксом, но такая позиция перед лицом блага и зла, в сущности, отличает и христианство. Ведь именно в христианстве грех всегда остается грехом и стирается лишь после того, как человек признаёт его злом и, в меру сил и возможностей, исправит его и возместит. И никакие обстоятельства не уменьшают вину. Прощение приходит только извне, но оно вторично по сравнению с отношением самого человека к тому, что он сделал.

Принцип отпущения грехов часто ставился в упрек христианству. И действительно, критика имела основания, когда речь шла о точных кодексах, о перечнях грехов, о епитимье, перечеркивающей преступление, милостыне, смывающей причиненное зло. Но сам принцип отпущения равнозначен надежде, на которую имеет право каждый, — надежде на то, что после падения всегда можно подняться и начать заново борьбу с собой и с судьбой.

И так мы подошли вплотную к тому предложению в христианстве, которое должно вызывать самый пристальный интерес в мире сегодняшнего дня, где ведутся поиски ценностей, но чаще всего — ценностей, освобождающих от труда мысли и колебаний, от тяжести выбора и ответственности.

«Итак, мир дан нам в Иисусе Христе и через Него как *место конкретной ответственности* (...) И в то же время (...), действуя с чувством ответственности и с сознанием человеческой слабости, мы не можем наперед заключать об источниках, характере и цели наших актов, а должны суд над ними целиком оставить Богу. Если идеологическое действие включает в себе наперед данное и принципиальное свое оправдание, то ответственное действие отказывается от уверенности в своей окончательной правоте (...). В истории ответственное действие в значительной мере отличается незнание

того, каковы мы в конечном счете — плохие или хорошие, иными словами, означает препоручение себя милости Божьей. Человек, действующий из идеологических побуждений, считает своим оправданием идею, человек же ответственный препоручает свою деятельность Богу и живет Его милостью и доброжелательством». Но «мы не можем оставаться честными, не признав, что нам пришлось жить в мире *et si Deus non daretur* (...) И следовательно, тот факт, что мы повзрослели, ведет к признанию перед Богом нашего истинного положения. Тем самым Бог дает нам понять, что мы должны жить, как люди, умеющие прожить жизнь без Него» (Д. Бонхоффер. Избранное, стр. 194, 195, 265).

Такое понимание человеческой сущности дает смысл позиции, которую лучше всего можно назвать определением, взятым из словаря христианства, — позиции свидетельства. Она означает активную верность моральным принципам, косвенным путем доказывающую их силу и ценность. Означает открытое выполнение нравственных велений независимо от ситуации. Она не навязывает своих истин, а прививает их в человеческом сознании. Она требует от человека быть праведным среди бесправия, свободным среди рабства, мужественным среди страха, она требует в крайних обстоятельствах вести борьбу, обреченную на поражение. Обреченную, впрочем, не только потому, что нужно встать на сторону слабых, обиженных, неспособных победить, но и потому, что позиция, о которой мы говорим, не дает возможности довести до окончательной победы никакую борьбу. Ее цель состоит не в триумфальном насаждении какой-то модели общественной жизни, а в разрушении барьеров, мешающих реализовать ценности, на которые каждый человек имеет право. Такая борьба ведется снова и снова: в области конкретных требований программа такой позиции всегда отрицательна, если же ее пере-

формулировать в положительную сторону, она становится собранием правил банальных, но самых необходимых для жизни. И так, по-видимому, должно быть, ибо насилие едино и... ощутимо, а способов свободной жизни много, на эту множественность и опирается свобода. Говоря «живи не по лжи», Солженицын гораздо ближе этой позиции, чем когда он призывает к созданию крестьянских общин в Сибири.

4

В политическом действии важна тактика — оптимальный выбор средств, ведущих к поставленной цели. Позиция, о которой мы говорим, предполагает выбор, опирающийся только на нравственные ценности. Принимая ее, русские диссиденты стали, однако, политической оппозицией.

В стране тотального насилия, безнадежности и посредственности ироническая песенка, прекрасные стихи, книга, статья, размноженная в сотне экземпляров, абстрактная картина, простое движение солидарности и сочувствия — не только проявления отваги и героизма, не только брешь во всевластии силы; они выполняют функции парламентской оппозиции, роль платформы столкновения разных концепций, независимой печати, самовыражения разных общественных групп — одним словом, того, что в нормальном мире называется политическим действием. И такое действие составляет для власти большую опасность, чем традиционные формы политической борьбы с деспотизмом, из конспиративных побуждений хранимые в глубокой тайне: например, кремлевское покушение на Брежнева или тайная организация, о которой знают в результате только ее члены да раскрывшие ее органы.

Для того чтобы защищать принятые общественные ценности в демократическом обществе, нужно

принять и правила действия, обязательные для всех. В обществе тоталитарном, если насилие угрожает физическому существованию, нужно начать борьбу, а если оно поработщает и разлагает умы — можно защищаться, лишь став свободным в силу собственного решения.

Для того чтобы политическая оппозиция такого типа смогла появиться, сначала нужно потерять надежду на подлинные изменения (или вызванные объективной необходимостью, или сознательно проведенные властью) и однозначно осознать свое принципиальное несогласие с целями — пусть самыми отдаленными — этих изменений. Таким образом отпадают всякие иллюзии вроде: переждать, сохранить ценности, не затруднять, может быть, лучше сотрудничать — обращать внимание на неотложные проблемы, даже применять давление, в допустимой, разумеется, форме, и т. д. и т. п.

В своей деятельности диссиденты отвергли еще одно ограничение, и у некоторых этот жест может возбуждать сомнения. Речь идет о том, что адресат диссидентов — власть и общественное мнение свободного мира, но не собственное общество. И важно здесь не столько горькое сознание вырождения его общественной, моральной, интеллектуальной сущности, не столько понимание того, что если общество и вырвется из оцепенения, то вернее всего — в ответ на сигнал к травле, брошенный властью, чем на драматический вопль Солженицына, сколько отказ оппозиции считаться с парализующим вопросом: «как это будет принято?». Сахаров, посылая телеграмму в защиту Неруды генералу Пиночету, Солженицын, с глубоким пониманием говоря о власовцах, демонстранты на Красной площади, забывая подсчитать число евреев в своей группе, — все они знают, что их назовут фашистами, предателями и сионистами. Они сознают,

какова будет реакция, делающая людей глухими к их словам о свободе и справедливости, о лагерях, жестокостях и преследованиях, о том, чего достоин человек и на что он имеет право.

В таком образе действий кроется убеждение о неделимости правды, о том, что не бывает правды более или менее подходящей к данному моменту, о том, наконец, что правда не подчиняется побочным — пусть верным с инструментальной точки зрения — соображениям. Впрочем, может быть, уважение к обществу — а не потакание его фобиям и агрессивности — заключается именно в такой позиции, сохранившей веру в способность хотя бы части общества оценить ее по достоинству.

Поведение диссидентов из-за восточной границы сегодня нам, конечно, ближе, чем мироощущение, которое мы припомним в начале этого текста, хотя отличаются они, главным образом, предпосылками, ответом на вопрос: «почему следует начать действовать?». Переход от ставки на выигрышного коня истории, от принципа «этого требует объективная ситуация» — к принципу «таковы мои нравы» очень нелегок. Остановимся где-то на полпути.

Вы спросите — что общего имеет эта позиция с христианством? Но в этом письме речь идет не об обращении в веру. Оно говорит о парадоксе — ценности, которые безрезультатно ищут левые, обнаруживаются на противоположном полюсе, — и о том, что если в своем мировоззрении мы возвращаем человеку свободу от объективных исторических законов, то следует по-иному взглянуть туда, где эту свободу защищали всегда.

В окончание несколько слов утешения — мы не так сильно изменились: мечтаем о свободной стране людей свободных, освобожденных от бессмысленного тяжелого труда, от лжи, от постоянного страха, от вечной неуверенности в завтрашнем дне. О стране, где

человек с талантом, с энтузиазмом, с верой был бы ценностью, а не угрозой. Демократия, о которой мы говорим, не была бы никакой «настоящей демократией», идеальным выдуманным строем, дарующим счастье людям. Нет, заявить о такой возможности — значит, вернуться в ряды харизматиков, озаренных свыше и посланных для руководства людьми с их согласия или без него. Наша демократия — это просто — на просто гарантирование людям их фундаментальных прав, о которых столько сказано в Декларациях и Конституциях, это возможность для каждого стать свободным благодаря собственному усилию и труду. Ибо нельзя сделать человека счастливым — можно только дать ему возможность самому этого добиться.

ХМЕЛЕВСКАЯ Анна — социолог, род. в 1945, во время мартовских событий 1968 приговорена к 2 годам тюрьмы.

ПО ПОВОДУ ИНТЕРВЬЮ д-ра Р. МЕДВЕДЕВА

12-го апреля по западному радио было передано интервью с д-ром Р. Медведевым, в котором критиковалась позиция президента Картера по вопросу о правах человека. Д-р Медведев также утверждал, что акад. Сахаров растерял свой авторитет из-за своего окружения, состоящего, по словам Р. Медведева, — «из никого не представляющих экстремистов».

Я не имею чести принадлежать к близкому окружению акад. Сахарова и не читал текста интервью, но поскольку д-р Медведев не дезавуировал его, считаю нужным сделать следующее заявление. Делаю это с тем бóльшим сожалением, что весьма ценю известную книгу д-ра Медведева о сталинизме.

1. Как показывает опыт, позиции Медведева и советского правительства по ряду важных, имеющих кардинальное значение вопросов очень часто, хотя и с разными мотивировками, совпадают. Так было, например, с известной поправкой сенатора Джексона, так случилось и сейчас с оценкой самого важного события последнего времени, а именно решения президента Картера предоставить приоритет в своей внешней политике вопросу о правах человека.

Решение президента Картера не только оздоровило политический климат США и всего мира, но является единственной практичной политикой, не имеющей приемлемой альтернативы. В том убеждает, кстати, не слишком успешная политика его предшественников.

2. В современном политическом словаре слово «экстремист» неразрывно ассоциируется с насилием как средством достижения поставленных целей. Между тем, все диссиденты (правозаступники), имеющие какое-либо отношение к акад. Сахарову или Группе-Хельсинки, да и вообще все диссиденты, которых мне приходилось когда-либо встречать, категорически отвергают насилие. Все они всегда оставались в своей деятельности в рамках легальности.

3. Д-р Медведев не объяснил источника своей осведомленности о падении авторитета А. Д. Сахарова. Я, например, убежден, что авторитет Сахарова неуклонно возрастает во всем мире по той простой причине, что люди ценят такое редкое сочетание, как талант ученого, мужество, моральная и интеллектуальная честность и глубокое предвидение. Авторитет Сахарова имеет различные аспекты в разных странах, социальных группах и поколениях. О себе и значительной части советской интеллигенции, пережившей ужасы сталинского террора, могу сказать, что А. Д. Сахаров помог нам вернуть себе веру в человеческое мужество и достоинство. Этому мнению придерживаются и многие ученые, весьма далекие от диссидентов.

Странное впечатление оставляют и слова д-ра Медведева «никого не представляющие». Дружья акад. Сахарова представляют самих себя, и этого вполне достаточно. Поскольку д-р Медведев, судя по его словам, придерживается иного мнения, то позволительно спросить, кого именно представляет д-р Медведев.

Проф. Н. Мейман, член Группы-Хельсинки

16 апреля 1977, Москва

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Свыше 1500 титулов на складе.

Требуите каталоги

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

ИСТОКИ

Анеля Стейнсбергова

ГЛАЗАМИ ЗАЩИТНИКА

Отрывки

В послевоенных политических процессах я принимала участие как защитник с начала 1954 года.

Сталин уже умер, однако было еще далеко до того, чтобы признать его правление периодом «ошибок и извращений». Еще не говорили громко о методах следствия, фальсифицированных обвинениях и сфабрикованных процессах. Однако уже начинался пересмотр прежних приговоров.

Я участвовала более чем в десяти процессах по пересмотру дел. Восстановить их ход, как виделся он со скамьи защитника, кажется мне важным.

Правда, существуют судебные протоколы, но простому смертному они недоступны. Разбросанные по разным архивам: Варшавского суда, Верховного суда, Министерства внутренних дел, Государственного Совета и ЦК ПОРП, — они не дают полной картины этих дел. В них нет переписки обвиняемых с защитниками, нет и следа бесчисленных разговоров и обращений в различные инстанции, а также сотрудничества защиты с представителями интеллигенции, не отражена в них и атмосфера процессов, тем более — образы людей. Да и нет уверенности, что со временем они не пойдут «под нож» во имя высших целей апологии истории ПНР. Поэтому мои рассказы могли бы кое-что прибавить к истории этого периода. Не ограни-

чиваясь личными воспоминаниями, я хотела бы показать ход и механизм процессов.

*Процессы против деятелей
так называемого аковского подполья¹*

Основой репрессий против участников так называемого аковского или лондонского подполья стала вымышленная после войны концепция, выдвинутая правительством и ППР². Согласно этой концепции, во время оккупации возник заговор, центром которого были империалистические круги Лондона и Вашингтона, а орудием — лондонское правительство и его Делегатура³ в стране. Цель заговора, по этой концепции, — парализовать освободительную борьбу, проводимую коммунистическими организациями против оккупантов. Лондонское правительство и Делегатура якобы придерживались лозунга «стоять в боевой готовности» и не вести борьбу с оккупантом, направляя все усилия на создание административного и полицейского аппарата, который взял бы власть после поражения Германии. Главное же место в деятельности лондонского подполья, согласно этим тезисам, отводилось борьбе с левыми силами, которая состояла в раскрытии коммунистических организаций и акти-

¹ Аковцы — бойцы АК, Армии Крайовой, основной вооруженной силы польского Сопротивления во время оккупации. Армия Крайова была подчинена польскому правительству, находившемуся в Лондоне. — (Это и все дальнейшие примечания принадлежат переводчику.)

² Польска Партия Роботнича — Польская рабочая партия, образованная в 1942 вместо разогнанной в 1938 Коминтерном и уничтоженной органами НКВД Польской коммунистической партии. Стала позднее ядром Польской объединенной рабочей партии.

³ Представительство польского лондонского правительства в оккупированной стране.

вистов и их ликвидации путем убийств и выдачи в руки гестапо.

Эта теория не ссылалась ни на какие исторические источники. Настоящие историки не имели права голоса в вопросах новейшей истории — высказывался только пропагандный аппарат партии и правительства.

Как в орвелловской утопии, история должна была писаться наново на дочиста вытертой доске: «Кто контролирует прошлое — контролирует будущее, кто контролирует настоящее — контролирует прошлое».

Ввиду огромного размаха и престижа подпольных организаций и Армии Крайовой, для того, чтобы их скомпрометировать, мало было обвинить их в политических интригах. Надо было утвердить мнение, что коммунистическое движение было единственным настоящим Сопротивлением, руководство же Армии Крайовой и Делегатура боролись с ним, уничтожали его бойцов и тем помогали оккупанту.

И вот за основу обвинения был взят декрет от 31 августа 1944, так наз. «августовский» декрет «о наказании для фашистских преступников, виновных в убийствах и мучениях гражданского населения, а также для предателей Нации», в частности, статьи 1 и 2 этого декрета:

«Ст. 1. Кто, помогая властям германского или союзного с ним государства: 1) принимал участие в совершении убийств лиц из числа гражданского населения или военных или военнопленных; 2) путем доноса или поимки наносил ущерб людям по причинам политическим, национальным или расовым — подлежит наказанию тюрьмой на срок не меньше 5 лет либо пожизненно либо смертной казни.

Ст. 2. Кто, помогая властям германского или союзного с ним государства, действовал иным путем или в иных обстоятельствах, нежели предусмотренные в ст. 1, в ущерб Польского Государства, польского правового лица, лиц из числа гражданского населения или военных или военнопленных — подлежит наказанию тюрьмой на срок не меньше 5 лет либо пожизненно либо смертной казни».

Эти нормы были сформулированы и введены еще до окончания войны и направлены против гитлеровских военных преступников. На их основе были показаны комендант Освенцима Гесс, палач варшавского гетто Штрооп, оккупационный наместник Варшавы Фишер, гаулейтер Гданьска Грайзер и многочисленные гестаповцы и эсесовцы. И те же нормы послужили в 1948-1953 гг. как инструмент не только репрессий, но и морального уничтожения — против деятелей аковского подполья.

На их основе были осуждены и казнены генерал Фильдорф «Ниль», начальник диверсионного отдела АК и организатор покушения на Кучеру⁴, Контрым⁵ «Жмудин», Хаенцкий, заместитель президента Стажинского⁶ в дни обороны Варшавы. По этим же нормам получили пожизненное заключение Казимеж Мочарский, Марцели Паровский, подпольный президент Варшавы, Ежи Чекановский, Станислав Цыбульский и многие другие участники Сопротивления и бойцы АК.

Массовые аресты по этим делам начались под конец 1948 года. Это не значит, что репрессий не было раньше. Политические процессы шли с 1945 г., однако они касались, главным образом, послевоенной, так наз. «подрывной» деятельности против господствующего режима.

По делам о деятельности во время оккупации основная волна арестов прошла позже. При этом обращает внимание факт, что у власти в это время стояли, за редкими исключениями, люди, которых во время войны не было в Польше.

⁴ Начальник СС и полиции Варшавы, приговорен к смерти полковым судом, погиб от руки бойцов АК 1 февр. 1944.

⁵ Один из старших офицеров АК.

⁶ Президент (мэр) Варшавы, организатор обороны столицы в сентябре 1939, арестован немцами в октябре 1939, замучен в Дахау в сентябре 1943.

Процессы старательно готовились. Речь шла о том, чтобы заставить обвиняемых самих признать свою вину, осудить свою деятельность в Соппротивлении и целиком подтвердить официальную политическую и моральную оценку подполья, в котором они участвовали.

Некоторые не выдерживали физических и моральных пыток, применяемых на следствии, — сломанные и лишенные воли, они поддавались давлению убеков⁷, признавали свою вину, обрушивали клевету на движение Соппротивления, осуждали подпольное государство и Армию Крайову.

Но и этого было мало. Если уж они признали свои политические грехи и раскаялись, от них требовалось сотрудничество: открыть органам репрессии звенья «заговора», описать «преступную деятельность» институтов подпольного государства, указать соучастников мнимых преступлений и их мнимые жертвы. Только исполнив эту повинность, можно было рассчитывать на льготный режим в тюрьме.

Но требовалось идти и еще дальше и своими показаниями обосновывать приговоры для других. Мыслинского, Зборовского, Паёра, Неналтовского, Курчевского приводили свидетелями на десятки процессов, чтобы они под бдительным глазом убеков повторяли свои показания.

Идеалом и примером были знаменитые московские процессы. Но удавалось это не так часто: были многочисленные заключенные, которые с небывалым мужеством защищали свои убеждения и сохранили личное достоинство.

Надо отметить, что, хотя целью этих процессов было заклеить аковское подполье в глазах общества и доказать общественному мнению его гнусную роль, очень немногие процессы проходили открыто. Гос-

⁷ Польские чекисты, от УБ — управление безопасности.

безопасностью владел страх, что режиссура может подвести, что какое-либо слово, возглас или жест всё испортят. Поэтому публичными были только некоторые, детальнейшим образом подготовленные процессы. Обычно же усиленно стремились к строжайшей тайне.

С этой целью в Варшавском суде была создана секция секретных дел. Протоколы ее процессов были снабжены особым обозначением. К защите допускался только узкий круг облеченных доверием адвокатов — но и тем нельзя было брать домой заметки с процесса; все заявления, вплоть до кассационной жалобы, они должны были писать от руки в канцелярии секции и немедленно их сдавать. Трудно было добиться свидания с подзащитными.

В некоторых делах, при особенно упорных обвинениях, не признававших предъявленных им обвинений, их даже не привозили в суд. Ради еще более строгой секретности процессы проходили в тюрьме — как говорили заключенные, «на параше».

С момента ареста заключенные были абсолютно оторваны от мира. Человек исчезал, и никто, включая ближайших родных, подолгу не знал, что с ним происходит. Следствия продолжались годами. Мой будущий подзащитный, офицер АК Станислав Меженский просидел в тюрьме семь лет без приговора. Следствие по делу Влодзимежа Леховича продолжалось пять с половиной лет. Всё это время никто не мог встретиться с заключенными.

В коридорах прокуратуры толклись полуобморочные женщины, стараясь узнать, что с их мужьями, братьями, сыновьями.

После приговора осужденных развозили по дальним тюрьмам. Свидания с семьями были уже разрешены, но требовали тяжелой и дорогой поездки.

Оправдались предчувствия Казимежа Пужака⁸. В своих тюремных странствованиях он оказался в одной камере с Казимежем Мочарским и сказал ему: «Прокурор Руденко на московском процессе открыл карты — всё подполье будет признано агентурой, всё польское и отечественное («крайове» — Пер.) окажется за решеткой».

Дело Казимежа Мочарского

Это был тот короткий период, когда суд был, пожалуй, действительно независим. Процесс (пересмотр дела — Пер.) был назначен на 6 декабря 1956.

Теперь организация процесса была в наших руках. Мы вызвали больше десятка свидетелей, выдающихся деятелей подполья. Процесс продолжался несколько дней. Самый большой зал в здании суда был набит публикой. Когда в перерывах мы с Мочарским⁹ спустились в буфет суда выпить кофе, наш столик брали в осаду. Все, даже чужие люди, хотели пожать мне руку.

О варшавских настроениях свидетельствуют мелкие инциденты. И мы, защитники, переживали короткий период популярности: в один из дней процесса я села в такси и сказала адрес суда. «Я вас узнал, — сказал шофер, — я был вчера в суде». Мы разговаривали всю дорогу, и он не позволил мне заплатить. «Простите, пани, — я тоже был в АК». Другой раз я стояла в очереди за продуктами, и ко мне обратился стоявший близко к продавцу мужчина: «Пани адвокат, что вам нужно, я всё куплю».

⁸ См. Збигнев Стыпулковский. «Приглашение» в Москву. — «Континент», № 8.

⁹ Мочарский, как и многие другие аковцы, к тому времени был освобожден из тюрьмы без пересмотра дела и без реабилитации.

Моя приятельница прислала из Нью-Йорка на мой адрес одежду для обоих Мочарских. Пошлина была огромная — что делать? Иду с Мочарским в дирекцию таможи и, назвав наши фамилии, прошу доложить директору — он принимает меня тут же и без разговоров освобождает посылку от пошлины, не знаю уж, на каком формальном основании.

В судах перед нами открываются двери кабинетов, судьи сердечно приглашают поболтать. Двумя годами позже наш коллега Станислав Щука разыграл на каком-то приеме смешную пантомиму «Визит адвокатов Винавера и Стейнсберговой в суде в 1956 и в 1958 году». В первом случае — глубокие поклоны, улыбки, сердечные разговоры, во втором — холодные, официальные аудиенции.

Процесс Мочарского был возобновлен, отменены оба приговора, остался в силе обвинительный акт, который и должен был расследоваться на новом процессе. Процесс проходил 6, 7 и 8 декабря 1956 и полностью записывался на магнитофон. Лента должна быть в судебном архиве. У меня нет к ней доступа, основываясь на судебном протоколе и на собственных заметках; к сожалению, они не отражают полностью настроения процесса — магнитофонная запись передает голоса и интонацию, волнение или тишину в зале.

Процесс начался чтением обвинительного акта: документ, наводивший ужас в 1952 г., сейчас был одновременно трагическим и гротескным.

Мочарский, с согласия суда, давал объяснения первым, хотя в обвинительном акте стоял на третьем месте.

Он начал: «Я не являюсь в этом зале обвиняемым, не защищаюсь, но обвиняю. Я обвиняю систему, представителями которой были Радкевич, Ромковский и Ружанский¹⁰... Эту систему называют Ружанщина —

¹⁰ Руководители УБ.

это не точно. Монтировать наши процессы могли только люди совершенно чужие, не знающие нашей истории, нашего общества и его традиции независимости¹¹... Нужна была крайняя бессовестность, чтобы — фабрикуя против нас фальшивые процессы — обвинять нас в фабрикации фальшивых обвинений.

Мне нет надобности отказываться от своих показаний, так как меня не смогли принудить обвинить себя самого или моих близких, а под именем «близких» я имею в виду всех участников движения Сопротивления, независимо от их организационной принадлежности».

Среди господствующего в зале напряжения Мочарский описал ход следствия, перечислил этапы нагромождающихся физических и духовных пыток: «Это не обычные полицейские бросались на нас в ярости и злобе. Нужно было мастерство, чтобы создать такой аппарат, сыгранный и натренированный в ремесле палача, от полковников или даже генералов до обычного надзирателя в тюремном коридоре».

«Каким художником в своем ремесле был полковник Юзеф Душа: он мог с налету ударить резиновой дубинкой в переносицу, не ломая кость».

Ружанский отличался в моральных издевательствах над незащищенным заключенным. «Когда, избитый и изувеченный, я лежал почти без сознания на бетонном полу, Ружанский подошел и показал мне фальшивое свидетельство о смерти моей жены».

На заключенных действовали разными методами: пыткой, внушением, соседством по камере, куда сажали доносчиков и «левых свидетелей», потом выступавших на суде. Угрожали, например, что любому могут сделать удостоверение осведомителя гестапо: бланки есть, а сидящие в тюрьме гестаповцы охотно их подпишут.

¹¹ Косвенное указание на советских «советников».

Однажды Мочарский заявил Душе, что когда-то же придется за это отвечать, — Душа рассмеялся и сказал, что, может, когда-нибудь историки будут над этим задумываться. «Но сегодня *мы* пишем историю междувоенной, оккупированной и Народной Польши на вашей шкуре и костях, а сегодняшние и завтрашние учебники истории пишутся и будут писаться так, как мы хотим».

Мочарский говорил далее о том, что не все палачи понесли ответственность: не заведено уголовное преследование против выделявшихся своей жестокостью сотрудников госбезопасности Серковского и Гумера; остались на своих постах надзиратели корпуса А, особенно мучившие заключенных: Шиманский, Вардынский и Мазуркевич, организатор ночных кроссов по тюремным лестницам.

Мочарский говорил не об одном только своем деле — он рассказывал, как вешали в тюрьме и убивали в подвале выстрелом в затылок, как убили 19 офицеров и генерала Ния-Фильдорфа. Он говорил о сидевших тогда же в тюрьме коммунистах, бойцах Армии Людовой (АЛ) и Гвардии Людовой (ГЛ). «Как бывший начальник Бюро информации и пропаганды (АК — Пер.), я должен был иметь о них сведения и стать свидетелем обвинения в их процессе, свидетелем наиболее достойным доверия вследствие наилучшей информированности».

«Уверенность в себе наших палачей была основана на убеждении, что это их аппарат осуществляет всю власть в Польше, контролируя даже партию и высшие государственные инстанции. Когда меня допрашивали по поводу антикоммунистической или антисоветской деятельности Берута, Циранкевича, Жимерского, Барциковского¹², когда мне говорили, что орга-

¹² Тогда — руководители ПОРП и ПНР.

ны безопасности уже ударили по НСЗэт¹³, по партиям Стронництво Народове и Стронництво Працы¹⁴, по ППС-ВРН¹⁵, по АК и Миколайчику, а теперь расправляются с собственными товарищами, — я подумал, что Польского Государства уже не существует, осталась одна какая-то жуткая шайка преступников».

Переходя к своей деятельности во время оккупации, Мочарский заявил: «Полгода моей работы в КВП (Руководство подпольной борьбой) дали мне глубочайшее в моей жизни моральное удовлетворение». Он начал эту работу в начале 1944 г. и организовал в КВП группу «Магель», задачей которой было проводить дознание по делам о коллаборации и другим преступным действиям, направленным против польских граждан. Он никогда не предполагал, что раскрываемые им осведомители, профессиональные «ловцы евреев», доносчики и шантажисты будут выдвинуты на роль левых борцов и что он, Мочарский, должен будет защищать честь ППР, АЛ и ГЛ от такого позора.

На следствии ему показали фотографию мнимого активиста Союза борьбы молодых. Он тут же узнал некоего Яна Лакинского, хотя и не признался, что узнал его. Лакинский был осведомителем гестапо, выдал нескольких товарищей и принимал участие в раскрытии бункера, где прятались евреи. За это он был приговорен и расстрелян.

Опасным осведомителем гестапо была и Станислава Козера. Курчевский выдумал или убеки продик-

¹³ Националистическая, полуфашистская организация, часто выступавшая против АК, но в 1944 передавшая под командование АК свои формирования.

¹⁴ Две демократические партии: крестьянская и рабоче-христианско-демократическая.

¹⁵ Польская социалистическая партия, принявшая во время оккупации название «Вольнось — Рувнось — Неподлеглось» (Свобода — Равенство — Независимость).

товали ему фантастическую басню, что после освобождения Варшавы советские солдаты пришли в ее квартиру с цветами, откуда следовал вывод, что она была агентом советской разведки. Кто видел этих гостей с цветами — неизвестно, зато многими месяцами раньше, 8 мая 1944, эти цветы своими глазами видел Мочарский. В цветах, принесенных Станиславе Козере как бы на именины, — боевики из КВП принесли пистолет, чтобы исполнить приговор Особого Суда. Во время этой ликвидации из квартиры Козеры через окно бежали ее гости, немцы в полной военной форме.

В течение этого полугода работы Мочарского в КВП ячейка «Магель» передала прокурору Особого гражданского суда свыше 60 подробно подготовленных и проверенных докладов, снабженных рекомендациями. Эти доклады служили основой обвинительных актов. Мочарский проводил дознание и следствие и должен был применяться к особой (сокращенной) процедуре ведения дел. Его данные относительно обстоятельств преступления носили характер следовательских данных. Свидетелей допрашивали под присягой, предварительно собирая информацию о том, насколько они заслуживают доверия. Велись протоколы допросов, разумеется, подписанные псевдонимами. Мочарский прибавлял собственную рекомендацию, принимая на себя ответственность за действия подчиненных ему работников группы «Магель». Затем он передавал материалы представителю прокуратуры Особого суда адвокату Саковичу.

Дела, раскрытые «Магелем», касались, в частности, семьи Наконечников-Клюковских (Мочарский лично был свидетелем их участия в ликвидации гетто в Отвоцке); довоенного немецкого шпиона в Варшаве Чеботарева; Лятошека из управления труда, организатора уличных облав с вывозом на работы; банды Бонка и Малевской из 13 человек. В числе веществен-

ных доказательств по делу этой банды были вынутые из кармана Бонка расчеты с гестапо за выданных евреев, а также записки с фамилиями и номерами телефонов. Один из членов этой банды, некто Домбровский, признался, что за голову еврея они получали 500 злотых.

По делу Вавжинца Сибильского было доказано, что он выдал 55 евреев, и приведены фамилии и даты поимки.

Мочарский выследил и отдал под суд Антония Фрайндла, который шантажировал члена ППР Хелену Кулиговскую.

У него было только одно дело гитлеровского агента, о котором он не хочет говорить, так как речь идет о внуке человека, имеющего большие заслуги перед польской культурой.

«Я был готов к тому, что когда-нибудь мне придется отчитываться в этой моей деятельности, и принимаю полную ответственность за нее. Эту деятельность старались замарать и оплевать — я знаю, что всё наше Соппротивление должно было рассматриваться как агентура. Это намерение вышло наружу на процессе наших шестнадцати командиров, похищенных в апреле (1945 — Пер.) и судимых в Москве».

Отвечая на вопрос защиты, Мочарский говорил о своей послевоенной деятельности, за которую был приговорен в 1946 г. Военным судом. После войны он стремился к тому, чтобы АК вышла из подполья и была распущена. Летом 1945 вместе с Влодзимежем Леховичем и Зыгмунтом Капитанским он направил докладную записку тогдашнему командующему АК Яну Жепецкому. Однако власти делали всё, чтобы не допустить мирной ликвидации АК, чтобы загнать аковские массы в подполье и дать им изойти кровью. «Неприязнь этих масс к текущей реальности была вызвана, прежде всего, опасениями за суверенитет страны, а не враждебностью к социальным реформам».

Крак и Курчевский отказались от всех своих прежних показаний как данных под принуждением и подтвердили факты, приведенные Мочарским.

В судебном следствии были заслушаны свидетели обвинения. Во время первого процесса они сами были заключенными, приводили их в тюремный «клуб» под конвоем убегов, которые следили, чтобы никто не переменял прежних показаний. Теперь они все были на свободе.

Ян Зборовский производил впечатление человека, впавшего в отчаяние от той роли, которую сыграл как свидетель обвинения во многих аковских процессах. На следствии его допрашивали «конвейером», 38 часов без перерыва при меняющихся убехах, с регулярными избиениями, и притом еще заставили сделать несколько сот приседаний. Физически и морально сложенный, он стал — как сам это назвал — «пластинкой полковника Души», многократно проигрываемой на процессах Мочарского, Ямонтта, Зенца, Ежи Брауна, Желеховского и на своем собственном. Все его тогдашние показания были ложными. Правда, что Мочарский обращался к нему как к сотруднику разведки Делегатуры за помощью в дознании по нескольким делам. Всё это были дела о коллаборации — о коммунистах речи никогда не было.

Станислав Неналтовский также объяснил, что, будучи абсолютно лишен воли после пыток, дал ложные показания, которых от него добивались.

Свидетель Генрик Лысаковский во время оккупации был начальником отдела в Государственном корпусе безопасности. Он не проводил следствий, выполнял административные функции. До мая 1944 его начальником был Крак. По его поручению Лысаковский проводил хронику событий в подполье на территории Варшавы. В этих целях он получил большое количество материалов, которые переписал. Так он собрал большой архив. Там были данные о подпольных ин-

ститутах, о покушениях и ликвидациих, а также списки деятелей разных политических группировок, в том числе и коммунистов, были также списки польской (коллаборантской) полиции и фольксдойчей. По мнению Лысаковского, эти материалы должны были служить институтам подпольного государства с целью информации о политических отношениях, зато он никогда не слышал, чтобы с коммунистами собирались бороться методами, описанными в обвинительном акте. «Если бы мы хотели ликвидировать их так, как нас в этом обвиняли, мы легко могли бы выдать немцам всех выдающихся деятелей, так как фамилии, псевдонимы и адреса были разведке известны».

После поражения Варшавского восстания Лысаковский получил от командования АК пачку чистых аковских удостоверений для раздачи солдатам АЛ, которых немцы не признавали войсковым формированием. Аковские удостоверения позволили им избежать тяжелых репрессий и слиться на правах военнопленных.

Перед Восстанием Лысаковский закопал архив в погребе — после войны часть архива отдал Краку, а часть оставил себе. При его аресте в 1949 все документы забрало УБ. На следствии ему приказывали подписывать разные бумаги в качестве взятых у него на обыске. Измученный пытками и унижениями, подписывал не читая.

По ходатайству защиты были вызваны свидетелями деятели подполья — выдающиеся аковцы и сотрудники разных институтов подпольного государства. Сам факт их публичного выступления имел огромное значение. Не следует забывать, что в тот момент не было ни одного мало-мальски правдивого исторического труда. Не были также официально опровергнуты теории о роли Армии Крайовой и Делегатуры как реакционных агентурных организаций, действующих в интересах оккупанта. Люди, которые

имели все основания эту теорию опровергнуть, первый раз могли высказаться публично. И с этой точки зрения процесс Мочарского имел переломный характер.

Вопрос о Руководстве подпольной борьбой осветили свидетели полковник Ян Жепецкий и Владислав Бартошевский. Из их показаний следует, что в конце 1941 командующий АК генерал Ровецкий (Грот) и Делегат лондонского правительства в стране Ратайский общим решением призвали к жизни Руководство гражданской борьбой как орган командования АК и Правительства, координирующий движение Сопротивления среди гражданского населения. В середине 1943 его переименовали в Руководство подпольной борьбой (КВП). Полковник Ян Жепецкий как начальник Бюро информации и пропаганды (БИП) принадлежал к его центральному управлению, куда входили еще три человека: адвокат Стефан Корбонский¹⁶ — председатель — и представители Делегата правительства и АК. Жепецкий заявил, что он участвовал во всех собраниях этой группы, на которых определялись планы действия и рассматривались отчеты обо всех акциях, — никогда не было речи о борьбе с коммунистами; единственной темой было сопротивление общества оккупанту.

Владислав Бартошевский¹⁷ говорил о сфере действий КВП. Задача была воспитать в обществе нормы жизни под оккупацией. Было объявлено, что суровые

¹⁶ Ныне в эмиграции. Автор книги «Польское Подпольное Государство», вышедшей в Париже, в Библиотеке «Культуры».

¹⁷ Историк, крупнейший специалист по истории войны и оккупации в Польше. Среди многих его трудов — редакция и составление сборника «Тот из моей отчизны...» (о помощи поляков преследуемым евреям) и четырехтомного исследования «Гражданское население в Варшавском восстании». Президент польского ПЕН-клуба, участник нескольких писем протеста, в результате которых в 1976 не получил выездной визы на сессию ПЕН-клуба (вся польская делегация в знак солидарности отказалась ехать).

кары падут на тех поляков, которые предадут свой народ и прислуживаются к немцам. В особенности КВП предостерегало работодателей от применения приказов оккупационных властей, наносящих ущерб рабочим, запрещало нарушать бойкот и поддерживать отношения с немцами, а главное — заниматься доносами, шантажом и вымогательством.

С целью раскрытия этих преступлений КВП проводило дознания и передавало собранные материалы в прокуратуру Особого гражданского суда. Бартошевский назвал ряд фамилий тех, кто был казнен в результате такого дознания: за организацию облав, за выдачу товарищей, за шантаж и выдачу евреев.

Эти дела Бартошевский знал как сотрудник тюремной ячейки Делегатуры, кроме того, он работал в БИПе и в организации Жегота, созданной Делегатурой для оказания помощи евреям. После войны, обвиненный в шпионаже, он сидел в одной камере с гестаповцем Эриком Энгельсом, который рассказал, что убeki обещали ему помилование, если он назовет некоторых неизвестных ему лиц как осведомителей гестапо. Энгельс отказался, зато другой гестаповец, Курт Набора, сыграл эту роль и, кажется, действительно вернулся в Германию.

О деятельности Особого гражданского суда рассказывали адвокаты Эугениуш Эрнст, Станислав Козёлкевич и Людомир Сакович. Все трое за эту деятельность были арестованы и судимы. Дело Эрнста и Козёлкевича в конце концов было прекращено за отсутствием доказательств вины. Сакович был осужден на 15 лет тюрьмы и в 1956 оправдан путем чрезвычайного пересмотра (защищал его адвокат Винавер).

Адвокат Эугениуш Эрнст показал, что концепция созыва Особого суда возникла, когда организация Жегота обратилась к Делегату правительства за помощью, чтобы прекратить выдачи и шантажи по отношению к еврейскому населению. По предложению

Делегатуры, лондонское правительство в 1942 создало Особый гражданский суд, дало ему устав и инструкцию действий. Тогдашний Делегат проф. Пекалкевич назначил адвоката Эрнста председателем суда. Эрнст принял назначение с твердым условием соблюдения полной независимости суда.

Во время оккупации было произнесено несколько десятков приговоров к смертной казни. Судили — разумеется, в закрытом заседании — три человека. Приговоры публиковались в подпольной печати, чтобы информировать общество, что прислуживание оккупанту и преступления против населения не проходят безнаказанно. Никогда не возникало интереса к политическим убеждениям обвиняемых.

Немедленно после создания люблинского временного правительства адвокат Задровский обратился к тогдашнему министру юстиции и предложил ему отчет о деятельности Особого суда, так что правительство ПНР было о ней информировано. Никогда никто не ставил под сомнение правоты произнесенных приговоров.

Адвокат Станислав Козёлкевич был прокурором Особого суда. Он показал, что доказательственные материалы получал от подпольного президента Варшавы Марцелия Поровского или от делегата по варшавскому округу Квасиборского. Он исследовал, кто и каким путем собирал эти материалы, анализировал их и критически оценивал, прежде чем составить обвинительный акт. 30% приговоров относились к преследованию еврейского населения, остальные — к коллаборации. Он никогда не встречал политических обвинений.

Инструкция о ведении дел Особым гражданским судом, выпущенная лондонским правительством, находится в деле Паёра и прекрасно известна органам безопасности и прокуратуры. Инструкция подчеркивает, что Особый суд не рассматривает вопроса, к ка-

ким политическим группировкам принадлежат обвиняемые.

Адвокат Людомир Сакович был прокурором Особого суда для Варшавы. Он показал, что, хотя в подполье шла политическая борьба, а лондонский лагерь отнюдь не был монолитным, не могло быть и речи о том, чтобы обвинение в коллаборации было поводом для сведения политических счетов. Впервые он услышал об этом от сотрудников госбезопасности во время своего следствия.

О работе Мочарского в БИПе рассказывали Ян Жепецкий, Владислав Бартошевский, Александер Гейштор, Зыгмунд Капитаняк и Ян Роснер. Все они подтвердили, что Мочарский был человеком демократических убеждений и принадлежал к кругу Маковецкого¹⁸, с которым был дружен. После похищения и убийства Маковецких и Видершаля Мочарский вел следствие с целью открыть преступников. Подозрения и намеки госбезопасности, что якобы Мочарский мог быть причастен к этому убийству, абсурдны.

О том, как были отбиты заключенные из госпиталя Иоанна Предтечи, в июне 1944, давали показания участники акции. Ацией руководил лично Мочарский. Через врачей госпиталя установили связь с политзаключенными и передали для них оружие. Акция проводилась извне и изнутри госпиталя. Было освобождено больше десяти заключенных, никто их не спрашивал о политических убеждениях, бойцам АЛ оказали помощь, как и всем остальным.

Владислав Бартошевский и Ян Жепецкий говорили об участии Мочарского в восстании. Его особой заслугой была организация сети радиостанций, обеспечившей связь между отрядами АК.

Наконец, Ян Жепецкий рассказал о послевоенной деятельности Мочарского. Жепецкий, Корбонский и

¹⁸ Инженер Ежи Маковецкий, офицер Главного штаба АК, убитый в 1943 году фашиствующим крылом НСЗэт.

Мочарский в 1945 прилагали старания к безболезненному роспуску АК. С этой целью они ездили по стране и разъясняли ситуацию бойцам. Они считали тогда, что с приездом Миколайчика можно будет ликвидировать АК и избежать конфликтов. Капитаняк, Лехович и Мочарский подали об этом докладную записку Жепецкому. Они утверждали, что дальнейшая подпольная борьба не имеет смысла и просили отдать соответствующие приказы. Вскоре после этого Гомулка обещал амнистию под условием явки — тогда Жепецкий и Мочарский обратились к бойцам с призывом прекратить акции. В этот момент, в августе 1945, Мочарский был арестован.

Наконец, один весёлый момент: в зале появляется свидетель Зыгмунт Антчак. Согласно обвинительному акту, он пал жертвой убийства, жертвой заговора против национально-освободительного движения, руководимого ППР, — и вот он входит в зал целый и невредимый. Курчевский на следствии дал показания, что Антчак убит как человек левых убеждений в результате общих стараний КВП и Особого суда. Теперь, по прошествии лет, Курчевский отыскал его и привел в суд.

Антчак показал, что во время оккупации он действительно принадлежал к ППР и распространял подпольную прессу. Работал на железной дороге и в 1942 был задержан немецкой железнодорожной охраной, но «баншутцы» дали ему бежать в тот же день.

Может быть, наиболее потрясло всех выступление свидетеля Чеслава Смецинского. «Я сидел в тюрьме на ул. Раковецкой, 16, многие месяцы, не зная за что, наверно за АК, — обвинительного акта против меня не составили».

С ноября 1948 до марта 1949 он был в 10-м корпусе, в одной камере с Мочарским. Смецинский описывает ужасающую атмосферу тюрьмы. Крики и стоны,

доходящие из других камер, издевательства надзирателей (отбирали воду и мыло, зимой вынимали рамы из окон, выставляли заключенных голыми на мороз).

Для Мочарского это был период «адского следствия». Редко когда он возвращался с допроса сам, обычно надзиратели вносили его и, как мешок, бросали на землю. Он был жестоко избит, с растоптанными пальцами, кропоподтеками на лице. Смецинский старался спрятать немного воды, чтобы делать ему компрессы.

В одно воскресенье в камеру вошел Ружанский вместе с другим офицером. Сначала он разговаривал с Мочарским спокойно, но вдруг ударил его изо всех сил, так что Мочарский упал. Тогда Ружанский заявил, что это последний его вежливый с ним разговор.

По окончании судебного следствия прокурор Мерник заявил, что отказывается от обвинения, произнес всего одну эту фразу, не мотивировал свою позицию, прибавил только, что прокурор Вайсблех уволен из прокуратуры и что против него заведено дисциплинарное дело.

В этой ситуации наши речи были уже только украшением.

* *

По своим заметкам я вижу, что я старалась представить политическую и историческую оценку процесса. Винавер занялся фактической стороной дела. Протокол отмечает, что защитники Мочарского доказали полную безосновательность обвинения. Судья Земба старательно делал записи во время наших выступлений, и мне кажется, что обоснование приговора в полной мере их отражает.

Мочарский в большом последнем слове еще раз заклеил фальшь концепции обвинения и преступность ведения дела. Протокол указывает, что он выразил убеждение, что виновные будут наказаны, а

преступления, совершавшиеся в тот период, уже не повторяются.

11 декабря 1956 председатель суда произнес оправдательный приговор, вместе с обоснованием. Мне кажется, он представляет ясное и очень хорошее резюме процесса. Но вот в 1972 году оказалось, что этот приговор, произнесенный именем Польской народной республики и оглашенный при открытых дверях в судебном зале, является документом нецензурным. В апреле 1972 журнал «Одра» начал публикацию работы Мочарского «Разговоры с палачом». Первому отрывку предшествовало предисловие Анджея Шипёрского, который объяснял, кем был Мочарский и как получилось, что он встретился в тюремной камере с Юргеном Штроопом и вступил с ним в разговор. Приговор начинался цитатой из приговора суда, полностью вычеркнутой цензорами.

Этот инцидент укрепил во мне убеждение, что необходимо, по мере возможности сохранить, закрепить и передать историю процессов в период так наз. «ошибок и извращений», а то неизвестно, какая еще судьба ее ждет, каким переделкам она подвергнется, когда не останется участников и свидетелей.

Надо еще подчеркнуть историческое значение процесса Мочарского и других дел по реабилитации, слушавшихся после этого.

«Ошибки и извращения» сталинизма осудили и в Советском Союзе, и в других странах народной демократии, реабилитировали многих несправедливо осужденных, но нигде, кроме Польши, не прошли открытые процессы, которые обнажили кулисы политических репрессий. Реабилитацию проводили на партийных собраниях, отчеты сводились к лаконичным упоминаниям «пал жертвой провокации», или «реабилитирован», или чаще «посмертно реабилитирован». Никому из пострадавших не дано было публично провозгласить перед судом «я обвиняю»! Нигде больше

семья не могла требовать публичных пересмотров, в которых на скамье подсудимых лежали букеты, обвязанные траурной лентой.

В Польше случилось иначе. Волна процессов, которые прошли после октября 1956, принесла моральное и политическое обновление. И в этом немалая заслуга Казимежа Мочарского.

СТЕЙНСБЕРГОВА Анеля — адвокат, до войны связана с Польской социалистической партией и Лигой защиты прав человека и гражданина, выступала как защитник в политических процессах, в том числе защищала и коммунистов. Во время оккупации была связана с АК. После войны продолжала деятельность защитника. Кроме участия в процессах реабилитации аковцев, была политическим защитником в 60-е годы на процессах Куроня и Модзелевского, Ханны Рудзинской, Яна Непомуцена Миллера. Подписала важнейшие документы в защиту прав человека в Польше (мемориал 59-ти против поправок к Конституции, письмо солидарности с рабочими Урсуса и Радома). Член Комитета защиты рабочих.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

А. Гладилин, Д. Дар, В. Некрасов

Стихи:

**И. Бродский, И. Рубин,
украинские поэты**

Публицистика:

**Г. Вигфорсс, Ю. Йофе, М. Карпович
Э. Неизвестный, И. Огурцов и
Э. Оганесян**

ИСКУССТВО

Димитрий Б о б ы ш е в

ТРИЖДЫ — ТЮЛЬПАНОВ

1

Душа художника трепещет на кончике нежнейшей кисти.

Его модель вторую неделю пытается соперничать с идеальным натурщиком — предметом. Тяготы вещественного мира уже освоены позирующим, досаждают лишь главная из них — неподвижность. Впрочем, сегодня сменился ракурс; можно, наконец, отвернуться от фотографии почтеннейшего, но, увы, покойного добермана, и взгляд натурщика счастливо погружается в питательные для него контрасты «Комнаты с красным паркетом» — уже готовой картины, висящей напротив.

Художник помогает себе причудливой мимикой, преобразуя лицо модели в сложный, умный предмет со следами, которые оставило на нем время, и с глядящими мимо любых времен глазами.

А картина в этот момент насыщает сотней своих предметов тесную — не повернуться — клетушку, в которой работает и живет художник. Да поворачиваться и нельзя — сеанс! — однако хватает для размышления и того фрагмента, что видишь прямо перед собой.

На непонятной, только для нее созданной полочке, пурпурно-розовая банкнота достоинством в 10 желанных рублей стоит на хрустящем полусмятом ребре, а рядом с таинственной тщательностью изображен приклепленный клочок рыхлой бумаги, уголок

книжной дешевой иллюстрации, ничто, превращенное в нечто, равноправное ассигнации уже потому, что и то, и другое равно-любовно сотворено... Какой-то крупный смысл проступает из гладкой поверхности полотна... Да это же — притча! Это ж — история богача и бедного Лазаря, остановленная в своем рассказе ради нового сюжетного поворота — примирения этих двух в прекращенном времени, в преображенном пространстве, в чуде. Но этого мало: ведь не только смысл, но и цвет, фактура, ритм конфигураций, даже, кажется, вес и светимость — всё добавляет свой уровень глубины и, в конечном счете, свою правду, превращая изображение в подлинную многослойную притчу.

Или — вот это... Массивная золотая плитка со всею весомостью свидетельствует еще об одном драматическом братстве, служа подставкой двум изумительно прекрасным и тщательнейше выписанным вещам: надкушенной черствой корке и ниске жемчуга, чьи круглые светящиеся зубы так странно повторяют дугу хлебного укуса. Поразительно — сколько тут сказано, и всего лишь на нескольких квадратных сантиметрах огромного холста! А рядом — десятки иных сочетаний, взаимозависимостей, отношений... Уже этим обеспечен устрашающе-плотный «климат» произведений этого художника. Уже поэтому непринужденно воспаривший поднос, застревающий в пересечениях живописно-смысловых связей другой его картины — «Затянувшаяся игра», делается совершенно убедительным.

Но работы этого автора — отнюдь не сборники афоризмов, а — именно — картины, зрелища, и потому они — принципиально необъяснимы, как необъяснимо и прекрасно, к примеру, павлинье перо, этот колористический идеал художника. «Загадка имеет отгадку, — это его слова, — а тайна, сколько ее ни постигай, все равно остается тайной». В самом деле,

завороженный зритель пускается по полотну на розыски единого знака, ключа, но общая композиция каждой из картин остается магической и таинственной. Более того, в «Ящиках воспоминаний», как бы в насмешку над этими поисками, живописец предлагает на выбор целую россыпь разнообразных ключей — разумеется, от утерянных замков.

И все же на этом холсте изображен отдельный, единственный ключ, специально помещенный в центр картины и даже особо оттененный. Но он... распилен на части.

Конечно, тайна остается тайной, но пристальное созерцание, как учил Рильке*, раскрывает для собеседования самую душу вещей. Для этого не нужно многое. Возьмем предмет. Лучше всего — добротный, но оболганный массовым или просто халтурным исполнением. Так сказать, — предмет-личность. И попытаемся увидеть его смысл и его красоту. И если мы истово изошрим свое зрение почти до утраты всех иных чувств, а острие разума сосредоточим на самом кончике очень хорошей, тончайшей кисти, и изо дня в день всего себя любовно станем переводить на квадратный сантиметр изображения, то, может быть, тогда возникнет чудо — сверхбытие предмета. Да, подробность, и — да, любовь — это общие приметы чудотворения.

Великий бог деталей,
Великий бог любви,
Ягайлов и Ядвиг...

сказано у Пастернака. А живописец составляет кружок из указательного и большого пальцев и говорит: «За день я делаю вот по стольку. Правда — каждый день».

* Имя этого поэта, признанного тайновидца вещей, не случайно возникло в нашем рассказе. Но разговор о связи литературных и живописных идей увел бы нас слишком в сторону.

Пристальная, умная любовь творящего к творимому предмету делает этот предмет, как бы по пояс погруженный в вещественном мире, — духовным. И выявленные души предметов прозрачными шариками, когда — счастливо, а когда и — печально, рассыпаны по полотнам Тюльпанова.

2

Его картины — немые сцены из мистерии предметов, если принять, что и лицо — это предмет, умно глядящий из своей дышащей формы, да и пейзаж — это, пожалуй, тоже предмет, но только оболочки своей лишенный.

В «Комнате с красным паркетом» стоит прислоненная к стенке цитата — мадонна с двумя пейзажами-крыльями за спиной. Те же виды задумчиво глядят из двух окон «Комнаты», соединяя три времени — евангельское, цитируемое и настоящее — в один остановленный миг, а три пространства — в одну Господню землю, простертую за пределами интерьера. Немаловажно и вот что: цитата затрапезно стоит своим подрамником на полу, а рама парит в стороне, заключая в себе полузавешенное «живое» лицо, и это, пожалуй, еще одно драматическое единство. С печальной задумчивостью это лицо отобрало у мадонны ее раму, а занавеску — у заоконного пейзажа, образовав еще один треугольник связей в магическом единстве всей композиции.

Мистерия, однако, предполагает всеобщее и непременно спасительное течение действия. Что ж, это, быть может, — одно из сильнейших побуждений живописца. Добрый пастырь предметов, он выпестыивает в сложнейших общностях своих композиций даже, к примеру, узелок на аккуратно свернутом шнурке, он вписывает в свое единство изумительную по красоте...

обгоревшую спичку, создавая изысканный образ этого, казалось бы, ничтожнейшего из предметов.

Максимализм, с которым выражена идея, возникающая из этого «портрета спички», чем-то роднит ее с излюбленными мыслями Достоевского о красоте, спасающей мир, и о невозможности общего счастья, построенного на унижении хотя бы одной, и без того униженной, жизни. Во всяком случае, здесь явно пересматриваются многие, слишком уж устоявшиеся, ценности. Да и в целом похоже, что «конечные выводы земной мудрости» в принципе не приемлемы для мастера, изощрившего зрение ради бесконечного вглядывания, вчитывания в мистическую красоту предмета.

Еще одна, на этот раз старчески-терпеливая, мудрость андерсеновой сказочки:

«Позолота вся сотрется,
свиная кожа остается»

преодолевается такой, например, деталью — клочком обшивки, выхваченным из кресла, и драгоценно-сияющим узором жемчужин, который обнаруживается под этой самой кожей. Этот фрагмент — одно из энергичнейших и прямых высказываний *Credo* художника, но и оно не окончательно. Да, цель его — создание совершенства, но ведь и это — не остановка, а лишь новая счастливая бесконечность. Поэтому даже такой абсолютистический мир, как золото, может вдруг прорасти — розою, одновременно золотой и живою, что и произошло на его полотне «Ящики воспоминаний».

Неизбежно возникает разговор об учителях и предтечах художника — так уж устроена психология зрителя: откуда, мол, всё это? Однако в нашем рассказе такая тема прозвучала бы с некоторыми натяжками и условностями. Да, живописец окончил курс театрально-оформительского искусства у Н. П. Акимова и с благодарностью вспоминает о своем руководителе. Но ведь Акимов был не столько художник, сколько и режиссер,

и художник вместе, а поэтому средоточие его интересов было, конечно же, в стороне от устремлений его «ученика». Можно лишь сказать, что старший и младший артист были друг другу по вкусу, и это порой чувствуется в более ранних работах младшего.

Не менее трудно говорить и о влиянии современных течений в искусстве на нашего художника: все они, разве что за исключением «магического реализма», именно «обтекали» его, не затрагивая, — слишком уж вспять, к первоисточкам художественной цельности направлено творчество живописца Игоря Тюльпанова.

3

Но и не только живописца.

Передо мной — один из листов тончайшей графики, — иллюстраций к «Сонетам» Шекспира. На фоне раскрытого окна с известным стратфордским пейзажем глядит на меня — перспективой двух рамок вживлённое в костюм сэра Вильяма — лицо Николая Павловича! Это — изумляет. Это вызывает вначале желание оттолкнуть от себя неожиданные взаимопроникновения столь разных эпох и масштабов. Потом, однако, сдаешься и даже видишь, что Акимов здесь — к месту, — ведь дело не только в человеческой благодарности, но и в том, что имел же прямое отношение к Шекспиру главный режиссер Театра комедии... И всё это, наконец, привлекает.

Но и привлеченный зритель продолжает изумляться — тонкостью художественного почерка, изысканной новизною подробностей, изяществом линий, но только чуть позже, когда станет видимым основной замысел — он изумляется окончательно: да ведь этот лист — сам по себе — сонет!

Два катрена — пейзаж и интерьер — создают завязку и развитие, переходящие в портрет и натюрморт

— в два терцета веской и стремительной коды. А точку поставит само перо, уже обмакнутое в витую чернильницу на столе.

Да, перед нами — не столько иллюстрации, сколько — сами сонеты, конгениально выражающие идеи великого англичанина, все его «теперь» и «всегда» на языке, куда ближе стоящем к подлинным текстам, чем существующие переводы на наш русский...*

И еще над одной графической серией работает художник — над нескончаемыми акварельными приключениями комических человечков — «Очарованные разгильдяи». Его мастерство и фантазия нам известны по живописи и книжной графике. Здесь — прибавляется новое неожиданное свойство — юмор.

Но о «Разгильдиях», пожалуй, незачем говорить в этой заметке. Их надо бы прямо печатать!

Ему 37 лет. За все эти годы лишь однажды доброты добились разрешения и устроили ему выставку в крохотном кафе. В результате — краткий триумф и... издевательский фельетон в вечерней газете.

И вот теперь, в сентябре этого года**, два полотна живописца появились на выставке несоюзных художников Ленинграда — «Ящики воспоминаний» и «Тройной портрет, или Затянувшаяся игра». Работы эти явно уравнивали собой всю экспозицию, несмотря на подчас высокий уровень их художественных антиподов. Тайное стало явным!

Впрочем — явным, но не совсем. Вот что — загадка: как смог артист, пребывающий в полной художественной изоляции, десятилетиями живущий без выставок, без «выхода в свет», без восхищения и критики, этой, казалось бы, необходимейшей атмосферы

* И всё это — на десятках драгоценных листов, отвергнутых издательством по единственному и, кажется, совершенно «справедливому» поводу: «Лица тут у вас какие-то несоветские...»

** Статья написана осенью 1975. — Прим. р е д.

какого искусства, — как сумел он выйти на столь высокий творческий уровень, совершить «прорыв» в сферы того, что называется *Die holde Kunst*. Ответ прост: именно потому и «прорвался», что стояли перед ним тяжелейшие препоны. Как это ни странно, но свобода реализации художественного творчества часто останавливает развивающийся талант на полдороге. Один из «восточных парадоксов» заключается в том, что талант в искусстве сам по себе почти ничего не значит. Преодолеть непреодолимое, а следовательно и совершить духовный прорыв, может только мощный характер, обладающий, помимо художественного дарования, еще и талантом нравственной стойкости. Этот талант — превращает все испытания, все жизненные лишения в золото и мед позитивного опыта.

Да, воистину Россия пребудет «страною чудес», пока в ее городах и весях, сидя по своим клетушкам, трудятся изумительные и никому неведомые мастера, такие, как — Игорь Тюльпанов.

БОБЫШЕВ Дмитрий Васильевич — род. в 1936 в Мариуполе, с раннего детства живет в Ленинграде. Окончил Технологический институт, работал инженером, редактором на телевидении, опять вернулся на инженерную работу. Один из самых значительных поэтов своего поколения. Печатался очень мало: на родине — несколько стихотворений в «Юности», «Молодом Ленинграде», ленинградском «Дне поэзии» в 60-е годы, на Западе — цикл «Траурные октавы» в сборнике «Памяти Ахматовой» (ИМКА, 1975). Его стихи широко распространены в самиздате.

Литература и время

Виолетта И в е р н и

ЧАС МИЛОСЕРДИЯ

(Размышления о прозе Булата Окуджавы)

...И мы потонем в милосердии, которое
заполнит собою весь мир...

А. Чехов. «Дядя Ваня»

Помните, как продавщица в магазине стекла перебегают замусоленным химическим карандашом по каким-то уродцам, выглядывающим из темной бумаги и столярного мусора, и вдруг раздается длинный, прохладный стон, какого не выжать ни горлом, ни мелкой глоткой инструментов? Этот иконописный звук, вылетающий из стружек, словно из вспоротого матрасного брюха, перебивает дыхание. Так говорит хрусталь. И еще, быть может, души, обретшие покой и последнее, безграничное знание.

Так в сутолоке и тесноте нашей вечной барахолки — среди пива и правд на вынос, среди дешевого табака и дорогостоящего соучастия в разнос; среди обмена шмутьем и доносами; среди цифирных амбиций и скрипично-виртуозной кротости; среди подмен всего и вся: грубость — признак нежности, нежность — признак пошлости; среди старческого — в замочную скважину — блуда; среди страха перед словом «любовь» и утробного удовольствия («Молодец! Садись, пятерка!») перед словом «ненависть» — вдруг, без предупреждения, без объявления войны возник голос Булата Окуджавы. И у целого поколения прервалось дыхание.

Он не обвинял, не бичевал, не раздавал пощечин. Он ничего не отрицал и ничего не утверждал. И он не был н а д — в той самой пресловутой башне из слоновой кости, по поводу которой у нас всегда так беснуются, хотя в России ее и не выдвигали никогда, в России башней из слоновой кости отвеку был грязный чердак. Но Окуджава не был и там — на чердаке из «слоновой кости».

И он не был п о д — море людских страданий и людских нечистот не проглотило и не размозжило ему души — он был там же,

где и все, среди, посреди, и пел свое. Свое — обо всех. И для всех. Жизнь принесла его в подоле — незаконнорожденное чадо, незаконнорожденное чудо — и он поклонился ей, как святой: показал, что мир, заключенный в пожизненной грудной одиночке — часть Вечности. В этом смысле Окуджава — глубоко религиозный художник.

Я не имею в виду религиозности названной, церковной, религиозности-убеждения. Я имею в виду внутреннее ощущение физической и духовной причастности ко всему, что есть мир и Вселенная, — от никому неизвестной и незаметной искры, высеченной первым дуэтом и дуэлью новорожденного человеческого детеныша с миром, до облегченного вздоха души, освободившейся, наконец, и улетающей — куда? Кто знает!.. Но чтобы чувствовать, — не обязательно знать. Довольно ощущать единство ткани, адекватность материала, если хотите. Вот это, как мне кажется, и есть самое зернышко того, что несет Окуджава — и в песнях, и в прозе.

И, отсюда исходя, уже неудивительно, что у него странные взаимоотношения со Временем (как вечной категорией). Он не временем измеряет человеческую жизнь, а наоборот — время измеряет количеством ощущений, которые есть не что иное, как уколы, знаки причастности к вечному. Пылинки, былинки — пусть. Но ведь и пылинка — часть целого, а точнее — часть цельности, часть гармонии, которая есть — мир. Отсюда и «Дежурный по апрелю», и «Девочка плачет — шарик улетел...», и еще множество прекрасных несуразностей, которые и не несуразности вовсе, а только индикаторы связи смертного с вечным, присутствия вечного в смертном.

У Окуджавы есть одна песня, которая, с моей точки зрения, рассказывает в её о нем, его рассказывает, — «Чудесный вальс».

Музыкант в лесу, под деревом
Наигрывает вальс,
Он наигрывает вальс
То ласково, то страстно...
Что касается меня,
То я опять гляжу на вас,
А вы глядите на него,
А он глядит в пространство.

Всё здесь повязано: «я», «вы», «он» — единым направлением взгляда. От почти канцелярского «что касается меня» до непредставимо-громадного: «пространство».

И совершенно волшебным образом персонажи этой сцены, находящиеся в физической неподвижности, оказываются в непрерывном внутреннем движении: «я» — «вы» — «он» — «пространство». И всё это описывает один и тот же круг и бесчисленно возвращается (вращается): человек — пространство, пространство — человек.

Целый век играет музыка,
Затянулся наш пикник,
Тот пикник, где пьют и плачут,
Любят и бросают.
Музыкант приник губами к флейте —
Я бы к вам приник,
Но вы, наверно, тот родник,
Который не спасает.

Пикник реальный — пикник-жизнь; просто флейта — флейта-женщина; просто женщина — женщина-флейта, клубок одиночеств; ...не спасает — ни женщина, ни флейта; и всё это длится целый век, и течет, течет -- в пространство.

А перед ним стоит сосна,
Вся в ожидании весны,
А музыкант вырастает в землю,
А звуки вальса льются...
И его худые ноги,
Как будто корни той сосны —
Они в земле переплетаются,
Никак не расплетутся.

Сосна и музыкант — одно целое. Теперь в это бесконечное движение, в котором участвовали только люди, включается и природа, и весна, круговорот становится всеобщим, всеобъемлющим, огромным.

Третий век играет музыка,
Затянулся наш роман,
Он затянулся в узелок,
Горит он — не сгорает!..
Ну, давайте ж успокоимся,
Разойдемся по домам...
Но вы глядите на него,
А музыкант играет.

Века идут — вот третий уже; «затянулся» — о времени, «затянулся» — об узелке; и «узелок», после первого звучания этого слова воспринятый вполне реалистически, оказывается оборотнем-символом; и вечный костер любви и страдания; и паническое желание вернуть всё в привычную, недолговечную, уютную реальность; и поражение, ибо реальность, в которой происходит нечто, — это и есть вечность: пространство и время в очищенном, пугающем бессмертии.

Круг замкнулся — уже не только сущностно, но и композиционно: финал песни повторяет начало, всё возвращается, продолжаясь, песня начинается снова с угасанием последнего звука.

Я намеревалась вначале говорить только о прозе Булата Окуджавы, совершенно не касаясь его стихов-песен. Но это немислимо: при всей внешней несхожести — неизменной недосказанности, не-названности, полупризнаний в стихах и столь же неизменной обстоятельности прозы со всеми классическими признаками жанра — они совершенно едины, чтоб не сказать — идентичны.

Окуджава берет жанры на слух, музыкально. И подробная описательность в его прозе несет ту же функцию, что просторная, вместительная символика в его поэзии — одежда меняется соответственно сезону, а суть остается той же.

Я не знаю ни одного поэта (что включает и прозу: художника, но об Окуджаве не сказать иначе, как — поэт), который бы так пел любовь. Не *о* любви, не *про* любовь, а — любовь, во всех ее воплощениях и ипостасях: земля, женщина, жизнь, дерево, ближний... Или, скорее, — поэта, которым бы так пела любовь, который настолько был бы и званным, и избранным, настолько — точным передатчиком того, что нашептывает ему — поэзия? пространство? Бог? — Неназываемое.

Любовь, вмещающая в себя всё: жизнь, смерть, рождение, страдание, — часть вечности. Любовь-Время: единство, в котором первая играет роль содержания, второе — формы. Однако Время — у Окуджавы очень хрупкая составная, она необходима человеку по слабости его облекать всё в какую-либо форму, ибо иначе он не умеет разглядеть сути. Но на самом деле (всё творчество Окуджавы наполнено этим) Любовь существует и сама по себе, в качестве некоей невидимой субстанции, дыхания, дуновения. Как тот странный час светостояния между вдохом и выдохом дня, предсмертный, предпечальный, отдохновенный, час облегчительного вздоха: уже не утро, еще не вечер. Час милосердия.

Поэтому герой Окуджавы, входящий в соприкосновение с миром, всегда существует словно бы под защитным полем. Это позволяет ему быть самим собой в изначальном, чистейшем значении этого слова — как младенцу. Он не рождается из ничего и не уходит в никуда, он приходит откуда-то и потом возвращается куда-то, а в кратком промежутке, называемом жизнью, несет на себе следы бессмертного духовного существования.

Следующий шаг, естественно отсюда вытекающий, не может быть не сделан: свобода. Коли всё так, коли человек есть упавшее на землю зерно бесконечности, то и свобода его рождается вместе с ним. А еще вернее — раньше и прежде него, ибо она — часть той самой Любви, часть Милосердия.

И Окуджава пишет свободу, как он пишет любовь: свободу-подростка, угловатого и тающего, вожделенного и запретного, обожаемого со стыдом и мукой, с раскаянием и жестоким бешенством. Свобода всегда слишком юна, чтобы обладание ею не стало растлением, всегда недостижима и желанна. Горе любящему ее, но не любящий — несет горе другим. Данное изначально не дается в руки, пока человек не отгадает имени: свобода. Пока не узнает, что именно ею он голоден. И необязательно имя это изнашивать, сложить в буквы: достаточно услышать голос — голод, достаточно пожелать утоления, и — понеслось; не остановишь, не обманешь, вся жизнь — одна погоня.

Именно это происходит с «бедным Авросимовым» (роман «Бедный Авросимов»). Он начинает свою службу в Высшей следственной комиссии по делам декабристов, почти подавленный гордостью и счастьем, что приобщился к столь важному государственному делу. Он как бы сам спасает Россию и государя от страшных преступников, злоумышлявших поколебать святая святых: государственный строй. Преступники вызывают в нем ужас и ненависть, а плуе всех — злодей Пестель. И на лице написано, что злодей.

Гордость Авросимова — это гордость раба, винтика. И ненависть — ненависть винтика, не ощущающего себя иначе, как частью огромной машины и леденеющего от страха перед возможностью ее крушения, которое несет ему гибель: на что нужен тогда винтик?

И вот постепенно Авросимову приходят в голову страшные мысли: что Пестель один, а следователей — целый сонм; что его привозят из сырого каземата, а следователи приезжают в каретах из теплых, сказочно сияющих люстрами и высоким, неведомым счастьем домов. Что они знают о деле всё, между тем как Пестелю о ходе следствия ничего неизвестно и он продолжает строить свою защиту на аргументах уже проигранных, а ему не говорят об этом, его унижают, играя с ним, как с мышью. Те, кому он доверял, в ком был уверен, как в себе самом, его оставили и предали. Он общарен до последних чуланчиков души, до самых тайных, молчаливых дверей, разорен, обобран! Но этим — все мало, они не наигрались, они всё ищут, щупают, тянутся, всё мучают и давят.

Так Авросимов от простого, совсем простого открытия, что злодей может быть просто человеком и что тем самым (чего бы он там ни совершил) он уже заранее и изначально имеет некие права, которых никто из ему подобных отнимать не смеет, — от этого Авросимов приходит к восприятию государственной машины как чего-то враждебного человеку, палаческого. И поднимает бунт, смешной, нелепый бунт, даже опасный для того, кого он хочет спасти, бунт безумный — с размахиванием руками: в белый свет, как в копеечку; но — бунт свободного человека, отказавшегося быть винтиком.

Движение Авросимова к свободе показано мелкими шажками, по малому зернышку, не по словечку — по слогу. Так, что почти невозможно ухватить миг, когда живет и отделяется от машинной его мысль: нет ни малейшего зазора, ни зазубринки в мотивировке его поступков, в соответствии их его характеру. И характер его вовсе не меняется — не был он вначале черным, и к концу не стал белым. И бунт его всё тот же, только объект изменился: вначале — против государственных преступников, в конце — против преступного государства. Он всего лишь перестал разделять людей на правых и виноватых по принадлежности к лагерю, к позиции, к идее, а стал различать лица, просто человеческие лица, инстинктом здоровой совести ощутив право каждого на единственность черт и на сострадание ближнего. Так пригубил Авросимов свою свободу.

Так ее пригубил и Шипов, герой повести «Похождения Шипова или Старинный водевиль». Только иным — водевильным — образом.

«Михаил Иванович Шипов (он же М. Зимин), сыщик при московской полиции, специалист по карманным воришкам, бывший дворовый человек князя В. А. Долгорукова, 36 лет», сказано про него в списке действующих лиц. И всё сказанное — существенно, ибо в нем — вся шиповская биография до начала действия, закулисная, предкнижная. Мы же его застаем уже занесшим ногу на головокружительную вершину, о которой Шипов и мечтать не мог: из специалиста по карманникам превратили его в агента III отделения с секретнейшим политическим поручением (в благородное сословие попал!): следить за графом Львом Николаевичем Толстым, который какие-то школы вздумал открывать для крестьянских детей.

А вознесся Шипов попечением бывшего барина своего, князя Василия Андреевича Долгорукова, в доме которого был вышколен до паркетного блеска и даже осознал французский язык («лямур-тужур», «консоне», «тре жоли», «антре» и т. д.).

Подобно тому, как счастлив был Авросимов скрипеть пером в Следственной комиссии, так поплыл Шипов в розовом блаженстве, полуживой от оказанной чести.

Однако вдали от устрашающего начальственного ока, а также совращенный пьяницей Амадеем Гирсом, данным ему в помощники, Шипов отбил от рук: деньги пропил, так и не доехав до имения графа Толстого, со страху в донесениях начальству наврал с три короба, а начальство в восхищении стало посылать ему новые деньги. Шипов почуял вкус свободной жизни — да с деньгами, да для себя. Раздираемый восторгом и ужасом, он снова и снова пропивал государственные ассигнования на слезку за потенциальным возмутителем спокойствия, а когда однажды попробовал все-таки подъехать поближе к имению графа Толстого, то загнан был

на дерево волками (а может, страхом перед возможным их появлением). И это обстоятельство вовсе перевернуло Шипова. Душа его, уже изнеженная наваристым трактирным теплом и ледяной водочкой под огурчик, отказывалась идти на закуску волкам, хотя бы и по первойшей государственной надобности.

Был лакеем Шипов, лакейство свое носил, как орден, но как представил собственные косточки в волчьих зубах, так стало ему обидно и больно, что понял про себя: главное-то в нем, оказывается, не миссия, ему доверенная, не гордость, что достоин оказался, а бедная его плоть, которую так легко порвать, размолоть, уничтожить! Из лгушего холопа превратился в маленького, грустного человечка, хорошо знающего, что ему — где уж там! — не выстоять, конечно, не спрятаться от великих мира сего, а надо бы, надо!

Он ощутил право на собственную душу и плоть, он понял, что принадлежит не частному приставу Шляхтину, не жандармскому подполковнику Шеншину, и даже не князю-благодетелю Василию Андреичу, да выше подымай — дух захватывает! ах, Господи! — не государственной надобности, а только себе, себе одному.

И это ощутив, увидел себя почти что родственником графу Толстому — ведь и тот, даром что граф, а тоже не властен был охранить свою жизнь, свой дом от чужих бегающих рук. Уж кому это и знать, как не Шипову! Он почувствовал раскаяние и близость — невольника к невольнику. И не осталось, в сущности, никаких между ними границ: ни классовых, ни культурных, никаких пропастей — два человека на цепи государства.

В «Похождениях Шипова», как и в «Бедном Авросимове», очистительный катарсис не снисходит на героя извне, но возникает изнутри, естественно и просто, без малейшего насилия, органическим следствием того, что он человек и, значит, придет час ему проснуться. У каждого этот час — свой, и неважно, быть может, как и отчего он наступает, но наступает непременно, обязательно — такова мысль Окуджавы.

В любом герое Окуджавы — смешон ли он, лиричен или трагичен — есть Божья искра, частица Любви. И ценность человеческую Окуджава определяет не способностью к тому или иному делу, но степенью верности этой Божьей искре, степенью соответствия плоти и разума — духу. Бездуховность для него пуста временем, вовсе безвременна. Бездуховность — всегда адекват холопства, рабства. В подвалах ли, в палатах — везде она одна и та же: бескрылая, безлюбая, бесстыжая. И единственная граница, способная разделить людей, проходит здесь: между богатством и нищетой духа.

Последняя по времени проза Окуджавы называется «Путешествие дилетантов».

Это роман, первая книга которого опубликована в 8 и 9 номерах журнала «Дружба народов» за 1976 год. Поскольку известно, что опубликованное — только часть целого и, стало быть, должна быть, по меньшей мере, еще книга вторая, а то и третья, по прочтении возникает ощущение несытости, чуть ли не обмана. И происходит она не от обрыва сюжета, действия, а от вынужденной необходимости оторваться от слова Окуджавы, от медлительного ритма его прозы.

Он в своем повествовании располагается очень вольно, спокойно и несторопливо, ничем себя не связывая и не обязывая ни к чему, как если бы записывал нечто с натуры. Да, кстати, и роман имеет подзаголовок: «Из записок отставного поручика Амира́на Амилахва́ри». Но хотя мы и предупреждены о том, что читаем записки — род дневника, правило это часто внутри самого повествования нарушается, что ни в малейшей степени не мешает ни автору, ни нам.

Начинается роман действительно с рассказа Амира́на Амилахва́ри, но потом поручик Амилахвари незаметно сливается с автором, автор — с его героем, князем Мятлевым, и все трое получают возможность видеть себя и друг друга сразу и изнутри и со стороны.

Это дневниковое лукавство Окуджаве столь же необходимо, как и право его нарушать: ему то нужен свидетель, который мог бы рассказать о герое без академического подробничания, отягощающего автора романа; то необходимо оставить героя наедине с собой и собственной путаницей в мыслях и ощущениях, без трезвого взгляда со стороны; то необходимо ввести новых героев, и тогда автор появляется собственной эпической персоной. Но едва появившись, он снова исчезает, поручив новое лицо заботам уже известного нам героя, и тогда мы начинаем видеть это лицо глазами последнего.

Но что необходимо Окуджаве более всего, что ему всего нужнее и важнее — это сохранить право на личную причастность не то что бы к событиям — события, в конце концов, не так уж и важны: сколько мир стоит, столько и события назойливо повторяются; нет, право на личную причастность к облюбованному им герою, князю Мятлеву. Отсюда и дневниковый стиль, и измена ему, легкая, произвольно-непосредственная, как измена слову, данному необдуманно и невпопад.

Три человека пишут об одном: поручик Амира́н Амилахва́ри — о князе Мятлеве, автор романа — о нем же, и, наконец, сам князь пишет о себе, ибо он тоже ведет дневник. Итак, тройной дневник: роман — дневник писателя Булата Окуджавы, в котором ведет дневник Амира́н Амилахва́ри, и внутри этого второго дневника ведет свой собственный дневник князь Сергей Васильевич Мятлев. Все это прерывается, расходится и снова сплетается в единое целое, втягивающее нас, как в воронку, в свою тройную глубину.

«Путешествие дилетантов» — кто путешествует? Кто — дилетанты? Мятлев? Амилахвари? Мы. Мы путешествуем по жизни. Мы — дилетанты, ибо в жизни не бывает профессионалов, всё — в первый и последний раз. Некогда учиться и — всегда поздно: только станешь умным — а жизнь взяла да прошла.

Роман Окуджавы читать — словно на святках гадать в зеркале: зрачки втягивает в глубину, а там, говорят, судьба. И свечи мечутся.

И все-таки я согрешила против истины, сказав, что профессионалов на свете не бывает. Бывают. То есть бывают люди, уверенные в том, что они — профессионалы, что они живут профессионально, что они принимают решения, видят жизнь и ближних своих, оценивают свои и чужие поступки — профессионально. Разумно. Логично. Они знают, как надо. Они всегда знают, как надо, как надо *было* и как надо *будет*. И все грехи и горести мира — от них. От их профессионализма. От их уверенности.

Описывая жизнь князя Сергея Васильевича Мятлева, — вернее, вводя нас в его жизнь, в его ошибки и промахи, в его сумятицу и больную в себе неуверенность, Окуджава не проводит никаких прямых параллелей, не выводит на сцену антагониста. И если Амиран Амилахвари нам рассказывает, что в юности князь был повесой и создал себе репутацию человека опасного, злого на язык и склонного к весьма дерзким шуткам, пустого и недоброго шалопая, то ведь это Амилахвари рассказывает, это из мятлевского прошлого, а мы с вами ничего такого не видим. Но уже знаем о Мятлеве, что свет его не любит и опасается, что государь (Николай I) им недоволен. И что бы ни делал Мятлев, всё приобретает в глазах общества странную и стыдную окраску.

Он влюбляется в светскую даму, жену барона Фредерикса красавицу Анету, но этот роман не идет дальше писем, встречи же происходят в гостинной Фредериксов, всегда в присутствии добродушного и равнодушного, а может и хитрого мужа. Очень быстро Мятлев узнает, что государь оказывает баронессе недвусмысленное внимание и она к этому вниманию весьма чувствительна. На том роман с ней у Мятлева и кончается, но в свете болтают черт знает что и рассказывают легенды о погубителе женской чести князе Мятлеве.

Потом Мятлев спасает от самоубийства Александрину Жильцову, дочь мелкопоместного дворянина, случайно замешавшегося в события 14 декабря 1925 года, безо всякой вины сосланного и погибшего в ссылке; несчастную, дошедшую до крайности девушку, сгорающую от чахотки. Он поселяет ее у себя, пытается вылечить, окружает нежностью — но и тут свет не оставляет его в покое: его называют Синей Бородой, его презируют, шушукуются, возмущаются тем, что он готов жениться на безродной. И вдруг Александра пропадает — убегает из дому, все подозревают, что она утопи-

лась, но тела не нашли. А кругом уже болтают, что он ее замучил, уморил, довел до самоубийства.

Какой бы шаг ни сделал Мятлев, он везде и всегда наталкивается на фигуру царя, стоящую на другом конце дороги. Куда бы ни повернулся мыслью или чувством, кого бы ни полюбил, кем бы ни заинтересовался, всё в конце концов метит длинная рука царя. Прямо или косвенно он отбирает у Мятлева счастье с женщиной; люди, с которыми Мятлев готов поделиться мыслями, оказываются неблагонадежными, и за ним самим очень быстро устанавливают слежку. Шпионы живут в его доме, не стесняясь и не скрываясь, он, словно медведь, обложен в собственной берлоге, связан и скручен, и петля подбирается к горлу.

Царю, естественно, ничего об этом неизвестно, он и не подозревает, что так или иначе виновен в мятлевских несчастьях. Он и в подробности не входит, и о Мятлеве не очень размышляет, раз и навсегда отметив его великовозрастным шалопаем, не способным ни на что серьезное. И только уважение к заслугам покойного Мятлева-отца удерживает царя от крутых мер по отношению к Мятлеву-сыну.

Два эти человека, вечно оказывающиеся друг против друга в тайных играх судьбы, как в безнадежной и даже смешной шашечной партии, и есть главные антагонисты в романе. Тот факт, что они никогда не встречаются, что судьбы их не пересекаются на поверхности, да и не могут пересекаться по разнице в иерархической лестнице, делает их противостояние фатальным, непреодолимым и неизбежным.

До тех пор, пока мы не убедились в ненависти Мятлева к царю, пока мы не уяснили себе неразрывную между ними связь — связь ненависти и обстоятельств, которая ничуть не слабее любви, — до тех пор, пока она не встала перед нами во всей жуткой красе и безвыходности, мы не видели царя воочию. Он появлялся только именем, произносимым то со страхом, то с почтением, то — Мятлевым — со злобой, но его самого действующим и живущим автор нам не показывал. И только зарядив оружие этого образа, вложив в него все отравленные пули и нацелив в героя, Окуджава привел нас в царскую семью в самый домашний и интимный ее час — во время чаепития между пятью и шестью вечера.

Мы видим обыкновенную семью — красивую, слаженную, с молодым, крепким дедом, очаровательной и тоже молодой еще бабушкой, со взрослыми, любящими и почтительными сыновьями, с маленькими внуками, которым позволено в этот час пошалить и которыми взрослые любят. У сыновей — прелестные и умные жены, и, благо, что к выбору их отец приложил руку, оба счастливы в браке, и отец горд этим.

Всё в этой семье могло бы быть ординарным, если бы не одно — все меняющее — обстоятельство: все эти люди рождаются уже

причастные к некому долгу и миссии, подобно тому, как простые смертные рождаются в неизвестности. Их судьба предопределена еще до появления на свет, и вся жизнь их подчинена долгу. Они не могут располагать собой, их день расписан, их обязанности непреложны и неизменны, и придавливающий их тяжкий долг заставляет их дышать в себе проявления простых человеческих слабостей.

Они рождаются, чтобы управлять огромной страной, они рабы своего предназначения. В них воплощена история наций, география непредставимых пространств, судьбы миллионов.

И старший, дед, император Николай I, вступивший на престол при стыдных и тяжких обстоятельствах, вовсе и не готовившийся править, но вынужденный к тому судьбой, обрел равновесие и силы жить и решать участь страны в непрерываемой и чуждой сомнений вере в направляющую руку Провидения, которое движет его, царя, поступками и решениями. Он презирует слабость — и в себе, и в других, он в жизни — профессионал. И культ силы и высоконравственных, высокоразумных установлений становится законом общества, становится меркой, по которой измеряется ценность каждого из подданных царя-профессионала.

Так выбрасываются, исторгаются из числа достойных дилетанты — все те, кому известен другой закон: среди смертных нет ни одного, кто был бы носителем истины в последней инстанции, ибо в мироздании есть единственный профессионал — Творец. Те, кто чувствителен к движениям души и искусства, в чьих жилах течет неизлечимая ревность к несбывшемуся, к невозможному, к неразумному.

Николай — узник своего профессионализма (аберрации), своей веры в силу, князь Мятлев — узник Николая и созданного им общества, т. е. всё того же закона. Только для императора это — закон единственно истинный, для Мятлева — тяжелые цепи, проклятие, насилие, пошлость, варварство, убийство духа.

Действие романа, т. е. движущаяся на наших глазах жизнь князя Мятлева происходит внутри этого заколдованного круга, где нет виновных, но есть страдающие; где вместо гармонии, просящейся в руки и мелькающей совсем близко, вдруг возникает невидимое смещение, уродующее всё; где счастье скользко и неуловимо, но и неистребимо, и дразняще. Все опутаны невидимыми цепями, все задыхаются и мечутся в поисках света, все одинаково не помнят, что свет существует только внутри нас.

И весь роман становится от этого тонкой песней о свободе-женщине, о свободе-любви, как о некоем призрачном существе, касающемся нас неощутимо-бессильно, но всюду рассыпающем дерзкие искры.

«Путешествие дилетантов» — несомненно, самое виртуозное из произведений Окуджавы. Нигде его проза так не срастается с его поэзией, как в этом романе. Нигде словесная ткань повествования

не достигает такой прозрачной невесомости. Нигде она не кажется такой хрупкой, и в то же время не обладает такой внутренней крепостью, как здесь. Нигде она не создает такого удивительного впечатления самопроизвольного и самовоспроизводящего движения, совершенно органического — как колеблется трава от ветра, как рябью морщится вода. Помимо людей и событий, существует в романе еще и этот нервный, пульсирующий фон — как бы отдельной, дополнительной составной, и, быть может, именно он является источником почти мучительного наслаждения, которое испытываешь при чтении романа.

В сущности, «Путешествием дилетантов» можно было бы назвать любое из прозаических произведений Окуджавы. Действительно, ведь все его основные герои — дилетанты в буквальном смысле этого слова: школяр — на войне («Будь здоров, школяр!»), художник Жора — в фотоателье («Фотограф Жора»), Авросимов — в Следственной комиссии, Шипов — в III отделении, князь Мятлев — в светских гостиных. Все они появляются в совершенно новых для себя ролях, и все в конце концов от них отказываются. И в фабульной канве — чисто физически, действенно — герои произведений Окуджавы почти всегда приходят в начале вещи и уходят в конце. Окуджаве недостаточно описания, изложения, он должен привести их на сцену и увести. За руку.

Реальное дилетантство персонажей — проекция философского смысла, который Окуджава вкладывает в это понятие: жизнь — это всегда незнакомая роль. Все мы на этой сцене дилетанты. А реальные «выходы на сцену» в начале и уходы в конце — знак того, что жизнь не начинается с началом ее (рождением) и не заканчивается с концом (смертью), она имеет продолжение в обе стороны, но в иной форме, иной сфере. Жизнь — бесконечна, как любовь.

Колонка редактора

ТРИДЦАТИЛЕТИЕ «КУЛЬТУРЫ»

В первый раз я услышал о журнале «Культура» при весьма необычных обстоятельствах. Однажды, примерно в середине пятидесят восьмого года, мое жилище в Сокольниках посетили два весьма немногословных «товарища» в штатском, чтобы настоятельно предостеречь меня от контактов с представителем этого журнала, который, по их словам, искал со мною встречи. В противном случае, заявили гости, у меня могут быть «некоторые» неприятности.

Приученный соответствующей жизненной школой действовать, так сказать, от обратного, я необходимого заверения своим посетителям, разумеется, не дал, хотя обещанного контакта по каким-то причинам не последовало. Но с той поры я всё чаще и чаще стал слышать о «Культуре», причем в сопровождении самых похвальных эпитетов, а вскоре один из его номеров, а именно — специально посвященный русской литературе, позволил мне познакомиться с ним непосредственно.

Помянутый выше номер отличался такой кровной заинтересованностью, таким бережным, если не любовным, отношением к каждому автору, такой заботой о современной русской литературе вообще, что я сразу и безоглядно признал и принял «Культуру» своим, глубоко (да простят мне его остальные читатели!) личным журналом. Поэтому, оказавшись на Западе и задумав «Континент», я в первую очередь (на этом настаивал и Александр Солженицын) обратился к редактору «Культуры» Ежи Гедройцу и его ближайшим сотрудникам Иозефу Чапскому и Густаву

Герлингу-Грудзинскому. И никогда потом не пожалел об этом, найдя в них верных и последовательных союзников. Их активное участие в «Континенте» сыграло огромную, а может быть, и решающую роль в его качественном росте и в его интернациональном становлении.

По многочисленным свидетельствам мы знаем, с каким неослабевающим интересом читается «Культура» у себя на родине, но с неменьшим интересом (а это мы знаем по собственному опыту) встречают его и здесь, на Западе, причем не только польская публика. Можно без преувеличения сказать, что современная культура Польши обязана этому журналу своей жизнестойкостью и своим лицом. Читая его, еще и еще раз с удовлетворением убеждаешься: нет, Польша не сгинела!

С тридцатилетием вас, дорогие друзья!

Критика и библиография

ДВЕ ИСПОВЕДИ

Среди великого множества памятных дней, столь охотно отмечаемых в Советском Союзе (лишний повод выпить с полным на то основанием), среди всех этих Дней Конституции, Дней Шахтера, Дней Физкультурника, Дней птиц (есть и такой!) — особняком стоят две даты: 22-е июня и 9-е мая, день начала (для народов Советского Союза) второй мировой войны и день ее окончания, День Победы.

И если все прочие Дни условны, а то и вовсе бессовестны, как, например, День Конституции, то эти два дня имеют прямое отношение к судьбе каждого из нас — и не только современников и участников войны, но и тех, кто родился много позже мая 1945 года, кто не умирал под Сталинградом и Курском, не тонул в гнилой вонючей воде Сиваша, не падал от голода на улицах блокадного Ленинграда, не ждал «похоронок» и даже не очень-то отчетливо знает, что означают слова «эвакуация», «светомаскировка», «воздушное ограждение», «зажигалка» и прочая, и прочая.

Почему это так?

Почему больше чем четверть века спустя так живы в людях воспоминания (или размышления) о войне, почему она, война, снова и снова так берedit и тревожит человеческие души?

Ответ на этот вопрос, разумеется, далеко не однозначен. Да и не может он быть однозначным!

Слишком уж много всё тех же условностей вбито за все эти годы в сознание людей лживой и бессовестной советской пропагандой, слишком уж нагло, по-мародерски, присвоили себе так называемые руководители Партии и Правительства великий подвиг народов Советского Союза, вопреки бездарному и тупому руководству отстоявших родную зем-

А. Солженицын. Прусские ночи. ИМКА-Пресс, Париж, 1974.
Л. Копелев. Хранить вечно. «Ардис», Анн-Арбор, 1976.

лю от захватчиков — в непосильных тяготах, в голоде и лишениях, ценою миллионов, погибших зазря.

Вот ведь совсем недавно, когда торжественно отмечалось семидесятилетие нового «отца родного» Леонида Брежнева, в многочисленных статьях присяжные лгуны очень душевно описывали заслуги Брежнева в годы Второй мировой войны, его «личное мужество», которым он якобы вдохновлял и воодушевлял бойцов и командиров на фронте. И никого не смущало то обстоятельство, что «лично товарищ Брежнев», как известно, за всю войну, передовой и не нюхал! В этот бессовестный обман, в это вселенское жульничество, надо признать, искусство и литература тоже внесли свою немалую лепту.

Впрочем, вскоре после войны, еще во второй половине сороковых годов, появились, вышли в свет «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и «За правое дело» В. Гроссмана — книги талантливые, мужественные, честные. И на первых порах — по недосмотру партийной пропаганды, что ли — произведения эти были, что называется, «подняты на щит», награждены Сталинскими премиями, изданы и переизданы миллионными тиражами. Но потом спохватились! Вторая часть романа В. Гроссмана «За правое дело» (отрывки из нее печатались в «Континенте») была арестована КГБ — да, арестована, взята под стражу рукопись — вроде, как тот колокол в Угличе, у которого был вырван язык, ничто не ново на Руси! А роман В. Некрасова «В окопах Сталинграда» стал в печати упоминаться всё реже и реже, всё глуше и глуше, пока и вовсе не исчез из парадного списка произведений, посвященных Второй мировой войне.

В пресловутые дни «оттепели» (никто, кстати, не обратил внимания на двусмысленное значение этого слова — оттепель в разговорной речи вовсе не означает наступления тепла, а только временное потепление) вышла в свет, опять-таки по явному недосмотру, книга А. Некрича «22 июня 1941 года». Но тут уж спохватились мгновенно — книгу эту стали изымать не только из библиотек, но даже из книжных магазинов. «Классическими» (в советском понимании) произведениями о войне стали «Молодая гвардия» Фадеева, романы К. Симонова, «Судьба человека» М. Шолохова, фильмы Озерова, Бондарчука и прочих «правдиво-верноподданных» писателей, художников, кинематографистов.

А война — я уже сказал об этом вначале — продолжает по-прежнему занимать и тревожить людей. Видно, о чем-то самом главном, самом важном, исцеляющем и очищающем человеческую душу, до сих пор, даже в лучших, упомянутых мною произведениях, все-таки не было сказано. Да, пожалуй, и не могло быть сказано тогда — нужна была, выражаясь научно, дистанция, необходимо было время — понять, осмыслить, оценить.

Здесь я не могу удержаться, чтобы не привести цитату: «...Понятия добра и зла, человечности и бесчеловечности представлялись нам пустыми абстракциями. И я не задумывался, почему это человечность — абстрактна, а историческая необходимость или классовое сознание — конкретны»... И далее: «Все это я стал сознать по-настоящему значительно позже, много лет спустя. Но уже в последние месяцы войны я ощущал это, как неотвратимо нарастающую угрозу... Миллионы людей озверели, развращены и гитлеровщиной, и самой войной, и нашей собственной пропагандой, воинственной, националистической, лживой».

Это из книги Льва Копелева, бывшего офицера Советской армии, бывшего ээка — «Хранить вечно».

Два произведения, две рукописи, хранившиеся долгие годы — то ли в ящиках письменных столов, то ли в каких других потаённых, укромных местах, совсем недавно, с небольшим разрывом во времени, стали книгами, вышли в свет (не в Советском Союзе, конечно), изданы и нашли свой путь к читателям.

В обеих речь идет о том периоде войны, когда советские войска вступили в Восточную Пруссию.

Это поэма А. Солженицына, бывшего офицера Советской армии, бывшего ээка «Прусские ночи» и книга воспоминаний «Хранить вечно» Л. Копелева, названная им «попыткою исповеди». И я не могу отделаться от чувства, что именно эти произведения, такие разные и такие, в главном своем, нравственном значении похожие, — начали, наконец, тот долгожданный разговор, который, хочется верить, поможет людям истребить войну в собственных душах, подвести черту под прошлым, разделаться с муками совести.

«Попытка исповеди», сказал о своей книге Лев Копелев.

«Попытка исповеди» — мог бы с тем же основанием сказать о своей поэме Александр Солженицын.

Исповедь! Покаяние!

Пожалуй, среди духовных богатств, подаренных человечеству, едва ли не самыми значительными представляются мне умение быть благодарным и способность признавать свою вину — перед людьми и природой, перед мыслью и самим собой — ибо без признания вины нет и не может быть ни исповеди, ни покаяния, а значит — не может быть ни любви, ни прощения, ни искреннего стремления к добру.

Удивительно (вот еще одно из чудес подлинного искусства и великих тайн бытия!) что именно эти два художника, чьи жизненные пути, философские и политические убеждения, дарования, да, наконец, просто особенности характеров — столь различны, существуют в таких, казалось бы, несовместимых измерениях, — сегодня, разделенные границами, одновременно заговорили об одном и том же, рассказали людям, каждый очень по-своему, о той муке вины, которая жила в них все эти годы, и рассказ о которой есть великий шаг на пути к очищению.

Впрочем, как известно, судьба еще и раньше сталкивала А. Солженицына и Л. Копелева — в стенах тюремной «шарашки» (Копелев стал, до некоторой степени, прообразом Рубина в романе «В круге первом»), а потом и на воле — но я не знаю, не думаю, что они своим замыслом делились друг с другом, хоть это, разумеется, и не имеет значения.

Эта заметка написана не с целью критического разбора или литературоведческого анализа — этим, я не сомневаюсь, займутся, и с большим основанием, другие — я же просто хотел сказать Александру Солженицыну и Льву Копелеву, что призыв их к очищению, исповеди, покаянию — услышан, понят и, с благодарностью за мужество и благородство, принят в сердце!

Александр Галич

«УМНАЯ МОЛИТВА»

Первой изданная на Западе книга избранных бесед и проповедей отца Дмитрия Дудко «О нашем уповании» получила самую широкую известность как в Зарубежье, так и в России, куда она попадает несмотря ни на какие препоны.

И вот братством Преподобного Иова Почаевского выпущена в Канаде еще одна книга о. Дмитрия. Это, собственно, три книги под одной обложкой: «Верю, Господи!» — записи в студенческие годы, сделанные еще в бытность автора в Духовной Академии в Загорске (1956-1959); «Да воскреснет Бог!» — начало священнического пути; и третья часть, названная «Ненаписанная книга».

Не случайно все эти три книги собраны вместе — говорить о каждой из них в отдельности невозможно, хотя первая — это проникновенная молитва, вторая — размышления о вероятности невероятного и заметки о Церкви, которые так необходимы в наше время для множества верующих, не знающих смысла и символики богослужений или праздников и тех основ церковного бытия, которые иными поколениями воспринимались с детства. Третья же книга — уже приближается по типу к беседам и проповедям и как бы подводит нас к книге последних лет — «О нашем уповании».

То, что я сейчас пишу, — ни в коем смысле не рецензия. Да и возможно ли было бы писать рецензию на вдохновенную молитву? Нелепо и кощунственно. Нет, я попытаюсь изложить мысли, которые возникли у меня при чтении этой исповеди и проповеди одновременно, этой искреннейшей и детской безыскусственной, а потому и захватывающей молитвы. Ведь сказано «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Это откровение все время с читателем, это первое, что приходит на память при чтении любой страницы любой из трех частей книги. Нет, никак не могло бы тут быть рецензии! Так же, как неуместно было бы рецензировать всеобщую песнь добра — молитвы св. Франциска Ассизского, к которым по тону, мне кажется, близки записки отца Дмитрия. «Будьте как дети!»

О. Дмитрий Дудко. Верю, Господи. Канада, 1976.

И вместе с тем — другая сторона: «Познаёте Истину, и Истина сделает вас свободными». Это изречение Христа кажется на первый, поверхностный взгляд противоположным призыву к детской вере. Не случайно же в католической истории на первом из этих принципов возросло францисканство, а на втором — доминиканство, отдававшее и отдающее первенство поискам истины путем прямого Знания...

В православной же традиции нет такого рода разделения, хотя исихазм с его учением о Свете Фаворском как воплощении Божественных энергий, переходящем в свет видимый, ближе ко второму пути — пути поисков Знания. И вместе с тем тот же исихазм с его «умной молитвой» — учение св. Григория Паламы, и образ св. Сергия Радонежского перекликаются с чистотой неискушенной святости св. Франциска Асизского.

Но на то и дана каждому единственность личности, чтобы сама вера в каждом жила по-разному, в разных мыслях и чувствах, в разных формах, ибо — «Дух дышит, где хочет».

Отец Дмитрий все время говорит об этом как об одной из главных ценностей христианских — о единственности, неповторимости самоценной личности. «Не принимающих букву закона и святоотческие писания (по букве) считают отступающими от православной веры. Но закон и святые отцы не в букве, а в духе. Основа всего — Любовь, а какие формы принимают за выражение этой любви — сам Бог устраивает», — пишет о. Дмитрий.

Поэтому рассуждения о молитве так неисчерпаемо разнообразны.

«Молитва — это добрая энергия, которая должна очищать мир от всякого зла» — пишет автор. Размышления его о молитве, связанные с идеей соборности, во многом напоминают взгляды замечательного русского философа Н. Федорова («Философия общего дела») и учение о ноосфере академика Вернадского. Ни одно стремление, ни одно движение души не исчезает. Из них, как из капель — океан, складывается ноосфера. В соборности не просто сложение, а интеграция малых сил в силу великую. Отец Дмитрий пишет: «Преодолеть смерть — это выявить свою личность, развить в себе образ и подобие Божье, стать богом, в котором нет смерти. Эту, на первый взгляд дерзкую мысль я сказал не

случайно. Христиане исповедуют: Бог стал человеком, чтобы человек стал богом».

Свобода личности как величайшая христианская ценность у о. Дмитрия рассматривается с позиции, близкой взглядам Н. Бердяева, тезис которого о несотворенности свободы, о предвечности ее можно сравнить со словами о. Дмитрия: «Покушаться на свободу человека никто не имеет права, на нее не покушается даже Бог». И в другом месте: «У атеиста нет этого понятия, он сжился с несвободой, привык к своему плену. Когда ты мыслишь о свободе, так ты мыслишь и о Боге. Если свобода у тебя относительное понятие, то и Бог для тебя относительное понятие».

Суть этого положения в том, что Богу не нужны рабы. Ведь робот — лишь инструмент. А в сотворении мира, которое не прекращается ни на миг, Творцу нужна не покорная безответственная исполнительность, на которую и механизмы способны, а сотворчество. «Робот — детерминированность действий, Творец — эвристическая вероятность их, и следовательно — ответственность» (Н. Винер. «Творец и Робот»). В этом и есть аналог свободы, как видят его сегодня точные науки. Так понятие свободы и понятие самобытности, неповторимости, а следовательно и самооценности личности сливаются воедино.

О. Дмитрий пишет: «Часто бывает, что послушание правде Божьей, послушание Церкви заменяют послушанием человеку, допустим даже епископу, настоятелю и т. д. Послушание считают — это беспрекословное исполнение приказов вышестоящего. Но то забывают, что все должны слушаться только Бога. И если епископ, настоятель говорит не согласно с правдой Божьей, его можно не послушаться».

Вот эта ответственность личности, когда перекладывать на кого-то свою обязанность решать по совести — значило бы и самую совесть и свободу ее отдавать в рабство, короче, самому стать рабом. Невозможность для христианина поступиться свободой, невозможность пойти на ту самую, многократно в литературе описанную сделку с князем мира сего — символизирована искушением Христа в пустыне. Эта твердость духа и есть персонализм, учение о котором подробно разработал Н. Бердяев («О рабстве и свободе человека» и «Царство кесаря и царство Духа»).

О. Дмитрий об этом говорит так: «Мир Христов, мир Божий разнообразен. К сожалению сейчас господствует деспотизм во всем. Не радуются, а хотят заставить, покорить. Таким образом сужают мир Божий.»

А потому надо различать, в частности понятия церкви исторической и Церкви мистической, которые далеко не всегда совпадают, ибо историческая церковь — это люди, и несовершенство их естественно.

«Насколько можно путем разума разобраться в делах веры, настолько все объясняется, и вера должна быть разумной» — говорит автор как бы вслед за исихастами. И — не ищите чудес: «необыкновенное рабски покоряет человека, чего Бог не делает, так как ценит свободу человека». Подтверждение этим словам о. Дмитрия — опять же находим, вспомнив искушение в пустыне... Подавление воли чудом, чем-то необыкновенным, — это уже насилие, а не убеждение. Без свободы выбора, без свободы решений — какая же без них может быть личность? «Потому-то человек свободен настолько, что может даже не признавать Бога, а Он, так тесно связанный с нами, не нарушает нашей свободы» — пишет о. Дмитрий. Отсюда и убеждение его, что многое нам трудно понять сейчас, когда все еще так несовершенны наши знания о мире. «Но все будет понятно. Конечно, во всем нужно добиваться ясности насколько возможно, а остальное видеть верой». И потому боязнь поверить в то, что нам пока непонятно, отец Дмитрий справедливо именует «научной безграмотностью». «Бессмертие — закон природы, который науке, может быть, впоследствии предстоит открыть» — пишет он, опять переключаясь с Н. Федоровым, у которого это — основная идея, лежащая в основе его «Философии общего дела».

Эта же тема у о. Дмитрия находит свое развитие в рассуждении о том, кто есть верующие, и кто — атеисты. Отмечая, что среди верующих встречаются чаще всего или совсем неискушенные простые люди, или же серьезные ученые, о. Дмитрий видит атеистов в основном среди той «середины», о коей еще Монтень говорил: «Прекрасные люди крестьяне и прекрасные люди философы. Все зло — от полуобразованности», то есть от того слоя, который А. Солженицын назвал «образованщиной». Ученых, которые религиозны, атеисты называют «верующими лишь в силу традиции».

О. Дмитрий возражает так: «Оказывается, ученые, передовые люди, в науке не следуют традиции, а вот в религии следуют традиции. Оказывается, настолько ученые слабы умом, что не могут подняться над тем, что кажется низким для атеистов... Потому-то ученые и веруют, что много знают, они пошли вопреки установившейся безбожной традиции. Как наглы атеисты, присваивая себе то (науку!) чего они не имеют».

Понятия «знание» и «вера» не противоречат друг другу. Лишь достигнув уровня Сократа, говоришь: «я знаю лишь то, что ничего не знаю». Вера и Знание сливаются воедино в осознании свободы личности, в осознании ее неповторимости, в осознании персонализма. Лишь в этом случае человеку доступен настоящий, достойный его труд, ибо, как формулирует о. Дмитрий Дудко на одной из последних страниц книги, «труд — это не работа, а творчество».

Василий Бетаки

ПОДВАЛ ПАМЯТИ

Нет, не «сотри», а — восстанови, даже нет, *останови* — «случайные черты», останови мгновенье... Вот в чем отличие «записок» — дневника, «записок»-записей от записок-мемуаров.

Что происходит с Анной Андреевной почти во всех мемуарах!.. Вроде бы всё знакомо и похоже, особенно ахматовские «пластинки» (ее повторяющиеся рассказы, которыми она потчевала визитеров), — а смотришь, всё распадается, расползается, не Ахматова, а «образ Ахматовой»: портретная характеристика, окружающая обстановка, патриотизм (или, наоборот, вольнолюбивые мотивы), чувство юмора, царственность (непременная) и тому подобное. И вроде не поспоришь, всё так или иначе присутствовало, наличествовало, да только расклеивается «образ» по пунктам и подпунктам.

Потому, наверно, опубликованные воспоминания и сводятся, в основном, к случайным — одной или нескольким —

Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Т. I. 1938-1941. ИМКА-Пресс, Париж.

встречам, к поездкам в «Будку», может, и предпринятым-то в рассуждении будущих мемуаров, к не озаренному ахматовским сиянием изложению вопросов-ответов, в коих (в ответах) Анна Андреевна бывала любезна и с самым докучливым собеседником, но вряд ли вкладывала в эти интеллигентные допросы душу. Почти нет воспоминаний людей, которые хорошо и долго знали Ахматову. Дело не только в невозможности напечатать их на родине — такое можно писать и в стол, для будущего. Но вряд ли много их и в столах: слишком нелегкая это и ответственная задача — и не соврать, не примыслить, не олитературить, и достоверное не высушить, не разложить по полочкам, не рассыпать опять-таки тот цельный облик, еще хранимый свидетелями ее жизни. И неуверенность в этом случае равняется чувству ответственности и не позволяет взяться за перо.

Как всякое произведение — воспоминания невозможны без концепции. И нет для них ничего опаснее концепции. Концепция и отбирает факты из багажа памяти, и истолковывает их. Поди докажи (даже себе), что вспомнено самое существенное, что толкование выросло из реальности, а не навязано самой реальности и произведенному из нее выбору. Если же портрет, по общему мнению знавших и помнящих — своевольно искаженный, написан талантливо и страстно, если он неотъемлемо вошел в книгу, во всех иных отношениях пламенеющую правдой, — а именно это случилось с обликом Ахматовой во «Второй книге» Надежды Яковлевны Мандельштам — поди доказывай теперь, что Ахматова «не такая». Почем мне знать, ответит читатель, что кто-то другой правее, Ахматова «Второй книги» так жизненна, так убедительна! И верно, после книги Н. Я. Мандельштам любая мемуарная Ахматова может показаться лишь ошибочным или прямо полемическим отклонением от вошедшего в сознание образа.

Наше счастье, счастье современников и потомков, что для нас сохранятся не только мемуары, концепции которых, встречаясь друг с другом, оспаривая друг друга, бесконечно приближали бы нас к правде, но никогда не дали бы окончательного чувства надежности и безусловности. Сохранились — и если вспомнить, в какие это годы было, то *о чудо!* *Сохранились*, не сожжены, не изъяты на обыске, не сгинули

в военных передрыгах — дневниковые, постоянные записи Лидии Корнеевны Чуковской. Записывая каждую встречу с Ахматовой как можно подробнее, зашифровывая часть записей, так чтоб даже если нашли — не поняли бы, заботясь о сохранности, о надежном месте для дневника — в таких обстоятельствах не до концепций, не до просеивания фактов через свое представление, и теперь всё это — представление и концепция — удел читателя, который может сам для себя выстраивать Ахматову, словно из дня в день встречаясь с ней и узнавая ее. Мгновения остановлены, и мы можем долго-долго разглядывать их. Разглядывать эти, далеко не всегда прекрасные, мгновения, в которых заново живет воскрешенная Ахматова.

«Общий вид комнаты — запустение, развал. У печки кресло без ноги, ободранное, с торчащими пружинами. Пол не метен. Красивые вещи — резной стул, зеркало в гладкой бронзовой раме, лубки на стенах — не красят, наоборот еще более подчеркивают убожество».

«Говорит, что чувствует себя плохо, еще хуже чем раньше, бессонница, и по ночам немеют то ноги, то голова. Но выглядит, по-моему, чуть получше. Сидела на диване, в пальто, причесанная, и в волосах — ее знаменитый гребень».

«Анна Андреевна стала расспрашивать меня о моем детстве. И я вдруг рассказала ей многое, чего никогда и никому не рассказывала».

«Нынче всю ночь она читала Данта, сравнивая его с французским подстрочником».

«Толстое одеяло без простыни. Грубая рубаха. Мокрые волосы на подушке. Лицо маленькое, сухое, темное. Рот запал. «Вот такой она будет в гробу», подумала я. Но впечатление это скоро рассеялось. Она вскочила, накинула черный шелковый халат с драконом («китайское мужское пальто» — пояснила она) и принесла из кухни чай. К чаю был черный хлеб и какие-то соевые конфеты».

«Она надела очки и стала перелистывать всю тетрадь. Я увидела, что тетрадь исписана вся, до последней страницы. Она захлопнула ее, ничего не прочитав мне».

Чаше тетрадь не захлопывается, и мы присутствуем при чтении, иногда первом, стихов, иногда не оконченных.

И тут, вместе с, казалось бы, чисто литературоведческой историей ахматовских текстов вторгается история как таковая, жестокая и гнетущая. В тексте: «...вдруг смолкла и надела очки: «Звезды неба». Не могу видеть. Словно соучаствуешь в убийстве». А в примечании: «А. А. записала на листке стихотворение «С Новым Годом! С новым горем!» — дала мне прочесть, и потом, по своему обыкновению, сожгла над пепельницей». В тексте: «Длинный разговор о Пушкине: о Реквиеме в «Моцарте и Сальери». Потом о Пушкинских темах: Европа, во-первых, и Петербург, во-вторых. Объяснила мне, как пушкинистка, кого он имел в виду, когда писал о Европе. Потом наступило молчание. Мирно и уютно погрескивала печка». А примечание, много длиннее текста, — что это о «Реквиеме» Ахматовой, о других тогда же прочитанных стихах, о посвящении О. Мандельштаму «Не столицей европейской», — и заканчивается: «Когда я запомнила все стихи, А. А. сожгла их в печке». И читатель уже сам может воспроизвести примечание к словам: «Потом она прочитала мне новонайденные пушкинские строки — из его Реквиема. «Лунный круг». Или, пусть не совсем точно, представить себе, наоборот, текст к другому примечанию: «Шопотом; усадив нас возле; и не пушкинский, а свой — эпилог «Реквиема».

И еще шифры, умолчания — уже не о стихах. У Лидии Корнеевны в тюрьме муж, у Анны Андреевны — сын.хлопоты («Рассказала мне свои хорошие новости: многозначительные слова»). Отчаяние (« — И если бы я этого не сделала, — закончила Анна Андреевна, — Лева был бы дома»). Это если бы не включила в новую книгу «самое грустное стихотворение» — «Ива»). Тюремные очереди, те самые, где «постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь». И у Чуковской —

«Я Наверное очень плохо поддерживала разговор, потому что минут через десять она спросила:

— Вы, кажется, чем-то расстроены?

Я выговорила — не заплакав»

— известие о гибели мужа. Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, это было, когда стихи, еще не выговоренные, уже отдавались эхом приговора. Не то что записать, не то что произнести — помыслить их было государственным преступлением. Писать их и писать о них.

Записывать правду о бегущем (спотыкаясь, задыхаясь, падая с пуль в затылке) времени. Удерживать память беды («Луна. От этого город и его беда еще страшнее»).

Память и до сих пор преступление. «Реквием» и до сих пор преступление. В 1971 г. в Одессе Рейза Палатник получила 2 года за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» — в том числе за распространение «Реквиема» Ахматовой. «Не могу себе представить, — писала тогда Лидия Чуковская, — к какому разряду антисоветских произведений отнесена поэма Ахматовой учеными экспертами. Что преступного они в ней нашли? Клевету? Очернительство? Немыслимо. Застенки 1937 года очернить или оклеветать не в силах даже самое пылкое воображение... Тяжело, конечно, сознавать, что у нас на родине «Реквием» до сих пор не напечатан полностью, от строки до строки...»

Не напечатан. И «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской не напечатаны там, в стране, где каждый глоток памяти — как кислород, возвращающий в сознание. И «Софья Петровна» («Опустелый дом»), написанная в те же годы («Сегодня у меня большой день. Я читала Анне Андреевне свои исторические изыскания о Михайлове»), по незаживающей, кровоточащей ране.

Это было, когда улыбался только мертвый, — Лидия Корнеевна вспоминает первоначальный вариант, — *бесчувствию* рад. Память — то, что не дает живым впасть в бесчувствие мертвых. И когда я... — нет, сначала я хочу сменить обращение: рецензии пишутся для читателя, но это я хотела бы рассказать первой Вам, Лидия Корнеевна, — когда я слушала негромкий, но яростный голос французской девочки, которая на своем французском языке под полотняным сводом шапито в Сен-Назере, на берегу Атлантического океана, в напряженной и — о! — не бесчувственной тишине толпы крестьян, студентов, рабочих, синдикалистов, анархистов, внимательных и не сонных в этот поздний час детей, толпы зрителей спектакля о советских политзаключенных, выговаривала kloкочущие французской гортанностью слова, я вдруг — с просветлением и с надеждой, что хотя бы тут, вопреки затягивающим соблазнам, не отдадут городá ненужным привеском болтаться возле тюрем своих, — услышала

этот полупонятный текст так ясно, как будто она говорила по-русски:

— *А это вы можете описать?*

И я сказала:

— *Могу.*

Н. Горбаневская

ГИБЕЛЬ ЕВРОПЫ?

О Раймоне Ароне полшутя говорят, что он за последние тридцать лет ни разу не ошибался. Философ, социолог, политолог, экономист, Р. Арон — действительно один из высших авторитетов свободного мира: его мнения и влияние не единожды сказывались на политических событиях последних десятилетий. Его перу принадлежат десятки трудов; некоторые, как, например, «Вымышленные марксизмы», «Опыт интеллектуалов», «От одного святого семейства к другому», обрели мировое значение. Раймон Арон также крупнейший специалист по военным вопросам — в частности, в области новейших стратегий. Он является автором капитального труда о Клаузевице (после чтения которого бывшие советские студенты, вспомнив доморощенные рассуждения Ленина о Клаузевице, поморщились бы — да и только).

В современной западной мысли Раймон Арон — как бы антитеза своего бывшего однокашника, «корифея экзистенциализма» Жана-Поля Сартра. Презрительно отзываясь о философах-марксистах, высмеивая их неуклюже-заданные потуги обновить свою доктрину прилепленными схемами структурализма, Р. Арон в то же время отдает дань уважения высокому (хоть и интеллектуально извращенному) уму Сартра, этого метафизика-атеиста, запертого в им же построенном мире политически ярко окрашенных абстракций. Арон, признавая (как знаток) философское плодородие Сартра, творца оригинальных философских построений, отмечает его полный и бесповоротный отказ от какого-либо

Raymond Aron. Plaidoyer pour l'Europe decadente. Robert Laffont, 1977, Paris.

диалога с собеседником, не признающим его аксиом. Раймон Арон не раз отмечал, что Сартр (а с ним и большая часть западной интеллигенции) оказался в положении паука, попавшего в собственную паутину — паутину своего понятийного аппарата. Сартр впал в глубочайшее противоречие между субъективистской сутью своей философии и своим чисто интеллигентским (в русском понимании этого слова) стремлением к участию в политической и социальной борьбе (его знаменитое «Engagement»). Тенденция к субъективному анализу инстинктивно стремится избавиться от объективного анализа, для которого необходимы долгие и систематические исследования в области истории, политологии, социологии, экономики. Будучи неспособен к объективному анализу, Сартр просто отшвыривает его в мир ненужностей, отказывается от него и принимает на веру некоторые теории, в том числе и теорию коммунизма. Результатом именно этого пагубного процесса оказалось общеизвестное высказывание Сартра о том, что «марксизм никогда не будет превзойден!» Сартр даже тешил себя иллюзиями, будто экзистенциализм послужит как бы философским дополнением марксизма на уровне индивида.

Раймон Арон пошел по противоположному пути. Он долго и упорно потрошил социальный и экономический миры. И на этом труднейшем пути Р. Арон превзошел почти всех своих современников, а во Франции — можно с уверенностью сказать — всех. Он бросил взгляд на деятелей, занятых поисками духовного и морального алиби, и раскрыл уцелевшим последователям Декарта истинные мотивы действий основных лиц международной сцены. Нет ни одной области, куда бы его пытливый ум не проник, не обнаружил через сложнейшие переплетения фактов и псевдофактов простую суть реальных конфликтов. Но, конечно, самое главное для нас — это позиция Арона в самом жгучем вопросе нашего времени: демократия или тоталитаризм?

Идя против течения (сартровского), к сожалению, преобладающего сегодня среди французской интеллигенции, Раймон Арон отказывается от зловерного влияния, от витиеватых компромиссов, от двусмысленного подхода к этому вопросу. Он неустанно борется против тех, кто под личиной прогрессивности и человеколюбия вольно или невольно склоняет чашу весов истории в пользу тоталита-

ризма. Систематизируя неопровержимые факты, он выступает против интеллигентских выкрутасов и заскоков, против ослепления идеологией и ее ходкими мифами. И авторитет Арона настолько велик, что врагам трудно обвинить его в пресловутом «примитивном антикоммунизме» (ярлык для всех, кто кричит, что король-то голый!). Р. Арон терпеливо и недемагогически доказывает всю экономическую и социологическую невыгодность марксизма и его воплощений. Что, на мой взгляд, больше всего поражает в нем, — это поистине уникальное сочетание объективности и бескомпромиссности. И — Р. Арон никогда никому не читает морали.

Последний труд Раймона Арона «В защиту вырождающейся Европы» есть как бы наиболее полное и четкое собрание его основных мыслей о судьбах мира. А судьбу нашего мира решит противоборство двух систем. Новое в его книге — показ сути этого противоборства. В послевоенное время об ФРГ говорили: «экономический гигант и политический карлик». Арон распространяет этот парадокс на всю Европу, одновременно слабую и сильную, и вопрошает с беспокойством: выживет ли Европа, освободится ли она от плена губительной идеологии, не разрушит ли демократия сама себя, избавится ли Европа от гипноза «свершений» советской идеократии, продолжит ли западный марксизм свое амебное размножение, поймет ли Европа кровавую тайну социалистической индустриализации, и, наконец, прекратит ли она самобичевание, клеймение себя всяческими несуществующими пороками — от «империализма» до «позорного» потребительства?

Как всегда, Раймон Арон взывает к здравому смыслу и задает внешне простые вопросы. В конце концов, по его мнению, решающим должен оказаться тот факт, что на Западе, несмотря на «анархию и вырождение», производительность труда по крайней мере вдвое выше, чем в социалистических странах, в том числе в Советском Союзе; научная и техническая мысль несравненно плодотворнее, не говоря уже о гражданских свободах, которые кажутся жителю соцстран (когда он узнаёт о них) просто неправдоподобными. Именно эти факторы должны быть решающими, именно они должны избавить свободный мир от опасного комплекса неполноценности. Где культура и искусство не раздавлены цензурой? На Западе. Где преследуется свободное

искусство? В соцстранах. Кто отгораживается от мира железными занавесами, кто боится инакомыслия? Соцстраны. Так у кого должен быть комплекс неполноценности?

А хваленая социалистическая система распределения, гордящаяся отсутствием частной собственности на средства производства, гордящаяся собственностью коллективной? Раймон Арон безжалостно точен. Если считать 135 рублей средней советской зарплатой (от себя добавим, что многие не получают и ста рублей), то можно ли ею гордиться, когда минимальная зарплата во Франции равна 320 рублям? Когда президент Франции Жискард д'Эстен во время поездки в СССР привел эти цифры в своем выступлении по советскому телевидению — их не перевели, а в советских газетах эти опасные места были подвергнуты цензуре.

Или о чем говорит тот факт, что прибыль советского колхозника еще не достигла уровня прибыли советского крестьянина 1913 года? Вряд ли о преимуществах для народа такой распределительной системы. Арон в своей книге приводит последовательно десятки примеров, доказывающих несомненное превосходство либерального общества над тоталитарным, выгодность для народов частной собственности и свободного рынка.

И все же в Европе существует этот комплекс неполноценности, медленно поедающий, разрушающий ее изнутри. Арон объясняет живучесть этого комплекса силой обмана и мистификации марксизма-ленинизма.

Мистификация выдает довольно примитивный катехизис — советский марксизм-ленинизм — за великую науку или по крайней мере за одно из великих учений западной философии. А марксовы пророчества, показывает Раймон Арон, превратившись в орудие обмана, приводят в странах, где коммунисты захватили власть, к советской идеократии (когда идеология необходима для подтверждения законности абсолютной власти партии); там же, где коммунисты стремятся захватить власть, — эти пророчества служат для создания короткого и неясного набора стереотипов. Арон называет этот набор «вульгатой» и не скрывает силы его воздействия на массы, особенно в Италии и во Франции. Слово «вульгата» можно расшифровать в данном случае как повседневное и эффективное воздействие основных формул примитивного марксизма. Какой бы ни была действи-

тельность, в умах людей должны преобладать такие формулы, как «классовая борьба», «империалисты», «монополии», «капиталисты» и т. д. Вульгата создает благоприятную почву для влияния коммунистов и мешает объективному взгляду Запада на Советский Союз.

Пророчества Маркса, являясь идеологическим щитом для многих, непоколебимы, несмотря на многочисленные метаморфозы марксизма. Одна из них — осуждение сталинщины. Р. Арон пишет: «Прошло двадцать лет после XX съезда, а хочется сказать: нужно начать все сначала». Осуждение культа личности марксистами-ленинцами осталось половинчатым, двусмысленным. Было выражено сожаление о «перегибах», но не о самой сути советского курса. Одновременно осуждение сталинизма содействовало возникновению и распространению различных марксизмов. И теперь на Западе сторонники каждого из марксизмов клянутся и божатся, что их-то марксизм не имеет ничего общего с тем марксизмом, который разоблачил Солженицын. Теперь коммунисты Запада громче, чем раньше, говорят о своей демократичности, гуманности, иногда даже высказываются в защиту свобод, отсутствующих в соцстранах, так что как будто исчезает различие между ними и социал-демократами. Раймон Арон пункт за пунктом доказывает, что самые «либеральные» коммунисты, покончив с теми или иными лозунгами, необходимыми для актуальной политической борьбы, возвращаются к главному, основному, составляющему фундамент социалистического строя: устранение здоровой денежной системы, фактическое прекращение купли и продажи, уничтожение товарного обращения, внедрение централизованного государственного планирования и распределения. В сущности, возвращаются к советской модели экономического строительства.

В главе «Идеократия» Раймон Арон возвращается к истории русских революций и останавливается на периоде двух большевистских переворотов: ноябрь 1917 — захват власти, январь 1918 — разгон Учредительного собрания. Тут философ Раймон Арон вспоминает, что еще Гегель открыл существование неразрывных уз между революцией и террором. Марксисты доказали это на деле. Но почему, — спрашивает автор, — фракция социал-демократической партии, объявившая об открытии новой эры в истории Европы,

подготовила не только насильственную смерть миллионов людей, но и создание тоталитарного государства, вобравшего в себя гражданское общество? Почему доктрина, по существу западная, удалила Россию от Запада? На эти вопросы есть два традиционных ответа. Либо все объясняется русской действительностью и традициями русского самодержавного государства, либо первопричина всему — партия и ее идеология. Советские «инакомыслящие», будь они ближе к взглядам Солженицына (в СССР — идеологическая власть) или Сахарова (в СССР — административная деспотия), убеждены в правильности второго ответа. Сам Арон их поддерживает, хотя и с некоторыми оговорками. Много внимания автор уделяет расхождению между Сахаровым и Солженицыным относительно влияния идеологии на советскую действительность. Сахаров считает, что в настоящее время никто больше (в том числе и на верхах) не верит в марксистскую идеологию и что Солженицын, таким образом, преувеличивает ее роль. Для Солженицына идеология есть одна из первых виновниц ужасных бед, постигших Россию за последние полвека. Раймон Арон после углубленного и чрезвычайно интересного анализа делает вывод, что существенных противоречий между ними нет. Как один, так и другой отрицают эту идеологию и вместе с тем не преенебрегают существованием ее тиранической власти.

Большая часть труда Арона посвящена советской истории, политике и социологии: социалистическое накопление капитала, нэп, военный коммунизм, капитализм по Ленину, толкования сталинизма. Затем автор как бы пытается найти несуществующий социализм. За утопией он видит кровавые коллективизации, когда именем общего блага убивают людей. Каждая нация «третьего мира», объявляя о строительстве социализма, приобретает режим, при котором человек оглядывается на ушедший режим, как старик на свою молодость.

Что касается западноевропейского социализма, то самый яркий его пример, без сомнения, Швеция. Арон отмечает, что если всмотреться в управление хозяйством Швеции, то просто невозможно отыскать в этом хозяйстве черты социалистической экономики. С другой стороны, социальное законодательство страны направлено на государственное покровительство индивидууму, а финансовая система — на

распределение национального прибавочного продукта. Но, пишет Раймон Арон, за сорок четыре года у власти шведские социал-демократы не провели ни одной национализации, руководствуясь лишь тем или иным пунктом своей доктрины. Сохранилось частное управление производством, шведская система цен по-прежнему неразрывно связана с ценами мирового рынка, вследствие чего границы страны остались открытыми. Налоговое обложение давит не на предприятия, а в основном, на прибыль отдельных граждан. С точки зрения марксистов-ленинцев, не без иронии замечает автор, Швеция — страна, в которой властвует монополистический капитал. В общем, где можно отыскать штрихи настоящего социализма? Только в капиталистических странах Запада. Еще один парадокс, найденный во время погони за утопическим социалистическим обществом.

Так как основной целью книги Раймона Арона «В защиту вырождающейся Европы» было заставить эту Европу освободиться от иллюзии своей слабости, автор уделяет нужное внимание европейской экономике: экспансии, инфляции, кризисам, кредитам, финансовым системам. И Арон смеется над марксистами, вопрошающими при каждом мировом кризисе: циклический он или структурный? — надеясь, разумеется, что структурный кризис приведет к необратимым радикальным реформам или даже к революционной ситуации. Теперь, в конце двадцатого века, правительства приблизительно знают, как бороться с кризисами, в частности — с инфляцией. Главное — выдержать политически. Тут Раймон Арон довольно скептичен, он не верит в политическую стойкость нынешних правителей Западной Европы. Будущее не кажется ему розовым. Автор не скрывает и такого важного фактора, как психологическое давление, которое оказывает на свободный мир стоящая у его границ миллионная советская армия. «Это психологическое давление, — пишет Раймон Арон, — страшнее для Европы, чем сама армия. Да, кризис свободного мира не закончился, только в недалеком историческом завтра Европа вновь обретет равновесие. Нужно быть реалистами. Нужно видеть свои слабости и сознавать свою силу» — эти слова автор повторяет неустанно на протяжении всего своего труда. А печальная констатация: Европа не сознает своего превосход-

ства — является основным стержнем книги Раймона Арона «В защиту вырождающейся Европы».

Владимир Рыбаков

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

Прежде чем говорить о творчестве современного польского поэта Чеслава Милоша, живущего ныне в эмиграции, в Америке, я позволю себе немного истории.

Раздел Польши между Россией, Австрией и Пруссией в конце XVIII века был жестокой травмой, наложившей отпечаток на все последующее духовное развитие польского народа, вплоть до наших дней. Великие поэты польской эмиграции XIX века — Мицкевич, Словацкий, Красинский, Норвид — посвятили свое творчество борьбе за освобождение родины. И сила их дарования была настолько значительна, что написанное ими сохраняет свою ценность сквозь время. Они сумели поднять частный случай своей национальной проблемы на общечеловеческие высоты, на уровень крупнейших достижений мировой литературы. Их слово, воображение, темперамент заставляют нас переживать занимавшую их политическую борьбу как наше собственное, кровное дело, как часть исторических судеб всего человечества, к которым причастен каждый из нас.

Но вот в 1918 году Польша обретает независимость, и сразу после этого — словно польская литература устала от социальных проблем — группа молодых поэтов объявляет себя свободной от любых посторонних поэзии обязательств, всецело принадлежащей лишь вольному творческому процессу. Они нарекли свою группировку «Скамандр» — по имени реки, на которой стояла Троя, чтобы подчеркнуть свою независимость от злобы дня, свою верность вечному Искусству.

В «Скамандр» входили в разное время почти все выдающиеся польские поэты нашего времени — Юлиан Тувим, Казимеж Вежинский, Ян Лехонь, Мария Павликовская,

Антоний Слонимский и другие. Они во второй раз в истории польской литературы вывели польскую поэзию на мировую арену.

Двадцатый век оказался не слишком благоприятной эпохой для независимого творчества. Незаметно политическая тревога просачивается в стихи скамандритов. Но в творчестве любого из них она личностна, она носит черты индивидуальные, она естественно сливается с эстетической позицией каждого автора.

Почти одновременно с ними появились поэты, творчество которых имело исключительно политическое звучание и служило оружием политической борьбы. Таков был, например, Владислав Броневский.

Долгое время писатели и художники свободного мира и, в частности, тогдашней Польши, отождествляли революционно-марксистскую политическую позицию (которую они, разумеется, считали передовой) с революционной, авангардистской позицией в искусстве. Аберрация подобного рода сохраняется на Западе до сих пор, хотя более чем полувековой опыт советского государства и тридцатилетний опыт коммунистических стран Восточной Европы показал, что коммунисты используют авангардных художников как попутчиков, а их произведения — как средство политической пропаганды, только до своего прихода к власти. Захватив власть, они немедленно стараются избавиться от представителей революционного искусства — и не стесняются при этом никакими средствами, вплоть до физического уничтожения.

Но вернемся к Польше. Если для авангардистов поэзия была способом выполнения социального заказа, т. е. формой гражданского долга, то для скамандритов она оставалась попыткой отражения узкого личного опыта, даже если в ней появлялись социальные мотивы. В обоих случаях гражданственность оставалась явлением *внешнего* мира, соприкасавшегося только в определенных аспектах с творчеством данного автора. Органического срастания ее с *внутренним* миром поэта не было ни у тех, ни у других. Это редкое свойство проявилось в творчестве молодого тогда участника виленской поэтической группы «Жагары», а ныне, по общему признанию, первого среди польских поэтов — Чеслава Милоша.

Чеслав Милош — один из немногих современных польских писателей, достигших мировой известности. Поэт, эссеист, романист, он сделал больше, чем кто бы то ни было, чтобы познакомить западный мир с Польшей, польской литературой и польскими проблемами. Он является одним из вдохновителей и участников журнала «Культура», в высшей степени динамичного и отличающегося исключительной широтой взглядов.

Одновременно он знакомит поляков с литературой англоязычных народов своими превосходными переводами и статьями, лишь незначительная часть которых вошла в книжку «Частные обязательства», вышедшую в Париже в 1972 году.

После своей эмиграции на Запад в 1951 г. Милош выпустил нашумевшую в то время книгу «Плененная мысль», в которой он показал западному читателю бесперспективность и обреченность интеллектуальной жизни и творчества по ту сторону железного занавеса.

Следует немного остановиться на его объемистой «Истории польской литературы», вышедшей на английском языке в 1969 году. В ней соединяются обширные познания специалиста со смелостью и свежестью суждений художника и человека нашей эпохи, самостоятельно переосмысливающего и наследие прошлого, и творчество своих современников. Не довольствуясь одной только эстетической оценкой, Милош, по его собственным словам, рассматривает литературу как «ряд мгновений в жизни народа, сгущенных в языковые формы и таким образом ставших доступными для размышлений потомства».

Таким отношением к истории литературы — как к части национальной истории — Милош отличается от большинства своих предшественников. В беспристрастности подхода он не уступает даже своему знаменитому учителю Манфреду Кридлю, классику истории польской литературы. Исследуя сложнейшие культурные ценности, Милош оперирует широким кругом философских понятий, говорящих о совокупности всего сущего. В то же время он отнюдь не злоупотребляет отвлеченными рассуждениями, оставаясь в рамках историко-литературных фактов.

Особенно интересными в его «Истории польской литературы» мне представляются главы, посвященные литера-

туре нашего века. Сам Милош колебался в оценке этих глав: он опасался личных пристрастий и недостатка перспективы. Но именно здесь, как мне кажется, он достиг наиболее серьезной удачи.

Его отношение к современной литературе сильно отличается от взглядов почти всей польской литературной критики. Он резко меняет общепринятую классификацию, останавливаясь подробнее на наиболее выдающихся писателях, порою обойденных вниманием других литературоведов, — таких, как Станислав Бжозовский, С. И. Виткевич или Витольд Гомбрович, признание которых всё возрастает со времени выхода в свет книги Милоша. Он первый выделил из огромной массы послевоенных книг произведения, в которых сконцентрированы проблемы нашей эпохи, — такие, как «Каменный мир» Тадеуша Боровского, «Солярис» Станислава Лема и целый ряд других. Даже если бы не все его оценки оправдались во времени, метод его подхода к каждому произведению в отдельности останется неизменной ценностью в изучении современной литературы.

Но все-таки главным в творчестве Чеслава Милоша является его поэзия.

Он начал писать в трагические годы, подготовившие послевоенный передел мира, — в годы Сталина, Гитлера и войны. Непрочное равновесие, наступившее после поражения фашизма, трещало под давлением экономического кризиса и разрастающегося советского тоталитаризма.

Уже тогда Милош оказался одним из наиболее чутких художников, ясно почувствовавших неизбежность катастрофы, готовой разрушить столетиями налаженную жизнь культуры. В ту пору реальность угрозы не осознавал не только простой обыватель, но и многие крупные деятели культуры и даже политические деятели, от которых можно было бы ожидать большей дальновидности.

Милош этой дальновидностью обладал — и притом в настолько высокой степени, что его относят к тем польским поэтам 30-х годов, которых называют «катастрофистами» (крупнейшим среди них был Юзеф Чехович).

То, что для поэтов предыдущих поколений было результатом романтических иллюзий или неясных ощущений, для Милоша стало предметом непосредственного опыта, естественной реакцией на происходящее, на реально суще-

ствующее. И эта новая действительность оказалась фантастичнее и неправдоподобнее любого сновидения. Граница между сущим и воображаемым стерлась, и одновременно для выживания стала необходима хищная приспособляемость и неумолимая трезвость.

Поэт Чеслав Милош нашел в себе силы не только выжить физически, но и не дать погибнуть в себе творческому духу. Он сумел изобразить действительность, ранее встречавшуюся только на фантастических гравюрах Гранвилля и Гюстава Доре. В его творчестве соединилось ощущение реального исторического времени с реальным ощущением исторического и художественного наследия прошлого, наследия европейской культуры. Милошу одинаково близки и эстетическая тонкость скамандритов, и дерзания авангардистов, хотя по складу личности он отличается и от тех, и от других. Главное у него — ощущение эпохи как части собственного организма, ощущение ее неблагополучия, ее неограниченных возможностей, ее необузданной стихийности. Эпоха для него — не «сюжет», не предмет для размышлений, а воздух, которым он дышит; основа, на которой выткано всё, вплоть до его личной судьбы. Он совсем не склонен отказываться от своего «я», но эпоха просачивается во все щели его души, окрашивает собою его интимнейшие переживания.

В стихотворении «Campo di Fiori» поэт говорит о знаменитой площади в Риме, на которой сожгли Джордано Бруно и где находится большой рынок. В полыхании цветов ему чудится костер Джордано, а в треске сучьев костра он слышит «залпы за стеною гетто». В стихотворении «В Варшаве» поэт потрясен тем, что его сердце, полное любви, прежде всего сталкивается с трагедией, разлитой в мире и причастной ко всему, что его окружает:

Но этот плач Антигоны,
Которая брата ищет,
Становится невыносимым.
И сердце — студеной камень,
Желтый янтарь, в котором
Как муха, нахмурила крылья

Любовь
Несчастнейшей из земель...*

С горечью перечисляет поэт преступления нашей печальной эпохи, разрушение прекрасного мира, которому она пришла на смену. Но роль «плакальщицы» ему в тягость. Он сохранил привязанность к радостям жизни и сожалеет, что не ему суждено было их воспеть:

Воспевать пиры хочу я,
Пусть меня в веселых рощах
Водит сам Шекспир!
Оставьте
Крошку радости поэтам,
А иначе — мир погибнет.

Он ищет радости, но не для себя одного. Для всех. Он хочет справедливости и правды — для всех. И требует ответственности — от всех, равно как и от себя самого, — за существующее в мире зло:

Если был перед нами выбор
между смертью своей или друга,
Мы друга на смерть обрекали
и шептали: «Да будет так!»

В сложном стихотворении «Дети Европы», одном из самых сильных у Милоша, поэт снова с горькой иронией говорит о своем поколении. Его горечь есть результат его зрелости, его знания жизни и людей, и одновременно это горечь человека с больной совестью современника недоброго века:

Из огненных печей, из-за колючей проволоки,
В которой свистят ветра бесконечной осени,
С полей сраженья, где воеет и корчится раненый воздух,
Мы, конечно, спаслись: мы достаточно ловки и натасканы.

* Стихи Чеслава Милоша приводятся в переводе Василия Бетаки. (Прим. ред.).

Мы живем в эпоху «огня, выпущенного на волю», и потому вынуждены жить «стиснув зубы» — вот основная мысль Милоша. Но несмотря на свою погруженность в самую сердцевину событий, он умеет позволить красоте мира завладеть собой, как это происходит в его поэме «Мир», написанной в духе великого живописца Анри Руссо.

На маковом зерне построен дом.
Собачий лай под маковой луной...
Щенки! Они не ведают о том,
Что существует мир большой, иной.
Но и земля — такое же зерно,
И зерна мака вместо звезд горят,
Будь их хоть миллионы — всё равно
На каждой разместятся дом и сад.
Всё — в маковке. А мак в саду растет.
Играют дети и колышут мак.
А вечерами, как луна взойдет,
Доносится далекий лай собак.

Сила самовыражения Милоша, «необщее выражение» его творческого лица объясняются не только масштабностью его личности, но и его большой культурой, редкой в наше время, когда большинство западных «интеллигентов» ограничивается внимательным изучением газетных статей и ссылками на марксизм, полученный из третьих рук. До нельзя затасканное, но все-таки еще благородное слово «интеллигент» к Милошу применимо в самом первичном, изначальном своем звучании. Милош — интеллигент по темпераменту, человек, органически связанный с многовековым культурным наследием западного мира, приобщение к которому для него, быть может, самая подлинная из всех радостей жизни.

Но это никак не исключает его иронии, обращаемой им и к человеческой массе, страдания которой он разделяет, и к себе самому. Поэтому культурные реминисценции, очень частые не только в его прозе, но и в стихах, никогда не остаются отвлеченными и безжизненными. Наоборот — я бы сказал, что нигде его личность не раскрывается столь полно и своеобразно, как в тот момент, когда он говорит о «лаборатории, скрытой в симметрии тела», или когда, вспоминая

гимназические годы, он вдруг неожиданно упоминает Юлиуша Словацкого — причем по совершенно парадоксальной ассоциации:

Зачем возвращаться мне в темные залы
Гимназии Сигизмунда Августа?
Зачем по дороге в Яшун

хлестать

Хлыстом по стволам, как делал Словацкий?

У Милоша мало стихов на обычные темы лирической поэзии: о любви, рождении, смерти. Его поэзия — раздумье о месте вечно-человеческого в критическую эпоху истории, о спасении и сохранении его для настоящего и во имя грядущего. Своей нравственной чуткостью, отказом от удобной сонливости, широтой открытого ему горизонта, слиянностью со своим временем — со всем, что есть в нем чудовищного и прекрасного, Милош открыт будущему, он словно притягивает его. И в этом, быть может, самое для нас ценное в его человеческом и поэтическом облике.

Эммануил Райс

ПАРТИЯ ИЛИ МАФИЯ — ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

Не герой и не мыслитель — так отозвался об И. Земцове, авторе книги «Партия или мафия»*, А. Безансон («Русская мысль» 29 декабря 1976). Нам трудно судить о точности фактов и правомерности их интерпретации в книге — там, где речь идет об Азербайджане, об артелях и коррупции, о королях и капусте. Материал специфический, сенсационный и по самой своей сути не поддающийся проверке широким читателем. Однако проверка (или оценка) может быть и косвенной. Вот автор переходит к чуть более широким фактам, к крупной промышленности, к Москве и Ленинграду — и сразу бросаются в глаза нелепости.

* Илья Земцов. *Партия или мафия? Разговоранная республика.* Les Editeurs Réunis. Paris, 1976.

Вот история с Первым часовым заводом в Москве (стр. 24). По сведениям автора, там не додавали в часы одного камня. 60 тысяч часов в месяц при стоимости камня 42 копейки дают 24 тысячи рублей, которые, по автору, присваивались. Сразу видно, что вряд ли автор представляет себе крупное промышленное производство. Не менее сотни рабочих должны были участвовать в этой операции (сборщики, наладчики, контролеры), да сотня инженеров и служащих, а ведь эти камни еще нужно продать через магазины! Получается на одного человека по 100 рублей в месяц. И за такие деньги директор, главный инженер и начальники цехов, получающие по 300-500 рублей зарплаты согласятся рисковать положением и свободой? Да ведь их бы выдал любой рабочий, хоть мельком услышавший об этой операции.

Такую же нелепость рассказывает автор о Рижском радиозаводе, где стоимость недостающих диодов составляла и того меньше — 12 тыс. рублей в месяц.

Конечно, бывают на производстве отступления от стандартов — с разрешения высшего начальства и по особым причинам, но уж никак эту разницу присвоить нельзя; в крайнем случае, ее могут пустить в погашение скрытого брака, засчитать ложную экономию и т. п.

Или жалобная история о порядочном Николае Сергеевиче (стр. 28), директоре завода, получившем нереальный план производства. И. Земцов рассказывает фантастическую историю о том, что протесты и расчеты Николая Сергеевича сразу объявляются недоверием к партии. Как видно, автор и близко не знаком с работой промышленности: возражения против доведенных сверху планов, выпрашивание поблажек являются совершенно обычными этапами советского планирования и, как правило, частично удовлетворяются: ведь министерства сами несут ответственность за каждое предприятие, не выполнившее план. А вот как уж Николай Сергеевич выполнял этот нереальный план через колхозный рынок, да еще давая «левую» продукцию, — этого даже автор объяснить не может: фантазия не тянет.

И уж совсем фантастическую историю рассказывает автор о Бакинском электромеханическом заводе (стр. 39). Начнем с цифр, которые автор весьма грозно выписывает. 29 декабря 1970 г. — до конца года осталось 3 дня. Не хватает 15% плана, то есть 3,3 дня (в месяце 22 рабочих дня).

Кажется, при аврале вполне можно справиться, особенно работая, по уверению автора, «круглосуточно». Однако автор утверждает, что все это дает только 2-3%. Очевидно, автор рассчитывает, что читателю лень будет разделить 100% на 22 дня и получить приблизительно 5% в день и 15% за 3 дня.

Дальше. За описанную автором приписку (холодильники без моторов) 723 инженерно-технических работника якобы получили «прогрессивку» (премию). Однако в 1970 году промышленность получала премии за реализацию (то есть после оплаты отгруженной продукции), а неukoмплектованные холодильники ни отгружены, ни оплачены быть не могли. К тому же, по сообщению автора, на заводе был перерасход фонда зарплаты, — а при этом условии никакая премия не выплачивается. И наконец, 100% прогрессивки — форменная выдумка: предел премии 40%.

Конечно, описанные автором аврал и приписка вполне могли иметь место, но рассказано все это понаслышке, приблизительно, и не способствует читательскому доверию к книге.

После всего этого уже не удивляешься сообщению И. Земцова, что зарплата секретаря райкома партии составляет 3000 рублей в месяц (что получается простым делением цифр, стр. 27), хотя она вряд ли может превысить 300 рублей (что тоже немало на фоне других советских зарплат, да еще при многочисленных партийных льготах). Или невнятная скороговорка об обмене 100 тыс. тонн хлопка на 45 млн. руб. (стр. 51); что означает этот обмен? Что Узбекистан продал Азербайджану 100 тыс. тонн хлопка по государственной цене, а последний сдал ее по той же цене тому же государству в счет своего плана? Или что секретарь ЦК Узбекистана Рашидов взял взятку в 45 млн. рублей? Но этого, кажется, даже всезнающий И. Земцов не решился написать.

И совсем уж странно, когда И. Земцов иллюстрирует воровство в СССР фактами из практики гостиницы «Интурист» (стр. 42). Кто же воровал из этой гостиницы — иностранцы, которые только и могут там поселиться? Или персонал? Но что же тогда получается: директор гостиницы пишет сам на себя донос? Ведь персонал — это его забота.

В упомянутой рецензии А. Безансон писал, что хоть Земцов не герой и не мыслитель, зато он смог изучить фа-

кты. Но даже частичный анализ показывает, что с фактами у нашего автора явно неблагополучно.

О «советском образе жизни» есть что рассказать горького и безобразного. Но книги, подобные этой, рассчитанные на эффект и мало озабоченные истиной, могут только убить доверие читателя. И не только читателя данной книги, но и других, куда более значительных. Можно только пожалеть, что хорошее и уважаемое издательство хотя бы поверхностно не удосужило себя проверкой фактов перед выпуском в свет книги о разворванной республике.

Е. Кармазин

«ТАКАЯ ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ»

Восьмидесятилетний Гёте говорил о знакомых, умиравших в шестьдесят или семьдесят лет: у них нехватает мужества жить долго. Жюль Мок с полным правом назвал свои мемуары — «Такая долгая жизнь»: он опубликовал их, когда ему исполнилось 83 года. Это рассказ о жизни не только «долгой», но до краев наполненной бурной, активной, прерываемой лишь ранениями и болезнями, ежедневной деятельностью.

В мемуарах читатель ищет прежде всего портрет автора. В «Такой долгой жизни» он находит фронтового солдата первой и второй мировых войн, участника Сопротивления, талантливого инженера, одного из руководителей французской социалистической партии, депутата парламента, министра, представителя Франции на международных конференциях по разоружению. «Семь жизней в одной», — говорит о себе Жюль Мок.

В мемуарах читатель ищет портреты людей, с которыми встречался автор, ищет неизвестные факты, свидетельства очевидца о минувшем. На 650 страницах воспоминаний Жюля Мока проходят чередой политические и государственные деятели трех французских республик от Леона Блюма до Де Голля, Хрушев и Эйзенхауэр, Вышинский и Громыко...

Jules Moch. Une si longue vie. Robert Laffont, 1976, Paris.

Участник важнейших событий минувших пятидесяти лет раскрывает их подоплеку, позволяет увидеть их «изнутри».

Мемуары Жюль Мока — ценный источник для изучения истории Франции, но — не только. В перечне двадцати с лишним книг, написанных Моком, на первом месте стоит «Россия Советов», изданная в 1925 г. К началу 20-х годов относится интерес автора «Такой долгой жизни» к Советскому Союзу. Все, что он ни делает, он делает солидно. Заинтересовавшись Советским Союзом, Жюль Мок приступает к изучению русского языка. И едет в Москву — подготовленным. Может быть поэтому, в отличие от многих западных наблюдателей, совершавших в начале 20-х годов паломничество в страну «поющего завтра», Жюль Мок возвращается с убеждением: «я никогда не буду коммунистом...» Мое пребывание в Москве, пишет он, окончательно отдалило меня от коммунизма: я вернулся во Францию социалистом.

Не исключено, что личное знакомство с Советским Союзом, знание русского языка позволили автору мемуаров понять сущность коммунизма лучше многих других французских политических деятелей, в том числе и товарищей Мока по социалистической партии. И это сыграло свою роль в событиях конца сороковых годов, описание которых принадлежит, как мне кажется, к числу наиболее интересных страниц книги. О событиях конца 1947 и конца 1948 гг. во Франции немало написано историками и мемуаристами. Нет сомнения, однако, что сказано еще не все. Воспоминания Жюль Мока — одного из главных действующих лиц (выражение — «действующее лицо» в данном случае носит смысл буквальный!) — значительно дополняют то, что было об этом периоде известно.

Весной 1947 г. коммунисты, входившие в правительства ряда западноевропейских стран, отказываются поддерживать правительства, членами которых они являются, и вынуждают тем самым свою отставку. «Коммунистические партии, — пишет Жюль Мок, — начинают длительную кампанию, доказывая, что различные западные компартии были «изгнаны» из правительств под нажимом американцев, что американцы стали хозяевами в Европе, а только коммунисты защищали свободу! Это — неправда!» Правда, — продолжает мемуарист, — прямо противоположна этой фальшивке: «В 1947 г. солидарность между союзниками

разрывается. Сталин больше не нуждается в Западе, ибо победа над Германией достигнута».

Выход коммунистов из правительств был только началом. В ноябре 1947 г., вскоре после совещания Коминформа, волна забастовок захлестывает одновременно Францию и Италию, «то есть, — комментирует Ж. Мок, — единственные две крупные западные страны, в которых компартии были сильны».

В момент, когда забастовочное движение начинает заливать Францию, Жюль Мок занимает пост министра внутренних дел. Очень скоро для него становится очевидным, что существует подпольное командование, руководящее движением. Положение в стране очень трудное, ибо правительство не может до конца рассчитывать даже на республиканскую гвардию, некоторые соединения которой сформированы из коммунистов. Энергичная деятельность Жюля Мока (создается впечатление, что в правительстве он единственный не потерял головы, не растерялся) позволяет спасти положение. 9 декабря забастовочный комитет предлагает всем бастующим начать со следующего дня работу.

Правительству становится известно, что после того, как неудача забастовки стала очевидной, посол СССР в Париже Богомолов вызвал к себе двух руководящих деятелей компартии — Мовэ и Фажона — и раскритиковал их действия. Необходимо было, — заявил советский посол, — создавать не стачечные комитеты, а ревкомы и стремиться к «двоевластию», т. е. воспроизводить ситуацию 1917 г. в России.

Прекращение забастовочного движения не успокоило Жюля Мока: он ждет следующего удара. «Убеждение, что второй удар последует, — пишет он, — сильное в декабре 1947 г., еще более укрепилось два месяца спустя после событий в Праге, аналогичных тем, какие только что закончились во Франции». Ж. Мок видит сходство между двумя странами: развитая промышленность, традиции свободы, а также примерно одинаковый процент голосующих за компартию. Принципиальное различие заключалось в том, что в феврале 1948 г. в Чехословакии коммунисты занимали в коалиционном правительстве ключевые посты: премьера, внутренних дел, обороны и информации.

События подтверждают опасения французского министра внутренних дел. В июле 1948 г. в его руки попадает копия

директивы А. Жданова — руководителя Коминформа — французским коммунистам. Им предлагается продолжать борьбу против плана Маршалла и не прекращать ее даже в случае улучшения дипломатических отношений между Востоком и Западом, ибо, — говорится в директиве, — «успокоение на дипломатическом фронте не более как эпизод в войне, которую подлинные демократии ведут против империалистической политики США и верных им правительств».

Утром 4 октября 1948 г. — всеобщая забастовка шахтеров. Это сигнал ко второму туру борьбы за власть. Ж. Мок приводит любопытный факт: венгерские, польские и румынские газеты объявили о забастовке французских шахтеров до того, как она началась. Целью движения 1948 г. было «свержение правительства и установление народной демократии». План заключался в захвате всех шахт страны и лишении французской экономики угля, что должно было полностью парализовать всю страну. План этот не удался. «В конце 1948 г., — заключает рассказ о событиях Ж. Мок, — Франции удалось избежать судьбы, которая в начале года постигла Чехословакию».

Те, кто в 1947 и 1948 гг. имел удовольствие регулярно читать советскую печать, помнят, что имя Жюля Мока занимало в советских газетах и журналах почетное место с обязательным прибавлением самых ругательных эпитетов, какие могли изобрести сталинские пропагандисты. Автор «Такой долгой жизни» приводит цитаты из французской коммунистической и прокоммунистической печати. Они тоже не щадили министра внутренних дел, дважды сорвавшего их планы. Нужно, однако, объективно признать, что приоритет принадлежит, конечно, советской печати: она ругала грязнее и злее. И был для этого повод, о котором, возможно, Жюль Мок не знал. Он приводит в своих мемуарах некоторые документы, свидетельствующие о прямом вмешательстве Советского Союза во французские дела, он предполагает с очень серьезными основаниями о том, что Москва непосредственно руководила попытками французских коммунистов захватить власть. Но уже после публикации воспоминаний Жюля Мока стало известно, что все предположения, догадки, предвидения были справедливыми на 100%.

Чехословацкий историк Карел Каплан, в течение апреля 1968 г. имевший доступ ко всем архивам ЦК Чехословацкой

компартии, эмигрировал на Запад вместе с записями, которые ему удалось сделать. К. Каплан утверждает на основании документов, что в 1947 г. Сталин приходит к выводу о неизбежности военного столкновения с американцами. В беседе с Готвальдом Сталин утверждал, что «в случае конфликта народные массы стран Западной Европы начнут борьбу с США, а коммунисты, с помощью Красной армии, в короткое время возьмут власть в свои руки».

События прошлого интересуют нас прежде всего потому, что нам кажется, будто прошлое может помочь угадать будущее. История редко кого-нибудь чему-нибудь учит. Но — желаящим — она дает богатый материал для размышлений. Мемуары Жюль Мока дают особенно много такого материала. Прежде всего потому, что в марте 1978 г. будет решаться судьба Франции. К власти может прийти коалиция социалистов, коммунистов и левых радикалов. 50 лет Ж. Мок был членом социалистической партии и вышел из нее в 1974 г., ибо партия, под руководством Франсуа Миттерана, изменила идеалам, которые на протяжении всей своей жизни защищал Жюль Мок. В его книге мы найдем интереснейший портрет социалистической партии — со всеми ее колебаниями, изменениями, достоинствами и недостатками. Мы найдем портреты социалистических лидеров, умерших — и живых, которые вскоре, возможно, будут руководить Францией. Портрет Франсуа Миттерана, человека талантливого и удивительно многоликого, один из самых удачных в книге. Немало страниц посвятил автор воспоминаний коммунистам. Он пишет о вождах компартии, которых знал, — о Морисе Торезе, Жаке Дюкло. Их сменило сегодня новое поколение коммунистических вождей. Но рассказ о поведении коммунистов в те годы, когда они входили в правительство, о том, что неизменно при составлении правительства они требуют для себя министерства внутренних дел, обороны, иностранных дел, представляет — в предвидении будущего — особый интерес.

Нелегко прожить — долгую жизнь. Еще труднее — прожить интересную жизнь. Труднее всего — интересно рассказать о своей жизни. Жюлю Моку — все это удалось.

Михаил Геллер

ЛЮДОЕДСТВО КАК ТАКОВОЕ НЕ НАКАЗУЕМО...

Новое исследование Валерия Чалидзе обращается к предмету, пребывающему в СССР в сумрачной области государственных тайн, — преступному миру и преступности; тема необозримая и породившая в последние годы совсем малое число серьезных работ (по крайней мере, опубликованных — что пишут «по начальству» советские криминалисты, нам знать не дано), среди которых упомянем весьма интересную статью Ю. Глазова «Воры в СССР как социальное явление» («Survey», 1976, vol. 22, No. 1). «Уголовная Россия» состоит из двух неравных частей: в меньшей речь идет о воровском мире (экскурс в историю русской уголовной традиции, описание воровских институтов, психологии и языка, и т. п.), в большей — о конкретных видах преступлений, в основном экзотических, от радиохулиганства до людоедства и мужеложства, хотя пишет автор и о поприщах вполне тривиальных, вроде взяточничества, спекуляции и хищений.

Книга отличается спокойствием тона, присущим всем публикациям автора, который «сознательно воздерживается от критики решений советских судов», но представляет материал, обычно обходящийся без комментариев. Книгу красит умение автора просто сказать «не знаю» там, где у него нет ответа на вопрос, и специфический чалидзевский юмор. К примеру, глава о людоедстве начинается фразой: «Людоедство как таковое не наказуемо в СССР». И в самом деле. Или, говоря о неблагоприятном отношении властей к потенциально развращающим фильмам про преступления, Чалидзе пишет: «Можно было бы надеяться, что если для воспитания людей создать столь информационно стерильную обстановку, что они вообще не будут знать о возможности убийства ближнего, то, быть может, никто и не догадается совершить убийство, хотя есть свидетельство, что впервые убийство было совершено без чьего-либо наущения (Бытие, 4, 8). По-видимому, впрочем, создание такой информационно стерильной обстановки для воспитания не только невозможно практически, но и нежелательно идеологически,

Валерий Чалидзе. Уголовная Россия. Нью-Йорк, Хроника-Пресс, 1977.

ибо тогда нельзя будет использовать для воспитания героические примеры революционного прошлого». Отметив убеждение официальных советских источников, что социальные противоречия, порождавшие пьяные побоища в деревнях, ныне вполне исчезли, В. Чалидзе пишет далее: «Впрочем, пьяные драки продолжаются, и глубинные причины их по-прежнему не ясны (вряд ли такие драки можно объяснить новыми социальными противоречиями в деревне, например, спорами о победе в социалистическом соревновании, хотя в некоторых случаях такая возможность и не исключена)».

Говоря о русской уголовной традиции, автор упоминает два важнейших обстоятельства: во-первых, традиционное резкое деление собственности на *свою* (собственность общины и ее членов) и *чужую*, покража которой не считалась великим грехом, — здесь он видит корни небрежного отношения к государственному имуществу в послереволюционной России, где расхищение казенного имущества достигло необыкновенного размаха; во-вторых, он довольно странно разбирает феномен самосуда, приводя весьма живописные примеры народных способов расправы с конокрадами и прочими злоумышленниками, — любопытно, что он рассматривает современные собрания с разбором персональных дел как форму коллективного, а доносы — индивидуального самосуда, взгляд весьма оригинальный. Жаль, что Чалидзе не говорит подробно об интереснейшей структуре старого каторжного мира, лишь мимоходом упоминая о *бродягах*; любопытно было бы провести параллели между, как выражались в XIX в., *бродяжней* (Иванами, Иванцами и т. д.) и советской криминальной элитой — «ворами в законе».

Истоки современной воровской ассоциации автор видит, между прочим, в старой рабочей артели; интересно, что он усматривает некое сходство между воровской артелью и респектабельными советскими учреждениями вроде Академии наук, КГБ и КПСС, из которых также нет свободного выхода: *завязать* со своей организацией академику или члену партии столь же непросто, сколь профессиональному преступнику — со своей. Разбирая черты современного уголовного мира, В. Чалидзе указывает, в числе прочего, на отсутствие в нем «советского патриотизма», в наличии кото-

рою нас так старался убедить сомнительный мемуарист следователь Шейнин.

Первая часть книги, полная занятнейших наблюдений и примеров, завершается рассмотрением причин упадка воровского мира, вполне признаваемого и *идейными* его членами (теперь часто слышишь их сетования, что, де, «закон нынче не держат», «да что это — воры? Шпана, бакланье, честный вор с ними с... не сядет» и т. п.); по мнению автора, воровская стихия не выдержала противоборства с теми, кого он хорошо называет «дилетантами от преступного мира», оказавшимися у власти однажды в ноябре и обратившимися для решения острых социальных проблем (в том числе и преступности) к средствам невиданной радикальности. Знамение заката уголовного мира В. Чалидзе видит и в учиненном ворами терроре против политзаключенных: «они таким образом действовали заодно с администрацией, выполняя явно или неявно выраженную волю администрации. С точки зрения ортодоксальной воровской идеи — это явное падение нравов, и именно в это время был подготовлен окончательный упадок традиционного воровского мира» — объяснение, на наш взгляд, не вполне убедительное.

Дальше перед нами — длинная цепь главок о преступлениях против личности, преступлениях против имущества, преступлениях против никого и ничего, повесть о жестокости, хитроумии, о странных поворотах человеческого духа и диковинных извивах юридического пера, повесть местами забавная, местами удручающая, набор скверных анекдотов из советской законодательной теории и практики и поучительных казусов. В главе о хулиганстве мы видим, как «законодатель использует иностранные слова для обеспечения большей неопределенности нормы», что не единственный, впрочем, метод сделать резиновой статью Уголовного Кодекса: «Издавна в советском праве метод нечеткой формулировки нормы закона использовался с тем, чтобы по возможности расширить круг лиц, пригодных для преследования в соответствии с данной нормой». Дальше — примеры совсем уж дурных поводов для абсолютного преступления — душегубства: «В одном случае, например, пьяный субъект, находясь в гостях у родственников, стал упрекать их за то, что они не приехали к нему на именины (...), в другом — два брата поспорили, кто чаще посещает могилу недавно

умершей их матери (...); в обоих случаях ссора кончилась убийством», — и снова образчик авторской манеры письма: «Вообще культура убийства в России довольно низка». Подумать только.

Людоедство и жертвоприношения, убийство колдунов и ведьм (упоминаются два случая), кровная месть, убийство по просьбе потерпевшего, убийство на дуэли («Слушатель военной академии Тертов убил на дуэли своего товарища»), убийство за вознаграждение, проигрывание человека, и т. д., и т. п., а потом и половые преступления, там же отрывок из речи прокурора Крыленко, давшего классовую оценку гомосексуализму в пролетарском государстве: «Кто же главным образом является нашей клиентурой по таким делам? Трудящиеся? Нет! Деклассированная шпана. (Веселое оживление в зале, смех). Деклассированная шпана либо из отбросов общества, либо из остатков эксплуататорских классов. (Аплодисменты.) Им уже некуда податься. (Смех.) Вот они и занимаются... педерастией». Надо отметить, что в «Уголовной России» содержится первый, насколько нам известно, в неподцензурной литературе серьезный анализ состояния данной проблемы, достаточно остро стоящей в Советском Союзе.

В разделе о частном предпринимательстве, которое советские авторы объясняют «пережитками капитализма», В. Чалидзе предлагает иную (и весьма удачную) формулировку: «пережитки естественного образа жизни», ибо «то, что советские идеологи именуют капитализмом, представляет собой не какую-то социальную систему, навязанную людям на основании какой-либо идеологической доктрины, а просто *естественную* форму трудовых и хозяйственных отношений...»

Заключает книгу необыкновенно интересная и, увы, слишком, на наш взгляд, короткая глава «Статистический детектив», где автор, пользуясь вполне респектабельными методами экстраполяции, пытается вывести хотя бы приблизительную цифру осужденных в СССР за распространенные преступления. Не входя в описание его метода, приведем конечные данные:

Общее число осужденных в год	1 млн.
Хищение социалистической собственности	200-250 тыс.
Хулиганство	150-200 тыс.
Преступления против личности (тяжкие телесные повреждения, убийства, изнасилования и проч.)	100-200 тыс.

Автор без излишнего оптимизма смотрит на будущее проблемы преступности в СССР; говоря о мечте советских «пропагандистов и криминологов» полностью искоренить преступность, он замечает: «Увы, даже если бы эта мечта вдруг осуществилась, то лишь на миг: какой-нибудь новый закон объявил бы преступным какое-либо обычное действие, которое ранее было разрешенным».

В приложении к «Уголовной России» помещен документ, способный вызвать интерес филологов и вообще любителей ненормативной лексики: «Словарь воровского жаргона» киевского угрозыска, характеризующий, по словам автора, «не столько этот язык, сколько уровень милицейских познаний о нем». Таких словарей с 1923 г. выпущено уже более десятка, и вот, наконец, первый из них делается доступным широкой публике, которая увидит, что скверное его исполнение отчасти искупается богатством содержащегося в нем лексикографического материала.

В. Козловский

Коротко о книгах

Н. ЭРДМАН

МАНДАТ

Публикация проф. Вольфганга Казака. Кёльн, 1976

«Мандат» — первая крупная пьеса Николая Робертовича Эрдмана. Она написана в 1924 году для театра Мейерхольда и поставлена там 20 апреля 1925 года. Затем «Мандат» поставили в Ленинградском академическом театре драмы, много ставился он и в других городах Союза и за границей. С тех пор — т. е. с конца двадцатых годов — пьеса была поставлена только один раз: в Московском театре-студии киноактера, в 1956 году, и очень быстро была снята с репертуара. Но она никогда не издавалась, поэтому публикация проф. Казака особенно ценна.

«Мандат» — пьеса очень смешная, даже сегодня смешная, хотя драматург пользуется приемом довольно прямолинейным. В этом смысле «Мандат» очень напоминает сатирические комедии Булгакова и Маяковского. В ней есть открыто пу-

блицистический ход, характерный для двадцатых годов и основанный на разности языков нового и старого общества. Новое общество отличалось от старого не столько по составу, сколько по размещению слоев: слои, как известно, поменялись местами. Тот, что поднялся наверх, принес с собой новую стилистику языка и человеческих взаимоотношений, новые критерии ценностей и новый жизненно-бытовой уклад. Слой общества, раньше определявший климат страны, был сброшен со счетов. И только «третье сословие» — обыватель — остался практически на своем месте. Но обыватель обязан был адаптироваться к новому положению вещей.

Обыватель всегда и везде замечателен тем, что живет по естественно-биологическим законам. И если ему недоступны ни великие взлеты, ни глубокое проникновение в

суть вещей, то мерилом естественности он во всяком случае может служить. И именно потуги обывателя поспеть за новым режимом обнаруживают слабости и смешные стороны этого режима. Ибо обыватель в биологической своей наивности всё воспринимает буквально. Этот процесс — попытку обывателя стать «своим человеком» в новом обществе — и изобразил Эрдман в своей пьесе. И, будучи художником реалистическим, Эрдман не мог не показать, что законы, принесенные новым правящим классом, —

нелепы и смешны в самой сути своей и что, в конечном счете, они словно специально созданы для будничного, легкого шулерства. Нормальному человеку привыкнуть к ним трудно. Да и нормальных людей, вроде, не осталось в этой свистопляске — не лиц, а рыл; жадных, цепких пальцев, кривых ртов, произносящих кривые, малопонятные, но зато новые слова.

Сегодня пьеса Эрдмана не идет ни в одном из советских театров. И долго еще лежать ей под запретом.

ВИКТОР НЕКРАСОВ

ЗАПИСКИ ЗЕВАКИ

Посев, Франкфурт, 1976

Начиная с Радищева, публицистика наша очень полюбила уютную форму путевых записок. И с того же Радищева — не совсем уютно становилось читателю, если он искал того, что называется теперь разухабистым термином «легкое чтиво». В русской традиции этот жанр всегда обманывал: только нацелишься отдохнуть — ан, нет! Схватит тебя автор за совесть, и будоражит, беспо-

коит, напоминает о таком, о чем ты забыть хотел бы... (Даже безобиднейшие «Письма русского путешественника» Карамзина, и те туда же...) Ну, Радишев свое получил — и сам виноват, зачем матушку-царицу беспокоить?

Вот и Некрасов тоже — пустили его в свое время в Америку да в Европу — кажется, будь благодарен за это, ведь либеральнейший

Хрушев пустил тебя, так нет же — написал не то, что надо бы, а то, что видел сам, как понял сам, — ну никакой тебе идейной выдержанности! Не писатель, а «турист с тросточкой», как писали в то время советские газеты. Не оправдал, дескать, доверия. Не инженер человеческих душ — зевака! Праздный Зевака! Назвали груздем — полезай в кузов. Вот и написал Некрасов еще путевые записки, и так их и назвал: «Записки зеваки». «Решительно становлюсь на защиту зевак и категорически протестую против тенденциозности...» — так начинается эта книга. В этих словах, по сути, и главное в ней: ведь зевака — он на всякие «можно» и «нельзя» чихал — что видел, то и писал. И самое страшное тут — не факты даже, факты

всем известны, страшней всего простая мысль, что у «среднего человека» нет ни времени, ни возможности праздно глазеть на что-нибудь и думать. Ведь если задумается о виденном, начальству неуютно станет, и мало ли что еще...

Так что уж если матушку-Екатерину путевые записки одного такого зеваки тревожили, если столь же «либерального» Никиту тревожили живым, неподвзятым словом, то нынешним механизмам в пиджаках и вовсе нехорошо — ну как это так: смотрит человек, на что хочет, да еще и говорит, что хочет! Вот вам и безобидные «записки путевые»! Не читать! Вредно это, читатель! Вредно! А вдруг сам станешь зевакой?! А зеваки — они люди не тюремные, неудобные... Вот как.

ЮЛИУШ МЕРОШЕВСКИЙ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И РАЗДУМЬЯ

Париж, 1976

«Каждый из нас начинал чтение «Культуры» со статьи Мерошевского, — пишет в некрологе Юлиуша Мерошев-

ского, скончавшегося в прошлом году, польский писатель (не эмигрант) Зыгмунт Оссовский. — Если бы не его

Juliusz Mieroszewski. Materiały do refleksji i zadumy.

публицистика, «Культура» не стала бы тем, чем она стала для страны и не приобрела бы себе столько сотрудников в самой стране и среди недавних волн эмиграции. Меровскому мы обязаны многим в нашем образе мыслей, в том, как мы видим польское дело на фоне самой широкой мировой проблематики.»

Статьи Меровского, появлявшиеся в журнале, затем регулярно выходили в Библиотеке «Культуры» в виде отдельных сборников. Перед нами — очередной и, увы, последний, изданный уже посмертно.

Буквально нескольких дней не дожидаясь Меровский до Июня 1976, до рабочих волнений, определивших многое в нынешней польской жизни. Но, обращаясь к старым и, как оказывается, не стареющим статьям публициста — о рабочих волнениях на Побережье в Декабре 1970, мы можем многое понять и в недавних событиях, прежде всего, неясный для многих вопрос о политическом или же экономическом характере забастовок. Польские рабочие, говорит Меровский, как и всякие дру-

гие, начинают бастовать по экономическим причинам, «из-за куска хлеба», но каждая экономическая забастовка в Польше становится — по определению — политической, поскольку она направлена против руководства партии, ответственного за все хозяйственные решения. События 1970 г. показали не только всему миру, но и самим рабочим их силу, и было важно тогда, по мнению Меровского, доказать рабочим, что без перестройки системы у них не будет лучшей оплаты труда, лучшего социального обслуживания и бытовых условий, что радикальная реформа устройства — социальное требование не только и не столько студенчества и интеллигенции, сколько рабочего класса. В 70-м году интеллигенция не нашла сил поддержать рабочих, объединиться с ними в защите их и общенациональных интересов. Жаль, что Меровский не дожидаясь до создания Комитета защиты рабочих, до многочисленных актов протеста, помощи и солидарности, до возникновения, наконец, общепольского Движения за права человека.

В ТЕНИ КАТЫНИ

Париж, 1976

Профессор Виленского университета, офицер запаса Станислав Свяневич, пройдя сентябрьскую кампанию 1939, попал в советский плен и находился в Козельском лагере (Оптина пустынь), том самом, заключенные которого стали жертвами уничтожения в Катынском лесу. Свяневич оказался спасенным почти с края катынской могилы. Он был включен в списки предназначенных к уничтожению (эти списки ежедневно диктовались по телефону из Москвы), но в последнюю минуту пришло другое распоряжение, против него было возбуждено дело о шпионаже, и, пройдя Лубянку и тяжелые северные лагеря, в апреле 1942, полуживой, он был освобожден по объявленной еще летом 41-го «польской амнистии».

С этапом из Козельска Свяневич проследовал через Смоленск до станции Гнездово (ближайшей к Катынскому лесу), но тут его «выдернули» и, посадили одного

в пустой вагон. Через узкое отверстие под потолком он смог увидеть пустые, оцепленные стрелками НКВД запасные пути и автобус с закрашенными известкой стеклами, который подъезжал к вагонам каждые тридцать-сорок минут. Лагерных товарищей Свяневича перегоняли на ступени автобуса прямо со ступеней вагона. Когда, перевезенный в Смоленскую тюрьму, Свяневич спрашивал у начальника тюрьмы (присутствовавшего при этой выгрузке в Гнездове), почему его отделили от его товарищей, с которыми он хотел бы быть вместе, начальник объяснил ему, что, видимо, он, Свяневич, большой человек, «наше правительство Вами интересуется».

Эпизод этапа на Гнездово — пожалуй, центральный в книге, поскольку Свяневич оказался единственным «полусвидетелем» катынского убийства из числа самих польских офицеров. Но и в остальном книга представляет

много интереса: воспоминания о предвоенном Виленском университете, сентябрьская кампания, плен, пересыльный лагерь в Белой Церкви, сам Козельский лагерь и работа в нем представителей центрального НКВД (рассортировка: кого в следственные тюрьмы, кого — в маленький лагерь в Грязовце, большую же часть — как потом оказалось, в катынские рвы). Затем — знакомые советскому читателю по

Солженицыну, Олицкой, Гинзбург и другим книгам (а польскому — тоже по многочисленным воспоминаниям) советские следственные тюрьмы и полярные лагеря. И, наконец, освобождение и уход из Советского Союза с армией Андерса.

В заключение своей книги Свяневич делает обзор и оценку накопившейся к нашему времени литературы о Катыни.

Ю. МАЛЬЦЕВ

ВОЛЬНАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Посев, Франкфурт, 1976

Книга Ю. Мальцева — первая попытка дать обзор неофициальной русской литературы за последние двадцать лет. Трудность этой задачи очевидна: она прежде всего в том, что границы темы поневоле размываются, хотя бы за счет тех произведений (а порой и творчества какого-либо автора почти полностью), которые по духу и стилю, по честности и своеобразию принадлежат безусловно к «вольной» литературе и все же — по тем или иным причинам (ну хотя бы по недосмотру!) в СССР из-

даны. С другой стороны, если бы обзор был ограничен лишь авторами, не издаваемыми там, то из него выпали бы многие значительнейшие имена: ведь и Пастернак, и Платонов, и Окуджава, и многие другие публиковались и публикуются довольно широко, однако нет никакого сомнения, что их произведения — вольная, а отнюдь не казенная литература. С другой стороны, в обзор Мальцева не попал, к примеру, А. Вознесенский — поэт не менее «вольный», чем Окуджава...

Это — не претензии. При той задаче, которую поставил себе автор, обзор невозможно ограничить только «сам-» и «тамиздатом», но нельзя и расширять его до истории всей русской литературы за двадцатилетие.

Однако можно и должно, избрав круг авторов и произведений, как-то систематизировать обзор: по жанрам ли, по хронологии, или еще как-то, но соблюдая единый принцип построения книги. Конечно, бесструктурная литературоведческая книга, состоящая из отдельных очерков-эссе, тоже могла бы быть интересной, но это уже другой жанр, требующий оригинальности взгляда, четкости концепций, дающих книге внутреннее единство, персональной характеристики творчества каждого из анализируемых авторов и т. д...

Но поскольку задача книги Мальцева — прежде всего библиографическая, с некоторым только уклоном в историю процесса, то представляется несколько сумбурным такое разделение, когда первые главы идут по хронологической дороге, а где-то с середины книги вдруг начинаются главы с названиями «Сатира», «Мемуары», «Поэзия» и др. (т.е. применяется принцип жанро-

вый), где хронологический принцип или вообще забыт, или в каждой из этих глав своя, отдельная хронология.

В книге множество малоизвестных или вовсе не известных широкому читателю имен лишь упомянуто, и не дается никакого представления о том, что же эти люди написали, ни слова об их творчестве.

Порой Ю. Мальцев выносит бездоказательные суждения, не основанные на достаточном материале, — так, говоря о прозе Б. Окуджавы, он просто не называет ни одного из романов, кроме романа «Фотограф Жора», на основании которого делает категорическое и никак не аргументированное заключение о слабости прозаических произведений Окуджавы вообще. А ведь «Бедный Авросимов», «Похождения Шипова» и, наконец, «Путешествие дилетантов» — три романа, которые ставят Окуджаву в ряд самых значительных прозаиков наших дней!

Кроме необоснованности и категоричности оценок, нехорошее впечатление производит обилие фактических ошибок. Вот некоторые из них:

1. Перечисляя произведения братьев Стругацких, изданные на добром десятке

языков, Мальцев приписывает известным фантастам авторство рассказа «Эллинский секрет». Рассказ этот принадлежит Ивану Ефремову и написан еще в первые послевоенные годы. Но рассказ дал название одному из сборников научной фантастики, в котором опубликованы четные главы романа Стругацких «Улитка на склоне» (нечетные главы романа были напечатаны в журнале «Байкал». Эти нечетные главы Мальцев считает, кстати, полным романом!).

2. «Муж Е. Гинзбург — Аксенов, высокопоставленный партийный чиновник, член правительства» — пишет Мальцев. Но члены правительства — это министры, а Аксенов был председателем Казанского горисполкома.

3. «...поэта, пишущего под псевдонимом Шир-Али»... Ленинградский поэт Виктор Ширали (пишется без дефиса) ни под каким псевдонимом никогда не писал. В числе его предков были персы, что объясняет его экзотическую фамилию.

4. Дата рождения поэта В. Кривулина указана неверно (1941 г. вместо 1945 г.).

Вот только несколько неточностей...

Но не будем все же забывать, что эта книга — первый опыт подобного рода, и как справочно-библиографическое пособие для тех, кто изучает бурное последнее двадцатилетие нашей литературы, она представляет известный интерес.

М. КОРЯКОВ

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ. 1917-1975

Echo-Press, 1977

Книга М. Корякова построена довольно интересно — каждый год из истории нашей страны — отдельная глава книги. «В событиях каждого года автору хотелось найти некий невралгический пункт, присущий именно этому

году», — пишет М. Коряков в авторском предисловии. И эти «невралгические пункты» найдены и названы вполне точно. Каждый из них — символ года, событие, пусть даже не самое крупное, но определившее «дух и настрой»

времени. Конечно, выбор этих горячих точек субъективен, но с тем большим основанием можно утверждать, что чутье не подвело автора — то чутье истории, которое определяет удачу труда в целом.

К достоинствам книги следует отнести также обилие использованного материала, интересные и удачно выбранные цитаты. В этом смысле книга окажется весьма полезным пособием справочного характера.

Что же касается оценок автора, то со многими из них можно согласиться, а иные вызывают серьезные возражения — так, например, М. Коряков явно переоценивает роль Р. и Ж. Медведевых в демократическом движении, характеризует их как ни в чем не ошибающихся и т. д.

Вообще следует сказать, что по значительности на-

писанного книга как бы скользит по нисходящей: когда автор занимается историей двадцатых и тридцатых годов, чувствуется, что он не только хорошо знает материал, но и пережил его. Сороковые годы уже не всегда поданы столь точно, а что касается нашего времени — двух последних десятилетий, то тут чувствуется знание событий (да и оценка их) лишь по печатным материалам. Тут уже не получается порой «живой истории», хотя годы эти живы в нас всех, — более ранние времена описаны автором куда живее.

К недостаткам книги следует отнести также попытку беллетризации начала каждого очерка.

Но в целом книга содержит богатый материал, собранный и расположенный вполне добросовестно и логично.

ИВАН ЕЛАГИН

ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ТОПОРА

Избранное. Посев. Франкфурт, 1976

Точность и масштабность названия — судьба поколения. Поколения, большая часть которого вошла в те

66 миллионов, что погибли под топором «великой эпохи» и в те 20 (а может и все 40) миллионов, что по-

гибли на войне... Там или там — все одно: топор, как символ века-палача.

Естественно поэтому, что публицистическая поэзия характерна для этого поколения. Но для одних — публицистика лжи, для других — публицистика искренности. Именно так — публицистической искренности — воспринимается избранное Ивана Елагина — одного из значительных поэтов самого, пожалуй, трагического поколения русских литераторов.

Книга построена хронологически: начиная со стихов сороковых годов из книги «По дороге оттуда» — и до новых стихов, составивших последний раздел сборника. Сюда вошло значительное число произведений из предыдущих книг поэта: «Отсветы ночные», «Косой полет», «Дракон на крыше».

Самое необъяснимое в поэзии Елагина — то, что его стихи по взгляду на мир, по лепке образа и — главное — по экспрессивной музыкально-ритмической доминанте напоминают поэтов пятидесятых-шестидесятых годов гораздо больше, чем ровесников Елагина. При чтении его стихов чувствуется, что ритм, музыка — не просто **форма** (в ее школярском, вульгарном смысле), а чаще

всего — суть стиха, главный его «смыслоноситель». (То же характерно для А. Вознесенского, В. Сосноры, М. Борисовой и некоторых других поэтов, начавших публиковаться лишь в конце 50-х годов). Вот почти бурлескная музыка «Дракона на крыше»:

Там,
в заоблачном Нью-Йорке
Скрыто логово мое...
А что есть святой

Георгий —
Все вранье, все вранье!

Само стихотворение — монолог Зла, чувствующего свою безнаказанность, — вне этой плясовой мелодии стало бы тяжелой классицистической инвективой. Музыка делает его живым, точным, скульптурным, ироничным.

Эта экспрессивность мелодии ведет за собой столь же экспрессивную метафору:

Рассекаю до самого дна
Стекловидную светописьм
дня.
Словно тело в стекло
вплетено,
Словно тело в стекле
ледяном,
И вослед сквознякам
световым
Я теку
по каким-то кривым...

Лирика и сатира, переплетенные порой в одном стихотворении, сочетание несочетаемых жанров — вот существенная черта поэзии Ивана Елагина. И книга его избранных стихов за три-

дцать лет творческой работы показывает поэта в движении, в развитии. А это — одно из самых необходимых свойств поэтической индивидуальности.

ЧЕРНАЯ КНИГА

Московская легенда

Посев, Франкфурт, 1977

Слово «стилизация» стало почему-то бранным словом в литературной критике. Вроде как не в свои сани автор садится. А чем термин «стилизация» хуже термина «повесть» или — «метафора» или любого другого?

Вот и «Черная книга». Стилизация. И отличнейшая стилизация. Так и слышишь голоса старых московских просвирен или бас дяди Гиляя — великого знатока старой Москвы. «И вроде бы немало воды с неких пор утекло, а все же есть она, Москва, и есть в ней дух московский», — говорит в начале своей «московской легенды» автор.

Десять сказов, связанных одним легендарным сюжетом, звучат так, словно рассказывает их забулдыга замоскворецкий, шут горохо-

вый, балагур, вольный человек — он-то мудр, все знает, на все во-время намекнет, а что и прямо назовет — слушайте да на ус мотайте. Это он с виду только пустозвоном кажется — так оно прожить-то легче, в такие времена, о каких речь идет, да и в такие, в какие рассказывается...

И чертовщины в этих сказках хватает, и чекистов всяких, и антихрист — он тоже тут как тут, — и блудница, и всякие люди не забыты. И все вокруг поисков Черной Книги вертится...

Но есть, есть даже в этом чертовом котле люди, о коих сказано: «Вы — соль земли». И вся свистопляска в погоне за Черной Книгой — символом власти — об этих людей, как волна о скалу, все равно разобьется:

«Душа-то, она Божья, и никаким их законам не подвла-

стна. Потому-то и нужна им так Черная Книга»...

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН

С ГОРЫ НЕВО

Восьмая книга стихотворений

Наряду с Николаем Моршеном и Иваном Елагиным, Валерий Перелешин — один из самых значительных поэтов русского зарубежья. Необычность его биографии породила основные мотивы и его поэтического творчества. Прожив почти сорок лет в Китае и около двадцати — в Бразилии, Перелешин вобрал в свое творчество многое от этих столь разных культур, сплавив их самым причудливым образом. Но таковы законы искусства — сродни законам генетики, — что от этого слияния творчество поэта лишь обогатилось, не утратив ни в чем своей русской сути. Открытость всей мировой культуре — вообще одно из главных национальных свойств русской поэзии. И пример Перелешина это еще раз подтверждает:

...Оттого, что при всей
нагрузке
вер, девизов, стягов и правд

я — до костного мозга
русский
заблудившийся аргонавт.

Более двадцати лет прошло, как поэт расстался с Китаем, превратившимся в страшную пародию на СССР. «И нынче я со словарем пишу стихи по-португальски», — иронизирует он над собой. Но если в какую-то минуту поэт пишет: «Тихий голос русской Марии обескрылен бразильской Мартой», то само это сознание уже говорит о том, что он остается русским поэтом, что боль России — его первая и последняя боль:

Присвоена Эстония,
раздавлена Молдавия,
И выросли Поклония,
Позория, Бесславия,
Ползком — и не оглянется,
а позади история:
Сиротка, бесприданница,
старушка Терпигория!

Вот эта боль, эта ответственность за свою страну,

даже за то, что делается в ней теперь, — в ней, которую поэт покинул шести лет отроду, и составляет лейтмотив его восьмой книги «С Горы Невó».

Само название книги (на горе Невó умер Моисей) говорит о недоступности родины: «Перед собою ты увидишь землю, а не войдешь туда» (Второзаконие XXXII,

52) — эти слова поставлены эпиграфом к книге.

От страны к стране, от иронии к молитве, от свободного стиха к чеканному сонету переносится поэзия Перелешина. Не случайно одну из своих книг он назвал «Качель». Размахи этой качели, то едва заметные, то швыряющие под иные небеса, — есть динамика его стихов.

А. ВОРОНЕЛЬ

ТРЕПЕТ ЗАБОТ ИУДЕЙСКИХ

Издание Т-ва «Москва — Иерусалим», Израиль, 1976

Книга физика Александра Воронеля написана в Москве в 1970 году. И хотя, как говорит сам автор, «последующие события» весьма сильно «влияют на прошлое», но книга избежала такого влияния — автор предупреждает нас, что несмотря на изменения в некоторых взглядах и концепциях, он ничего не захотел менять в своей книге и издает ее в ее первоначальном виде. Его право не объяснять нам, как пришел он от того, что тут написано, к тому, что он

думает сейчас. И несмотря на противоречивость одних высказываний, на заметную наивность других, книга читается с интересом.

О чем она? На этот вопрос ответить трудно. Философия? Мемуары? Историсофия? Попытка подойти к истории, психологии, социологии, этнографии — с мерками и методами точных наук? Все это есть. Поэтому определять тему — занятие неблагоприятное. Зато жанр определяется с доста-

точной степенью точности: эссе.

Как множество интереснейших открытий в последнее время сделано «на стыках» разных наук, в их «пограничных областях», так и в книге самое интересное — это те четко сформулированные, хотя иногда и обрывочные мысли, которые пестрят в книге: «Наука есть религиозное служение почти в чистом виде без мифологии» или «Есть один способ узнать многое, не исказив реальности... Для этого человек сам должен превратиться в измеряющий прибор, и если он не искажает окружающий мир, но познает его, это значит, что измеряя, он деформируется сам. Такой самоотверженный способ познания мира называется искусством». Можно еще много привести примеров столь же интересных и оригинальных высказываний.

Среди «мемуарных» кусков есть также одно очень важное место: впервые, кажется, столь подробно и уверенно говорится о том, что «45-52 годы были не годами всеобщего рабского молчания, а годами весьма интенсивной деятельности»... подпольных кружков. Впер-

вые в тюрьмах появились «политиканы», посаженные «за дело». Жаль, что об этом говорится вскользь, ибо это — страница нашей истории, которую немногие знают; особенно теперь, когда открытые выступления оппозиции — совсем непохожие на глубокое подполье конца 40-х гг. — как бы интегрируют все, что можно связать с понятием «сопротивление». А ведь в те годы оно имело особый, ни на что не похожий характер...

Вообще там, где автор — в своей теме и в своем материале, там, где сталкиваются проблемы социальные с образами и типом мышления представителя точных наук — там все очень интересно, точно и увлекательно. И только когда автор берется за рассуждения на темы национальной психологии русского и еврейского народов, сразу все становится наивным, скучноватым и в какой-то мере даже раздражающим. Ибо в этой теме нет у автора того преимущества, которое есть во всех других темах: нет знания вопроса, нет, в частности, понимания тех или иных религиозных концепций, выводы его — поверхностны.

Но этих мест в книге не-
много, и они достаточно для
нее случайны, неорганичны,
как, впрочем, и само назва-
ние. Размышления интелли-
гента середины XX в. никак
не укладываются в название-
перифраз. Но несмотря на

эти, словно бы случайные
(хотя во всей книге и самые
категоричные) высказыва-
ния, в целом она производит
впечатление большой серь-
езности и искренности. И
читается интересно и легко.

В ЗАЩИТУ ЮРИЯ ОРЛОВА

Международное сообщество ученых, работающих в области физики высоких энергий, отправило в Советский Союз телеграмму с выражением своего беспокойства по поводу недавнего ареста советского физика Юрия Орлова.

Подписавшие телеграмму ученые — это сотрудники крупнейших лабораторий физики высоких энергий и многих университетов Европы и Соединенных Штатов Америки. В том числе **шесть нобелевских лауреатов.**

Ю. Орлов — виднейший советский специалист в области физики высоких энергий, член-корреспондент АН Армянской ССР. Ю. Орлов создал и возглавил общественную группу содействия выполнению Хельсинкского Соглашения 1975 года в области соблюдения Прав Человека (Соглашение содержит самые широкие гуманистические декларации относительно гражданских прав личности). Орлов также сотрудничал с Андреем Сахаровым.

Арест Орлова последовал за недавними арестами, осуждением и заключением других советских диссидентов, в том числе М. Руденко, С. Ковалева, А. Гинзбурга и др.

Ученые, работающие в области физики высоких энергий, уже многие годы являются сторонниками и пионерами сотрудничества ученых Европы и США с советскими коллегами. Это сотрудничество уже дало значительные результаты, расширив возможности нашей науки. Благодаря международным контактам с учеными многих стран, Орлов лично хорошо известен многим западным физикам, и мы, узнав о его аресте, решили выразить свое беспокойство и свою надежду, обратившись к коллеге Ю. Орлова профессору А. А. Логунову.

Телеграмма отправлена 18 февраля 1977 года.

Профессору А. А. Логунову,
Вице-президенту Академии Наук СССР
Ленинский пр. 14, Москва А-83

Дорогой профессор Логунов!

Мы, нижеподписавшиеся, озабочены недавним арестом доктора Ю. Орлова. Он известен всем нам как крупный ученый

и уважаемый член международного сообщества физиков высоких энергий.

Мы хотим поставить Вас в известность о том, что нас крайне беспокоит судьба доктора Орлова. Мы надеемся, что история с его арестом разрешится благополучно в самое короткое время.

Подписи ученых:

Германия:

Бонн: К. Дитц, Г. Ф. Гелен, Хуссман, Г. Кнооп, В. Пауль, Ф. Риттенберг, Х. Рольник.

Дармштадт: Х. Шмельцер.

Гамбург: Й. Бинлайн, В. Енчке, В. Кох, Х. Шоппер, П. Зединг, М. Тойчер, Г. А. Фосс, Г. Вебер, Г. Вольф.

Гейдельберг: Хайнце, Зоргель.

Карлсруэ: Цитрон, Хайнц, Шатц.

Мюнхен: Х. П. Дуерр, Бушхорн, Н. Шмитц, В. Циммерман.

Англия:

Дерсбери: А. Эшмор, Бейли, Т. Дж. Дюк, Р. Маршалл, Дж. К. Томпсон.

Италия:

Рим: Эдуардо Амальди, К. Бассани, Дж. Кьяротти, Дж. Сальвини, К. Шерф.

Фраскати: Б. Аллен, М. Бассетти, Дж. Беллетини, Дж. Капитани, В. Кименти, Р. А. Дель Фабро, Э. Де Санктис, Э. Фьоринтино, А. Гаттоно, Э. Джароччи, К. Менкуччини, Дж. Муртас, К. Пеллегрини, П. Пикки, А. Реале, К. Санелли, М. Серио, С. Таццари, Ф. Тацциоли, А. Трегер.

Швейцария:

Женева: У. Амальди, Д. Амати, Ф. Бонауди, П. Даррилаут, Т. Эриксон, П. Фальк-Веран, С. Фубини, В. Глазер, Дж. Д. Джексон, М. Жакоб, К. Йонсен, Э. Кейл, Р. Леви-Мандель, Э. Лорман, И. Маннелли, А. Мартен, М. Морпурго, Дж. Петруччи, Э. Пикассо, Й. Прентки, Л. Радикати, Л. Резеготти, В. Шнелль, Й. Штейнбергер, Х. О. Вюйстер, Б. Дзумино.

Франция:

Орсэ: Огюстен, Бек, Бельбош, Бергер, Бит, Бизо, Брюне, Бюон, Шабер, Кордые, Косм, Куран, Давье, Делькур, Дудельзарк, Эштрют, Ферм, Фульда, Жандро, Грелан, Хессинский, Арар, Жульен, Лаклар, Лаланн, Леле, Ла Планш, Ле Дюфф, Лефор, Ле Франсуа, Левель, Марен, Морелле, Поло, Перез-и-Хорба, Пото, Рамбан, Ропер, Румпф, Зоммер, Шкляж, Ткаченко, Зингье.

США:

Анн-Арбор, Мичиган: Кент М. Тревиллигер.

Батавия, Иллинойс: Френк Т. Коул, Эдвин Л. Голдвассер, Фред Миллс, Ли Тенг, Роберт Р. Уилсон.

Беркли, Калифорния: Роберт Бердж, Оуен Чемберлен, Джеффри Чью, Уильям Чиновский, Том Элиофф, Джерсон Голдхабер, Герман А. Грандер, Уолтер Д. Хартсоу, Дэвид, Л. Джадд, Денис Киф, Глен Р. Ламбертсон, Л. Джексон Ласслетт, Эдвард Дж. Лофгрэн, Эдвин М. Макмиллан, Пьермария Оддоне, Джек М. Петерсон, Арт Розенфельд, Эндрю М. Сесслер, Ллойд Смит, Джордж Триллинг, Уильям А. Венцель.

Брукхевен, Нью-Йорк: Марк К. Бартон, Джон П. Блюэтт, Рената У. Чезмен, Эрнст Д. Курант, Морис Голдхабер, Дж. Кеннет Грин, Альфред В. Машке, Мелвин Монт, Дэвид Рам, Р. Роналд Роу, Лайл Х. Смит, Джордж Х. Вайнъярд.

Кембридж, Массачузетс: Мартин Дойч, Герман Фешбах, Фрэнсис Э. Лоу, Фрэнсис М. Пипкин, Норман Ф. Рамзей, Карл Штраух, Ричард Уилсон.

Чикаго, Иллинойс: Герберт Андерсон, Джеймс У. Кронин, Малькольм Деррик, Том Филдс, Рон Мартин, Роберт Закс.
Колледж Парк, Мэриленд: Роберт Глюкстерн, Джордж А. Сноу.

Итака, Нью-Йорк: Курт Готтфрид, Т. Киношита, Бойс Мак-Дэниел, Эдвард Э. Сальпетер, Кеннет Уилсон, Дональд Р. Йенни.

Лос-Аламос, Нью-Мексико: Эдвард Кнапп, Деррек Нэйгл, Дональд Свенсон.

Лос-Анжелес, Калифорния: Харольд Тихо.

Нью-Хейвен, Коннектикут: Роберт К. Эдейр.

Нью-Йорк, Нью-Йорк: Чарльз Бэлти, Родни Л. Кул, Леон Л. Ледерман, Вон Йон Ли, Абрахем Пэйс.

Пасадена, Калифорния: Меррей Гелл-Манн.

Принстон, Нью-Джерси: Вал Фитч, Мервин Л. Голдбергер, Сэм Б. Трейман.

Санта-Барбара, Калифорния: Хозе Фулько.

Санта-Крус, Калифорния: Матт Сэндс.

Стэнфорд, Калифорния: Джозеф Бэллэм, Джеймс Д. Бюркен, Ричард Блэнкенбеклер, Стэнли Бродский, Сидни Дрелл, Ричард Хелм, Уильям Германсфельд, Роберт Хофштадтер, Дэвид Лейт, Терри Мартин, Филипп Мортон, Вольфганг Панофски, Мартин Перл, Джон Рис, Бертон Рихтер, Ричард Тейлор, Перри Б. Уилсон, Герман Уиник.

Стоуни Брук, Нью-Йорк: Чен-Нин Ян.

Урбана, Иллинойс: Альберт Уоттенберг.

Книготоварищество «МОСКВА — ИЕРУСАЛИМ»

(Тель-Авив, п/я 23121)

Выпущено в свет:

А. Воронель · Трепет забот иудейских

Книга А. Воронеля — известного ученого и одного из руководителей еврейского национального движения в СССР — представляет собой философскую автобиографию, в которой воспоминания о жизненном пути перемежаются размышлениями о сущности и роли науки в современном мире, о природе человека и демократии и, прежде всего — о путях и судьбах еврейского и русского народов в их трагическом противостоянии и религиозном противоборстве.

Н. Воронель · Прах и пепел

Сборник пьес, распространявшихся в еврейском Самиздате в СССР, а позднее, после репатриации автора в Израиль; с успехом прошедших на американской сцене. Пьесы Н. Воронель с фотографической языковой и бытовой точностью воссоздают картину бездуховной и мрачной советской действительности.

Находится в печати:

И. Рубин · Поэзия. Критика. Проза

Публикации безвременно скончавшегося в феврале 1977 г. в Израиле поэта и эссеиста Ильи Рубина, впервые объединенные в этом сборнике (ранее они распространялись в еврейском Самиздате в СССР или были рассеяны в израильских журналах), открывают читателю широкий круг интересов этого талантливого автора. Яркое критическое дарование и блестящая эрудиция сочетаются в его творчестве с бескомпромиссной нравственной позицией. Философские, религиозные и культурные проблемы современности, находящиеся на стыке христианского и еврейского миров, — таковы главные темы этой книги.

Наша анкета

Интервью с Адамом Михником



Вопрос. Вы принадлежите к «мартовскому» поколению, сформировавшемуся во время и в результате событий марта 1968 года. Что оказалось решающим для формирования оппозиционного сознания у вас и у вашего поколения?

Ответ. Именно март 68-го года и был важнейшим моментом. Это было время, когда я и все мы поняли, что то, что мы считали реформированным коммунизмом в нашей стране, является просто орудием насилия. Я не могу говорить от имени всех — но это можно сказать о тех, кто серьезно воспринимал социалистические идеи, для кого такие слова, как «права рабочих», «социальная справедливость», были значимы. Для этих людей март 68-го года в Польше и август в Чехословакии (совместная интервенция советских и польских войск) были концом некоторого духовного мира, в котором они — мы — до тех пор жили. Стало ясно, что социализм как идею, включающую и права рабочих, и социальную справедливость, можно защищать только против этой власти. Мы и до того были критически настроены по отношению к режиму, но была надежда, что это искри-

вления и ошибки. В 1968 году стало ясно, что это существо системы. Нам казалось, что Гомулка и связанные с ним люди, прошедшие через ад сталинских тюрем, не могут делать то же, что их предшественники и палачи, а оказалось, что могут, что важны не люди, а механизмы власти. И тогда мы начали анализировать заново, сопоставлять лозунги партии с практикой, поставили себе вопрос, в чем существо системы и чем мы хотим эту систему заменить.

Вопрос. В результате мартовских событий вы были арестованы и полтора года провели в тюрьме. Было ли это для вас временем переосмысления событий или это переосмысление пришло позже, с выходом на свободу, когда вы могли увидеть послемартовскую реальность и обменяться мнениями с друзьями, остававшимися на свободе или, как вы, вернувшимися из тюрем?

Ответ. Нет, это началось прямо в марте, как только я попал в тюрьму. Шоком оказались для меня мартовские газеты. Мне в голову не приходило, что в польских газетах может господствовать язык, близкий к откровенно фашистскому (такого не было до марта, нет и сейчас). Недавно в Италии я разговаривал с некоторыми итальянскими коммунистами, которые говорили, что для них это тоже был шок. Это была кампания публичной клеветы и оскорблений против самых достойных людей в Польше, олицетворяющих ценности национальной культуры: против Антония Слонимского и Стефана Киселевского, Павла Ясеницы и Лешека Колаковского, Казимежа Брандыса и Виктора Ворошильского. Тогда же — вполне в духе нюрнбергских расовых законов — была поставлена под вопрос принадлежность к польской нации моих друзей, которые за свою любовь к Польше заплатили годами тюрьмы. Всё ценное, достойное уважения в стране, было обвинено в антинациональной и антисоциалистической деятельности. И тогда я понял, что

либо социализм неизбежно связан с жестокостью и ложью, либо эта система — не социализм. И выбрал это второе.

Вопрос. А вам не кажется, что именно в приведенной вами постановке вопроса — это скорее терминологический выбор? То есть, что оба ваши «либо — либо» представляют собой одно и то же отношение к режиму, но только различно формулируют его сущность?

Ответ. Думаю, что нет. Ведь есть в Польше люди, отвергающие эту систему, но с тем, чтобы заменить ее равно античеловечной. Есть в Польше, притом в оппозиции, люди, для которых то, что я даю сейчас интервью «Континенту», — акт национальной измены, поскольку советская («русская») армия — гарант власти в Восточной Европе. И трудно объяснить им, что русские писатели, например — Солженицын или Некрасов, не имеют ничего общего с подавлением восстания 1863 года или с разделами Польши. Есть люди, которые хотели бы заменить официальную коммунистическую идеологию идеологией националистической, но так же враждебные идее рабочего самоуправления, как нынешние правители моей страны. Есть и такие люди, которые говорят: «Полная демократия в обществе, полная дисциплина на заводе», «Сейчас управляют хамы и идиоты, должны управлять спецы». Я же думаю, что должны управлять демократически избранные люди: если народ согласен передать управление технократам — хорошо, если это будет сделано демократически и останется под контролем демократии. Есть в Польше люди, которые союзника против Герека ищут в маоистском Китае. Я думаю, что нельзя лечить грипп чумой и призывать в союзники режим еще более бесчеловечный. Есть и такие в польской оппозиции, кто считает, что Польша должна быть от Одры до Одессы, «от моря до моря», забывая, что на землях, когда-

то входивших в Речь Посполитую, живут народы, имеющие право на самоопределение, не зависящее от наших или иных мнений извне. Это люди, готовые дискутировать с русскими, кому должен принадлежать Львов — Польше или России, но им не приходит в голову, что Львов — это Украина. Есть в Польше люди, которые считают, что надо защищать права человека и требовать освобождения политзаключенных только в Восточной Европе, но не в Чили и не в Индонезии, — нарушения прав человека там им не мешают. По моему мнению, права человека едины для всех: во Франции и в Польше, в Индонезии и в Чехословакии, в Китае и в Советском Союзе. И все эти названные мною точки зрения также стоят в оппозиции к режиму. Так что для меня дело не в терминологии.

Вопрос. Что же, в таком случае, входит в ваше представление социализма — демократического социализма в отличие просто от демократии?

Ответ. Для меня требования демократического социализма включают политический плюрализм, уважение прав человека, национальную независимость, разделение государства и церкви и, наконец, рабочее самоуправление. Отсутствие хотя бы одного из этих требований уже лишает понятие «демократический социализм» его полноты. Собственно социалистическим, определяющим его не как просто «демократию», а как «демократический социализм» является последнее требование — рабочего самоуправления. Подступами к такому самоуправлению я считаю наши рабочие советы 56-го года или, например, нынешние рабочие комиссии в Испании. Почему, собственно, у нас идея «демократического социализма» более распространена, чем в Советском Союзе? Вы никогда не стояли лицом к лицу с таким рабочим движением, какое существует в Польше. В наших условиях, мы обязаны делать выбор — и стоять за интересы рабо-

чего класса, за требования рабочего движения для нас значит быть за социализм. Я не хочу сказать, что демократический социализм — это единственный путь подлинной демократии. Ни социал-демократия, ни христианская демократия никогда не создавали тоталитарного режима. Видя западную демократию, французскую например, мы видим ее ограниченность, но понимаем, что полная демократия — это лишь идеал, что в этом идеальном виде ее не бывает. Однако мы видим и другое: видим, как эта система исчерпывает себя, и тут я согласен с Солженицыным, что мы не можем брать за образец западную парламентарную демократию, но должны ее преобразовать — преобразовать демократию, а не заменить ее каким-либо авторитарным образцом.

Вопрос. Вы рассказали о том, как вы и многие из вашего поколения пришли к этой системе взглядов в результате мартовских событий — в частности, о том, как первый шок вы испытали в тюрьме. У нас — что так часто поражает людей на Западе — многие вспоминают свои тюремные и лагерные годы как время самого серьезного духовного и политического формирования, как время наибольшей внутренней свободы, что нашло лучшее выражение в солженицынском «Благословенна будь тюрьма». Чем были эти полтора года в тюрьме для вас лично?

Ответ. Во-первых, именно тогда я избавился от всякого ревизионизма, от надежды, что в партии есть какие-то новые силы, которые устроят новый «XX съезд». А главное — тогда же во мне родилось чувство личной ответственности. За этот мир, в котором я живу, я несу свою долю ответственности, и если я буду молчать, то в этом я буду виновен, как все люди, которые молчали во времена показательных процессов. Я понял, что ценность дела меряется не шансами на его победу, но им самим. Христос дал Себя распять, «проиграл» — но, оказалось, выиграл. Человек

проигрывает не тогда, когда идет в тюрьму, а когда позволяет себе быть подонком. И третий урок, осознанный мною в тюрьме, — то, что интеллектуальное движение, движение интеллигенции и студенчества, творит идеи, но единственное движение, которое может заставить власть пойти на уступки, — это рабочее движение. Я понял это, потому что видел, как легко было нас победить — жестокостью и насилием, но и потому еще, что мы были одни.

Вопрос. В 68-м году рабочие не поддержали студентов и интеллигенцию, в 70-м интеллигенция не нашла в себе сил солидаризироваться с восставшими рабочими, сейчас, после июня 76-го, мы видим глубокую и активную солидарность интеллигенции с рабочими, прежде всего — в деятельности Комитета защиты рабочих и широких кругов, его поддерживающих. Что бы этой солидарности проявиться раньше?

Ответ. Ну, если бы это было раньше, мы бы уже сейчас жили в иной Польше. Если бы рабочие в 68-м году поднялись, как это было позже, не было бы тогдашнего погрома. Но я не могу ожидать от рабочих, которые живут в условиях полного лишения доступа к информации, не могу требовать от них высокого политического сознания, понимания того, что защита интеллигенцией гражданских свобод обеспечивает и защиту их социально-экономических интересов. Солидарность должна исходить от интеллигенции. В каждом случае, когда рабочее движение проявляет себя. Не имея активного влияния на формирование рабочего движения, что трудно в условиях тоталитарного режима, интеллигенция сохраняет, тем не менее, свою профессиональную обязанность: свидетельствовать, говорить правду. Она должна это делать так же, как сапожник обязан шить хорошие сапоги. Если врач плохо лечит и говорит, что в этом виноват коммунистический режим, он не врач. Так и интеллигенция не

может оправдывать свою ложь или молчание ссылками на тоталитаризм. Конечно, если бы в 70-м году интеллигенция нашла в себе силы проявить солидарность с рабочими, это было бы и в их, и в ее собственных интересах... — но тогда она была разбита, раздавлена, не оправилась от погрома 68-го года.

Вопрос. Какое значение имеет для польской оппозиции движение за права человека в Советском Союзе и окрепшее за последнее время аналогичное движение в других странах Восточной Европы?

Ответ. Это крайне важно, это надежда не только для нас, поляков, не только для восточноевропейцев, но для всей демократической Европы. Речь сейчас о том, чтобы западные левые поняли, кто их истинный союзник на Востоке, а участники движения за права человека — кто их союзник на Западе. Таким союзником не может быть никто, кто не готов защищать права человека во всем мире, — никакой апологет генерала Пиночета, никакой апологет маоистского Китая или красных кхмеров.

Вопрос. И наконец — два последних вопроса в одном. Что значит для Польши журнал «Культура», что принес он своим читателям в стране за 30 лет своего существования? И что знают в Польше о «Континенте», каково значение его создания и существования для поляков?

Ответ. «Культура» очень много сделала для формирования индивидуального и общественного сознания в Польше. Она учит нас объективному мышлению и терпимости, борется против насилия и лжи, против национального шовинизма и ксенофобии. Многим людям моего поколения «Культура» привила уважение к русской, украинской, литовской культуре. Присутствие поляков в редколлегии и на страницах «Континента», который читается многими людьми в Польше, — для нас символично. Это для нас пример единства независимой культуры в Польше, в России, на Украи-

не, в Прибалтике, во всей Восточной Европе. Мы воспринимаем «Континент» как форум целого спектра независимой мысли. Разумеется, среди текстов «Континента» есть те, которые мне близки, и те, которые мне решительно не нравятся, но и это последнее обстоятельство я считаю важным: не может быть развития демократии и демократического мышления, если независимая мысль будет подвергаться цензуре. Я лично придаю особое значение заявлению сотрудников «Континента» о четвертом разделе Польши и о Катыни и, пользуясь представившейся возможностью, хотел бы поблагодарить за него. Это заявление имеет большое значение для Польши и способствует преодолению антирусских стереотипов.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ К ИНТЕРВЬЮ АДАМА МИХНИКА

За Москвой, Украиной, Грузией, Чехословакией — волна репрессий докатилась и до Польши. Правительство еще не до конца выполнило — а может, и не собиралось выполнять — свои полуобещания освободить из тюрем всех участников прошлогодних рабочих волнений, а репрессии уже обрушились на тех, кто защищал рабочих, помогал их семьям, информировал мир о происходящем: на членов Комитета защиты рабочих и их добровольных помощников. Гангстерское убийство студента Станислава Пыяса показало, что госбезопасность не остановится ни перед какими средствами подавления и запугивания. Со дня его похорон десятки представителей оппозиционных кругов подвергались обыскам, задержаниям, были жертвами полицейских засад и облав. Десять человек (это число каждый день грозит увеличиться) находятся в тюрьме с санкцией прокурора на трехмесячный арест.

Первым был арестован Адам Михник. Адам, которого мы узнали и полюбили во время встреч с ним на Западе.

Он провел тут — в безопасности — около восьми месяцев. Он мог бы не возвращаться: похоже, что, давая ему паспорт, польские власти на это и рассчитывали.

— Когда ты думаешь вернуться? — спрашивали мы.

— У меня паспорт до 2-го мая, но если друзья из Варшавы позвонят и скажут «ты нам нужен», я вернусь немедленно.

Здесь, на Западе, он мог бы молчать и гулять по прекрасным улицам европейских городов. Он выступал: на собраниях, симпозиумах, пресс-конференциях, в прессе и по телевидению. Он стучался в двери профсоюзов, политических партий, общественных организаций. Он встречал и отклик, и сочувствие, и равнодушие.

1-го мая он прилетел на варшавский аэродром.

— Я боюсь, что меня возьмут прямо в аэропорту, — говорил Адам.

Он боялся не тюрьмы — боялся не встретиться с друзьями, не отчитаться им во всем, что он сделал для защиты польского дела в Европе, не включиться в деятельность внутри страны. Бездействие было для него страшнее тюрьмы. При каждой встрече с ним казалось, что вот сейчас он на полужизне сорвется с места и поспешит дальше — на другой конец города или в другую страну — кому-то что-то объяснять, кого-то в чем-то убеждать. Три шага в ширину, четыре в длину — куда ему рвануться теперь?

Его не взяли в аэропорту. Судьба отпустила ему еще две недели воли. Мы говорили с ним о тюрьме смеясь — казалось, смехом можно расколдовать эту угрозу, рассыпать ее в песок. Не расколдовали.

Для нас Адам был еще и живым опровержением исконной вражды между нашими народами.

— Я самый пророссийский поляк, — говорил он с грустным задором. — Я учил русский язык в школе 11 лет и ничего не выучил, но потом я выучился русскому на «диссидентах». Для меня было делом чести прочитать «Архипелаг» по-русски.

Только на пути преодоления вековых обид между польским и русским, польским и украинским, украинским и русским народами видел он наше будущее освобождение.

В третий раз тридцатилетний Адам Михник попадает в тюрьму Народной Польши. По второму-третьему разу идут в тюрьму Яцек Куронь, Северин Блюмштайн, Ян Литынский. В тюрьме — Ян Юзеф Липский, участник Сопротивления с 1939 года. В тюрьме Наимский, Хоецкий, Островский, Мацеревич, Пилка... Кто будет арестован завтра? Или — вдруг — кто-то будет освобожден?

Тоталитарный режим никого не освобождает вдруг, чудом, по случайности или по доброте. Если сегодня только небольшая часть прошлогодних забастовщиков осталась в тюрьме — это не милосердие польского правительства, это заслуга Комитета защиты рабочих и тех, кто помогал ему в Польше и за границей. Если выпущен на свободу Вацлав Гавел, то это заслуга отчаянной борьбы участников Хартии-77 и всех, кто их поддерживал. Только благодаря широкой общественной кампании освобожден Паул Гома — иначе его не коснулся бы никакой юбилей, никакая амнистия.

Мы поддерживаем призыв Комитета защиты рабочих о прекращении полицейских преследований в Польше. Мы отвечаем на воззвание польских писателей, обращенное к интеллигенции, профсоюзам и всем людям доброй воли. Мы требуем прекращения репрессий, освобождения рабочих, интеллигенции и студентов. Мы требуем не отнимать у людей свободу слова, свободу независимого мышления. Мы выражаем солидарность с польскими свободными объединениями: Комитетом защиты рабочих, только что созданным Студенческим комитетом солидарности и Комитетом прав человека.

Мы надеемся, что воздух свободы станет нормальной атмосферой и в Польше, и во всей Восточной Европе, и в нашей несчастной стране.

Май 1977

Влад. Буковский Наталья Горбаневская Влад. Максимов

СОДЕРЖАНИЕ

Леонид Ржевский — Клим и Панночка. Повесть	5
Станислав Баранчак — Пять стихотворений	41
Анатолий Гладилин — Репетиция в пятницу	47
Анна Горбунова — Стихи	85
Виктор Некрасов — Взгляд и нечто. Часть вторая	90
Иосиф Бейн — Стихи	120
Казимеж Орлось — Дивная малина. Продолжение	124

СТИХИ

Наум Коржавин	151
Виктор Некипелов	156
Гелий Снегирев — Мама моя, мама...	
Продолжение	163

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Лариса Богораз — Мелкие бесы	213
------------------------------	-----

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Юзеф Чапский — «Культура»	227
---------------------------	-----

ЗАПАД — ВОСТОК

Родольфо Квадрелли — «Другая» литература на Западе	239
Виктор Спарре — Новая жизнь искусства	250

ЗВУКОВЫЕ БАРЬЕРЫ РАДИОВЕЩАНИЯ

Ян Новак — Открытое письмо Александрю Солженицыну	261
Виктор Соколов — Записки радиослушателя	268

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Анна Хмелевская — Письмо друзьям 287

ИСТОКИ

Анеля Стейнсбергова — Глазами защитника 321

ИСКУССТВО

Димитрий Бобышев — Трижды — Тюльпанов 345

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Виолетта Иверни — Час милосердия 353

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 365

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Александр Галич — Две исповеди 367

Василий Бетаки — «Умная молитва» 371

Наталья Горбаневская — Подвал памяти 375

Владимир Рыбаков — Гибель Европы? 380

Эммануил Райс — Чеслав Милош 387

**Е. Кармазин — Партия или мафия —
 правда и вымысел** 394

Михаил Геллер — «Такая долгая жизнь» 397

**В. Козловский — Людоедство как таковое
 не наказуемо** 402

КОРОТКО О КНИГАХ 407

НАША АНКЕТА

Интервью с Адамом Михником 427



ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА

Тереса Левандовская родилась в Варшаве в 1928. Отец — архитектор, мать — учительница еврейской школы в Варшаве. В 1939 отец — офицер запаса — был мобилизован. Его труп нашли в Катынском лесу. Вместе с матерью Тереса оказалась на присоединенной к СССР Западной Украине. В 1942 им удалось вернуться в Варшаву. Жили у родственников, прямо около стены варшавского гетто. Ежедневно у них на глазах умирали от голода люди, разыгрывались жестокие сцены нацистского насилия. Тереса участвовала в Варшавском восстании, за что ее сослали на принудительные работы в Германию. После войны Тереса получила художественное образование в Краковской академии искусств. В 1968 Тереса Левандовская начала работу над картинами-свидетельствами еврейской трагедии. Результатом этой работы была серия «Авель, брат мой», посвященная Международной Амнистии. Год спустя она получила политическое убежище в Швеции. Активно занимается самыми разными отраслями изобразительного искусства — живописью, графикой, иконописью, художественным оформлением книг. Так, например, ею оформлены обложки шведских переводов книг Владимира Максимова. Ее работы выставлялись в Варшаве, Лондоне, Упсале и Стокгольме.

2.4.1977 в Стокгольме открылась выставка Тересы Левандовской «Крики из тишины», посвященная политзаключенным ГУЛага. В фойе выставки, у подножья деревянного креста, стоит иконописное изображение эзика — великомученика нашего времени.

Картины небольшого размера, техника их проста, но крайне выразительна. Тереса Левандовская начинает с тонкого фигуративного изображения тушью на бумаге, например, фигуры или лица человека. Затем она легонько смывает краску и затушевывает рисунок пальцами. Кое-где добавляется темпера. Иногда она комкает бумагу и гладит её затем утюгом, получая, таким образом, неожиданные узоры из складок. А в результате всего этого сквозь грязь, тьму и вечную мерзлоту на посетителя смотрит с рисунков сама история ГУЛага. Картины связаны с книгами Гроссмана, Солженицына, Ахматовой, Пастернака, Максимова, Чапского и Герлинга-Грудзинского. Другие серии названы — «День за днем», «Катынский лес», «Крики из тишины», «Они исчезли» и т.д.

Александр Милиц



Т. Левандовская. Из серии «Вечная мерзлота».